У НАС НА ПРЕСНЕ





МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ



1972

Литературно-художественный сборник

У НАС НА

Славной Красной Пресне, людям ее
посвящают этот сборник писатели-москвичи

ПРЕСНЕ

Иван Винниченко
Любовь Жак
Степан Щипачев
Вера Морозова
Аркадий Васильев
Владимир Красильщиков
Рафаил Хигерович
Александр Безыменский
Исидор Шток
Григорий Рыклин
Павел Железнов
Евгений Воробьев
Елена Кононенко
Виктор Тельпугов
Иван Арсентьев
Алексей Пантиелев
Василий Чичков
Вадим Кассис
Александр Рекемчук
Владимир Савельев
Юрий Гальперин
Дмитрий Еремин
Наталья Соколова
Рудольф Бершадский
Виктор Стариков
Абрам Старков
Сергей Болдырев
Анатолий Медников
Лев Кокин
Валерия Перуанская
Борис Володин
Павел Подляшук
Георгий Айдинов
Инна Кашежева
Борис Филиллов
Олег Волков
Иосиф Осипов

Сборник создан по инициативе и под руководством партийного комитета Московской писательской организации.

Составители: И. ВИННИЧЕНКО, П. ПОДЛЯШУК, А. СТАРКОВ.

У нас на Пресне. М. «Московский рабочий». 1972.

448 с.

1—6—4 / 213—72 Сб2 У 11

Слово к читателю

Мы долго думали, как назвать нашу книгу.

«Красная Пресня»!

Да, это было бы, пожалуй, проще всего. Просто и емко, с глубоким внутренним смыслом.

«Красная Пресня»!

Разве не символично?

Но не слишком ли сухо, отстраненно? И вместе с тем... Не слишком ли обязывающе?

Ведь это не монография, а всего лишь сборник. Литературно-художественный, писательский сборник.

Разумеется, посвятив свой труд от первой и до последней страницы милой нашему сердцу Красной Пресне, мы приложили все старания к тому, чтобы показать ее жизнь как можно более широко и многогранно.

Не забыли, естественно, и славную ее историю.

И тем не менее это только сборник. Обычный писательский сборник. А может, и не совсем обычный.

Не так просто было ограничить его какими-то строгими рамками.

В документальных художественных очерках, повествующих о сегодняшнем дне Красной Пресни, то и дело появлялись «внеплановые» отступления к прошлому, а в очерки о прошлом, ломая все планы, властно врывалась современность.

Вместо ожидаемых очерков нам приносили рассказы или эссе. Или очерки, но совсем на иную тему, подчас совершенно неожиданную. И гораздо более интересную.

Сборник складывался по каким-то своим особым внутренним законам.

В нем приняло участие тридцать семь писателей, тридцать семь творческих индивидуальностей. И, поскольку сборник создавался, что называется, по велению сердца, каждый из авторов писал о том, что особенно дорого ему и близко. Писал, как мог, как хотел, в своей собственной, только ему одному присущей литературной манере. И каждый — со своей точки зрения.

Сочинений на заданную тему не получилось.

Не получилось и монографии.

Получился сборник, коллективная писательская книга — очень пестрая, фрагментарная, не всегда строго последовательная. Но достаточно цельная.

Так по крайней мере нам кажется.

Книга об одном из интереснейших районов Москвы. О его людях. О его прошлом и настоящем.

Книга о том, что происходило когда-то и происходит сегодня, сейчас у нас на Пресне.

«У нас на Пресне»...

Казалось бы, фраза как фраза. Мы не раз произносили ее и прежде, но как-то не придавали ей особого значения. Она звучала для нас привычно и обыденно.

И вот только теперь...

Только теперь, когда мы завершили свой нелегкий, но увлекательный труд и у нас появилась возможность как-то подытожить, осмыслить его,— только теперь нам стало ясно, что именно ее, эту привычную, обыденную фразу, и следует вынести на обложку книги.

«У нас на Пресне»...

Ну конечно! Это куда теплее, нежели просто «Красная Пресня». И намного точнее, если принять во внимание характер нашего сборника.

И не менее символично, если уж на то пошло.

«У нас на Пресне»...

Вы чувствуете?.. «У нас»!

Но... имеем ли мы право на вот это «у нас»?

Да и почему, собственно, «у нас»? Разве все мы, авторы сборника,— краснопресненцы?

Вопрос не простой.

Если рассуждать формально, то только трое из авторов с полным правом могут называть себя краснопресненцами. Это — Георгий Айдинов, Владимир Савельев и Виктор Тельпугов. Они живут на Красной Пресне, здесь, естественно, прописаны и являются краснопресненцами, так сказать, по паспорту.

Но дело, видимо, не только в том, кто где прописан.

Откройте сборник, и вам сразу же бросится в глаза широко известное имя.

Александр Безыменский.

Еще в 1921 году, поселившись в Москве, он стал членом одной из большевистских ячеек Пресни. Крепко дружил с комсомолией района. Часто выступал перед рабочими. Выступал с докладами и конечно же со стихами. С юношескими, наспех написанными, не всегда зрелыми и отточенными, но всегда искренними, горячими злободневными стихами.

Здесь, на Красной Пресне, прошла вся его гражданская и поэтическая юность.

Можно ли это забыть?..

Сейчас он не живет на Пресне, и в его паспорте нет краснопресненской прописки.

Прописка осталась в сердце. И трудно сказать, у кого больше оснований считать себя краснопресненцем — у Александра Безыменского или у поселившегося не так давно на Пресне молодого поэта Владимира Савельева. Тем более, что и для Савельева Красная Пресня — это не просто место жительства.

Савельев вырос на Волге. Там прошла его юность.

«Около тысячи километров отделяло меня в те дни от Москвы, около полувека — от героических баррикад на Пресне».

Так пишет он на страницах сборника. И тут же, как бы вглядываясь в самого себя, недоуменно спрашивает: но почему же еще тогда возникли стихи о Пресне?..

Это были первые его стихи.

А потом был Литературный институт в Москве. И была литературная практика на заводе «Красная Пресня».

И снова были стихи. И снова — о Пресне.

Сейчас Владимир Савельев — житель Красной Пресни, у него — краснопресненская прописка. Но Красная Пресня давно уже «прописалась» в его сердце. И в его творчестве.

Исидор Шток не прописан на Пресне. Но и ему, как Владимиру Савельеву, хорошо «знаком здесь каждый переулок».

Прочитайте его рассказ «Мир чудес»!

Автор пишет, что Красная Пресня началась для него с Театра Революции, где он подвизался когда-то в качестве актера, хотя правильнее, вероятно, было бы написать, что сам Исидор Шток «начался» с Красной Пресни.

Он «варился» в знаменитой «кухне» «Трехгорки», выступал здесь в «Синей блузе». Здесь же в нем проклюнулся драматург.

С тех пор прошло немало лет. Но как много значит для писателя эмоциональная память юности! Я уверен, именно отсюда, с «Трехгорки», с Красной Пресни, пришел в одну из популярнейших пьес Исидора Штока его любимый герой — старый и мудрый рабочий Забродин.

Эмоциональная память юности, память сердца... Она сыграла решающую роль и в литературной судьбе Веры Морозовой.

«Мой отец,— пишет она,— был дружинником. Боевиком. Дрался на баррикадах в дни первой русской революции. На баррикадах Пресни. Голова его была отмечена казацкой шашкой»...

Рассказы отца навсегда врезались в память. Они не давали жить, не давали спокойно спать...

Это и привело писательницу к ее «единственной теме» — к истории революционного движения в России, а стало быть, и к одной из ярчайших страниц этой истории — к революционному прошлому Красной Пресни.

Так родилась историческая повесть, в центре которой — обаятельный образ легендарного героя восставшей Пресни, фабриканта-революционера Николая Шмита.

Биография Степана Щипачева никак не связана с Пресней. Но получилось так, что образ Николая Шмита прошел, можно сказать, через всю его жизнь.

Вчитайтесь в то, что пишет сам Щипачев в своем комментарии к поэме «Наследник»!

Первые стихотворные строки, посвященные Шмиту, появились еще в пору юности поэта, когда он жил на Урале. Тогда же возникла мысль написать поэму. Но не хватало сведений о герое, не хватало живых, непосредственных впечатлений, связанных с местами событий 1905 года...

Поэма вынашивалась трудно, в течение многих лет.

Она-то и сроднила поэта с Пресней.

«Хорошо,— скажете вы,— допустим, у всех этих писателей действительно есть что-то свое, особое, сокровенное, что роднит их с Пресней и что дает им право считать себя краснопресненцами, независимо от того, живут они на Пресне или нет. Но ведь таких писателей не так уж много!..»

Да, совершенно верно, их не так уж много. Но вы заметили?.. У каждого из них вот такое «свое», «особое», «сокровенное» неизменно сводится к одному и тому же — к нашему общему делу, к литературному творчеству. А раз это так, то, по-видимому, считать себя краснопресненцами вполне могут и все другие авторы сборника. Более того, все другие писатели — москвичи. И не только потому, что Красная Пресня представляет собой неиссякаемый источник творчества, но также и потому, что именно она, Красная Пресня, стала для всех нас как бы нашей второй, творческой родиной.

Здесь, на Красной Пресне, в Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева, где размещается

главная «штаб-квартира» Московской писательской организации, происходят все важнейшие события литературной жизни столицы: наши общие, профессиональные и партийные собрания, творческие вечера, дискуссии, обсуждения новых произведений, встречи и беседы с интереснейшими людьми. Отсюда, с Красной Пресни, многие из нас разъезжаются в самые различные концы страны, а нередко и во многие концы мира. Сюда же, на Красную Пресню, мы съезжаемся вновь, чтобы поделиться впечатлениями от поездок, рассказать о новых творческих планах или обсудить сообща волнующие всех нас острейшие проблемы текущего литературного процесса...

Наша партийная писательская организация входит «на равных» в партийную организацию Краснопресненского района. Некоторые из нас избраны членами Краснопресненского райкома КПСС, другие — депутатами Краснопресненского районного Совета депутатов трудящихся. Руководители Краснопресненского района хорошо знают жизнь Московской писательской организации и во многом помогают ей. В свою очередь, наша Московская писательская организация не мыслит себе своей жизни и деятельности вне общественной и политической жизни трудящихся Пресни.

Все это, вместе взятое, и навело нас на мысль создать литературно-художественный, писательский сборник, посвященный Краснопресненскому району Москвы.

Я уже говорил: мы не стремились превратить его в монографию Красной Пресни. Наша задача гораздо скромнее.

И в то же время — гораздо шире.

Помните?.. Владимир Солоухин написал в свое время лирическую документальную повесть «Капля росы».

Он писал о родном владимирском селе Олепине.

Чем оно примечательно? Да ничем особенным! И тем не менее автору удалось отразить в нем, как солнце в капле росы, всю жизнь, всю историю колхозного строя.

Мы написали о нашей родной Красной Пресне.

Чем она примечательна? Очень многим! И поэтому нам хотелось бы, дорогой читатель, чтобы вы увидели в ней, как солнце в капле росы, и какие-то черты жизни нашей любимой столицы, а вместе с тем — и черты жизни всей страны.

Иван ВИННИЧЕНКО,
член парткома Московской писательской организации, депутат Краснопресненского районного Совета депутатов трудящихся

Так было

ПОДВИГ ПРЕСНЕНСКИХ РАБОЧИХ НЕ ПРОПАЛ ДАРОМ. ИХ ЖЕРТВЫ БЫЛИ НЕ НАПРАСНЫ. В ЦАРСКОЙ МОНАРХИИ БЫЛА ПРОБИТА ПЕРВАЯ БРЕШЬ, КОТОРАЯ МЕДЛЕННО, НО НЕУКЛОННО РАСШИРЯЛАСЬ И ОСЛАБЛЯЛА СТАРЫЙ, СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПОРЯДОК.

В. И. Ленин.

Уже несколько поколений советских людей знают улицу, которая тянется почти от площади Восстания и до заставы,— Красную Пресню. А отклоняясь от нее, радиально и параллельно, идут улицы Заморенова, Макеева, Дунаева, Шмитовский проезд и многие другие. Их, отдавая дань уважения и любви погибшим борцам за дело революции, по-новому, по фамилиям павших, по событиям здесь происходившим, наименовала Советская власть.

Хочется сказать словами **Степана Щипачева:**

Читайте, названия этих улиц
подскажут, где в Пятом свистели пули:
Дружинниковская,
Большевистская,
Баррикадная.
Кровью рабочей
полита каждая.
Была Кудринская,
Сейчас на углу здания
четкими буквами:
площадь Восстания.

И прямая улица, теперь перестраиваемая, тоже называлась не Красной, а Большой Пресней. На этой улице в 1905 году возникли баррикады; увеличиваясь в числе, они опоясали весь район. На баррикадах пресненские рабочие сражались и у Трех гор, и у Зоологического сада, и у мебельной фабрики Шмита, и у многих других предприятий. Они накрепко стояли в дни московского вооруженного восстания в декабре 1905 года. «ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ ВОССТАНИЯ» — так назвал Пресню **В. И. Ленин.**

Пресня — Красная Пресня — вошла в историю борьбы русского пролетариата так же, как в историю борьбы французских рабочих — Монмартр, район, ставший последним оплотом Парижской коммуны 1871 года, как Стена коммунаров у кладбища Пер-Лашез, где были

расстреляны героические ее защитники. В Парижской коммуне **В. И. Ленин** видел прообраз пролетарского государства, рабочих Красной Пресни он назвал ПЕРЕДОВЫМ ОТРЯДОМ ВСЕМИРНОЙ РАБОЧЕЙ РЕВОЛЮЦИИ.

Пресня стала Красной, стала символом несокрушимой воли к победе русского рабочего класса. Именно так рисовали Пресню передовые русские писатели, свидетели событий, именно так писали и пишут о ней прозаики и поэты следующих поколений.

Владимир Маяковский воспел Пресню в поэме **«Владимир Ильич Ленин».** Он писал:

Девятое января.
Конец гапонщины.
Падаем,
царским свинцом косимы.
Бредня
о милости царской
прикончена
с бойней Мукденской,
с треском Цусимы.
Довольно!
Не верим
разговорам посторонним!
Сами
с оружием
встали пресненцы.
Казалось —
сейчас
покончим с троном,
за ним
и буржуево
кресло треснется...

Но с троном, как известно, в 1905 году российскому пролетариату, в авангарде которого шли пресненцы, покончить не удалось. **«...Пролетариат Москвы поднял знамя восстания против царизма,**— писал через пятнадцать лет после Московского вооруженного восстания **В. И. Ленин.— Это был высший пункт развития первой рабочей революции... Рабочие потерпели поражение, и Пресня обагрилась рабочей кровью. Незабвенный героизм московских рабочих дал образец борьбы всем трудящимся массам России. Но массы эти были тогда еще слишком неразвиты, слишком разрозненны и не поддержали пресненских и московских героев, с оружием в руках поднявшихся против царской, помещичьей монархии».**

Несколькими фразами, предельно лаконично и выразительно нарисовал **М. Горький** в романе **«Жизнь Клима Самгина»** картину последнего дня восстания:

«Пушки замолчали. Серенькое небо украсилось двумя заревами, одно — там, где спускалось солнце, другое — в стороне Пресни. Как всегда под вечер, кружилась стая галок и ворон...»

Как реквием тому трагическому дню звучат заключительные строфы поэмы **Бориса Пастернака «Девятьсот пятый год»:**

Ад дымит позади.
Пуль неслышно.
Лишь вьюги порханье
Бороздит тишину.
Даже жутко без зарев и пуль.
Но дымится шоссе,
И из вихря —
Казаки верхами.
Стой!
Расспросы и обыск,
И вдаль улетает патруль.

Было утро.
Простор
Открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,
И, как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
Мыла
Выступы конного строя...

Пожалуй, самую большую лепту в художественную историю революционной Пресни внес старейшина советской литературы, писатель-коммунист **Александр Серафимович.** Он десятилетия жил на Пресне и своими глазами видел все, что здесь происходило в дни вооруженного восстания. Горячее сочувствие боровшимся рабочим, солидарность с ними он выразил в нескольких произведениях, созданных под свежим впечатлением, по следам событий.

«Очерк **«На Пресне»**,— вспоминал впоследствии автор,— писался в самые дни восстания, когда кругом свистели пули и грохотали орудия».

Серафимович так расшифровал творческий замысел этого произведения:

«Основной задачей я ставил себе: запечатлеть хотя бы в беглых очерковых чертах жестокость усмирителей и хотя бы в скрытой «косвенной» форме показать «безумство храбрых», мужество горстки бойцов, сражавшихся на Пресне».

Рисуя строительство баррикад, поведение дружинников, он сумел раскрыть их человечность, стремление избежать ненужных жертв со стороны мирного населения и, я бы назвала это, вдохновенность

в борьбе. В поведении же казаков отчетливо вырисовывается озлобление, механически тупое выполнение воли тех, кто поставил их против народа.

С утра обыкновенно бывало тихо,— читаем мы в очерке **«На Пресне»**,— но к часу разыгрывалась орудийная стрельба. Улицы — как вымерли. Зато у каждых ворот, у каждой калитки, на каждом перекрестке кучки народу. Передают случаи расправы войск и полиции, подвигов дружинников и горячо обсуждают шансы победы той или другой стороны в развертывающейся кровавой драме.

— И у нас баррикады строят,— и испуганно и радостно говорит прислуга.

— Где?

— У заставы.

С представлением революции, восстания вяжется что-то необычайное, поражающее. Но когда я подходил к заставе, все было необыкновенно просто. С пением, со смехом, с шутками валили столбы, тащили ворота, доски, бревна, сани со снегом, и баррикада вырастала в несколько минут, вся опутанная телеграфной и телефонной проволокой. У ворот и по тротуару толпился народ.

— Ну, братцы, и бабы пошли на баррикады... Дело Дубасова — дрянь... Хо-хо-хо.

Все весело подхватывают и смеются.

Баррикады одна за другой вырастают вниз по улице по направлению к Пресненскому мосту. Вдруг публика исчезла. Улица пустынно, мертво и грозно белела снегом. Бревна, доски, столбы, перевернутые сани, неподвижные и беспорядочно наваленные поперек улицы, придают этим домам, окнам, наглухо закрытым лавкам, зияющим воротам вид молчаливого и напряженного ожидания.

Я тоже захожу за угол в переулок.

— Что такое?

— Казаки.

И это короткое слово разом освещает пустынную улицу и наваленные бревна ровным, немигающим серым светом, в котором чуется: «Для кого-то в последний раз?..» Любопытные жались к воротам. Молодой парень, подняв руку, крикнул:

— Пе-ервый номер!..

Несколько человек с револьверами в руках сгруппировались у ближайшей к углу калитки.

— А вы отойдите... отойдите, пожалуйста... а то подой-

дут — вы побежите, паники наделаете,— говорил парень, обращаясь к публике.

— Это — дружинник,— передавали, отходя, шепотом друг другу, и в этом шепоте и во взглядах, которыми его провожали, таилось уважение, смешанное со страхом и надеждой на что-то большое, что сделают эти люди.

Я выглянул. Серым развернутым строем поперек всей улицы шли вдали спешенные казаки. Когда взошли на мост, их серый ряд разом блеснул огнем и раздалось: рррр.... рррр... точно рвали громадный кусок сухого накрахмаленного ситца. По баррикадам, по водосточным трубам, по вывескам и окнам, а особенно по калиткам дворов, щелкая, посыпались орехи... Рррр... рррр... ррр-ы! Я вбежал в калитку переулка. Тут толпилось человек двадцать прохожих и любопытных. Металась какая-то женщина.

— Ой, батюшки, да куда же я...

А ситец продолжали рвать. В промежутках нежно защелкали браунинги. На противоположном перекрестке дружинник спокойно опустился на колено, прицелился из винтовки, блеснул огонь, и вдруг среди стрелявших раздались крики и радостный смех:

— Браво... браво... браво!..

Ситец перестали рвать. Публика опять высыпала на улицу. Я тоже вышел. Везде стояли кучки. Подобрав четырех раненых, свернувшись повзводно, серели вдали, уходя, казаки.

Снова закипела работа. Баррикады росли одна за другой. Внизу улицы, возле моста, выросла последняя. Красный флаг победно волновался над нею. А вдали угрюмо и молча глядела на нее пресненская каланча.

...Ночью город вымирал. Мутно белел снег. Черными неясными громадами в глухой неподвижной тьме тонули дома. Ни одного огонька. Ни одного звука. Только собаки лаяли, перекликаясь, и в промежутках стояло молчание. Казалось, среди ночи раскинулась большая деревня, и покоем и мирным сном веяло над нею.

Половина одиннадцатого ночи.

...Рррр... рррр... рррр...

Залпы раздирают ночное молчание и гонят иллюзии... Рррр...

Это уже у нас внизу, во дворе. Я осторожно отворяю

форточку. Стреляют в воротах. Пули, как из решета, сыплются в забор, в парадные двери. Весь дом — как мертвый. Дружинников тут нет, потому что им неудобно скрываться и оперировать,— двор как мешок, с одним выходом, и их легко всех захватить. Тем не менее солдаты стреляют во двор, в окна обывателей, чтобы нагнать страху, чтобы никто не показывался, и главное потому, что в дружинников стрелять не приходится: они неуловимы.

Выстрелы стихают. С улицы доносится говор и голоса. Небо понемногу багровеет. Несутся искры, коробится и трещит дерево,— жгут баррикады.

Кто-то громко высморкался, и этот мирный звук звонко и как-то умиротворяюще разнесся в морозном ночном воздухе...

Зарево разгоралось. Дома угрюмо выступили, кроваво озаренные, с мертвыми, незрячими окнами. Потом понемногу потухло, все стихло, солдаты ушли,— и снова угрюмо царил мертвый, молчаливый мрак и лаяли собаки.

«Конец!»

Грудь давило, как наваленной могильной плитой. Впереди чудился кошмар кровавой расправы. Каково же было удивление утром, когда я увидел, что это еще не конец: вновь возведенные баррикады гордо красовались, и непреклонно веял красный флаг. В городе все было подавлено, только Пресня, пустынная и вся связанная баррикадами, угрюмо и гордо давала последний бой...

Очерк А. Серафимовича «На Пресне» — репортаж с места событий, ценнейшее свидетельство современника. Этим очерком, так же как и своими рассказами на ту же тему, писатель сохранил для потомков колорит эпохи, ее дух, запечатлел картину сознательной героической борьбы пресненцев.

Силой и стойкостью своего сопротивления, самоотверженностью, нравственной чистотой своих помыслов борцы революции не могли не изумлять, не потрясать какую-то часть казаков и солдат, не оказывать влияния на них. **В. И. Ленин** писал: **«Московский пролетариат дал нам в декабрьские дни великолепные уроки идейной «обработки» войска,— напр., 8-го декабря на Страстной площади, когда толпа окружила казаков, смешалась с ними, браталась с ними и побудила уехать назад. Или 10-го на Пресне, когда две девушки-работницы, несшие красное знамя в 10 000-ной толпе, бросились навстречу казакам с криками: «убейте нас! живыми мы знамя не отдадим!» И казаки смутились и ускакали при криках толпы: «да здравствуют казаки»! Эти образцы отваги и геройства должны навсегда быть запечатлены в сознании пролетариата».**

Один из «уроков», подобных тем, о которых писал Ленин, **А. Серафимович** нарисовал в своем рассказе **«Похоронный марш»**.

«Описанный в «Похоронном марше» случай отказа казаков стрелять в рабочую демонстрацию действительно произошел в Москве, у Зоологического сада...— свидетельствовал писатель.— Против демонстрантов выслали 1-ый Донской полк... Но рабочие выслали к казакам «парламентеров», и после недолгих переговоров казаки наотрез отказались стрелять в рабочих».

Стоит только привести отрывок из рассказа «Похоронный марш», и станет ясно, как сильно — по своему содержанию, по тональности описания событий — он перекликается с тем, что писал Ленин.

...Они шли среди громадного города густыми чернеющими рядами, и красные знамена тяжело взмывали над ними, красные от крови борцов, щедро омочивших их до самого древка...

С веселыми безусыми лицами шли молодые.

Сурово-сосредоточенно шли старики, быть может все еще борясь с таившейся в глубине души привычкой рабства, с темной боязнью новизны впечатлений, все опрокинувших...

Весело, беззаботно идет толпа, как будто эти чистые, прямые, широкие улицы, эти фасады, испещренные лепными украшениями, как раз были предназначены для них, случайных здесь гостей, для этих черных рядов, развертывающих почуявшую себя силу.

И ряды проходят за рядами, и реют знамена, и плывет: «Нам не ну-ужны зла-ты-ые ку-уми-и-и-ры...» — и разрастается, захватывает и, густо дрожа, заполняет улицы, площади, овладевает городом, подавляя на минуту его беспокойно-крикливую жизнь, разрастается в нечто могучее, могучее не своей наивной неуклюжестью поэтической формы, а всколыхнувшимся чувством глубоко взволнованного моря, почуявшего человеческое. И в этом густом, все заполняющем гуле шагов слышалась гордая сила, познавшая самое себя...

...Далеко в дымке теряющейся улицы смутно засерело, как сереет печальная отмель в пустынном море, плоская и безлюдная, печальная отмель, над которой носятся белые чайки. Все подняли головы, раздулись ноздри, собрались складки между бровями...

...А серая отмель вырастала и из печальной и скучной становилась грозной. Ясно стало: это люди, серые, одинаковые. Солнце играло на остриях оружия.

Было у них одно лицо, неподвижное, немое, как каменное лицо валуна среди мшистых скал, от века нагроможденных. Тусклые глаза мутно глядели на приближавшихся.

А те шли тесно, взявшись за руки, и над чернотой беско-

нечных рядов кроваво реяли знамена, и стоял все тот же густой, непреградимый, упорный, все заполняющий гул шагов...

...Офицер полуобернулся к солдатам и сказал слова команды.

Горнист поднял рожок, раздвинул усы, приставил к губам, надул щеки. И разом вся огромность, все значение больно сверкавших штыков, черно зиявших пулеметов перешли к одному человеку в серой шинели.

Словно испытывая всю мощь, весь ужас, который сосредоточился в нем, он оторванно бросил этим тысячам жизней три коротких звука.

Дружно блеснув, покачнулись штыки, и сотни их послушно легли на руку, остро протянулись к надвигавшемуся живому морю, безмолвно глядя чернеющими дулами. Передняя шеренга серых людей опустилась на колено, и пулеметы жадно глядели на неумолимо приближавшиеся живые тела.

Смолк говор, потух смех. Настала звенящая тишина и все больше заполнялась звуком шагов...

Разрушая напряжение, над тысячами обреченных, тысячами молодых и старых голосов могуче зазвучал похоронный марш:

...лю-бви без-за-вет-ной к на-ро-о-ду...

Как прощание восходило пение к бледному небу, к кровавому солнцу, к каменному городу, затаившему шумное дыхание, и народ, толпившийся по переулкам, жавшийся вдоль тротуаров, народ снимал шапки им, идущим.

...лю-бви без-за-вет-ной к на-ро-о-ду...

Как погребальный звон, плыло над ними:

...мы от-да-ли все, что могли, за не-го...

Лица были бледные, глаза светились, и шли они, как обреченные...

Пространство между надвигающимся погребальным шествием и серыми шинелями, страшное пустотой смерти, таяло, как догорающая жизнь...

...Офицер, с бережно зачесанными кверху усами, холодно мерял привычным глазом неумолимо сокращающееся расстояние, блеснул, подняв руку, саблей, и губы шевельнулись, произнося последнее слово команды.

Страшные секунды ожидания покрылись:

...прощайте же, бра-атья!..

И в то же мгновение исчезло пространство смерти, затоп-

ленное живыми, движущимися рядами. Как сверкнувшая вода, блеснули покорно поникшие к земле штыки, и солдаты, растерянно и радостно улыбаясь, потонули в человеческом потоке; лица их были бледны, и у каждого было свое особое молодое лицо. Растворилась серая преграда в бесконечно чернеющих надвинувшихся рядах, как скатившийся с каменистого берега гранитный валун в набегающих волнах.

Отвернувшись, офицер опустил ненужную холодную саблю. Глупо глядели пулеметы.

Десятки тысяч людей шли, пели гимн смерти, и торжественно и могуче из могильного холода и погребального звона вырастала яркая, молодая, радостная жизнь и сверкала на солнце, и играла на лицах тысяч людей, и народ, густо черневший вдоль улиц, несмолкаемо и исступленно приветствовал их...

События революции 1905 года стали политической школой русских рабочих. За короткий срок выросло сознание женщин-работниц, жен и дочерей тех, кто уже понял необходимость борьбы за свержение царизма. Образы их нарисовали русские писатели. Все они духовно сродни Ниловне, героине романа Горького «Мать». Но у каждой из них свой характер, свой путь. И как правило, в основе произведений об этих героических женщинах всегда лежат жизненные факты, многочисленные наблюдения.

«В рассказе **«Бомбы»**, — писал **А. Серафимович**,— Марья задавлена безысходной нуждой, ее давит темнота и некультурность, но постепенно, вслушиваясь в содержание агитационных бесед пропагандистов с рабочими, она начинает проникаться сознанием неизбежности жестокой классовой борьбы. Весть о гибели мужа на баррикадах она принимает как должное и деловито принимается разыскивать спрятанные мужем бомбы, которые и передает пришедшему дружиннику. Я хотел показать пролетарскую обстановку, в которой выковывалась такая воля к борьбе и такое мужество...» Писателю довелось встречаться с женщинами, похожими на Марью, история ее жизни была типичной в старой России. «Из кусочков всех этих хорошо засевших впечатлений», по признанию Серафимовича, он «и слепил этот образ».

Современник Серафимовича писатель **Александр Яковлев** создал образ женщины тех же времен — Кати Турлаковой. Героиня его рассказа **«Жена»** Катя не прошла того мучительного пути, который выпал на долю Марьи. Она с любовью вила свое семейное гнездо, а если и беспокоилась, то только в связи с тем, что если «Прохоровка тоже встанет, где тогда причалу искать». Но вот пришли дни московского вооруженного восстания, последней держалась Пресня, в событиях активное участие принимал Катин Максим. Тревога за него в эти решающие, полные опасностей дни переросла в тревогу и за его товарищей. Она предупреждает их о грозящем аресте и тем самым спасает последних пресненских дружинников. Перед читателем — новая, смелая, самоотверженная женщина. Такой сделали Катю героические дни пресненских боев.

Не отпирая калитки, она побежала за дом, к забору, отодвинула доску и вышла на берег,— пишет Александр Яковлев.— На снегу лежали красные дрожащие отсветы пожара. Катя спустилась под обрыв. Двое черных шли от фабрики через лед. Они крались. Когда они подошли совсем близко, Катя их окликнула вполголоса. На черном обрыве они не заметили ее, испугались, остановились: «Кто это?»

— Вы не ходите в улицу. Там ждут вас. Полиция.

— Куда же мы денемся? Везде солдаты и полиция.

— Идите вот под обрывом до кладбища. А там можно спрятаться. Там можно в поле, в лес.

— А пройдем там?

— Пройдете.

— Надо бы сказать нашим. А то не знают, где выбраться.

— Ступайте. Скажите. Я подожду.

Один присел рядом с Катей, под обрывом. Другой через лед пошел назад к фабрике.

— Ты как это надумала предупредить? — спросил мужчина Катю.

— Муж у меня там. Боюсь, попадет. Может, слыхал — Максим Турлаков?

— Знаю Максима. Ты тихонько говори, услышат. Выбираться всем надо. Не выгорело.

— Идут. Гляди, идут вон.

В самом деле, через лед редкой вереницей шли люди, едва видные в красноватом полумраке. Они подошли. Один сказал:

— Вот она.

Чьи-то лица надвинулись к лицу Кати:

— Полиция и казаки в улице?

— Да, идите под обрывом, вон к кладбищу, а там в поле.

— Спасибо, товарищ. Надо поставить здесь человек десять, пока уходим. Если нападет полиция, дать отпор.

Они заговорили вполголоса, торопливо. Человек десять цепочкой разошлись по краю обрыва. Другие пошли к кладбищу. А через реку подходили еще дружинники. Катя заметила — они тяжело дышали, волновались. Максим тоже пришел. Катя сразу узнала его в полутьме, схватила за рукав, вцепилась.

— Ты как здесь? — удивился Максим.— Что делаешь?

— Тебя жду. Идем домой.

— Я хотел зайти. Но... Мне тоже идти надо. Меня ищут. Убьют.

— Куда же ты уйдешь?

— Не знаю. Место найдется. Ты видишь сама: остаться — несдобровать. Мы пока уйдем, но мы скоро вернемся.

Катя молча припала к его рукаву лицом и молча заплакала. Она сама провожала его под обрывом до кладбища. Тут бы вот и поговорить напоследок. Но шли молча...

Утро встало белое, полное тумана.

Другой современник событий, писатель **Иван Данилин,** много писавший о рабочей жизни, посвятил революции 1905 года рассказ **«Михей».** В этом рассказе выразительно нарисована атмосфера духовного подъема, охватившего рабочих в дни всеобщей забастовки.

Рабочие сначала таинственно шушукались, осторожно озирались, потуплялись и мгновенно принимали озабоченный, деловой вид при начальстве, а друг на друга смотрели радостными взглядами, значительными и без слов говорящими о том, что было важно и дорого для всех них,— читаем мы в рассказе «Михей».— И лица, прежде равнодушные, покорные, робкие, стали подвижными, смелыми, точно это были не лица, а рисунки учеников, до которых дотронулся карандаш великого художника и сразу придал им и жизненность и силу.

Потом стали ронять слова, таинственные, жуткие, а в глазах вспыхивала отвага, и короткие слова оттого казались огромными, убедительными.

И, как отзвук прежнего гнета, кое-где замирая, шипел шепот трусливых и робких:

— Осторожнее, леший, за такие речи нашего брата пошлют, куда Макар телят не гонял!

Но страх рухнул под напором того нового, что, казалось им, охватило их всех, во что они уверовали слепо и сразу, к чему они ранее прислушивались, как к томившей их грезе, и чему теперь отдались, как первой любви.

И, как первая любовь, оно опьянило их.

И скоро почти все говорили уже безбоязненно о правах, о правде, о борьбе, говорили, сверкая возбужденными лицами и обжигая огнем счастья и отваги в горящих глазах.

Действие в рассказе «Михей» происходит на одной из пресненских фабрик. В центре повествования — внутренний мир старого, забитого рабочего Михея. Он ощущает страх: а что будет дальше?.. Михей не может отрешиться от рабской покорности и подобострастно отвечает на вопрос управляющего фабрикой: «Что же ты, Михей, никаких требований не предъявляешь? Тоже, поди, чем-нибудь недоволен?»

Иван Данилин пишет:

Михей почувствовал в словах управляющего насмешку, не над собой — нет, ему показалось, что управляющий смеется над «свободой» человека говорить о своих нуждах, и горькая обида поднялась в нем от этих слов... Но, взглянув на управляющего и встретив его злой и насмешливый взгляд, он съежился, забыл сразу, что хотел сказать, задрожал от страха в поджилках ног и, низко наклонившись, торопливо и робко проговорил:

— Всем доволен, Лука Исаич, и так за вас вечно бога благодарю!

Робкий, послушный тон и полная почтительности фигура старика теперь, когда уже рабочие делали вид, что не замечают его, тронули управляющего своей преданностью. Он подумал, что только один этот старик и остался каким был ранее, и, душевно сам растроганный пришедшими ему мыслями, проговорил:

— Служи, старик, и дальше честно и верно, как служил раньше! Служба не пропадает! Криком много не возьмешь, а своих настоящих, верных работников мы и сами не забудем. Так-то, старый!

И он похлопал его по плечу.

Управляющему показалось, что Михей остался таким, каким был всегда. Но в действительности он уже был другим:

...Когда управляющий ушел, старику стало совестно за себя. Говорили они один на один, никто их не слыхал... но все-таки у него осталось какое-то нудное чувство, точно чему-то изменил и кого-то обманул. И казалось ему, что то, что пронеслось мимо него ликующе и широко,— праздник угнетенных и обиженных, а стало быть, и его праздник,— омрачилось.

С этого момента начались душевные муки Михея. Наконец он решил, что должен пойти к управляющему и сказать ему то, что думал. В душе его победило то новое, что было рождено революцией.

...В одно утро Михей проснулся... с твердой решимостью, что сегодня он пойдет. Он стал собираться, нахмуренный, сосредоточенный, чувствуя над собой какую-то неотвратимую силу, которая властно тянула его туда, к Луке Исаичу.

Собирался он долго и отчего-то глубоко вздыхал и отдувался. Он... надел чистую рубаху и новые сапоги, от которых запах шел по всей товарной, и три раза повторил про

себя царя Давида и кротость его. На минуту он присел на табуретку, потом встал, помолился на образ и решительно пошел, стуча новыми тяжелыми сапогами.

Шел он вздыхая... шел, не зная, что скажет, и чувствовал только одну неотвратимую силу, которая властно влекла его.

Революция 1905 года распрямила многих людей, заставила их по-новому увидеть жизнь, подняла на более высокую ступень. В одни ряды она поставила и Марью (рассказ А. Серафимовича «Бомбы»), и Катю (рассказ А. Яковлева «Жена»), и старика Михея (рассказ И. Данилина «Михей»). И это выразительно показано русской литературой.

Московское вооруженное восстание, героическое сопротивление его последнего оплота — Пресни, страшным призраком встало не только перед врагами революции, но и перед испугавшимися ее размаха и жаждущими покоя обывателями.

В романе **М. Горького «Жизнь Клима Самгина»** есть знаменательная сцена. Озорничающий, умный, тонко чувствующий жизнь и хорошо понимающий людей купец Лютов проник в тайное тайных Клима Самгина. Он ощутил его истинную сущность. Все принимают Клима за человека близкого революции, а Лютов знает — Клим ее боится, он жаждет только одного — покоя, ждет, чтобы все скорее кончилось.

Когда судьба восставшей Пресни ходом событий была уже предрешена, Лютов, передавая Самгину свой разговор с градоначальником, считавшим, что Клим участвовал в строительстве баррикад, дразнит его.

Он схватил руку Самгина, замолчал, дергая ее, заглядывая под очки, и вдруг тихонько, ехидно спросил:

— А — вдруг пушки-то у них отняли? Вдруг прохоровские рабочие взяли верх, а? Что будет?

Самгин усмехнулся, говоря:

— Не можешь ты без фокусов!

— Нет, вообрази, что будет, а? — шептал Лютов, надевая шубу.

И, стиснув очень горячей рукой руку Самгина, исчез.

Клим остался с таким ощущением, точно он не мог понять, кипятком или холодной водой облили его?

Клима Самгина страшила возможность нового революционного взрыва, а потерпевшие поражение пресненцы верили в него и ждали его. Оптимистическая вера в конечную победу революции пронизывает произведения русских писателей, изображавших пресненские события.

«Мы пока уйдем, но мы скоро вернемся» — эти слова мужа Кати, прохоровского рабочего Максима Турлакова (рассказ А. Яковлева «Жена»), звучат как лейтмотив. И в рассказе **А. Серафимовича «Мертвые на улицах»** бородатый маляр ищет среди убитых своего сына.

Превозмогая страшное горе, сквозь слезы он говорит: «...это ничего... ничего, еще будет дело».

В том, что «еще будет дело», что пожар революции окончательио погасить иельзя, был уверен в самые тяжкие дии и **М. Горький.** В статье **«Дело Николая Шмита»**, обращаясь ко всем «честиым людям, которым противиа жестокость, отвратительно иасилие», ои писал:

Правительство хочет погасить все разгорающееся движение русского народа к свободе кровью, хочет подавить его ужасом...

Но революция не подавлена, она не будет подавлена.

Для пламени порою необходимо окутать себя дымом и скрыть в нем свое грозное лицо,—но скрыть не для того, чтобы угаснуть в нем, а только для того, чтобы собрать все силы и, снова вспыхнув, все объять и сжечь.

Им, героям пресненских баррикад 1905 года, потомки отдают даиь высокого уважения и любви. Их запечатлела в художествениых образах и картинах наша литература. Деяиия пресиенцев вдохиовляют писателей и сегодня.

Любовь ЖАК

Степан ЩИПАЧЕВ

Наследник

Есть на Красной Пресне проезд, широкий, людный, в вечерние часы залитый огнями. Называется он — Шмитовский. Кто из нас не хаживал по нему или не проезжал хоть раз! Но вряд ли многие знают о том, что он назван в память Николая Павловича Шмита, пресненского фабриканта-революционера, который помогал большевикам крупными суммами денег, а в 1905 году закупил на свои средства оружие, создал из рабочих своей фабрики боевую дружину. Он обучал их стрельбе и вместе с ними разоружал полицейских.

В начале декабрьского вооруженного восстания Николая арестовали и бросили в Бутырскую тюрьму. Чуть ли не полтора года томили его в одиночной камере и после бесчисленных допросов, издевательств зарезали. Зарезали хитро: выбили стекло и осколком перерезали вены, чтобы создать видимость самоубийства. Николай Шмит ждал такого исхода и за несколько дней до смерти сумел оформить через сестру завещание. Все свое имущество и денежные средства он завещал большевикам.

Не в таких подробностях, но я кое-что об этом все же знал еще в те далекие годы, когда был преподавателем обществоведения. Знал, что во время подавления вооруженного восстания на Пресне артиллерия Семеновского полка, присланного царем из Петербурга, больше всего била по мебельной фабрике, которую офицеры прозвали «чертовым гнездом». Прозвали за то, что дружинники этой фабрики упорнее и дольше всех оказывали сопротивление карателям.

Мысль написать об этом поэму возникла у меня давно, но я все как-то откладывал ее. Мало знал подробностей! Однако летом 1965 года поэму все же начал, и толчком к этому было вот что.

Бродя однажды по музейному залу Института мировой литературы имени Горького, я увидел на одном стенде

письмо Николая Шмита, которое он за день до смерти каким-то чудом сумел переслать сестре Кате. Это прощальное предсмертное письмо, полное мужества и веры в свои убеждения, потрясло меня. Больше с поэмой ждать я не мог.

На бумаге появились первые ее строфы.

Пора!
Я слышу гуденье дороги.
Не знаю, будет легка ли она?
Ложатся в поэму первые строки,
первые шпалы ее полотна.
Мне
еле маячит
за далью мглистой
конечная станция.
Надо спешить!
Пусть ветер времени перелистывает
страницы моей души.
Пишу, и тревоги мои об этом.
Но пусть набегают сомненья порой,
до строчки последней
мне быть поэтом
велит поэмы моей герой.

Поэму начал. Но писалась она, вероятно, очень бы трудно, а может, и вообще бы не получилась. О Николае Шмите, о его близких, родных, о его характере я все же знал слишком мало. Выручила опять же случайность. В Историко-революционном музее «Красная Пресня» я наткнулся на только что вышедшую из печати книгу «Хозяин чертова гнезда». Ее автор, Евгений Николаевич Андриканис,— племянник Николая Шмита. Моей радости не было предела. Книга эта решительно заполнила пробелы в моих сведениях о будущем герое поэмы.

Через три месяца поэма была закончена. Оставалось только найти название. Бился над этим долго. Но, перелистывая страницы рукописи, я остановился на строчках:

Он встал. Опрокинув полою стул,
Поспешно оделся...
Забыв о постели,
он долго стоял на Горбатом мосту
в обнимку с метелью.
Она лицо остужала ему,

со свистом с моста уносилась во тьму.
В тот день Николай — капитала наследник —
стал совершеннолетним.
«Наследник... Да, да, я наследник...
Парижской коммуны, рабочей Пресни».

Название найдено: «Наследник»!

Поэму, еще до опубликования, я прочитал на расширенном заседании правления Московской писательской организации. Сказано было много добрых слов Ярославом Смеляковым и другими товарищами, а присутствовавший на заседании радиожурналист и писатель Юрий Гальперин записал поэму на пленку, и она вскоре прозвучала в эфире в программе «Литературные вечера». Не затянулось дело и с публикацией поэмы. Она полностью появилась в «Известиях» с портретом Николая Шмита.

Пошли письма. Поэма разыскала еще здравствовавших тогда шмитовских дружинников (к сожалению, их оказалось в живых всего четверо), разыскала она и других стариков, кто знал и помнил Шмита. Откликнулся письмом старый большевик Евгений Михайлович Климек, сидевший в «Бутырках» в камере, соседней со шмитовской. Прислала письмо в редакцию и Елена Константиновна Кравченко, хорошо знавшая Николая Шмита и не раз бывавшая по партийным делам на его фабрике.

И вот все эти люди — в редакции. Их пригласили обменяться мнениями о поэме и поделиться воспоминаниями о том далеком, ставшем уже легендарным, времени. Собрались, разумеется, не без помощи редакционных автомашин. Настроение у всех было праздничное. Да и не удивительно. Не часто стариков балуют таким вниманием. Выступали охотно.

Алешину — восемьдесят три, но он еще крепок, коренаст, глаза живые. «Я работал столяром на мебельной фабрике,— говорил он,— и мой отец работал столяром тоже на мебельной фабрике Шмита, когда она была еще на Арбате, где сейчас ресторан «Прага». А о Николае Павловиче, как о нашем руководителе, хочу сказать вот что: он не только вооружил, но и оберегал нашу боевую дружину. А когда пришел час, бились мы хорошо, дружно».

Совсем по-молодому выступил Климек. Худощавый, подвижный. Он рассказал о знакомстве со Шмитом, о тюремных встречах и беседах с ним. Рассказал и о той трагической ночи:

«Во время обычной уборки ко мне вошел уголовный заключенный и, озираясь на дверь, чтобы надзиратель не услышал, шепотом говорит: знаешь, вашего Шмита зарезали сегодня ночью. Весть эта распространилась по всей «Бутырке». Возмущению не было конца. Погиб прекрасный человек, исключительной скромности, духовной красоты, ума, обаяния. Забыть его невозможно».

Писем поступило много. Они шли в «Известия», в Радиокомитет, в мой домашний адрес, а иногда и без всякого адреса — «на деревню дедушке». Не собираюсь их приводить — кто из поэтов не получает читательских писем!

Вот, пожалуй, и все, что хотелось мне рассказать читателям сборника, посвященного прошлому и настоящему Красной Пресни. Писем, повторяю, было много. Были и с критическими замечаниями о поэме. Я учел эти замечания. Внимательный мой читатель заметит это, если перечитает «Наследника» в недавнем издании.

А теперь — отрывок из поэмы.

Морозным, железным пришел декабрь.
Рабочая Пресня в кольце баррикад.
Неубранный снег месили подковы.
Глядела в глаза неизвестность.
Орудия жерлами шестидюймовыми
поворачивались на Пресню.
Вставала сила на силу.
Горели костры, растопляя снега.
Топтались солдаты вокруг —
верзилы
Семеновского полка.
А там
рубили столбы, тащили мебель,
валили конки,
чтоб не пропустить врага,—
и над баррикадами в небе
плыли снежные облака.
Рабочая Пресня
готовилась к бою.
На шмитовской фабрике
в цехе обойном
три девушки
низко склонились,
спешили:

по красному бархату
золотом шили.
Иголками
букву за буквой
с утра:
«Пролетарии всех стран...»
Одна — иголкою до крови палец.
Две капельки крови
на бархат упали.
Две капельки крови.
Нахмурила девушка бровь.
Это на знамени
первая кровь.
Рабочее знамя.
По бархату буквы в строку.
Ему с баррикады
грозить врагу,
пробитому пулями в славном году,
в музее стоять
у веков на виду.

Поэма эта, конечно, о Шмите, о его трагической судьбе, но она и о том времени, когда

так громко звучали впервые
два слова железных: РАБОЧИЙ КЛАСС.

Наряду со Шмитом в поэме я рассказал и о рабочем Иване Карасеве, сраженном пулей в самом начале вооруженного восстания. Гроб с его телом был поставлен в столярном цехе шмитовской фабрики, где и сгорел вместе со всей фабрикой при артиллерийском обстреле.

Над Преснею
порохом воздух пропах.
Кровавая марля
под ситцем рубах.
В чаду и в дыму,
но еще не разбита
твердыня дружинников —
фабрика Шмита.
От ламп керосиновых
полутемно.

Материей красной
повит станок.
И гроб на станке
(он навек заколочен)
пожары в окно
озаряют из ночи.
В гробу — Иван Карасев.
Дружинники в горе не клонят голов,
а рвутся туда отомстить врагу
за Ванину кровь на колючем снегу.
Бесстрашный герой
легендарной поры,
надежный маузер —
из кобуры,
и по переулку —
всех впереди,
чтоб роте семеновцев
путь преградить.
Иван Карасев,
я вижу тебя
и тех — за тобою —
рабочих ребят.
Отважное сердце
пылало в груди.
С тех пор коммунисты
всегда впереди.

Вера МОРОЗОВА

Революционеры

Мой отец был дружинником. Боевиком. Дрался на баррикадах в дни первой русской революции. На баррикадах Пресни. Голова его была отмечена казачьей шашкой, а память с удивительной точностью сохраняла события тех дней. Жизнь он любил горячо и никогда не жалел себя. Жил требовательно, с раздумьем.

В дни революционных праздников в доме собирались его боевые товарищи. Звучали революционные песни. Их прекращали петь только для рассказов о тех героических днях. Иногда замолкали, сидели притихшие, горестные. Это значило, что кого-то нет среди них. Убили, замучили в царской тюрьме, но человек жив в сердцах друзей, хотя прошло добрых полстолетия.

Ранним утром в кожанке, с маузером на ремне, отец уходил с товарищами на Красную площадь — дружинники и красногвардейцы открывали праздничное шествие. И я очень гордилась ими.

Эти люди напоминали мне былинных богатырей — такой несокрушимой силой были наполнены их сердца, с такой великой надеждой смотрели они в будущее. Красивых слов они стыдились. Рассказы их были всегда чуть-чуть лукавыми и сопровождались взрывами хохота. Смеялись они с радостью и детским простодушием. Уважение к дням Пресни было огромным. Особенно много говорилось о шмитовцах, об их геройстве и мужестве на баррикадах. К сожалению, ушли из жизни товарищи отца, ушел и мой отец, но в памяти остались слова о революции, осталось внимание к Красной Пресне. Судьба ее всегда меня интересует, всегда близка мне и дорога.

Я очень любила говорить со своим отцом, радовалась его доброте и вечной благодарности к рабочим Пресни. Один из них спас ему жизнь. Когда отца не стало, я не плакала. Казалось, слезы оскорбляли горе. Мне не хватало задушевных бесед со своим отцом, озорных смешинок в его серых глазах. Я стала писать, чтобы рассказать о людях, свершивших революцию. Захотелось побольше узнать о них, порыться в архивах, встретиться с людьми, которым посчастливилось быть участниками тех событий. Первый мой рассказ назывался «Декабрьские дни». Я нашла своего героя — Николая Павловича Шмита. От книги к книге шла я к раскрытию образа этого замечательного человека. Светлого романтика, служителя революции. О нем и моя новая работа — «Мост вздохов», главу из которой я предлагаю читателям этого сборника.

Недавно Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС получил присланные из Парижа неизвестные документы В. И. Ленина. В простой папке — документы и материалы, относящиеся к дальнейшей судьбе шмитовского наследства, переписка В. И. Ленина с французским адвокатом Жоржем Дюко де ла Ай.

Новые письма В. И. Ленина по необыкновенному стечению обстоятельств помог обнаружить правнук Карла Маркса Робер Лонге.

Зимним днем 1971 года в сквере у здания исполкома Краснопресненского райсовета открыт мемориальный знак памяти Николая Павловича Шмита. Строгий и простой, как и жизнь героя.

Тема революции — единственная в моем творчестве. Единственная — в память отца, в память его товарищей, в память таких людей, как Николай Шмит.

«Убийство или самоубийство?»

«Николай Шмит — студент университета, очень богатый человек, он владел лучшей в Москве фабрикой стильной мебели, предприятие его было поставлено во всех отношениях прекрасно, славилось изяществом своих работ, давало большие доходы.

Человек молодой, по природе своей мягкий, влюбленный в художественную сторону своего дела, Шмит нашел справедливым улучшить положение рабочих своей фабрики, что, вероятно, было небезвыгодно ему как хозяину предприятия.

Его приличные отношения к рабочим и — обратно — добрые отношения рабочих к нему создали Шмиту в глазах московской полиции репутацию либерального фабриканта, политически неблагонадежного человека.

Порядочность, как бы она ни проявлялась, считается преступлением в стране, которой, как это известно, управляют министры, ворующие овес и хлеб у крестьян, где царь любит делать убийц генералами и поощряет генералов к убийствам классически циничной фразой, которую он бросил генерал-лейтенанту Казбеку, после его доклада о мирном конце восстания солдат владивостокского гарнизона:

— В народ всегда надо стрелять, генерал!..»

Людмила Николаевна отложила журнал. Парижский. Со статьей Максима Горького. Да, они дружили — Николай Шмит и Максим Горький, вместе слушали Шаляпина, вместе мечтали... Теперь Максим Горький страстно боролся за жизнь Николая Шмита, находившегося в Бутырской тюрьме. Старался привлечь там, за границей, к «делу Николя Шмита» мировую общественность, старался вызволить его от смертельной опасности, старался вырвать из рук тюремщиков. Но опоздал. Шмита убили... Убили... Не спасли, не успели...

Вздохнув, Лиза взяла журнал.

«Полиции было предписано доставить материал для русской Фемиды — существа чудовищного, ибо оно безвольно, глухо и слепо, а челюсти его приводятся в движение не живой силой справедливости, а механическими толчками из Петербурга...»

Сестры сидели рядышком, как в то памятное свидание в кабинете следователя в Петропавловской крепости. Но на сей раз в Москве Лиза снимала у портнихи за пять рублей в месяц скромную комнатку. Готовилась к вступительным экзаменам на курсы профессора Герье. Людмилу Николаевну она из виду потеряла давненько. После освобождения из Петропавловки ее выслали в Вологодскую губернию. Но до места ссылки сестра не добралась — бежала в Ярославле, оттуда на юг — известия приходили то из Одессы, то из Николаева. Были и письма с тюремным штемпелем, значит, были и новые аресты. Об арестах старшая сестра никогда не говорит, да Лиза — не маленькая, понимала и без слов: арест в Николаеве на рабочем собрании, побег из полицейского участка и новый арест на вокзале. Позднее Людмилу выслали в Курск под надзор полиции. И опять Людмила бежала в Москву. Она ввалилась ночью и озабоченно прислушивалась к уличному шуму. Лиза готова поклясться — сестра побледнела, когда около дома зашуршал осенний лист под колесами пролетки... В Москве пробыла недолго. Прошла октябрьская стачка, и она уехала в Петербург. Изредка Лиза получала скупые весточки, полные недомолвок и настороженности. Чувствовала, что сестра — в сражении, в опасности. И действительно, Людмилу арестовали июльским днем 1906 года, продержали в «Крестах» семь месяцев и, предъявив обвинение по делу Питерской военной организации, выпустили под залог. И новая боль в сердце Лизы: дело громкое — возможны долгие годы заточения, а то и каторга. Судебная машина завертелась, и обвинение ожидали по 102-й статье Уложения.

Лиза смотрела сейчас на Людмилу Николаевну и дивилась ее мужеству. Сестра так напоминала маму — серые глаза под чуть сросшимися бровями, полные губы, пушистые светло-каштановые волосы и эта улыбка проступала в каждой черточке лица, вспыхивала по любому случаю, а то и просто без случая. Смеялись глаза, губы, щеки. Сестра молодела, хорошела. Но сегодня сестра не улыбалась. Сидела печальная, безучастная. В Москве, как всегда, проездом, до решения суда отправлялась в Екатеринослав. И в Москве-то

она не ради нее, Лизы, хотя и любила ее безмерно, но личные встречи — непозволительная роскошь в жизни нелегала. Она приехала, чтобы отдать последний долг Николаю Павловичу Шмиту. Есть обязательства выше, чем узы родства. Боль за погибшего Шмита заполнила Людмилу — Лиза это видела. И эта боль вызвала у Лизы другое, более сильное чувство — страх от ожидания тех невзгод и испытаний, которые подстерегали старшую сестру. От этих башибузуков можно ожидать всего — каторги, заточения в крепости. А годы-то идут, и здоровьем Людмила похвастаться не может. Людмила... Людмила... Что выпадет на твою долю?

Лиза обхватила голову руками и, стараясь унять вспыхнувшее беспокойство, закрыла журнал:

— Даже Горький не может выразить весь ужас происшедшего — Шмит мертв. Вернее, зарезан в «Бутырках» для большей правдоподобности оконным стеклом. «Убийство!» «Нервная невменяемость!» — кричат сегодня газеты... Негодяи... Как я их ненавижу! — Лиза зарыдала и, испуганно взглянув на сестру, попросила: — Извини, родная, не владею собой... Преступление совершено так расчетливо и тонко, что диву даешься. Впрочем, какое здесь диво — полная безнаказанность негодяев и трагическое единоборство жертвы... Убили накануне вручения обвинительного заключения.

— Шмиту не предъявили обвинительного заключения?! Это — после четырнадцати месяцев следствия?! — возмутилась Людмила Николаевна: — Да, в российских тюрьмах с предъявлением обвинительных заключений не спешат... Не спешат...

— Кстати, обвинение основывалось на собственных показаниях Шмита в первые дни ареста. Все знают, как добывались эти «показания»: арестованного привезли к полковнику Мину, кричали, угрожали. Шмит молчал. Тогда вывели во двор и у артиллерийских орудий инсценировали расстрел. Шмит стоял не один, рядом Мантулин и кто-то из дружинников. Обреченные обнялись, расцеловались... Команда офицера... Залпы... Один... Второй... Третий... Шмит остался живой... Расстреляли его друзей. А потом на допрос. Очень хороший путь, чтобы добиться «чистосердечных показаний»...

— Жестокость... Расчетливая... Холодная... Только тюремщики способны на эдакое... Довести человека до сумасшествия и потом брать показания...— Людмила Николаевна нахмурилась.

— Подумай, что пережил двадцатитрехлетний юноша.— Лиза, обняв сестру, заговорила шепотом, словно могли подслушать.— Ночь. Темь. Слепящие факелы в руках солдат да всполохи горящей Пресни. Артиллерийская канонада. Гибель товарищей на глазах и допросы, допросы у Мина. Полковник Мин оказался редкостным негодяем, жестокость его не знала границ. Изувер в офицерском мундире. Главное — выслужиться перед царем. Готов расстреливать без суда и следствия, вешать, пытать... Что посеешь, то и пожнешь... Зинаида Коноплянникова права. Ее выстрелы в Мина прогремели на всю Россию.

— Ты оправдываешь индивидуальный террор? — насторожилась Людмила Николаевна.— Оправдываешь?

— Нет... Но такое преступление не может остаться не отомщенным. Над Шмитом Мин издевался с одержимостью варвара: морил голодом, кормил селедкой, не давая воды, терзал бессонницей, оставляя в камере неотлучно жандармов,— и все ради карьеры. Преступник! Настоящий преступник! После подавления восстания в Москве ему присвоили звание генерала, взяли в свиту царя... Какие милости! Можно подумать, что японцев разгромил. Вешатель, вешатель...— Лиза устало заключила: — Виновен или не виновен Шмит, должен установить суд, а не взбесившийся полковник!..

— Лиза, расскажи все подробно. В газетах сообщения печатают скупо. Правда, в московском «Утре» проскальзывают крохи, но в большинстве газет белые полосы — материал снят цензурой.

— Да, да... Последнее время Шмит находился в «секретке».

— В Пугачевской башне?! Страшно!

— Шмита перевели хлопотами его сестры в тюремную больницу, в двенадцатую палату. Условия жуткие — в палате были душевнобольные. Стоны, крики, безумный бред... Шмит заболел хронической бессонницей, и его перевели в «секретку». Называется, «уважили»! Полутемная, крошечная клетушка, по которой и ходить-то нужно согнувшись в три погибели. С одной стороны — душевнобольной, закованный в кандалы. С другой — Голубев, ожидавший смертной казни.

— Казнь в тюрьме — пытка для всех. Чувствуешь собственное бессилие...— Людмила Николаевна выговорила эти слова с трудом.

«Условия в «секретке» такие, что человек может разбить

себе голову о стену»,— писал Шмит сестре... Ему грозили надзиратели, подкидывали подметные записки, шантажировали. Конечно, он понимал, что готовилась расправа. Стал задумчив и встревожен — письма его сестре полны боли. Он решил бороться за перевод в тюрьму, надеясь, что на людях над ним не учинят расправы.

...Скупое февральское солнце бросало последние закатные лучи. Багровые полосы проступали на обоях. Сквозь ослепшие ото льда окна кровавые лучи вползали с осторожностью. Было что-то неприветливое и в раннем закате, и в хмуром морозном солнце, и в тоскливом зимнем дне.

— Официальная версия такова: надзиратель Кожин, присланный из Шлиссельбурга, в шесть утра зашел в камеру Шмита и нашел его мертвым. Шмит лежал на полу в луже крови. «Совсем еще теплый» — как цинично передал надзиратель сестре покойного. Был вызван врач, который и констатировал «самоубийство».— Лиза с подавленным отчаяньем махнула рукой.— Значит, так называемое самоубийство совершилось за несколько минут до проверки — проверка ровно в шесть утра. Все надзиратели находились в дежурке рядом с камерой. Но никто не слышал ни звона разбитого стекла, ни падения тела, ни предсмертных стонов. Это в условиях «секретки», где улавливали каждый вздох, каждое движение! Никто не подошел к «глазку», не поднял тревоги. Теперь газеты кричат о «бутырской тайне», риторически вопрошают: «убийство или самоубийство?». Ложь! Подлая ложь! Шмит понимал, что готовилось убийство... Более того, он переслал сестре письмо через подкупленного надзирателя.

— Письмо?! — встрепенулась Людмила Николаевна.

— Читай... С величайшим трудом добыла в университете... Там Шмита чтут... Он ведь с естественного...

Людмила Николаевна дрожащими руками развернула тонкий листок, поднесла к глазам. Буквы прыгали, расплывались от слез, предательски выступавших на глазах.

«Дорогая моя сестрица Катя, именно в эти минуты уходящей от меня жизни ты мне дороже, чем когда-либо.

За мое длинное сидение в тюрьме мы при частых свиданиях так сблизились и так полюбили друг друга.

Своей запиской я хочу оставить тебе память о себе и привязанность к тебе.

Я чувствую, что минуты мои сочтены. Еще вчера вечером появились необычные признаки и странное отношение.

Надзиратели, что-то утаивающие от меня, а вместе с тем говорившие о разных зловещих для меня слухах. Но ночью вчера ничего не случилось. Я пробовал что-либо узнать сегодня утром, чтобы быть вполне подготовленным к предстоящей неожиданности, но опять все надзиратели молчали, а в коридоре говорили о том же.

Тогда я убедился, что затевается надо мной расправа, и добивался перевода к товарищам, чтобы вместе провести остаток моей жизни и поручить передать вам письма. Но мне во всем отказано. Я сижу один. Спокоен и жду, что будет. Поволновался лишь сначала от неизвестности.

Мне представляется, что хотят поскорее покончить со мной, торопятся и избегают огласки. Торопятся свалить с больной головы на здоровую.

Что же вы сейчас делаете, знаете ли вы что-либо? Думаю, что знаете. Вы, вероятно, узнали сейчас более, чем я сам.

Шлю мой последний горячий привет тебе и Николаю Адамовичу, живите, как и раньше, хорошо и счастливо. Зовите Лешу к себе. Передайте мой привет маме, товарищам и моим рабочим, если зайдут справиться.

Дорогая, милая сестрица Катя, не тоскуй обо мне, когда меня больше не будет, приходи навестить меня к моей новой тюрьме. Прощаюсь я с вами, с жизнью навсегда. Любите друг друга. Прощай, прощай, мама, поклон последний.

Писать больше не успею. Поцелуй Лешу. Отказывают даже в листе бумаги...

Горячо любящий вас Коля».

— Прочитала?.. Прочитала?..— тормошила Лиза свою сестру.— Какой светлый разум, какое сердце! И этого человека объявить сумасшедшим! Кричать о приступе безумия... Бедный... Бедный...

Людмила Николаевна молчала. Потрясенная. Шмит знал свою судьбу. И с простотой, которая свидетельствует о подлинном мужестве, шел навстречу этой судьбе.

— Семья потребовала судебную экспертизу. Но все превращено ревнителями закона в фарс. Материалы судебной экспертизы полны недомолвок и неточностей. Эксперт профессор Минаков откровенный трус. В обществе о нем говорят с презрением. Позорище! Профессор, призванный восстановить истину и защитить честное имя умершего, подписывает несусветное заключение. Якобы Шмит сам себе перерезал горло... Студенты устроили профессору обструкцию.

Минаков не объяснил, почему у покойного изранена кисть руки, почему тело в синяках и побоях! Ясно одно, Шмит защищался, боролся и не хотел умирать. Он оборонялся от убийц, но их оказалось слишком много. Сосед Шмита Виноградов был свидетелем этой борьбы. Он слышал стоны, крики о помощи.— Лиза положила голову на плечо сестры и громко зарыдала. Все существо ее было возмущено этим неслыханным злодейством, после которого не хотелось верить ни в добро, ни в правоту. Худенькие плечи вздрагивали, волосы закрыли вспотевший лоб.

Людмила Николаевна понимала сестру: молодость тяжело мирится с разочарованиями. Она не уговаривала ее, не пыталась успокоить, лишь посматривала с легким укором. Потом осторожно усадила в кресло и накапала в рюмку бром. Подала. Лиза жадно припала ртом, рюмка вздрагивала в тонкой руке.

На столике портрет Шмита. Задумчиво и печально смотрел Николай. Что-то трагическое и обреченное улавливалось и в его широко открытых глазах, и в уголках губ, и в тяжелых складках у подбородка. «Морщины скорби» — так их называла нянюшка. Но чем больше вглядывалась Людмила Николаевна в портрет Шмита, тем отчетливее проступало гордое и меланхолическое выражение. Романтик и мечтатель! Длинные волнистые волосы. Мягкая бородка. Нос с горбинкой. Какое достоинство... Простота... И еще одна фотография привлекла ее внимание — из трагических дней похорон Баумана. Шмит нес охрану вместе с дружинниками. Вот он в цепи вместе с боевиками, крепко взявшись за руки. Боевики, вооруженные и одетые на его деньги. Шмит любил Баумана. Ночью дежурил в Высшем техническом училище, защищал гроб от охранки. Шмит... Шмит... Фабрикант, «поставщик его императорского величества» в студенческой шинели, потрепанных башмаках и порыжевших калошах. Фабрикант, друживший с Горьким, фабрикант, укрывавший Шанцера, фабрикант, хоронивший Баумана...

— В Петербурге ошеломлены этой внезапной кончиной. Убит накануне выхода из тюрьмы на поруки... Поезда на Москву переполнены, мне удалось с трудом достать билет через знакомого телеграфиста.— Людмила Николаевна нервно потерла переносицу.— Общество так неприкрыто возмущено убийством, что шпики боялись шнырять по вагонам.

— В Москве грустно шутят: Шмиту вменялось в вину

даже то, что в дни боев каратели Мина дотла сожгли его фабрику. Недавно я была на Пресне — обломки стен с впадинами пустых окон, рухнувшие стены, воронки от снарядов... Когда-нибудь историки напишут трагедию Пресни, напишут и взыщут. Мы не можем быть безучастными... Не можем... Войска полковника Мина били по фабрике прямой наводкой. Начался пожар. Горели гробы с дружинниками — прах их не успели предать земле.

— Да, историки не забудут Пресню, ибо невозможно забыть гробы, вспыхивающие, как факел.— Людмила Николаевна помедлила, и опять на лбу появилась та упрямая складка, которую раньше сестра не замечала.

— В ночь ареста Шмита увезли из дома Плевако в участок. Усиленный наряд полиции и конных драгун... Он просил сестру не забывать рабочих и оставил деньги, дабы выплачивать им пенсии. Имя шмитовца подобно проклятью, волчьему билету...

— Лиза, когда похороны? Возможно ли попрощаться с Николаем Павловичем? И где установлен гроб?

— В Введенском переулке, в доме Викулы Морозова. С похоронами пока не решено: градоначальник Рейнбот требует поручительства.

— Это какого ж поручительства? — переспросила Людмила Николаевна. Взглянула на сестру и подивилась, как изменилась сестра после встречи в Петропавловской крепости. Жизнь научит добру и злу, научит...

— Рейнбот боится эксцессов, как в дни после убийства Баумана. Родственников Шмита держат в приемной и требуют гарантий, чтобы все было благопристойно. Хоронить будут на Преображенском кладбище — Морозовы из старообрядцев.— Лиза сжала кулачки и зарыдала.

— Слезами горю не поможешь, успокойся. На публичную лекцию в университете не опоздаешь?

— Нет. Университет бастует... А черносотенцы распускают слухи, будто Шмит решил объявить себя царем?! — Лиза больше не владела собой, она кричала: — Велика честь на Руси быть царем! Царю за Шмита пуля да динамит... Я теперь начинаю понимать террористов.

— Перестань говорить глупости — царь, террор, динамит... Экая ты, право... Верно, не на те собрания зачастила... Несчастье лишило тебя разума.

— А тебя?! Зачем прикатила из Петербурга? Зачем? — Лицо Лизы побледнело, только глаза возбужденно блестели,

оттененные пушистыми ресницами.— Этот приезд может быть роковым: ты под следствием по делу военной организации...

Лиза вскочила, бросилась обнимать сестру, жадно целовала ее лицо, руки. Захлебывалась, глотала слова:

— Они отнимут тебя... Отнимут... Уже пять арестов... Две ссылки, побеги... Счастье, что удалось вырвать из «Крестов», но ты больна. И болезнь — благо! Только подумай: родные радуются твоей болезни, ибо она дала возможность взять на поруки. Но судебная машина неумолима, она скрипит, крутится, и каторги не избежать.— Лиза прижала руки к груди, в глазах неприкрытый страх.— Московской охранке ты хорошо знакома, малейшая оплошность, и опять — каземат... Сиживала в «Таганке», сиживала в «Бутырке»... Откуда взять силы — у тебя туберкулез... А впереди лишь каторжная Сибирь!

— Малодушничаешь, родная. Волков бояться — в лес не ходить. От опасностей никто не застрахован. Жизнь такова... На суд не явлюсь — так советуют товарищи. В безопасности перво-наперво приговор; коли каторжный, то что-нибудь придумаю.— Людмила Николаевна посмотрела на измученное лицо сестры и глухо сказала: — Нет, на каторгу они меня не запрячут и пять лет жизни не украдут...

— Блажен, кто верует, тепло ему на свете! — Лиза уже не плакала. Лишь неестественная бледность говорила о пережитом волнении.— Как-то удастся скрыться от суда? Гороховые пальто на каждом шагу. И ты в Москве!

Людмила Николаевна молчала. Закат угасал, и комната окутывалась таинственными сумерками. Хрипло били часы да потрескивал огонь в печи. Хозяйка, худенькая и забитая, внесла самовар. Посмотрела на заплаканную квартирантку и зажгла керосиновую лампу. Оранжевый круг запрыгал на низком потолке.

— Конечно, разумом мой приезд не объяснишь,— продолжила разговор Людмила Николаевна.— Думаю, и друзья отругают. Но не проводить Шмита в последний путь не могла. И более того, никогда бы себе не простила этого.— Людмила Николаевна с нежностью обняла сестру за плечи.— Бедная моя... Кстати, у Шмита есть сестры... Любимые сестры...

— Сестрам Николая Павловича не позавидуешь. Они познали все: и вечный страх за жизнь брата, и хлопоты о свиданиях, и простаивание в очередях с передачами, и даже

битву за право похоронить...— Лиза нервно передернула плечами.— «Ямой разложения» назвал «Бутырку» Шмит. А он прав! Эти свидания через двойной ряд густой проволоки... Гроб с телом Николая Павловича не хотели выдавать...

— Что ты говоришь! Чудовищно! — Людмила Николаевна закуталась в плед, как всегда в минуты волнений начинался озноб.— Признаться, я очень боялась, что полиция сделает все тайком... Увезли же Марию Ветрову из Трубецкого бастиона и похоронили на Волковом кладбище, сровняв могилу с землей...

— Могли... Все могли — в этом наша трагедия. Из «Бутырок» тело Шмита отправили для вскрытия в больницу на Девичьем поле. Сестру не допустили: полиция, мол, сама доставит покойного для отпевания в особняк Морозова. Екатерина Павловна заподозрила неладное. Дежурила у морга. И вот ночью выехала крытая фура. За ней казаки. Сестра, взяв извозчика, начала погоню. Ветер свистит. Снег. Кромешная тьма и несчастная женщина, которая может потерять след кавалькады. Ее могли арестовать жандармы, могли убить грабители. Счастье, что извозчик сообразил: гнал лошадей, не жалея жизни. Пречистенка. Зубовская. Фура все дальше, а несчастная прибавляет извозчику вознаграждение. Лошадь в мыле. С морды падают хлопья пены... «Сто... Двести... Триста»...— шепчет женщина. Только не отстать от всадников. И извозчик гнал по улочкам и кривым переулкам, которые выбирали перепуганные стражи закона. При расставании извозчик денег не взял. Молодец! Обещался прийти на похороны. «Ваш брат святой человек!» — Лиза помолчала, выпила воды.— Бедная Екатерина Павловна... В доме обыски. Врываются полупьяные архаровцы. Провоцируют скандал, чтобы запретить похороны... Но главное — ищут завещание...

— Завещание?! —Людмила Николаевна вопросительно подняла русые брови.— Шмит успел написать завещание?

— Да, успел. В «Бутырках» он потребовал нотариуса, и, невзирая на протесты сестры, по всей форме продиктовал завещание. Деньги немалые, преданность его революции безусловна — вот и всполошилась охранка. Капиталы вложены в дело Морозова, и юристы признают завещание.

— Интересно... Очень интересно...

— Во всех этих сложностях завещание играет немаловажную роль. Привязанность сестер к брату общеизвестна. Они не нарушат волю покойного. Значит, деньги пойдут на

революцию. Но все это очень сложно...— Лиза осторожно прикрепила траурный бант к портрету покойного.

— Портрет оставишь на видном месте? А если обыск?

— Тебе ли думать об осторожности?! Сама в Москву прикатила. Охранке не до нас. Похороны... Забот полон рот. Небось шпиков из Петербурга подбросили. Где уж до бедных курсисток добраться!

Людмила Николаевна не ответила. Она прислонилась лицом к заиндевелому стеклу и прислушивалась к вою непогоды.

Аркадий ВАСИЛЬЕВ

Первый бой

Красная Пресня и Иваново-Вознесенск. Оба эти названия прочно, на века вошли в историю русского революционного движения, в историю Коммунистической партии Советского Союза.

Я долго изучал документы о революционной дружбе московских и иваново-вознесенских текстильщиков.

Два славных, боевых отряда русского рабочего класса. Они занимают видное место в истории революции, гражданской войны, мирного строительства. Но особенно знаменательным был для них 1905 год.

В Иваново-Вознесенске летом пятого года в ходе организованной большевиками грандиозной стачки, в которой приняли участие все рабочие, возник первый в мире Совет рабочих депутатов. И когда в результате двухмесячной стачки иваново-вознесенцы начали голодать, первыми на помощь им пришли московские рабочие. Они отрывали часть денег от своих нищенских заработков и слали их в Иваново-Вознесенск. А самыми первыми сделали это рабочие Прохоровской мануфактуры.

Во время декабрьского вооруженного восстания, когда на Пресне лилась рабочая кровь, на помощь москвичам первым прибыл шуйско-ивановский отряд. Командовал им молодой человек, носивший подпольные клички «Трифоныч» и «Арсений»... Тогда никто не знал и даже не мог предполагать, что это — будущий легендарный полководец революции Михаил Васильевич Фрунзе.

В ту пору шел ему двадцать первый год...

Через 12 лет, в октябре 1917 года, на помощь москвичам, сражавшимся с войсками Временного правительства, снова пришел отряд ивановцев.

Пресненцы и ивановцы совместными усилиями вышибали юнкеров из гостиницы «Метрополь», вместе ворвались в Кремль.

И на этот раз впереди шел Михаил Васильевич Фрунзе, которому революция вернула его настоящее имя.

Обо всем этом рассказано в моем романе «Есть такая партия», главу из которого я с удовольствием предоставляю для сборника «У нас на Пресне».

В среду 7 декабря 1905 года ровно в двенадцать часов — в срок, указанный Московским Советом рабочих депутатов,— протяжно завыли заводские гудки, извещая о начале всеобщей забастовки. К ним присоединились свистки паровозов на Казанской, Ярославской, Курской, Брестской, Киевской, Виндавской и Савеловской дорогах. Тихо было только на Николаевской.

Почти на всех заводах, фабриках, в мастерских и депо раздавали первый номер «Известий Московского Совета рабочих депутатов». На первой странице под заголовком во всю ширину крупными буквами было напечатано воззвание Совета и Московского комитета Российской социал-демократической партии о начале стачки.

К четырем часам дня забастовало свыше ста тысяч человек. Четыреста предприятий прекратили работу, в том числе все типографии. Кроме «Известий», не вышло ни одной газеты. На второй день, в четверг 8 декабря, забастовало все Зарядье, Рязано-Уральская дорога, булочники, портные, сапожники. Бюро Московского союза деятелей средней школы решило присоединиться к стачке. «Известия» сообщили, что бастуют уже более ста пятидесяти тысяч рабочих и служащих.

Растерянность, охватившая московские власти в первый день, начала проходить. 8 декабря генерал-губернатор Дубасов объявил Москву и Московскую губернию на чрезвычайном положении. Казаки и драгуны заняли вокзал Николаевской дороги, почтамт, телефонную станцию, Государственный банк.

Еще вечером 7 декабря полиция нанесла большевикам чувствительный удар — арестовала руководителей Московского комитета Шанцера-Марата и Васильева-Южина.

Вечером 8 декабря на митинги в Политехническом музее и Домниковском училище, в театрах «Олимпия» и «Аквариум» собрались тысячи людей. Все ораторы призывали к свержению самодержавия.

Театр «Аквариум» был осажден полицией и войсками. Одной только пехоты, не считая казаков и драгун, стянули четыре роты. Среди осажденных были люди, которым арест мог угрожать серьезными последствиями. Чтобы спасти этих людей, дружинники разобрали забор. Человек пятьсот перебрались в соседнее Комиссаровское училище и отсиделись там до снятия осады. А в «Аквариуме» несколько часов шел обыск: искали главным образом оружие, но не забыли конфисковать собранные на митинге деньги для стачечного фонда.

Все эти дни происходила борьба за армию. Кое-что партийной организации удалось сделать. Около шести тысяч солдат различных полков отказались участвовать в подавлении восстания. Солдат разоружили и заперли в казармы. Но перетянуть все войсковые части на сторону народа не

удалось: у восставших не хватило для этого умения и энергии.

9 декабря по Большой Серпуховской шел к рабочим полк солдат. Впереди оркестр играл «Марсельезу». Делегацию от рабочих, направившуюся навстречу полку, опередил командующий войсками Московского военного округа генерал Малахов. Он пообещал солдатам выполнить все их требования, и солдаты, окруженные подоспевшими драгунами, повернули в казармы.

Кто-то подсказал Дубасову спасительную мысль — демобилизовать старшие возрасты. Демобилизацию провели в один день. Солдаты, лишенные оружия, торопились по домам.

Власти, поняв свою силу, начали более решительные действия. Первое сражение между драгунами и рабочими произошло 9 декабря у Страстного монастыря. Убитые и раненые были с обеих сторон. Через несколько часов на Тверской улице собрался митинг. Налетели драгуны. Полсотни участников митинга укрылись в павильоне трамвайной станции. Драгуны подожгли павильон.

Вечером на Триумфальной площади, на Большой Садовой, у театра «Аквариум» появились первые баррикады.

12 декабря по всей Москве был расклеен приказ московского генерал-губернатора Дубасова:

«После шести часов вечера всех на улицах обыскивать. Больше трех не собираться. При нарушении — стрелять. За вывешивание мятежного красного флага — стрелять. За повреждение телефонных и телеграфных столбов — арестовывать, судить военным судом. В более важных случаях — расстреливать на месте».

Как бы предугадав появление такого приказа, «Известия Московского Совета рабочих депутатов» вышли 11 декабря с воззванием от Боевой организации Московского комитета РСДРП:

«Советы восставшим за свободу рабочим.

Товарищи! Началась уличная борьба восставших рабочих с войсками и полицией. В этой борьбе может много погибнуть ваших братьев, борцов за свободу, если вы не будете держаться некоторых правил. Боевая организация при Московском комитете РСДРП спешит указать вам эти правила и просит вас строго следовать им.

1. Главное правило — не действуйте толпой. Действуйте небольшими отрядами человека в три, четыре, не больше.

Пусть только этих отрядов будет возможно больше, и пусть каждый из них выучится быстро нападать и быстро исчезать. Полиция старается одной сотней казаков расстреливать тысячные толпы. Вы же против сотни казаков ставьте одного, двух стрелков. Попасть в сотню легче, чем в одного, особенно, если этот один неожиданно стреляет и неизвестно куда исчезает. Полиция и войска будут бессильны, если вся Москва покроется этими маленькими неуловимыми отрядами.

2. Кроме того, товарищи, не занимайте укрепленных мест. Войско их всегда сумеет взять или просто разрушить артиллерией. Пусть нашими крепостями будут проходные дворы и все места, из которых легко стрелять и легко уйти. Если такое место и возьмут, то никого там не найдут, а потеряют много. Всех же их взять нельзя, потому что для этого каждый дом нужно населить казаками.

3. Поэтому, товарищи, если вас кто будет звать идти большой толпой и занять укрепленное место, считайте того глупцом или провокатором. Если это глупец — не слушайте, если провокатор — убивайте. Всегда и всем говорите, что нам выгодней действовать одиночками, двойками, тройками, что это полиции выгодно расстреливать нас оптом, тысячами.

4. Избегайте также ходить на большие митинги. Мы увидим их скоро в свободном государстве, а сейчас нужно воевать и только воевать. Правительство это прекрасно понимает и нашими митингами пользуется для того, чтобы избивать и обезоруживать нас.

5. Собирайтесь лучше небольшими кучками для боевых совещаний, каждый в своем участке, и при первом появлении войск рассыпайтесь по дворам. Из дворов стреляйте, бросайте камнями в казаков, потом перелезайте на соседний двор и уходите.

6. Строго отличайте ваших сознательных врагов от врагов бессознательных, случайных. Первых уничтожайте, вторых щадите. Пехоту по возможности не трогайте. Солдаты — дети народа и по своей воле против народа не пойдут. Их натравливают офицеры и высшее начальство. Против этих офицеров и начальства вы и направьте свои силы. Каждый офицер, ведущий солдат на избиение рабочих, объявляется врагом народа и ставится вне закона. Его безусловно убивайте. Казаков не жалейте. На них много народной крови, они всегдашние враги рабочих. Пусть уезжают в свои края, где у них земля и семьи, или пусть сидят безвыходно в

своих казармах. Там вы их не трогайте. Но как только они выйдут на улицу — конные или пешие, вооруженные или невооруженные,— смотрите на них как на злейших врагов и уничтожайте без пощады. На драгун и патрули делайте нападение и уничтожайте.

В борьбе с полицией поступайте так. Всех высших чинов до пристава включительно при всяком удобном случае убивайте. Околоточных обезоруживайте и арестовывайте, тех же, которые известны своею жестокостью и подлостью, убивайте. У городовых только отнимайте оружие и заставляйте служить не полиции, а вам. Дворникам запретите запирать ворота. Это очень важно. Следите за ними, и если кто не послушает, то первый раз поколотите, а второй — убейте. Заставьте дворников служить себе, а не полиции. Тогда каждый двор будет нашим убежищем и засадой. Необходимо устраивать баррикады, чем больше, тем лучше.

Вот главные правила, товарищи. В следующих листках боевая организация даст вам еще несколько советов о том, как защищаться, как нападать, как строить баррикады.

Теперь же скажем несколько слов совсем о другом. Помните, товарищи, что мы хотим не только разрушить старый строй, но и создать новый, в котором гражданин будет свободен от всяческих насилий. Поэтому тотчас же берите на себя защиту всех граждан, охраняйте их, делая ненужной ту полицию, которая под видом охранительницы общественной тишины и спокойствия насильничает над беднотою, сажает их в тюрьмы, устраивает черносотенные погромы. Наша ближайшая задача, товарищи, передать город в руки народа. Мы начнем с окраин, будем захватывать одну часть за другой. В захваченной части мы сейчас же установим свое выборное управление, введем свои порядки, восьмичасовой рабочий день, подоходный налог и т. д. Мы докажем, что при нашем управлении общественная жизнь потечет правильней; жизнь, свобода и права каждого будут ограждены более, чем теперь. Поэтому, воюя и разрушая, вы помните о своей будущей роли и учитесь быть управителями».

Это уже была не просто смута или крамола. Это была война, война тем более жестокая, что у одной стороны было все: полиция, войска, казаки, арсеналы и склады, набитые оружием и боеприпасами, а у другой мало оружия, но зато жгучая ненависть к врагу.

■

Несколько дней в центре — на Мясницкой, на Покровке, на Бронной, Арбате, Большой Никитской, Поварской, на площадях и бульварах — шли жестокие, упорные бои. Но силы были неравны. Против восставших начали действовать артиллерия и пулеметы.

К исходу первой недели бои на главных, ближних к Кремлю улицах начали стихать. Центром восстания стала Пресня. Здесь имелись крепкие большевистские организации, хорошо подготовленные, обученные боевые дружины и умелые руководители. Начальником штаба боевых дружин Пресни выбрали Зиновия Литвина-Седого. У двадцатидевятилетнего Седого была богатая биография. В партию он вступил в 1893 году, дважды сидел в тюрьме, неоднократно побывал в ссылке. Это был начитанный, смелый человек с железной волей и редкой выдержкой.

У Седого, его помощников, у всех дружинников Пресни, рабочих Прохоровской мануфактуры, мебельной фабрики Шмита, Трехгорного пивоваренного завода, сахарного завода и всех других мелких фабрик и мастерских была одна мысль — где раздобыть оружие.

На второй день восстания дружинники ходили по квартирам городовых и офицеров и отбирали у них револьверы, охотничьи ружья и шашки. Конечно, без столкновений не обошлось. В слесарных и механических мастерских, где и раньше потихоньку, с оглядкой делали пики, ремонтировали старые револьверы, сейчас вовсю кипела работа. В химической лаборатории ситцевой фабрики Прохоровской мануфактуры готовили ручные бомбы. Кто-то сообщил, что в аптеке на Большой Пресненской улице большой запас глицерина. Ревком немедленно послал туда дружинников с наказом: не отдаст по доброй воле — забрать силой!

Перепуганный аптекарь хотел звонить по телефону в канцелярию обер-полицмейстера барона Медема. Дружинники втолковали ему, что звонить он, конечно, может, но это явно бесполезное дело. Во-первых, глицерин они все равно заберут, а во-вторых, никаким полицейским чинам, солдатам и драгунам на Пресню не пробраться: везде, на всех улицах и переулках, ведущих к центру, воздвигнуты баррикады.

И они действительно были воздвигнуты, причем с необычайной быстротой. На постройку пошло все, что попа-

далось на глаза: ворота, бочки, дрова, кирпичи, булыжники, мешки с песком, телеграфные столбы. Особенно ловко сваливали столбы шмитовцы. У них нашелся специалист, который в одну минуту большими кусачками отделял провода. Затем он вдвоем со своим помощником, молодым пареньком, деловито и споро подпиливал столбы, и те со звоном падали на замерзшую землю. Паренек покрикивал: «Давай! Забирай!» — и бежал к другому столбу. На некоторых баррикадах внешняя, обращенная к противнику сторона засыпалась снегом и обильно поливалась водой. Получался ледяной накат, подняться по которому под прицельным огнем было почти невозможно.

Восставшие заняли все полицейские участки, входившие в черту баррикад. Там, к большому удовольствию подпольщиков, обнаружили несколько сот бланков паспортов. Их сдали в ревком. Дольше всех сопротивлялся Пресненский участок, но и он пал. Городовые и жандармы вышли с поднятыми руками. Их обыскали и отпустили под честное слово, что они не будут сражаться против народа. Это была великодушная ошибка революционных пролетариев, еще не успевших в полной мере понять всю низость и жестокость своих врагов. В тот же день на Горбатом мосту были задержаны двое из отпущенных жандармов. Они, снова вооруженные, но уже в штатском, пробирались на разведку в центр восстания — на Прохоровскую мануфактуру.

На этом же Горбатом мосту дружинники опознали переодетого в штатское околоточного надзирателя Сахарова, которого иначе, как зверем и душегубом, никто не называл. Разговор с Сахаровым был короткий: он напрасно валялся в ногах, ползал по снегу и целовал дружинникам валенки — его расстреляли.

Днем 11 декабря подросток на Большой Пресненской улице заметил, как в дом Кутинской вошел переодетый в штатское ее зять, начальник московской сыскной полиции Войлошников. Для визитов к теще начальник сыскной полиции выбрал время явно неподходящее. Очевидно, Войлошникова влекла не кулебяка с мясом, а желание разведать, что происходит у восставших. Подросток сообщил о нем в военно-боевой штаб. Через час мадам Кутинская имела все основания записать затя в поминанье «за упокой». У Войлошникова нашли подробный план района со всеми баррикадами, патрульными стоянками: он действительно пришел на разведку. Особой пометкой на плане было обозначено город-

ское училище Копейкина-Серебрякова, где в эти дни питались дружинники и куда собирались перевести боевой штаб.

Несколько позднее задержали трех солдат-артиллеристов и снова, отобрав оружие, великодушно отпустили под честное слово. И снова были наказаны: не прошло и часа, как начался артиллерийский обстрел. Особенно пострадали Бирюковы бани, превращенные в лазарет.

Дружинникам приходилось сражаться на баррикадах и поддерживать революционный порядок, охранять мирных граждан от уголовников.

На рассвете в Расторгуевском переулке задержали двух воров, выходивших из ворот с большим мешком. Мошенников привели к дежурному члену ревкома Мазуру. Один из жуликов, постарше, с нахальными черными глазами навыкате, попробовал оправдаться:

— Что ж это происходит, начальник? Нельзя стало честным людям со своими пожитками по улицам ходить?

Мазур спокойно, как опытный следователь, ответил:

— Сейчас отпустим, только скажи, что у тебя в мешке.

У вора дрогнули веки, большой кривой нос стал словно восковой.

— Домашние вещи, начальник. Тряпье разное.

— А ты назови, что: рубахи, юбки...

— Все есть,— ответил кривоносый и замолчал.

— Не можешь, стало быть,— подвел итог Мазур.— А ну, ребята, посмотрите.

Мешок вытряхнули. Из него шлепнулись на пол два мужских пиджака, три женских платья, чугунные карманные часы, детская синяя шерстяная матроска и три ботинка: два мужских и один женский, на правую ногу.

Мазур усмехнулся:

— Торопились, туфлю забыли,— и махнул дружинникам рукой.

Воров расстреляли.

По ночам на Пресню пробирались дружинники из других районов Москвы, где восстание уже было подавлено. Шли металлисты от «Гужона», «Бромлея» и «Дукса», текстильщики с Цинделевской мануфактуры, филипповские булочники, типографщики от Сытина. Шли в одиночку и группами. Шли с оружием и без оружия — заменить тех, кто пал на баррикадах, вынуть оружие из холодеющих рук, чтобы бить по ненавистному врагу.

Помощь из других городов не приходила, поэтому Седому особенно радостно было узнать о том, что какая-то девушка ночью привела в лазарет незнакомого раненого дружинника. На вопрос, кто она, девушка ответила:

— Мы иваново-вознесенские... Если можно, приютите этого парня, а я обратно, на Триумфальную площадь. Наши там. В них стреляют из пулемета. Когда я уходила, они решили этот самый пулемет к своим рукам прибрать.

■

В Шую не раз приезжали видные чиновники из губернии; бывал здесь и хозяин губернии — его превосходительство господин губернатор. А тут приехал сам господин Блом. Правда, Блом был всего-навсего подполковник, но дело не в чине; подполковник Блом стоил многих генералов: он был близким другом и советником министра Дурново.

Получив известие о прибытии Блома, исправник Лавров даже вспотел от волнения. Гостя надо было принять поприличнее, подготовить жилье получше. Нельзя же поселить его в номерах у Ершова или, еще того хуже, в гостинице «Лондон», которую за обилие клопов давно уже прозвали «пыталовка». Вся надежда оставалась на местного воротилу, миллионера, владельца прядильных, ткацких и ситцевых фабрик Павлова.

Роскошный особняк Павлова стоял хотя и напротив фабрики, но в превосходном саду, отгороженном от посторонних взоров трехаршинным кирпичным забором с железными остриями. Одна из комнат второго этажа, обитая темно-синим французским шелком, в которой всегда останавливался губернатор, так и называлась «губернаторская».

Лавров приказал заложить коляску и поехал к Павлову. Тот просил ни о чем не беспокоиться. Все, что нужно: вина, устрицы и другие закуски, обед, фрукты,— будет самое лучшее.

■

Блом сидел на маленьком диванчике, далеко выдвинув длинные, худые ноги в лакированных сапогах, и аккуратно перебирал бумаги в темно-зеленой сафьяновой папке. Лавров сидел на краешке кресла, стараясь хоть как-нибудь поджать под сиденье свои огромные ноги. Но кресло было низенькое и вдобавок немилосердно скрипело.

— Здешних социал-демократов большевиков мы подсекли основательно!

Блом оторвался от бумаг и переспросил:

— Большевиков? А остальных?

— Остальные, осмелюсь доложить, здесь успеха не имеют. Меньшевики, эсеры и прочие у нас почти не водятся. Главные тут — большевики.

— Продолжайте,— кивнул Блом.

— Большевиков мы, повторяю, подсекли основательно. Был у них главарь в Иваново-Вознесенске, Афанасьев, по кличке «Отец»,— убит. Убит еще один — Лакин; Евлампий Дунаев куда-то скрылся. Так что головка разгромлена.

— А этот ваш беглый студент Трифоныч?

— Выбыл в неизвестном направлении. По агентурным данным, как будто к себе на родину.

Блом положил папку на диван, встал и, звонко щелкнув портсигаром, иронически сказал:

— Так-с! Стало быть, выбыл. В неизвестном направлении.— Блом мягко, как будто он разговаривал с младенцем, произнес: — Ай-яй! Выбыл в неизвестном направлении. Головку, говорите, подсекли? Превосходно! Но почему организация у большевиков выросла почти в десять раз?

Блом уже строго начальнически продолжал:

— Появился другой руководитель — Арсений. Это и есть ваш бывший Трифоныч. Никуда он не уезжал, а просто сменил кличку. Ничего вы, батенька, не знаете.

Наверное, немало неприятного услышал бы еще от подполковника Лавров, если бы в комнату не вошел Синявский с телеграммой. Подполковник взглянул на бланк и торопливо спросил Лаврова:

— Когда уходит поезд на Москву?

— В пять утра.

— Прошу вас, распорядитесь о моем отъезде.

Заметив удивленный взгляд Лаврова, Блом протянул ему расшифрованную телеграмму:

«Москве всеобщая забастовка. Немедленно выезжайте распоряжение генерал-губернатора Дубасова. Дурново».

■

К девяти часам вечера большой сарай кирпичного завода был заполнен дружинниками.

В пухлом томе свода законов Российской империи были

всякие разделы. Один из них назывался «Уложение о наказаниях». Многие из его статей грозили страшными карами. За принадлежность к партии большевиков полагалось не менее четырех лет каторжных работ, за попытку низвергнуть государственный строй — каторга, за вооруженное сопротивление — смертная казнь через повешение.

В сарае кирпичного завода, тускло освещенном фонариком, собрались вооруженные рабочие. Все они принадлежали к партии большевиков, все они покушались на существующий государственный строй. Каждый из них собирался идти против войск и полиции с оружием в руках. Всем им грозило лишение прав состояния, долгое пребывание в тюрьме, а в итоге — смертная казнь.

Все они это знали и все пришли по призыву своего комитета.

За стенами сарая была декабрьская метель. Прижавшись к поленнице дров, стояли дозорные, не сводя покрасневших от ветра глаз с дороги, на которой каждую минуту мог появиться казачий разъезд.

В сарае выступал Арсений.

— Москва — это мать всем городам русским, а мы — ее дети. Мать наша истекает кровью. Рабочие Москвы на баррикадах борются за свободу для всей России. Мы должны, мы обязаны помочь московским рабочим. Клянемся же, товарищи, что ни один из нас не будет подлым трусом и не испугается опасности! Клянемся, товарищи, что все свои силы отдадим делу революции!

И все, кто был тут — пожилые, семейные люди, молодые и совсем юные,— твердо сказали:

— Клянемся!

Сбор отъезжающих в Москву назначили утром, в половине пятого, около вокзала. Каждый командир десятка выделил санитара, который должен был перед отходом поезда получить у фельдшерицы железнодорожного приемного покоя запас бинтов и медикаментов.

Расходились небольшими группами.

Через полчаса еще сильнее разбушевавшаяся метель намела сугробы, запорошила тропу, как будто никто по ней и не ходил. Шумели, раскачиваясь на студеном ветру, высокие сосны.

■

Поручик Синявский разбудил Блома ровно в четыре часа утра. Несмотря на ранний час, хозяин дома Павлов был на ногах. Он пригласил гостей в столовую выпить перед дорогой кофе.

Войдя в столовую и увидев, что часы уже показывают четверть пятого, Блом заторопился:

— Опаздывать ни в коем случае нельзя. Я обязан сегодня же быть в первопрестольной.

Павлов подошел к окну, отдернул штору и сказал:

— Видите огни? Это вокзал. Пешком идти десять минут, а мои львы вас за две минуты доставят. Успеете, не беспокойтесь.

В ярко освещенном дворе у роскошных санок Блома поджидал Лавров. Козырнув, исправник ловко отвернул медвежью полость:

— Пожалуйте, ваше высокоблагородие!

— Благодарю. Садитесь, поручик... э-э, простите... как вас, господин исправник... прошу, поедемте с нами до вокзала.

Лавров с трудом втиснул свое грузное тело в санки. Обитые тонкой сталью полозья заскрипели по снегу.

У вокзала стояла большая толпа. Лавров вылез из санок и прошел в жандармскую комнату. Дежурный унтер-офицер, увидев исправника, отошел от жарко пылавшей железной печки.

— Что это там за люди?

— Пассажиры.

— А почему они все на улице?

— По случаю отмены поезда вокзал закрыт.

— Кто отменил?

— Распоряжение из Москвы.

Лавров через перрон понесся к дежурному по станции. Увидав дежурного, он наклонился к нему и стал шепотом что-то объяснять. Невозмутимый дежурный односложно повторял:

— Все понимаю. Все. Но ехать не на чем. Поезд из Новок не пришел. С удовольствием бы, но ничем не могу помочь.

Исправник бросился обратно. У фонаря Лавров увидел высокую фигуру Блома и побежал к нему.

К перрону подошел маневровый паровоз с тремя товарными вагонами. Паровоз гулко свистнул и выпустил огром-

ные клубы пара. На перроне и в здании вокзала в эту минуту погас свет, но Лавров все же увидел, как в вагонах открылись двери и в них торопливо садились какие-то люди. Чей-то спокойный голос громко и твердо скомандовал:

— Садитесь, товарищи! Быстрее. Сейчас едем.

Лавров подскочил к дежурному по станции:

— Что это за люди? Куда они едут?

— Не волнуйтесь. Это рабочие, нанялись к фабриканту Терентьеву дрова пилить. Едут в лес, под Кохму.

Снова вспыхнул свет. Паровоз еще раз свистнул и тронулся с места. Двери вагонов были раскрыты. Сначала Лавров подумал, что ему чудится,— ветер донес песню:

Смело, товарищи, в ногу!
Духом окрепнем в борьбе...

Все трое — Блом, Лавров и Синявский — ворвались на телеграф.

— Остановить! Задержать!

— Сейчас распоряжусь. Сейчас...

Молодой телеграфист незаметно улыбнулся и застучал ключом, отбивая непонятные для начальства точки и тире: «Поезд без номера, три вагона, пропускать без промедления. Специальный состав».

■

Необычно выглядела Москва в последние дни восстания. В центре понемногу открывались магазины, а на Пресне не прекращалась стрельба, гремели артиллерийские залпы. На Тверской, на балконе дома генерал-губернатора трехцветный флаг, а на Камер-Коллежском валу и на Большой Пресненской развевались красные знамена.

С наступлением темноты город замирал. Пустели центральные улицы, не зажигались фонари, и только зарево пожаров стояло над Пресней.

Два дня горела подожженная артиллерийскими снарядами мебельная фабрика Шмита. Всю ночь напролет пылал сахарный завод. Горели склады, мастерские, баня. Снег за Москвой-рекой стал черным от копоти.

На Пресне все было, как на войне. Уже обозначались фронты. Самыми главными считались западный и восточный. Наибольшая опасность грозила на западном, проходившем у заставы. Отсюда больше всего беспокоили казаки, ук-

рывавшиеся на Ваганьковском кладбище, и скорее всего можно было ожидать нападения свежих частей, доставленных по Николаевской дороге из Петербурга, Твери и Новгорода.

Дружинники Степана все дни восстания находились на западном фронте, защищая вместе с другими баррикады на Камер-Коллежском валу, чуть подальше Большого Тишинского переулка. Два дня — 12 и 13 декабря — здесь было сравнительно тихо. Несколько раз налетали казаки, но их встречали таким сильным огнем, что они, неся большие потери, быстро уходили за полотно Московско-Брестской железной дороги на пустыри, тянувшиеся до самого ипподрома.

Два раза на Камер-Коллежском валу показывались гусары Сумского полка. В среду 14 декабря баррикаду беспрерывно атаковали. На рассвете спешенные гусары, сделав в трех местах проломы, попытались зайти с тыла. Разведчики во главе с Митей Страховым заметили солдат, пробравшихся во двор транспортной конторы «Надежда». Митя сразу понял, в чем дело.

— Видал? — шепнул он своему дружку Коле Очкину.— Они там засядут, а как солдаты на баррикады полезут, они нашим в спину. Лети в штаб и скажи там, чтобы по левой стороне никто не ходил.

Митя оказался прав. Через несколько минут начался обстрел баррикады. Как только на левой стороне переулка показался человек, тотчас же щелкнул выстрел. Человек упал. И в то же мгновение за спиной у Мити громыхнуло. Солдат, уронив винтовку, замер на тротуаре.

— Не будешь, паршивец, высовываться,— сказал рядом с Митей знакомый голос.

Митя оглянулся:

— Командир! Вернулся?..

— Как видишь,— ответил Степан, внимательно всматриваясь в слуховое окно в доме напротив,— вернулся. В подъезд! — крикнул он дружинникам.— С чердака стрелять будут.

Уйдя в укрытие, Степан высунул на палке от метлы шапку. Из слухового окна тотчас же открыли огонь. Митя удовлетворенно отметил:

— Молодец, командир! Вовремя заметил.

— Мудрено не заметить. Надо их оттуда выбить. Ищи, Митя, дворника. Требуй ключ от чердака.

Дворник не хотел отдавать ключ. Митя показал ему свой заслуженный «смит-вессон»:

— А это, дядя, видел?

И ключ тотчас же нашелся.

Степан взял у подошедшего дружинника винтовку, отдав ему свой браунинг:

— Подержи пока. Пошли, Митя!

Степан к окну не подошел, а найдя в передней стенке чердака щель, прильнул к ней:

— Смотри. Видишь, из окошка наблюдают?

— Вижу.

— Сколько их было?

— Двое и один офицер.

— Одного они потеряли. Значит, тут двое. Если мы еще одного уберем, второй не усидит, уйдет.

Степан осторожно расковырял щель пошире и вставил дуло винтовки.

— Сейчас мы ему покажем, как в спину стрелять.

Раздался выстрел. Из слухового окна напротив посыпались стекла. Послышался крик.

— А ну, Митя, проверим,— проговорил Степан и снова, как и внизу, высунул из окна шапку. Выстрелов не последовало.

— Все. Утек,— подвел итог Степан.— Пошли, Митя, вниз.

Митя заглянул в окно.

— Лежит!

— Кто?

— Винтовка. Около ворот. Сейчас я за ней сбегаю.

Он кубарем скатился с лестницы: даже не пригибаясь, перебежал переулок и схватил винтовку, и в ту же секунду раздался выстрел. Митя, пробежав несколько шагов, упал. Степан крикнул: «За мной!», и первым ворвался во двор транспортной конторы «Надежда». Между пустых, с поднятыми оглоблями телег бежал с винтовкой в руках офицер в светло-серой шинели. Он был совсем близко от пролома в кирпичной стене. Еще секунда, и он бы скрылся. Степан опустился на колено и прицелился. Но, к его удивлению, офицер отскочил от пролома и заметался между телегами. Потом он лег на землю. Степан с бешенством выкрикнул:

— А ну выходи!

Офицер отбросил винтовку и с поднятыми руками встал, прислонившись к телеге.

— Ведите в штаб! — приказал Степан и побежал к Мите Страхову.

Дружинники поднимали его тело на телегу. Оно еще не успело остыть, но бледность уже покрывала лицо Мити.

Из пролома выскочили двое:

— Ребята! Давай сюда, тут земляки орудуют.

— Яша? — удивился Степан, узнав Савватеева.— Ты как сюда попал?

— К вам на помощь,— все тем же веселым тоном ответил Яков и умолк, увидев Митю.

— Дружка моего убили.

— Совсем еще мальчик,— сказал подошедший Арсений.— Здравствуй, дорогой,— и протянул руку Степану.

— Товарищи! Да откуда же вы взялись?

Вокруг телеги стояло десятка два иваново-вознесенцев.

— А все оттуда же,— невесело усмехнулась Груня,— с Триумфальной площади. Вот все, что от нас осталось.

■

Николаевская железная дорога подвела: гвардейский Семеновский полк беспрепятственно прибыл в Москву.

Полк встретил сам Дубасов со всей свитой и начальником штаба Московского военного округа генерал-лейтенантом Рауш фон Траубенбергом. Первым из вагона вышел командир полка Мин, за ним флигель-адъютант царя Гольфоф и генерал-лейтенант барон Штакельберг. Дубасов расцеловался с бароном:

— Слава тебе, господи!

Штакельберг подал Дубасову конверт с короной и императорским вензелем. Генерал-губернатор перекрестился. Быстро прочитав письмо, он снова перекрестился и повернулся к солдатам.

— Смирно! — скомандовал командир третьего батальона подполковник Риман.

Солдаты привычно застыли.

— Здорово, семеновцы! — крикнул Дубасов.

Солдаты дружно ответили. Дубасов потряс конвертом:

— Видите, братцы! Это мне наш батюшка государь император прислал письмо. Он просит...— Дубасов посмотрел на Штакельберга, словно желая его спросить, так ли он говорит, и, увидев одобрительный кивок барона, повторил: — Да, государь-батюшка просит меня и вас, нас с вами, спасти древ-

нюю нашу столицу, нашу матушку Москву от внутреннего врага.

Дубасов много раз вспоминал смутьянов и крамольников и, не зная, чем кончить речь, неожиданно выкрикнул:

— Спасем царя-батюшку! Перебьем всех!

Барон Штакельберг недовольно поморщился и по-немецки сказал Гольфофу:

— Государыня права: он, конечно, не слишком умен.

Полк прямо с вокзала был двинут на усмирение. Третий батальон направился на Пресню.

■

Боевой штаб послал иваново-вознесенцев защищать баррикады на Камер-Коллежском валу.

Когда прекратился обстрел, Фрунзе вызвали в штаб. Ночную тишину нарушили крики и смех. Сначала никто не мог понять, почему развеселились дружинники, и только Станко, всмотревшись, радостно сказал:

— Смотри! Явились! — И громко позвал: — Ребята, сюда!

К ним подошли Василий и Силантий.

— Живы? — улыбаясь, спросил Станко.

— Почти,— мотнул перевязанной головой Василий.— Силантий совсем цел, а мне пришлось обручи набивать — рассохлась моя посудина. Но зато мы с прибылью.— Он выложил два браунинга.

— Где добыли? — спросил Станко.

— Шел один чин — не то частный пристав, не то околоточный, мы в темноте не разобрали. Он на нас крикнул, а мы на него. С перепугу нам и отдал.

Силантий махнул рукой:

— Всегда ты, Вася, наплетешь неведомо чего. Ему, братцы, какой-то офицер в голову пальнул. Ну, мы его успокоили. Груня! Перевяжи его, пожалуйста, а то я залепил ему кое-как...

Груня, достав из заплечного мешка бинты и склянки, посадила Василия поближе к лампе:

— Господи! Вася, да как же ты ходишь?

— Ничего, Груня, со мной не случится. Мне маленькому цыганка нагадала, что я до ста лет проживу, два раза овдовею, каменный дом приобрету, всех переживу и скончаюсь в одиночестве.

— Сиди, Вася, смирно. Не болтай.

— А мне, Грушенька, так легче. Уж очень ты долго меня терзаешь...

Вошел Фрунзе:

— По местам, товарищи!

Иваново-вознесенцам досталась центральная часть баррикады. Они лежали в укрытии за мешками с землей. Груня тоже пристроилась к ним.

В щель между мешками и половиной огромных железных ворот, принесенных на баррикаду из дома купца Филалеева, хорошо просматривался Камер-Коллежский вал.

— Сегодня, товарищи, день серьезный,— предупредил Фрунзе.— Прибыли семеновцы.

Словно в подтверждение, поблизости послышалась барабанная дробь, одновременно громыхнул артиллерийский залп и раздались одиночные выстрелы.

— Идут! — крикнул Яков.— Смотрите, как на параде.

Семеновцы шли во весь рост, не пригибаясь. Впереди шагал барабанщик.

— Внимание! — скомандовал Фрунзе.— Не стрелять! Подпустим ближе.

— Красиво идут,— заметил Яков.

— Сейчас эти красавчики тебе покажут,— со злостью ответил Степан.— Знаю я эту сволочь.

— Прекратить разговоры! — послышалась команда Фрунзе.

Степан с удивлением посмотрел на него и шепнул Якову:

— Видал? Здорово командует.

— Приготовиться! — снова скомандовал Фрунзе.— Первые выстрелы по офицерам.

— А их тут и нет,— возразил Степан.— Одни унтеры.

— Выбивать унтеров,— последовала спокойная команда.

Семеновцы совсем рядом.

— Огонь!

Несколько семеновцев упало; остальные, несмотря на крик и ругань унтер-офицера, бежавшего по тротуару, повернули обратно.

— Станко! Заткни ему глотку!

Унтер, не добежав до спасительного угла, упал, обхватив тумбу.

Фрунзе снял шапку и вытер со лба пот.

Минут через двадцать в дом, стоявший налево от баррикады, попал снаряд. В доме начался пожар. Второй снаряд угодил в дом направо. Третий снаряд разорвался перед бар-

рикадой, засыпав дружинников комьями мерзлой земли. И на валу сейчас же показались семеновцы. Они уже не шли, а бежали, низко пригибаясь к земле. Некоторые, добежав до ближних от баррикады ворот, скрывались в них. Фрунзе, заметив это, крикнул:

— Наблюдать за крышами!

Третья атака началась в полдень. Силантий, лежавший рядом с Василием, выпустил из рук пистолет и перевернулся на спину.

— Силка! Чего ты? — крикнул Василий.— Силка!

Фрунзе махнул рукой, и Груня ползком добралась до них. Она расстегнула на Силантии тужурку, разорвала рубашку и отдернула испачканную в крови руку:

— Убит.

Степан слышал, как злобно Василий ругал семеновцев, и, увидев, как Груня пытается оттащить тело Силантия в сторонку, встал, чтобы помочь ей. Но в этот момент что-то горячее, тяжелое ударило его в плечо, и он, услышав команду Фрунзе: «Берегись», упал, потеряв сознание.

■

Доцент Московского университета доктор Виктор Владимирович Воробьев считал себя человеком, не имеющим никакого отношения к политической жизни.

— Мое дело — медицина! — любил говорить он жене, друзьям и даже малолетней дочери.

В бурные дни 1905 года он не посещал шумных собраний в университете:

— Мое дело — здоровье людей, а кто они — монархисты, социал-демократы или, не дай бог, террористы,— меня совершенно не интересует.

В первый день восстания, как только загремели выстрелы, Виктор Владимирович вывесил на балконе, выходящем на Большую Пресненскую улицу, флаг с красным крестом. Не прошло и пяти минут, как домовладелец старик Котлам забарабанил к нему в дверь:

— Вы с ума сошли! Снимите флаг. Они сожгут дом!

Воробьев поверх пенсне посмотрел на белое от страха лицо хозяина дома:

— Кто?

— Солдаты.

— Меня это не касается.

— Я буду жаловаться. Я хозяин.

— А я врач.

Хозяин привел дворника и попытался силой пробраться на балкон. Воробьев вытолкнул его и в первый раз упомянул слово «дружинники».

— Идите прочь, иначе я пошлю за дружинниками.

К вечеру большая квартира Воробьева превратилась в приемный покой. Доктор сразу же ввел строгий порядок: легкораненые после осмотра и перевязки немедленно покидали квартиру; тяжелораненых он оставлял до утра, наказывая санитарам:

— Не забудьте забрать вашего коллегу: у меня лежачих мест нет.

Сюда принесли и Степана Важеватова. Воробьев, осмотрев его, сказал Груне:

— Ваш коллега, мадемуазель, будет жить. Ручаюсь! С таким сердцем и с таким телосложением в эти годы не умирают. До завтра я его продержу у себя, а потом забирайте.

Ночью доктор несколько раз подходил к Степану и, увидев, что он наконец пришел в себя, сел около него и, как бы советуясь, сказал:

— Ну, что мы дальше делать будем?

И он рассказал Степану, что рабочие отряды оттеснены семеновцами к самой Прохоровской мануфактуре.

— Не придумаю, куда вас спрятать. Семеновцы совсем озверели, даже раненых добивают.

Утром в дверь ударили чем-то тяжелым — очевидно, прикладом винтовки. Доктор вскочил с дивана и, по привычке на ходу застегивая халат, в котором он так и уснул, крикнул жене:

— Подожди, не открывай!

Но она уже открыла. В прихожую вошли хозяин дома Котлам, дворник, рослый полицейский пристав с черными усами, жандарм и трое городовых.

— Вот, пожалуйста, с ним и разговаривайте,— злобно сказал Котлам.

Пристав, не обращая внимания на врача, спросил дворника:

— Где выход на балкон?

— Пожалуйте, ваше благородие.

Воробьев загородил дверь:

— Прошу здесь не распоряжаться.

Пристав оттолкнул доктора:

— С тобой мы после поговорим, поганая морда!

Воробьев снова загородил вход:

— Вы не имеете права говорить мне «ты». Я врач... Доцент университета! Я дворянин...

— А я говорю, не мешай мне! — заорал пристав, оттаскивая врача от двери.

— Вы подлец,— спокойно сказал Воробьев.— Подлец и насильник. Я о вас доложу градоначальнику барону Медему.

Пристав торопливо расстегнул кобуру и вытащил револьвер.

— Витя! — крикнула жена.— Не спорь, Витя. Уйди.

Воробьев повернулся к приставу спиной. Пристав, наливаясь злобой, крикнул: «Докладывай!» — и выпустил ему в спину одну за другой три пули. Воробьев упал, на секунду приподнял голову и слабо крикнул:

— Аня! Какой подлец...

— Витя! Витенька! — забилась на полу жена. Маленькая дочь в коричневой гимназической форме вырывалась из рук городовых, крича на одной ноте: «Мамочка! Мамочка!»

Степан в соседней комнате с трудом поднялся с пола, достал из кармана пальто револьвер и, держась руками за стену, вышел в переднюю.

— Важеватов? — крикнул унтер Курков и, боясь, как бы пристав в горячке не пристрелил его драгоценную находку, торопливо начал объяснять: — Не стреляйте, ваше благородие. Его только живьем приказано брать.

В какую-то долю секунды Степан понял, что отсюда живым не уйти. Он поднял револьвер к виску:

— Не возьмешь, шкура барабанная!

И нажал на спуск. Но выстрела не получилось: в обойме не было ни одного патрона.

Не прошло и часа, как Степана водворили в Бутырскую тюрьму. Сидя в ожидалке, он через дощатую временную перегородку услышал голос Груни. Она, явно издеваясь над кем-то, говорила:

— Ну и хоромы! Отродясь в таких не жила. Ты мне скажи: на прогулку пускают? Очень хорошо. И в баню водят? Не жизнь, а малина. Ты там начальству доложи, что я привередливая, хожу в баню с веничком, с березовым.

Потом послышался глухой удар и снова голос Груни:

— Только тронь еще. Я тебе так двину, ведьма бутырская...

Владимир КРАСИЛЬЩИКОВ

«Под дых»

Уже дней пять Глеб Максимилианович почти не спал по ночам. Вот и теперь: ворочался, ворочался с боку на бок — ни в одном глазу! Встал, покурил, опять лег. Голова точно обручем стянута. Давит, жмет затылок — так нужно выспаться, но только смежил веки, тут же вспомнил об австрийском инженере Эрнсте, который был у нас в плену и хотел помочь электрификации России. Кржижановский попросил Ильича , и он телеграфировал Сибирскому ревкому, чтоб немедленно отправили в Москву обер-лейтенанта Рудольфа Эрнста, находившегося в военном городке под Красноярском. С тех пор минуло уже две недели, а о нужном электрике ни слуху ни духу. Надо бы напомнить, поторопить. Не забыть бы. Вдруг забудешь?..

Стараясь не шаркать шлепанцами, Глеб Максимилианович пробрался из своей спальни в кабинет, включил лампу, черканул в книжке-«поминальнице», раскрытой на столе, задумался. Как весело, споро принялся он за эту работу: «Довольно! Хватит быть России убогой и бессильной! Не хотим ее видеть такой — и не будет больше такой России...» Ведь план ГОЭЛРО — не просто строительство электрических станций; подспудная энергия потоков севера, торфяных залежей центра, угольных массивов юга, Днепровские пороги и подмосковный уголь начнут работать в дружной согласованности — вдохнут жизнь в промышленность, транспорт, сельское хозяйство, дадут свет, тепло, движение всей стране. Вот о чем мечтает Ильич. И это — не благие пожелания, не «парение этакое» вообще. Создана государственная комиссия — собраны лучшие специалисты, крупнейшие ученые. По плану электрификации народное хозяйство получит как бы регулярную работу двадцатимиллионной армии труда.

Все это так, все это хорошо, но, чтобы все было, надо: а) готовить план возрождения существующих станций для немедленной помощи изнывающим от разрухи городам, заводам, шахтам, б) план постройки новых станций и сетей на

пятнадцать лет, в) определить способы подъема сельского хозяйства и лесной промышленности... Надо, надо, надо...

Глеб Максимилианович оглянулся — уже светает. Выключил лампу, присел на подоконник, толкнул широкую — в одно стекло — раму. Сразу свежестью и какой-то живой, дышащей тишиной повеяло с реки, скрытой от него кирпичными стенами домов. Из-за них в молочно-ясном небе уже на том берегу возвышался лишь купол Казаковского дворца. Влево от него, во-он там — Кремль, где сегодня предстоит работать, а еще дальше — Красная Пресня, мастерские Александровской железной дороги, где предстоит выступать...

В былые времена об эту пору по этой булыжной мостовой в сторону знаменитого «болота», прозванного «чревом Москвы», уже громыхали подводы с молодой редиской и зеленым луком, с бадейками творога и горшками сметаны, с прошлогодним картофелем и свежей телятиной.

А сейчас?

Тихо. Он подался вперед и прислушался, как бы не доверяя самому себе. Тихо-тихо по всей столице. И кому, как не председателю комиссии, работающей над планом развития страны, знать причину этой тишины? Восемьдесят шесть процентов населения живет в деревне, сельское хозяйство — основное занятие подавляющего большинства нации, а ведется оно... Соха и лукошко — не лубочные символы, не метафорические образы русской деревни, нет! Это ее основные орудия производства. Из двадцати пяти миллионов десятин, отобранных у крупных помещиков, только полтора миллиона оставлены за советскими хозяйствами, остальное раздроблено в клочки — там властвуют все те же лукошко да соха, с той лишь разницей, что в соху впрягают не лошадей, а жен и детишек. Чтобы восстановить убыль «живого конского инвентаря», потребуется не меньше пятнадцати лет.

В угнетенном, тягостном настроении Глеб Максимилианович вернулся в постель, укрылся с головой, нарочито сильно зажмурился и старался не думать ни о чем. Но...

Вообще, почтеннейший председатель ГОЭЛРО, на фоне окружающей действительности и с учетом особенностей момента, не смахивают ли вдохновенные радения вашей комиссии на прожектерство и утопию? Недаром многие — очень многие! — честные товарищи смотрят на вас недоверчиво-иронически. Каждый шаг ваш сопровождается косыми взглядами, вздохами сожаления знатоков и специалистов. Умные — очень умные! — знатоки и специалисты эти скры-

то, а то и явно противодействуют вам, смотрят на вас, как на балованного сына, вышвыривающего последние материнские гроши на щегольской галстук в то время, как дома не на что купить кусок хлеба. Даже сам председатель Всероссийского Совета Народного Хозяйства, который в силу своего положения, казалось бы, должен поддерживать вас, и тот не стыдится признать, что сейчас ГОЭЛРО — слишком большая роскошь для Республики, поэзия, оторванная от жизни. А с глазу на глаз Рыков прямо объявил Глебу Максимилиановичу:

— Увлекается Старик, зарывается, забегает вперед — настолько вперед, что теряет почву под ногами. Не обернулась бы ваша электрификация электрофикцией.

Вдруг откуда-то из-за спины Рыкова выглянул вождь меньшевиков Мартов и тут же напустился на Глеба Максимилиановича, начал уличать его:

— Я предупреждал вас, почтеннейший председатель кучки фантазеров! Да, да фантазеров! Для любого нормального человека нынешняя Россия — олицетворение всеобщего краха. Прогнившая азиатская монархия, с ее чинами и сословиями, с финансами и хозяйством, рухнула и расшиблась вдрызг. Только мужик мародерствует на пепелище — дикий, алчный, безжалостный. Куриное яйцо стоит триста рублей!.. Турки заняли Карс, Ардаган, Батум!.. Английский флот обстреливает побережье Черного моря!.. Лорд Керзон требует прекратить ваше наступление на Врангеля, иначе — война с Британией!.. Пан Пилсудский не согласен мириться ни на чем, кроме границ семьсот семьдесят второго года — решил оттяпать территорию с населением в тридцать миллионов человек, и войска его уже захватили Коростень, Житомир, Могилев-Подольский!..

Вихри враждебные веют над нами,
Черные силы нас злобно гнетут,—

сам себя перебил Мартов.

Но почему он поет? Почему у него столько голосов? — мужских и женских? Где он? Растаял? Вместо него — крашеная дверь.

Глеб Максимилианович повернулся, протер глаза. Нет, не мерещится — вполне реальные голоса с улицы звали:

На бой кровавый,
Святой и правый.

«Надо же! Разбудили автора его же собственной песней,—

поморщился, надвинул подушку на ухо.— Опять голова чугунная».

По улице во всю ширь — колонной, с песнями — шагали москвичи. Но, в отличие от прошлогоднего Первомая, знамен и плакатов было совсем немного — несли лопаты, кирки, ломы, везли тачки.

В голове колонны шагали музыканты. Начищенная медь полыхала на солнце, торжественно, тепло гремела «Интернационалом» на всю Москву.

Глеб Максимилианович нагнал оркестр, приспособил шаг — пошел в ногу, рядом с молодцеватым старательным барабанщиком.

Не доходя моста, колонна свернула влево, а Глебу Максимилиановичу надо было в Кремль.

На повороте стоял ярко разукрашенный агиттрамвай. Рыжий Петрушка в настоящей буденовке, высунувшись из окна, лихо покрикивал:

— Уважим польских белогвардейцев? Дадим землицы?

— Дадим! — в один выдох подхватила толпа.

— Сколько?

— Три аршина!

— Правильно! — И тут же продемонстрировал, как это будет, проткнув настоящим красноармейским штыком пузатого пана, из которого в толпу посыпались листовки.

Кржижановский улыбнулся той залихватской наивности, с какой Петрушка одолел Пилсудского: «Если бы так легко и просто! Если бы...» — и зашагал дальше.

Всюду на захламленных, загроможденных корой и наносами берегах реки, в лабиринте московских переулков, проездов, улиц реяли флаги, трудились тысячи людей. Крушили завалы на месте разобранных зимой домов. Расчищали дворы. Вскапывали землю. Выбирали из мусора кирпичи, кровельное железо, трубы, складывали аккуратными штабелями или грузили на подводы. Засыпали ямы, напоминавшие воронки от снарядов. Заделывали камнем выбоины мостовых. Усевшись в лодки и вооружившись баграми, ловили бревна, черневшие в мутной — еще со льдинками — воде. Женщины работали вперегонки с мужчинами. Мальчишки и девчонки не уступали взрослым.

По мосту, гуськом, с одним кучером, катили три подводы, нагруженные молодыми кленами.

Милиционер, шедший впереди Глеба Максимилиановича, вскинул голову:

— Куда?

— На Пресню.— Возница поправил мокрую рогожу, укрывавшую корни.— Шестьсот штук. Школяры сажают — едва успеваем подвозить,— и хлестнул битюга, давно уже, видать, позабывшего вкус овсяных зерен.

Общительный милиционер позволил Глебу Максимилиановичу нагнать себя и обернулся, явно рассчитывая на сочувствие:

— Никого в райкоме!

— Да что вы?

— И в Совете — ни души. Все на заводе. И Калинин там — Михал Иваныч. Встал за слесаря. Сам видел!

Словно подкрепляя его слова, доносились обрывки разговоров:

— В ЧК — только дежурный...

— Все на Александровском вокзале...

— В Пресненском районе восемьдесят тысяч вышло...

Глеб Максимилианович не воспринимал все это как упрек себе — нет: и он шел работать. Но что-то по-прежнему заботило его, угнетало. Тяжелый сон? Или война? Или то, что не успели подготовить план в два месяца, как хотели?

Да, в этот срок не вышло. Вот что самое неприятное! Но ведь должны были подготовить общий, а общего, видно, быть не может. Работа показала: нужен только деловой, а значит, конкретный, иначе — это не план. Настоящий план требует больше сил, больше времени. Нужны достоверные данные обо всем хозяйстве страны, об отдельных отраслях, экономических районах. А работать Комиссии ГОЭЛРО приходится в таких условиях, когда нет и простейших сведений — сколько, к примеру, гвоздей надо для одной нефтяной вышки в Баку? До всего приходится самим доходить — танцевать от печки, начинать на пустом — голом! — месте, первый раз в истории. И все же!..

В Кремле народу было полно. И работа шла вовсю. Курсанты в гимнастерках без ремней, служащие Совнаркома и ВЦИК очищали Ивановскую площадь и Драгунский плац, захламленные кучами камня, бревнами, обломками досок, остатками проволочных заграждений.

Когда Глеб Максимилианович увидал распорядителя с красной повязкой на рукаве и подошел к нему, неподалеку от них остановился Ленин. Сразу бросалось в глаза, что снарядился он не для разговоров: рабочие ботинки, брюки, заправленные в толстые носки, поношенная, но крепкая курт-

ка из грубого сукна, туго надвинутая кепка. Он быстро наклонился, присел, ухватил длинную слегу за комлевую часть.

Комиссар кремлевских курсантов, работавший с ним в паре, старался оттеснить его к тонкому концу слеги, но Ильич сердился:

— Товарищ Борисов! Вам и так приходится больше переносить тяжести, чем мне.

— Мне двадцать восемь, а вам...— Комиссар осекся: всякий знает, что Ленину пятьдесят, неделю назад отмечали, зачем лишний раз напоминать?

— Вот вы и не спорьте со мной, раз я почти вдвое старше. Взяли! — Сноровисто и легко Ильич взвалил слегу на плечо.— Двинулись! В ногу! В ногу! — И заметил Кржижановского: — А-а... И здесь не поспели вовремя...

Глеб Максимилианович почувствовал, что Ленин корил его именно за то опоздание — с планом, огорчился еще больше, хотел ответить, но Владимир Ильич со своим напарником были уже далеко. Посреди площади Ленин оглянулся, как будто поторопил. И Глеб Максимилианович точно так же, в паре с молодым курсантом, поднял такую же слегу, заспешил к Большому дворцу, возле которого помещался дровяной склад.

Они таскали наперегонки остатки баррикад семнадцатого года, и Глеб Максимилианович все хотел нагнать Ильича — объяснить ему, оправдаться перед ним, но никак нельзя было его нагнать. Пока Кржижановский с компаньоном несли бревно, Ленин и Борисов торопились навстречу «порожняком». Потом, когда Глеб Максимилианович нарочно замедлил шаги, Ленин с ходу обогнал его да еще прикрикнул:

— Шевелись!

Работа возбуждала его, нравилась ему, и старался он с азартом, вдохновенно, быстро, — даже с другой стороны площади было видно, как Борисов вздрагивал, смеясь от его шуток.

Солнце светило и грело на совесть. Оркестр жарил и жарил, наддавал и наддавал — то «Эй, ухнем», то «Из-за острова, на стрежень», а то и «Вихри враждебные».

Пот застилал глаза, жег щеки, щекотал нос. Так хотелось бросить бревно на полпути, отереть хотя бы лоб. И вместе с тем Глеб Максимилианович вдруг почувствовал, что нет и не будет большей радости, чем работать вот так — вместе со всеми, для всех. Сразу ему полегчало, но он по-прежнему

ревниво следил за Ильичем, спорил с ним, не уступал: «Ты — одну, и мы — одну... Ты — потяжелее, и мы — потяжелее!..»

Борисов зачем-то отошел, его место занял еще более молодой и крепкий курсант. Напарник Глеба Максимилиановича тут же заметил это и завистливо вздохнул:

— Повезло Артемию Пермякову: с Лениным работает!

Все устали. Курсанты накатили на слеги бревно:

— Присядьте, Владимир Ильич! — Окружили его, протянули сразу три кисета и кожаный портсигар.

— Спасибо. Не курю. Угостите вот этого товарища.— Ленин кивнул на подошедшего Глеба Максимилиановича и со значением прищурился: — Я вижу, он забыл свои папиросы.

Затянувшись ядреным, дерущим горло самосадом, Кржижановский сел на предупредительно освобожденный для него край бревна, продолжал думать о своем, но не решался заговорить об этом при таком стечении людей.

Тем временем начальная скованность, неловкость курсантов улетучилась, и разговор на бревне разгорелся. Тон задавал Ильич — выспрашивал, кто ты таков, откуда родом, почему решил стать красным командиром, как тебе живется, как харчуешься, что пишут из дому, есть ли у отца лошадь, хорошо ли уродилась гречиха в прошлом году, какие виды на нынешний, дает ли молоко корова, сколько дает.

— Вы волгарь? — обернулся Ленин к румяному добродушному молодцу, стоявшему у него за спиной, опершись на черенок лопаты: — Я по говору чувствую. Земляк наш, Глеб Максимилианович, слышите? Откуда именно?

— Самарский,— во все обветренное, с выгоревшими бровями лицо расплылся молодец.

— Самарский! Да что вы?!

Глеб Максимилианович подумал, что Ленин так мечтательно улыбался, вспоминая о марксистском кружке, созданном им в Самаре, или о том, как под орех разделывал тамошних народников. А он:

— Да, Самара... Какие там чудесные калачи выпекали!

— Само собой! — заокал курсант и посерьезнел.— Отличные — горчичные!

— И сейчас, наверное, самарцы едят настоящий хлеб,— искренне позавидовал Ленин,— а нам приходится довольствоваться суррогатом.

После отдыха взялись за дубовые кряжи. Чтобы их поднять, пришлось подкладывать деревянные ваги. И опять

Ленин занял место у комля. И опять все кинулись помогать ему: охотников потрудиться вместе с Лениным набежало столько, что один курсант подлез даже под бревно между Лениным и его напарником, так что Ильич рассердился:

— Хватит шестерых. Помогите лучше вон ему,— и указал на Кржижановского.

Возвратившийся Борисов хотел увековечить этот момент, но:

— Я работать пришел, а не позировать,— нахмурился Ленин и обиделся: — Не напоказ все это...

Комиссар согласно заккивал, сделал вид, что прогоняет фотографа, но отвел его за ближайшие подводы и там остановил, словно в засаде.

Следующий кряж подвернулся такой тяжелый, что Ленину и пятерым курсантам с вагами пришлось попыхтеть над ним.

— Товарищ Ленин! — просили курсанты.— Не переутомляйте себя. Мы сами все это сделаем, у вас есть работа поважнее.

— Нет. Это сейчас самое важное,— отмахнулся Ленин, напрягся и разом, дружно со всеми поднял толстенную колоду.

Поднял, пошел, понес, не услышав, как щелкнул фотоаппарат.

Когда перетаскали все бревна, слеги, кряжи, Ильич взял кирку-мотыгу и принялся колоть камень. Борисов, ставший рядом с Глебом Максимилиановичем, с маху разваливал глыбу за глыбой:

— Гэк!.. Гэк!.. Гэк!..— лишь покрякивал, приседая.

А у Ильича дело не шло: долбил, мотыга срывалась, соскальзывала — только известковая крошка летела в стороны. Раз он чуть не попал по ноге, оглянулся виновато, попросил:

— Откройте секрет.

Борисов с готовностью посоветовал:

— Поверните кирку: бейте острием, а не лопаткой. И не куда придется. Камень — только с виду крепыш. В душу его, в жилу — сюда или сюда — в слабину, под дых!

Тут же работа у Ильича наладилась. Он с удовольствием заносил кирку, прицеливался, приседал, сокрушая сыроватый известняк, словно заправский каменотес, и приговаривая:

— Под дых!.. Под дых!..

Переколов свою долю, Глеб Максимилианович приблизился к нему. Но Ленин сам обернулся:

— Не терзайте себя. Не надо. Сделаем в меру сил — как вы любите говорить, «в порядке первого приближения» к двум месяцам. Что поделаешь? Просчитались: так хочется быстрей! Главное все же не в этом. Главное: под дых! Камень — только с виду крепыш. Под дых его! Под дых! — и развалил надвое бутовую глыбу.

Да, не покрасоваться вышел он, не поиграть в демократа. Ведь то, что все работают, что «сам» Ленин работает вместе с тобой — так же, как ты, взволновало каждого, превратило самый «черный», самый тяжкий труд в радость, в праздник. В этом Глеб Максимилианович убедился только что на собственном примере.

Овеянный свежестью весеннего утра, вкусивший усталость от нужной работы, Владимир Ильич тоже был взволнован, торжествен, неукротим и рвался к людям.

В два часа, едва успев переодеться и не успев отдохнуть, он уже на Театральной площади — говорит тысячам собравшихся о Карле Марксе, о великой чести, выпавшей на долю России — впереди всех пойти к социализму. Под звуки «Интернационала» он кладет кирпичи, а на них устанавливают первый камень будущего памятника.

Уходя, по пути, Ленин успевает задержаться возле детишек, разбивающих клумбы для роз, успевает заметить, поздравить, похвалить, и — дальше, по набережной Москвы-реки, к площадке у храма Христа Спасителя.

— На этом месте прежде стоял памятник царю,— обращается Ленин к товарищам москвичам, жадно слушающим его,— а теперь мы совершаем здесь закладку памятника Освобожденному труду... Мы знаем, что нелегко как следует организовать свободный труд и работать в условиях переживаемого тяжелого времени. Сегодняшний субботник является первым шагом на этом пути, но, так идя далее, мы создадим действительно свободный труд.

Сразу после этого Ленин отправляется на Волхонку, в Музей изящных искусств — осматривает выставку эскизов заложенного памятника. Потом пересекает столицу — выступает в Благуше-Лефортовском районе на открытии Рабочего дворца имени Загорского. Вновь пересекает Москву — от окраины до окраины — и встречается с Глебом Максимилиановичем уже на Красной Пресне.

Когда Ленин приехал сюда, рабочие Прохоровской ману-

фактуры возвращались после субботника. Партийный секретарь Василий Горшков от волнения покраснел, засуетился, тут же остановил статную молодую ткачиху, велел:

— Слетай по казармам — кликни всех на митинг!

— Погодите, не беспокойтесь.— Ленин сбросил пальто, присел на бревне возле ворот.— Пусть пообедают, отдохнут.

Но вокруг уже начали собираться рабочие, больше ткачихи. Усталые, у кого-то даже изможденные лица, но все одинаково ясные, озаренные тем возбуждением, которое знакомо людям, только что исполнившим долг, закончившим важную работу.

Нелегкая, трудная пора... Фабрика бездействует уже второй год. Больше половины рабочих ушли на фронт или разъехались в поисках пропитания по родным деревням. Но три тысячи оставшихся приводили в порядок цех за цехом, отдирали ржавчину от станков, расчищали территорию, строили подъездные пути к фабрике от Александровской железной дороги. И теперь прохоровцы тут же, наперебой спешили выкладывать Ленину радости своей сегодняшней работы:

— Мы белье для красных армейцев шили!

— А мы за Москвой старались, в Хорошевском Серебряном бору!

— Это верст за восемь отсюда? — Ленин насторожился, вопросительно глянул на Горшкова: — Туда и обратно на своих на двоих?

— На чем же еще, Владимир Ильич?

— Мало вас ругают. Да, да: ма-ло! Ведь, наверно, и женщины ходили — семейные работницы?

— Как же без них? На них, почитай, вся Россия держится,— сказал Горшков.

— И все-таки! — не принимая шутку, Ленин жестко надвинул на крутой лоб вздутую вешним ветром кепку.— Дети целый день без присмотра. И вообще... Если взялись руководить людьми, постарайтесь разумно распорядиться их силами.

— Ништо-о,— вступилась за парторга пышная ткачиха с характерными темными пятнами на широком, радушно обращенном к людям лице.— Пресня и не то видела.

Она сидела рядом, положив правую руку на тяжелый живот, а левой придерживая мальчика лет четырех, вперившего острые голубые глазенки в «дяденьку Ленина».

— Неужто и вы ходили? — удивился Владимир Ильич.

— А чего же? Как все...

— Вас хотя бы накормили там?

— Грех обижаться. Ему вон еще принесла,— она кивнула на сынишку.

Как бы приглашая взглянуть на них, Ильич обратился ко всем обступившим его прохоровцам:

— Вот. Мать маленького ребенка. Другого ждет. А пошла помогать государству за восемь верст... С такими мы одолеем разруху. И все же, товарищи организаторы!..

Горшков стал оправдываться:

— Несдержимый подъем. Отбою от них нету. Один — рвусь на части. Беда...

Но его перебил пожилой хмурый рабочий в очках на самом кончике носа:

— Правильно товарищ Владимир Ильич говорит.— Он подкрепил свои слова энергичным веским взмахом сухой плоской ладони, изъеденной краской.— Больше таскались туда-сюда, чем работали. И харчи, опять же, кому выпали, а кому...

— Вот видите! — подхватил Ленин.— Это уже вовсе не дело. А ведь было специально приготовлено продовольствие для всех, кто собирался участвовать в субботнике.

— Да, видите, товарищ Ленин, участников-то оказалось куда больше, чем предполагали...

Почему-то именно сейчас Глеб Максимилианович задумался о том, что неповторимость Ильича, между прочим, в его многогранности. Неверно было бы взять, выпятить какую-то его черту и сказать: вон он — весь. То же самое и применительно к его внешности — такой, казалось бы, простой, из обычных рядовых черт и черточек. А все вместе — на поди! — именно эти «простые» черты и черточки создают то своеобразное, особенное единство, которое превращает Ульянова в Ленина, наделяет его такой привлекательностью и силой. Может быть, именно поэтому художникам пока не удаются его портреты. И может быть, досужему уму покажется все, что сейчас здесь происходит, мелочью, пустяком: ведь в представлении многих «быть вождем — значит уметь считать на миллионы». Ленин умеет считать и на миллионы и на единицы. Как всегда, он обращает особое внимание на проверку действенности начатого им. Годами упорной работы выковал он свою невероятную волю и вправе больше, чем кто-либо, приказывать, требовать, потому что наиболее требовательно, беспощадно относится к самому себе.

«Жить в гуще, знать настроения. Знать все. Понимать массу. Уметь подойти. Завоевать ее абсолютное доверие» — все это не только советы товарищам-сотрудникам, но и первейшая ленинская заповедь для него самого.

Между тем из фабричной столовой прибежал посыльный:

— Все уже пообедавши и собравшись.

Окруженный живым кольцом, Ленин двинулся на митинг.

На Большую кухню, ту самую, где в пятом году был штаб революционных боевых дружин, сошлись и прохоровские и не прохоровские — со всей Красной Пресни. Мужья привели жен, жены — мужей, сидели там и здесь целыми семьями — с детишками малыми, что горох, и с теми, что уже сами с усами. Мужчины в аккуратно залатанных пальто, в когда-то праздничных, выходных пиджаках. Женщины в платочках поновее.

Душновато. Мерно гудят за перегородкой кухонные котлы. Их дыхание перекрывает взрыв:

— Да здравствует товарищ Ленин, вождь мирового пролетариата! Ур-ра-а!

Поднявшись на помост, Ленин ждет, нетерпеливо вздыхает, достает часы, демонстративно показывает их собравшимся: «Стоит ли терять время на пустяки?»

Но собравшиеся не унимаются — хлопают так, что оконные стекла вздрагивают и позвякивают.

— Ровно поезд с хлебом пришел! — улыбнулся Глебу Максимилиановичу старый гравер, усердно отбивая пропитанные металлом ладоши.

Да, хлеб теперь — самое главное. И когда наконец овация стихла, Ленин прежде всего заговорил о хлебе. Объяснил, почему не хватило продуктов для участников субботника. Поручился за то, что каждый из них непременно получит свой паек в ближайшее время. Сказал, что хорошо бы и самим рабочим подумать о заготовке продовольствия — отремонтировать, например, вагоны, поехать за хлебом в провинцию. И только после этого перешел к международному положению.

Перед ним в сыроватом, надышанном сумраке под сводами старого кирпичного сарая сидели люди, которые до могилы не могли забыть Прохоровский распорядок дня: «Начало работ в 5 часов утра. Окончание работ в 8 часов вечера». Люди, которые обогатили целые династии хозяев. На сдвинутых к стене столах, на поставленных рядами тесовых скамьях перед Лениным, затихнув, слушая его, си-

дели те, для кого всю жизнь самой большой роскошью была белая булка. И теперь они жили несладко. Но он не утешал их, не сулил скорый и легкий выход из адски трудного положения. Он говорил:

— Мы должны, не ослабляя нашей военной готовности, во что бы то ни стало перевести Советскую республику на новые рельсы хозяйственного строительства. Но как? Представьте себе, что у вас есть вагон угля. Что вы с ним сделаете? Как распорядитесь?

— Растащим по домам горстями! — выкрикнул весельчак-конторщик с галстуком «бабочкой», усевшийся в дальнем углу на столе.— И никто не погреется, обратно всем холодно!

— Да ты что, Митя?! — зашикали со всех сторон.— Поскромнее бы тебе!..

— Нет, нет,— поддержал его Ленин.— Он правильно говорит. А что, если сжечь весь уголь в одном месте, в одной топке?.. Не по старинке, не по привычке действовать надо, не латать Тришкин кафтан, а ударить по разрухе во всю силу новейших завоеваний техники и науки. Покрыть страну сетью электрических станций, сжигать топливо там, где его добывают, а тепло, свет, силу слать по проводам во все промышленные центры, в любое захолустье.

— Вот это да,— завздыхали пресненцы.— Незряшняя затея!

Одобрительно закивала та самая ткачиха, что ходила на субботник в Серебряный бор. Она сидела в первом ряду и, придерживая голубоглазого сына, сочувственно, добро ловила каждое слово.

— Дело непростое,— продолжал Владимир Ильич.— Нелегкое. Камень и тот нужно колоть умеючи.— Он покосился в сторону Кржижановского, едва заметно улыбнулся самому себе.— Вы, конечно, видели, как дробят камень. Неопытный каменотес вертит его и так и сяк, бьет как попало. А настоящий мастер сразу нацеливается в нужную точку — раскалывает с первого удара. Вот так мы хотим выходить из разрухи. Уже действует специальная комиссия — лучшие головы России хлопочут о ее возрождении. Инженеры и ученые работают изо дня в день целыми днями. И все же не поспевают. Надо им помочь.

— Со всей радостью,— опять закивала женщина в первом ряду,— да не шибко ученые: крестиком подписуемся.

— Да, это плохо. Очень плохо...— Ленин тяжело, ис-

кренне подосадовал, сжался, охватил локти так, словно ушиб оба сразу, но тут же к делу: — Провести электрификацию невозможно, пока у нас есть безграмотные. И все же... От каждого из вас сегодня, сейчас уже зависит ее успех. Ведь каждый аршин ситца, каждый паровоз, переставший быть «больным»,— это шаг вперед, шаг по пути электрификации, а значит, к победе социализма.

Те, к кому он теперь обращался, даже в прошлом олицетворяли не только крайнюю степень забитости. Сто двадцать лет назад смекалистый купец Василий Прохоров и красковар Федор Резанов поставили на берегу Москвы-реки свою мастерскую. Через тридцать лет ситцы «Трехгорной мануфактуры» уже были представлены на Лейпцигской ярмарке. А вскоре умение русских набойщиков, резчиков, рисовальщиков, красильщиков, ткачей удостоили золотой медали на Всероссийской выставке. Их миткали и холстину, кашемир и коленкор, атлас и полубархат, платки и шали покупают в Сибири и в Туркестане, в Китае и в Европе. Мануфактуре дозволено ставить на этикетках государственный герб. Искусство и радение ее мастеров опять отмечено золотой медалью — на Международной выставке в Чикаго...

Это они, прохоровцы, впереди всех дрались на баррикадах первой русской революции, не страшась карателей, шли за правое дело под расстрел, дали всей Пресне прозвание «Красная».

Сейчас Ленин обращается к ним, хорошо зная их прошлое. И вместе с тем, как всегда, половиной души своей он живет в будущем. При всей своей революционной дерзости Владимир Ильич, как никто, прочно, обеими ногами стоит на земле. Больше того, он словно вырастает из недр действительности, потому что наделен даром проникать в сокровенные мысли и чувства миллионов. Как будто состоит с ними в родстве! В то же время, не устрашаясь жупелом фантастичности, Ленин постоянно будит в тебе волю к творчеству, твердо верит, что именно благодаря этому ты станешь участником таких свершений, с которыми не сравнится ничья счастливая выдумка.

Глебу Максимилиановичу припомнилась мысль Белинского о том, что гений — всегда новатор, всегда живет думами своего народа, приподнимает их до уровня, доступного всему человечеству. Ленинский загад плана электрификации России — пример как раз такой гениальности.

И еще: пожалуй, самая характерная черта Старика —

глубочайшая правдивость. Как бы горька ни была истина — не отступит, не покривит душой.

Вот он призывает полуголодных, измученных шестью годами войны людей к подвигу труда. Он имеет на это право, как первый труженик страны, работающий с утра вместе с ними — так же, как они.

И они слушают его с доверием, с готовностью на жертвы — как та беременная ткачиха, отшагавшая нынче со всеми шестнадцать верст. Не очень образованные, не слишком воспитанные, они с полным пониманием и сочувствием относятся к сложнейшим проблемам строительства новой России. Красная Пресня перенимает у Ильича надежду, уверенность, силу. Но и сама она дает ему, быть может, еще больше, чем он ей: возможность увидеть и показать другим будущее, жить в нем уже сегодня, сейчас, сию минуту.

С митинга на «Трехгорке» Глеб Максимилианович спешит в мастерские Александровской дороги, а Ленину предстоят еще два собрания: в Замоскворецком и Бауманском районах.

С утра он на ногах, с десяти часов — переносил тяжести и работал киркой плюс шесть выступлений.

Шесть выступлений в один день! И каждому — все силы, все нервы, все мысли. Кто-кто, а Глеб Максимилианович давно знал: ничто так не напрягает Ильича, как выступление перед рабочими. К каждому он готовится, каждое продумывает — переживает снова и снова и еще раз, каждое ждет с волнением. Да и как же иначе? Слово его для людей событие, повод к размышлениям, обсуждениям, пересудам, оправданная надежда — только оправданная. Неоправданной надеждой слово Ленина быть не может — не имеет права быть. На всех у Ленина должно хватить заряда лучистой энергии — на миллионы людей.

Титанический труд! Труд — пример, обещание, пророчество. Именно — пророчество. «Под дых его! Под дых!» — звучал в ушах Глеба Максимилиановича азартный призыв Ленина, представлялся он сам, раскалывающий каменные глыбы, и словно такт шагам твоим отбивал: работать, работать, работать...

Конечно, «умники» и сегодня не упустили случай — разве могут они упустить? Вот, на углу, неподалеку от Пресни, около бездействующей пивной, вполне активные «бывшие» — в бархатных жилетах и хромовых сапогах, лабазники, может быть, или содержатели извозных заведений, или перекупщики с Тишинского рынка, выгнанные домовым комите-

том, с лопатами, метлами, граблями. Демонстративно не работают, глумятся над интеллигентным молодым человеком, нагружающим в тачку их же навоз. Больше всех усердствует подгулявший сытый дворник, желающий, как видно, угодить своим недавним господам и благодетелям:

— Как же так, товарищ красный педагог? За что кусок отбивать изволите? Все работаете, работаете — когда же думать будете?

Учитель молчит, ноль внимания, неловко, непривычно поднимает тачку, с трудом двигает ее — на месте груды мусора чисто.

«Черт с тобой! — задирается Глеб Максимилианович.— Смейся, обыватель всея Руси — от пьяного дворника до просвещенного Мартова!.. Красная Пресня — это не ты, не с тобой она... Никогда еще мы так не работали, никогда не успевали так много. Вот так же сейчас в Мосальске и Саратове, в Омске и Ростове-на-Дону, в Казани и Тамбове — везде и всюду, по всей стране вышли на улицы люди, чтоб очистить Россию от извечной заскорузлости, чтоб стереть с лица земли понятия «голод», «нищета», «разруха». Так же вышли в Шатуре, в Кашире, на Волховстройке. Так же двинем — не можем не двинуть — и план, и всю электрификацию, что бы вы там ни говорили, как бы ни смеялись!»

Дойдя до мастерских, Глеб Максимилианович задержался у ворот, обдумывая предстоящее выступление.

Вдруг земля радостно, предвещающе вздрогнула: навстречу из депо выкатил, попыхивая дорогим сердцу, так хорошо памятным по собственной работе — угольным, а не дровяным! — дымком, только что отремонтированный паровоз. Сиял надраенной медью и свежей краской, дышал — отдувался во весь дух, орал во всю глотку, на весь мир: «Вот он — я!.. Жив!.. Живу-у-у!..»

Горячую грудь его обтягивал кумач, и по нему неумелой, но твердой рукой: «Не сдадимся, выдержим, победим».

Красная Пресня била под дых...

Когда поздно вечером изнемогший Глеб Максимилианович вернулся домой и улегся в постель, он заснул тотчас же, словно в прорубь ухнул. Ничто не потревожило его сон — никто не привиделся. Никогда еще он не спал так крепко.

Рафаил ХИГЕРОВИЧ

Соседи

— Трудный поиск,— сказал Георгий Демьянович Курочкин, когда я изложил дело, которое привело меня к нему.

В этом деле Георгий Демьянович — председатель совета ветеранов комбината «Трехгорная мануфактура» — неоспоримо был главной и последней инстанцией.

«Курочкин поможет»,— сказали мне в партийном комитете.

«Мы свяжем вас с Курочкиным»,— пообещали в музее «Трехгорки».

— Трудный поиск,— повторил Георгий Демьянович, озабоченно покачивая большой бритой головой.— Ведь как-никак полсотни лет прошло?

— Сорок семь,— уточнил я, ощущая зыбкую нереальность своей просьбы.— Записки Серафимовича о ткачихе Майоршиной датированы декабрем 1923 года.

— А звали ее как, Майоршину?

— Еленой Захаровной. И еще известно, по записям Серафимовича, что было ей тогда за сорок. Запись такая: «На Прохоровскую фабрику $18^1/_2$ лет (25 лет уже в Москве)». Значит, примерно сорок четыре.

— Сорок четыре да сорок семь получается девяносто один. Наверное, давно уже нет в живых... Дети-то у нее, Елены Захаровны, были? — деловито спросил Курочкин, и я уловил в голосе моего собеседника новую интонацию, будто уже занес Георгий Демьянович Майоршину в список подведомственных ему ветеранов.

— В записной книжке упоминается сын, Павел.

— Я на фабрике с девятьсот шестнадцатого... Павел Майоршин?.. Павел Майоршин... Нет, не припомню.

— Сама Елена Захаровна — Майоршина. А у сына, возможно, была другая фамилия, по отцу.

— Вот и поищи,— развел руками Георгий Демьянович.

«Дело» в «последней инстанции» я явно проигрывал.

Мы помолчали.

— Поищем,— вдруг решительно сказал Курочкин.— Значит, так: в архиве комбината по спискам найма и увольнения. Когда Майоршина определилась к Прохорову? Считай, в 1898—1899-м. Ладно. Еще соберем стариков, и вы им все расскажете. Серафимовича-то они хорошо знают, ведь он рядом жил, по Большому Трехгорному. И «Железный поток» его читали. А вот про Майоршину... Кто она такая есть, и зачем этот поиск нужен?

С Георгием Демьяновичем мы разговаривали в клубе комбината. Адрес клуба — Большой Трехгорный, 1. Квартира Серафимовича была действительно совсем рядом — в доме № 5.

С «серафимовическими местами» я встретился сразу, выйдя из метро «Краснопресненская». Налево от станции метро — Волков переулок. Здесь жил писатель в дни декабрьских боев на Пресне. «Дом-то наш весь изрешечен был пулями,— сообщал он жене в Ростов.— Теперь я немного устроился.— Пишу, здорово пишу, никогда так не писал». Это были рассказы о первой русской революции, рассказы участника и очевидца.

Дружинниковской улицей (бывшей Нижней Прудовой) я спустился вниз и свернул направо, в Предтеченские переулки. Здесь, в маленьком одноэтажном доме, в 1917 году заседал военно-революционный комитет Пресни. Здесь Серафимович писал листовки-призывы к восставшему народу.

Несколько минут ходьбы — и Большой Трехгорный. Перед тем как зайти в клуб, я остановился у знакомого трехэтажного кирпичного флигеля. Когда Серафимович поселился в нем (а это было еще до Волкова переулка — в 1904 году; в 1915 году он въезжает сюда вторично), флигель с переулка стоял третьим. В гражданскую войну снесли первый дом, несколько лет назад — второй, «дом Серафимовича» перестал быть флигелем и смотрит окнами прямо в переулок. Вот эти верхние окна — его квартиры № 13.

Я написал «квартиры» — так ее называют все мемуаристы. А точнее — две комнаты в общей коммунальной квартире, где жили еще две рабочие семьи. Мелькнула мысль: «Может быть, стоит зайти? А вдруг еще живут здесь соседи Серафимовича!» Но тут же отбросил эту мысль: ведь четыре десятилетия прошло. В 1930 году переехал отсюда Серафи-

мович, переехал в дом на улицу, носящую сейчас его имя. А до того кирпичный флигель в переулке на рабочей Пресне знала вся литературная Москва. «Мы вломились сюда незваными гостями в весенний день 1923 года,— вспоминает писатель Александр Исбах.— С того дня, обласканные гостеприимным хозяином, протоптали постоянную стежку-дорожку к нашему «старшему». Сколько вечеров провели мы в этой маленькой, теплой, уютной квартире! Садились вокруг большого стола, под яркой лампой. На столе шумел самовар. Дмитрий Фурманов читал здесь главы из «Мятежа». Потом, позже, совсем юный гость из Донбасса Борис Горбатов читал стихи и первые зарисовки комсомольской жизни. Рабочий паренек с завода Гужона (ныне «Серп и молот») Яша Шведов застенчиво знакомил нас с главами из повести «На мартенах». Потом, еще позже, Михаил Шолохов рассказывал земляку о своих творческих планах».

В 1923 году в этом доме по Большому Трехгорному произошло событие, значение которого по-настоящему было оценено только позднее: Серафимович завершил свой «Железный поток». Он пригласил группу писателей, человек двенадцать, среди которых были А. С. Неверов, А. С. Новиков-Прибой, Ф. В. Гладков, и прочитал им рукопись.

«Читал он часа три,— вспоминает Гладков,— но времени не замечали: все были с первой же страницы захвачены широкими картинами народного движения... Повесть эта поразила нас своей величавой простотой и глубокой народностью...

Вышли мы от Серафимовича поздней ночью. Неверов никак не мог успокоиться и всю дорогу повторял со свойственной ему горячностью:

«Ну и старик! Прямо зависть берет, до чего хорошо. Слушал я, слушал, и сердце замирало. Да и теперь вот: в душе бунт, прибой сил чувствуешь... Хочется писать ненасытно... жить ненасытно...»

Они шли по этому переулку, сорокалетний Гладков и тридцатисемилетний Неверов, и с восторгом говорили о «старике». А было тогда Серафимовичу шестьдесят лет. И стариком он себя не чувствовал. Наоборот, как никогда, после завершения трехлетнего труда, ставшего его главной книгой, писателя переполняли творческие замыслы.

2 марта 1924 года газеты впервые сообщили о выходе из печати 4-й книги сборника «Недра» с текстом «Железного потока». А уже 30 марта «Известия» публикуют беседу с

Серафимовичем о его дальнейших творческих планах. «Я задумал большую литературную работу,— сообщил писатель,— в которой «Железный поток» явится только частью.

Всю работу я называю общим названием «Борьба».

В следующих частях я опишу рабочее и революционное движение, дам картины нынешнего строительства, для чего сейчас тщательно отбираю материал и частями уже обрабатываю его».

С декабря 1923 года Серафимович частый гость на «Трехгорке». Гость, впрочем, не то слово. Он приходит на фабрику с первой сменой и уходит с концом рабочего дня. Именно в это время и появляется в его записной книжке фамилия ткачихи Майоршиной. Серафимович подробно записывает эпизоды ее биографии, типичной для рабочей женщины дореволюционной России и вместе с тем очень индивидуальной, как все лично выстраданное.

Станет ли Майоршина прототипом главного действующего лица новой книги, подобно тому как им стал перед этим Ковтюх? В записных книжках возникают и другие биографии, отражающие поиски писателя, вырисовывается направление поисков. Человек и эпоха в их сложном взаимодействии — вот что видит Серафимович за отдельными биографиями. В одной из позднейших статей он выразил эту мысль так: «Человек менял лицо страны и сам менялся до неузнаваемости».

Над романом «Борьба» Серафимович работал долго, примерно шесть — восемь лет, и не закончил его. Материалы записных книжек, опубликованные в 1925—1928 годах, рассказы, названные отрывками из «Борьбы», и отдельные главы романа, напечатанные уже после смерти писателя, позволяют проследить этапы этого большого творческого труда.

Вначале Серафимович намеревался создать роман из рабочей жизни, проследив ряд биографий на широком социально-историческом фоне. Судя по высказываниям писателя и заготовкам в записных книжках, большое место в романе должен был занимать рабочий быт; это «требует от меня,— говорил Серафимович в уже упомянутой беседе с корреспондентом «Известий»,— не кабинетного труда, а непрерывного погружения в рабочую массу в разных уголках СССР». Из биографии Серафимовича мы знаем, как много ездил он по стране, регулярно встречаясь с широкой рабочей аудиторией. Всячески поддерживая писателей рабочей темы, Серафимович остро ощущает масштаб требова-

ний, которые жизнь ставит перед литературой. «Нетрудно написать, как за станком стоит рабочий, можно описать и семейную жизнь рабочих, но теперь этого мало...— говорит он на московской писательской конференции 21 января 1927 года,— нужно жизнь рабочих связать со... всеми жгучими вопросами нашего времени, а это страшно трудно».

Середина 20-х годов — пора бурного успеха «Железного потока». На встречах с читателями Серафимович не раз слышит просьбу — продолжить «Железный поток», дать новое полотно из эпохи вооруженной борьбы за Советскую власть. Видимо, читательские пожелания не прошли бесследно для писателя. Вновь вспыхивает интерес к боевым эпизодам гражданской войны. На таких эпизодах построены рассказы 1925—1928 годов. Но продолжаются писательские раздумья над намеченной ранее рабочей темой. И снова Серафимович на «Трехгорке».

Перед встречей с Георгием Демьяновичем Курочкиным я заглянул в Центральный государственный архив литературы и искусства СССР и перелистал материалы фонда Серафимовича, относящиеся к «Трехгорной мануфактуре». В 1929 году писатель возглавлял библиотечно-самообразовательную комиссию фабрики. В архиве — протоколы заседаний комиссии, планы проводимых ею мероприятий, а еще выданные Серафимовичу документы: членский билет союза текстильщиков, удостоверение члена правления клуба имени III Интернационала, пропуск на право свободного прохода по всей территории и во все корпуса фабрики. Эти материалы лежали и по сей день лежат в бумажной папке, на которой рукой Серафимовича написано: «Трехгорная мануфактура» и пониже: «Клуб».

В этом же архивном деле есть еще толстая пачка карандашных записок на обрывках бумаги, листках из блокнотов. Пачка лежит в обложке. На ней рукой Серафимовича: «Москва, Трехгорная мануфактура. 1927.XII. Серафимович, Ляшко. Записки слушателей».

Нелегкие вопросы задавали писателям (большинство записок адресованы Серафимовичу) молодые рабочие «Трехгорки» в том далеком 1927 году. О цели жизни, о понятии «счастье», о новом быте, о любви. Были и вопросы, связанные с еще непреодоленными последствиями гражданской войны. Может быть, эти вопросы ближе всего подходили к материалу задуманного Серафимовичем романа; в нем писатель, продолжая тему «Железного потока», возвращался

к самому тяжкому периоду в жизни молодого Советского государства. По-видимому, только в 1929—1930 годах определилась композиция романа «Борьба», который должен был стать второй частью цикла. В сохранившемся плане и набросках некоторых глав развернутых характеров еще нет, они лишь намечены отдельными штрихами. Только двум персонажам романа Серафимович уделяет особое внимание и место: образу рабочей женщины-матери Елены, вобравшей в себя черты подлинной Елены Майоршиной, и образу В. И. Ленина.

■

Мы подошли к очень важной теме, обойти которую в этом разговоре нельзя. Известна встреча Серафимовича с В. И. Лениным, широко известно письмо Ленина, в котором он дает высокую оценку творческой деятельности писателя.

Уже на закате дней своих, оглядываясь на прожитое, Серафимович писал: «Свидание с Лениным оставило во мне неизгладимый след на всю жизнь.

Внимание и поощрение великого вождя оказало влияние на всю мою дальнейшую писательскую судьбу».

Беседа с Лениным и его письмо — важнейшие эпизоды творческой биографии Серафимовича. Но ленинская тема вошла в жизнь писателя значительно раньше личной встречи, тесно переплелась с темой «Железного потока» и оказала активное влияние на формирование замысла всего цикла «Борьба».

Серафимович в разные годы много думал о Ленине; при жизни Владимира Ильича (в пору работы над «Железным потоком») делал зарисовки к его большому литературному портрету. Писателю посчастливилось видеть Ленина на трибуне, в зале заседаний, в домашней обстановке. Он слышал его доклады на VIII Всероссийском съезде Советов, когда обсуждалось будущее страны — план ГОЭЛРО, и на IX Всероссийском съезде, где Ленин от имени ВЦИК и СНК докладывал «О внутренней и внешней политике республики».

Уже после смерти писателя в его архиве были обнаружены, а затем и частично опубликованы различные материалы о Ленине: зарисовки в записных книжках; наброски неоконченных глав повестей, незавершенные статьи, прямо или косвенно посвященные Ленину. Самое дорогое в этих материалах даже не отдельные точные штрихи и

детали ленинского облика, а попытка показать Владимира Ильича «изнутри», попытка раскрыть внутренний мир Ленина — человека и вождя.

Для чего Серафимович делал свои записи о Ленине? Привычка ли это класть в «писательскую копилку» все значительное и запоминающееся или у него уже тогда зрел замысел большого произведения, одним из действующих лиц которого должен был стать Ленин?

Материалы архива писателя позволяют ответить на этот вопрос. Хотя писатель и работал над отдельными частями цикла «Борьба» без строгого плана, замысел цикла, как нам кажется, определился давно. Серафимович всегда очень остро ощущал ответственность человека перед обществом. Этой теме в разные годы были посвящены трудные писательские раздумья; степенью ответственности, а отсюда и полезности, он мерил людей, их поступки. К себе Серафимович подходил с той же меркой. «Что я сделал, чтобы искоренить социальную несправедливость, бесправие, нищету?» — спрашивал он себя в дореволюционные годы. После победы Октября, рассказывая о героизме людей, рожденных революцией, он сурово проверяет свою писательскую «отдачу» — все ли сделано, чтобы помочь этим людям в их тяжелейшей борьбе.

Через десять лет в набросках романа «Борьба» Серафимович возвращается к тем же мыслям.

Действие романа должно было развернуться в Москве, в тяжелейший для страны период гражданской войны. В черновых записях с большой силой намечена картина «стынущего города», борющегося на последнем дыхании с голодом, холодом, разрухой. Судьбы отдельных людей вливаются в общенародную судьбу.

В начале повествования — холодная и голодная московская ночь (в конспективной авторской записи содержания эпизодов).

«Елена идет через город с мальчиком... Никому до нее нет дела. Одиночество.

Пришла... Ночь, звезды. Никогда не было так смутно, как будто и видно, а ничего не разберешь...»

«Ночь. Звезды. Мороз. Кремль. Часовые. Заседание Совнаркома. Ленин. Усталость. За дверью веселый смех взрывами. Не подумаешь, что положение так напряженно. А когда Ленин уходит, остается один, лицо мрачнеет, полно глубоких дум, и железно сдерживаемая тревога высекает глу-

бокие морщины. Все ведь по краю ходят. И одна за одной проносятся, подбираются сотни и тысячи мер, чтобы поддержать рушащееся; того послать туда, того — туда; того отозвать. Целый ряд мер.

Над темным Кремлем ночь и мороз. Звезды».

Для Серафимовича важна в этих эпизодах, насколько можно судить по наброскам и предшествующим публицистическим статьям, мысль об ответственности Ленина за судьбы миллионов, за судьбу простой женщины, работницы Елены, которой кажется, что «никому до нее нет дела».

То, что Серафимович в 1918—1919 годах выразил в публицистике, позднее должно было осуществиться в художественных образах.

Примерно это, может быть немного короче, рассказал я старожилам «Трехгорки» на их очередном собрании в клубе.

— Тут Клавдия Дмитриевна Алексеева присутствует,— шепнул мне Курочкин в начале собрания.— Она на фабрике с четырнадцатого года.

Я разглядывал собравшихся. Больше пришло женщин, да это и не удивительно на «Трехгорке». Которая же из них старейшая Алексеева? Вот эта, наверное, сухая, с морщинистым лицом, в черной шали. А вот справа кто, в очках, по виду, пожалуй, учительница?

Пришла очередь моего сообщения. Слушали с интересом. Только когда я рассказал подробности о жизни Серафимовича в доме по Большому Трехгорному, женщина в очках улыбнулась. Чему — я не мог понять.

Фамилии членов правления клуба и библиотечной комиссии 1929 года собравшимся были известны и вызывали оживленные комментарии. Когда я назвал Волкова и прочитал заметку Серафимовича: «Молодой парень, видно высокий и крепкий, голова бобриком», сразу посыпались реплики:

— Волков Сергей...

— Он тогда в фабкоме заворачивал...

— Верно, высокий он, голова бобриком...

Но Майоршину никто из присутствующих не помнил.

— Может, ты, Клавдия, помнишь?

Я тоже с надеждой посмотрел на Алексееву (она оказалась вовсе даже небольшого роста, подвижная, с живыми улыбчивыми глазами), но и Клавдия Дмитриевна такой фа-

милии не слыхала, хотя и сама проработала всю жизнь ткачихой.

— Не Майорова ли?.. Работала такая, старше меня куда. Ей сейчас, должно, девяносто было бы?.. Майоршина Елена Захаровна?.. Ладно, еще подумаем, повспоминаем.

Я записал телефон Алексеевой и спросил телефон улыбающейся женщины в очках. Телефона у нее не оказалось. Тогда адрес...

— Большой Трехгорный, дом 5, квартира 13.

— Как? Это же адрес Серафимовича.

— И мой.

Вот как бывает! Александра Матвеевна Сорокина жила в одной квартире с Серафимовичем, живет в ней и по сей день. И проработала она на «Трехгорке» 38 лет прядильщицей.

Хорошо помнит не только Александра Серафимовича, но и его гостей — писательскую молодежь. Молодежь 20-х годов. Особенно запомнился Михаил Шолохов.

— Мы с ним песни пели,— улыбается далекому воспоминанию Александра Матвеевна.— К Серафимовичу больше с Дона приезжали. У них свои песни, казачьи. А у нас с Феклой Родионовной — женой Серафимовича — свои, тульские. «Ну-ка, Тула, не отставай, работай, Тула!» — командует Александр Серафимович, а сам тут же на гитаре аккомпанемент подбирает. Он ведь хорошо на гитаре играл. А как песню настоящую любил, рассказать невозможно.

Была в ту пору Александра Матвеевна малограмотна — так жизнь сложилась — и уже замужней женщиной ходила в ликбез.

— Поторапливайся, Шурочка, поторапливайся. Вон какую гору книг тебе еще прочитать надобно,— шутливо напутствовал ее Серафимович.

И Александра Матвеевна, член партии с 1926 года, постоянная активистка фабрики, «поторапливалась». Я разговаривал с Сорокиной и удивлялся широкому кругу интересов, начитанности и общественному темпераменту этой немолодой женщины.

Многие на «Трехгорке» знают и помнят Серафимовича не только как большого писателя, классика советской литературы, но и как доброго соседа, мудрого советчика, обладавшего замечательным, не так часто встречаемым умением неназойливо, как бы невзначай оказать непреходящее влияние на судьбу человека.

Совет ветеранов «Трехгорки» обещал продолжать поиск Елены Майоршиной — прототипа героини незаконченного романа Серафимовича.

...На этом я закончил очерк и сдал его составителям сборника.

Прошла неделя. Как-то утром позвонил Курочкин:

— Порадовать вас?

— Неужели нашли, Георгий Демьянович?

— Да вроде бы следы обнаружились. Была такая Майоршина, Елена Захаровна. Точно была. Мы для вас справку приготовили. Приходите в понедельник к шести часам. Народ соберется. Я с нашими стариками толковал. И справку вам заодно отдам.

В понедельник людей собралось много, гораздо больше, чем в предыдущий раз. В группе старых ткачих сидела уже знакомая мне Клавдия Дмитриевна Алексеева.

Курочкин не без торжественности протянул мне обещанную бумагу. Это была типовая справка отдела кадров комбината «Трехгорная мануфактура», выданная для представления «писателю», в которой удостоверялось, что «гр-ка Майоршина Елена Захаровна, 1879 г. рождения, действительно работала на комбинате с 1900 года по 8/V—1930 г. в должности ткачихи. Место рождения: Калужской губ., Тарусского уезда, Высоковской волости, дер. Кольшево. Адрес места жительства (последний) — Студенецкая улица, д. 2, кв. 1».

— Студенецкая — значит Мантулинская,— сказал Георгий Демьянович.— Я смотрел, дома того нет.

Позднее я все же прошел на Мантулинскую. На месте домов с номерами 2, 4, 6 на весь квартал до Студенецкого переулка, сохранившего старое название, вытянулся многоэтажный жилой дом.

Ветераны обсуждали свои дела. Дел оказалось много: помощь одиноким, беседы с молодежью комбината, планы на летний период. Среди летних планов — девять коллективных выездов за город (дирекция «Трехгорки» охотно предоставляет для этого машины).

И мне подумалось: старость, конечно, не самая лучшая пора человеческой жизни, но на «Трехгорке» ветераны не чувствуют себя лишними, они полноправные члены большого родного коллектива.

Пришел черед разговору о Майоршиной. Казалось, вот сейчас одна из присутствующих старых ткачих встанет и

скажет: «Как же, помню Елену Захаровну»... Увы, этого не случилось.

— Ведь мы тогда между собой как? Лена, Шура,— объяснила Александра Сорокина.— Вот фамилию и не вспомним. Но еще поспрошаем. Есть, которые с 1910-го на комбинате. Они на собрания уже не ходят. Так что не огорчайтесь, найдем...

А я вовсе не огорчался. Ведь независимо от окончательного результата поиска главное мы уже нашли.

Потом мы с Александрой Матвеевной прошли к дому № 13. Поднялись по довольно крутой каменной лестнице, по которой почти четверть века ходил Серафимович, на третий этаж, вошли в квартиру и сказались в тесной прихожей. Я постучал в дверь налево — в «дверь Серафимовича». Открыла Мария Семеновна Виноградова, племянница Феклы Родионовны. Она живет здесь с мужем, старым рабочим, пенсионером. Две комнаты: первая — проходная, маленькая, другая — побольше. Здесь читался «Железный поток», здесь в разные годы побывали чуть ли не все большие советские писатели.

На стене портреты Александра Серафимовича и его старшего сына Анатолия Попова, организатора комсомола Пресни, комиссара Красной Армии. Отсюда в начале гражданской войны он ушел на фронт и не вернулся.

Я попрощался и вышел, а меня с портрета провожал взгляд Александра Серафимовича, взгляд из-под кустистых бровей, с добрым, чуть лукавым прищуром. Вероятно так же доброжелательно и цепко всматривался он в знакомые лица, когда поутру отправлялся на «Трехгорку». Наверное, обгоняя его и приветливо улыбаясь на ходу, сбегала по каменной лестнице совсем еще молодая Клава Алексеева, пришедшая на фабрику девочкой... А из дверей переднего дома, из боковых флигелей выходили молодые и пожилые, женщины и мужчины,— шли на работу жители большого рабочего двора, рабочего района, соседи Серафимовича.

Александр БЕЗЫМЕНСКИЙ

Сыновний привет

Пресня... Дорогая сердцу Красная Пресня! Для меня — это не только московский район, вписавший одну из ярчайших страниц в историю революционного движения в России, но и район, в котором протекала моя партийная деятельность с первых дней переезда в Москву.

Впрочем, нет. Первое свидание с Пресней состоялось в октябре 1920 года, когда я, будучи жителем Казани, приехал на III съезд комсомола и меня после окончания съезда послали с группой товарищей на Пресню для выступления на «кухне» «Трехгорки». Подробностей не помню, но в душе навсегда осталось ощущение великой радости, рожденной встречей с ветеранами и комсомольцами знаменитой фабрики знаменитого района.

В 1921 году я стал обитателем Москвы и членом одной из большевистских ячеек Пресни. Я выполнял партийные поручения своей организации и райкома партии. Крепко был связан с комсомолией района, выступал перед нею и с докладами и со стихами.

Вполне естественно, что когда меня попросили в 1923 году дать стихи в сборник «Молодая Пресня в Октябре», я их написал, а затем неоднократно читал, встречаясь с коллективами Красной Пресни. Вот заключительная строфа этого стихотворения:

Песней кончится эта песня
О великих суровых днях.
Молодая Красная Пресня
Отчеканит ее в веках.

Не могу забыть, как я волновался, когда мне поручили выступить на заседании райкома ВКП(б) и райсовета совместно с дружинниками Пресни 1905 года. Это было в 1930 году, через четверть века после декабрьского восстания. Я написал речь в стихах и произнес ее в клубе «Трехгорки». Приняли мою речь очень хорошо — настолько хорошо, что чуть

не вышло плохо. Дело в том, что меня после произнесения речи по тогдашнему обычаю качали, и с таким энтузиазмом, что чуть не вытрясли мою переполненную восторгом душу. «Правда» напечатала мою речь. Приведу ее с некоторыми сокращениями:

Запевайте,
    товарищи,
        песню
Про знамена
    былых баррикад,
Про дружинников
    Красной
        Пресни,
Тех, что здесь,
    в этом зале,
        сидят...
. . . .
Мы стоим
    с ними вместе
        сегодня
На высотах
    иных баррикад.
Тот, кто в пятом
    восстание поднял,
Встал в дружины
    ударных бригад.
Мы сильны,
    мы упорны,
        мы зорки.
Пой же,
    пой,
        пролетарский стан,
Про невиданный бой
    на «Трехгорке»,
За победу,
    за встречный план.
. . . .
Баррикад
    нам осталось немало!
Мы —
    шестая в просторах земных.
Мы хотим,
    чтоб счастливою стала
Вся земля,
    целый мир,
        шесть шестых!
Если мир завоюет
    восставший,
Победивший
    рабочий класс,
Песня первая,
    песня всех краше,

Будет песней
о Партии нашей,
Будет песней
о каждом
из нас.

Не менее памятно мне и выступление на XII партийной конференции Красной Пресни в 1935 году. Представьте себе удивление делегатов конференции, когда я вышел на трибуну, держа в руках довольно солидных габаритов предмет, завернутый в бумагу, а затем распаковал его, и все увидели будильник 2-го часового завода. Будильник повел себя чрезвычайно странно. Он стоял молча, пока находился в нормальном для будильников положении, и начал идти, когда я поставил его «с ног на голову». Грянул громогласный хохот. И тут же прозвучал мой поэтический комментарий:

...Пусть будет гнев силен,
пусть будет резким слово.
В боях
за промфинплан
большевики резки.
Глядите!
Вот птенец
Второго часового:
Будильником
его
назвали чудаки.
...Мы говорим стране,
мы говорим рабочим:
— По ленинским часам
жить этот мир сумел.
Будильник
должен быть
проверен,
строг и точен,
Как план,
как мысль,
как суть
всех большевистских дел.
...Мы крепнем и растем,
мы учимся,
мы строим
Все лучше и скорей,
все крепче и верней...
Да будет этот год
сплошным
великим боем
За качество людей,
работы
и вещей!

. . . .
Иной будильник плох.
И этот промах признан,
Но мы — большевики.
Часы у нас верны.
Гремит
по всей земле
будильник ленинизма,
Будильник слов борьбы,
будильник дел страны.

Партконференция бурно реагировала на мое стихотворное выступление. Остро самокритически говорили делегаты 2-го часового завода. «Правда» напечатала мою речь под заголовком «За качество людей, работы и вещей». Я был этому рад...

У моей радости оказалось превосходное продолжение, большевистское. Завод стал отлично работать и далеко-далеко ушел вперед от былых рубежей. С великим душевным волнением прочел я в газете 2-го часового завода «За точность и качество» от 17 сентября 1970 года статью Н. М. Смотряева. В статье цитируется моя речь, произнесенная более 35 лет назад, припоминается характеристика, которую я дал тогдашнему будильнику, и говорится вот что: «От будильника Б-1 и ходиков до электронного будильника, от карманных часов К-36 до часов «Слава» — вот славный путь нашего завода».

...Бесчисленными были у меня встречи с коммунистами, комсомольцами и трудящимися Краснопресненского района, с его ветеранами и юнцами, учеными и учащимися. Связывает меня с районом и партийная работа, и нити творчества. В юбилейном ленинском 1970-м году написал я поэму «Ильич на Красной Пресне», поэму о том, что случилось 14 декабря 1918 года в Народном доме на Васильевской, 13, где в тот день на рабочей конференции района выступил с речью Владимир Ильич Ленин.

Ильич на Красной Пресне

1

Так вышло,
что даже на Красной Пресне
О случае этом не помнят сейчас.

А случай достоин
восторженной песни
О Ленине, счастье добывшем для нас,
О людях труда,
о ткачихе старухе,
О нашей стране, где чудесен народ...
В те дни
по стезе
Сыпняка и Разрухи
Голодный шагал
Восемнадцатый год.

2

Газетного репортажа несколько строчек:
«Пожеланиям краснопресненцев идя
навстречу,
В Народном доме на конференции рабочей
Товарищ Ленин выступил с речью».

3

Не очень-то громко,
но с подлинной страстью
И верой
в победу мозолистых рук,
Ильич говорил
о Советской власти,
О том, что творится
в стране
и вокруг.
Он звал завоевывать
счастья вершины,
Простой и великий,
как правда сама.
В нем
с пламенем сердца
Слилось воедино
Могучее
яркое пламя ума.
В словах Ильича
это пламя не гасло

И, путь освещая
сияньем своим,
Неясное
делало четким и ясным,
А самое сложное
очень простым.
Сплотила товарищей
речь волевая
Провидца,
соратника,
друга,
вождя,
Успехи в труде и борьбе
обобщая,
Ошибок и трудностей
не обходя.

4

Был продолжительней доклада
В фойе сердечный разговор.
— Чем недовольны? Что нам надо
Исправить? Гнать? Взять под надзор?
В срок выдается ли зарплата?
Как партучеба? ЧОН? Ликбез?
Как ваши юноши? Девчата?
Пыл молодежный не исчез?
Над теми, кто за план в ответе,
Контроль не выпущен из рук?
Что дома? Учатся ли дети?
Чем заполняется досуг?
А что с дровами? А с базаром
Вы в зоне мира иль войны?
Как отношенье к кадрам старым?
Чем дети в яслях снабжены?
Как в цифрах выразиться может
Ваш личный месячный бюджет?
Что вас особенно тревожит?
Мне нужен лишь прямой ответ...—
Ильич
побольше вызнать жаждал,
Когда беседовал с людьми.

Он говорил с любым из граждан
Как давний член его семьи,
Вникающий в ее заботы,
Печали, радости, мечты,
В сложнейший мир людской работы
И повседневной маяты,
Чтоб разобраться деловито
И в столкновениях идей,
И в мелочах земного быта,
Что так влияют на людей.
Вопрос
о фабрике иль доме
Задав как будто на лету,
Он узнавал во всем объеме,
Как жизнь идет
в любом парткоме,
На производстве
и в быту.

5

Он к двери,
беседуя,
двигался тихо,
Людьми окруженный
со всех сторон.
И здесь-то ему
пожилая ткачиха
Отдать попыталась
земной поклон.
— Ну, что, вы, товарищ!
Не надо!.. Не надо!..—
Ильич, огорченный,
промолвил не раз.
— Простите меня,
но уж очень я рада
От нашей «Трехгорки»
приветствовать вас.
— А вы о себе
расскажите мне кратко...
— Я многие годы ткачихой была.
Ушла — но вернули.
Ведь в людях нехватка!

Так быть не могло, чтобы я не пошла.
— Вы снова ткачиха?
— Нет. Так не случилось.
Пойти бригадиром в промывочный цех
Охотников мало. А я согласилась!
Работаем. Жмем. Не отстанем от всех...
— А как вам живется?
— Не лучше, не хуже,
Чем людям. Паек-то у всех небольшой...
— А все-таки трудно?
— Живем, да не тужим!
И трудно — а дышится всею душой...—
Она волновалась.
Как старый знакомый,
Стремящийся души людские постичь,
Беседовал с нею глава Совнаркома,
Тот Ленин,
что сердцем зовется
Ильич.
— Как в цехе дела?
— Ну, не так, чтобы очень,
Но мне на «Трехгорке» привольно сейчас.
Директор — рабочий. Начцеха — рабочий,
А Предсовнаркома
похож на вас...—
Ильич засмеялся.
— Спасибо! Спасибо!
Бесспорно похож. И при этом точь-в-точь...
А вы откровенно сказать мне могли бы,
Не нужно ли
чем-нибудь вам помочь?
— Есть просьба,— ткачиха ответила робко,—
Большущая просьба... Она не проста...
Первичный промыв загрязненного хлопка
В бадьях мы ведем.
В них вода... кислота...
Состав для мытья — ядовитей гадюки!
Смягчить бы его... и вода горяча...—
Она подняла
изможденные руки.
Приблизила руки к лицу Ильича...
Они
искорежены были жестоко

Кислотной водой,
подъяремной судьбой,—
Те грубые руки,
что в жизни
до срока
Привыкли справляться
с работой любой,
Те нежные руки,
чье тихое
прикосновенье
Великую силу
давало сердцам,
Уставшему другу
несло утешенье,
Несло вдохновенье
бойцам и творцам,
Те умные руки,
что пряли и ткали,
Готовили пищу,
растили детей,
Те гордые руки,
что стяг подымали
В боях
за свободу и счастье людей,
Чудесные руки
рабочего люда,
Что жил в нищете,
бедовал в кабале,
Рабочие руки —
всесветное чудо,—
Создавшие все,
что есть на Земле.
Всю мощь этих рук,
их страданья и муки
Ильич
досконально знал,
понимал...
Поднес он к губам
эти славные руки
И крепко и нежно
поцеловал.

Годы идут, а Красная Пресня лицом помолодела, богатырской силой налилась, чудесные подвиги совершает, выполняя задания ленинской партии и социалистической Родины. Огромны ее достижения, и я не сомневаюсь в том, что еще более огромными они будут в грядущем.

Большевистский привет тебе, краса и гордость Революции, чудесная Красная Пресня!

Сыновний привет тебе, родная Красная Пресня!

Исидор ШТОК

Мир чудес

Рассказ

Когда я бываю на Красной Пресне — а бываю я там часто, ведь это мой путь домой,— я неминуемо встречаюсь с воротами и решеткой зоопарка, с павильоном метро «Краснопресненская», с домами, которые мне знакомы много-много лет.

И каждый раз возникает передо мною юность и удивительное государство — четырехугольник, окруженный со всех сторон Москвой. На севере Белорусская дорога, на западе Москва-река, на юге асфальтовая лента Садового кольца, площадь Восстания, бывшая Кудринская, на востоке улица Горького, бывшая Тверская.

Красная Пресня началась для меня на сцене театра. Театр Революции, где я учился и участвовал во всех спектаклях, ставил историческую хронику А. Насимовича «Барометр показывает бурю», посвященную девятьсот пятому году.

— Как наш Трепов генерал
Жандармерию собирал.
— Эй вы, синие мундиры,
Обыщите все квартиры.

И припев:

Чири-наковыри-надырявина рябой,
Чернобровый милый мой!
Эх, Исидорка, не плачь, Никанорка,
Слезы катятся из глаз.

Так мы пели в первой картине, перед восстанием на Пресне. «Барометр» был рассчитан на сотни, на тысячи исполнителей, а нас на сцене было не более сорока. Ох и старались же мы! Пели, стреляли, падали, умирали, восставали, срамили Трепова, Дубасова, Витте, деятелей Думы, меньшевиков и самого Николая Кровавого. Всем доставалось.

Я изображал то фабричного парня, распевавшего глумливые частушки про Трепова, то члена Государственной думы, то городового, то рабочего-подпольщика, то солдата, стреляющего в народ. Дела было много. Спектакль был шумный, дымный, отчаянный и прожил недолго. На репетиции частенько приходили старые большевики и ветераны-рабочие с «Трехгорки», помнившие фабриканта Прохорова, участники восстания. Со времени изображаемых событий прошло всего двадцать лет. Очевидцы давали советы, исправляли исторические неточности, с недоверием посматривали на нас — юнцов, призванных воплотить на сцене подвиг пресненцев. Слишком молодыми и несерьезными, наверно, мы казались.

Публика, которой от спектакля к спектаклю становилось все меньше и меньше, принимала наше представление хорошо: горячо аплодировала, задыхалась и тонула в густом дыме от пороховых шашек и шутих, даже иногда кричала «ура». Спектакль протянул недолго. Но, участвуя в нем, я как бы получил боевое крещение.

А вскоре попал я на настоящую Пресню — в клуб «Трехгорной мануфактуры». В ту пору я уже ушел из Театра Революции и теперь учился и работал в Передвижном рабочем театре московского Пролеткульта, шефствовавшем над клубом «Трехгорки». Точнее сказать, при Трехгорной текстильной фабрике было два клуба. Один помещался в бывшем доме фабриканта — там занимались кружки, были библиотека, читальня, струнный оркестр, акробатический ансамбль. А чуть подальше, там, где сейчас Дворец культуры имени Ленина, помещалась знаменитая «кухня». Это был огромный сарай. Раньше здесь кормились рабочие Прохорова, была столовая. Потом столы убрали, столовую перевели поближе к цехам, а «кухню» отдали под собрания, концерты, спектакли.

У «кухни» славная история: здесь был центр восстания пятого года, в первые годы революции здесь выступал В. И. Ленин.

Зрительный зал вмещал более тысячи человек. Здесь играли артисты Художественного, Малого, пели певцы Большого; приезжали заграничные гастролеры. Выступали здесь и мы — Передвижной рабочий театр. Выступать на сцене «кухни» было почетно. Мы ставили пьесы: «Энергия», «Преступление Суркова», «Солнечный цех», «Так и было»... Сейчас эти пьесы забыты, наверно, и тексты их утеряны. Но

тогда наивные наши спектакли хорошо принимались рабочими. Они терпеливо сносили наши формалистские, модные в те времена «новации» и буффонные условности, горячо восторгались героями: первыми женщинами-подмастерами (среди прочих пьес была и моя: «Как испортили пословицу»), рабкорами, борцами с религиозными предрассудками. Мы продергивали взяточников, алкоголиков, магарычников. Иногда вместе с нами выступали и самодеятельные кружки «Погонялка» и «Челнок». Кружковцы пели:

Рука станка крепка, пока
в работе есть закалка.
Споры, раздоры скоро рабкоры
разгонят «Погонялкой».

Ни один революционный праздник не проходил без специально подготовленной живой газетой «Синяя блуза» программы. Здесь были и международные обозрения, и акробатические пирамиды, и раешник, и частушки на местные темы с перечислением фамилий бракоделов, летунов, прогульщиков. Иногда устраивались карнавалы, и мы вместе с драматургом и режиссером Сергеем Крепуско (как его настоящая фамилия, никто не знал, крепуско — это термин из модного в те годы международного языка эсперанто), в содружестве с юными поэтами-синеблузниками Виктором Гусевым, Игорем Чекиным, Павлом Фурманским, Ярославом Родионовым, «стариками»-синеблузниками Борисом Бобовичем, Градовым, Буревым, Рòманом сочиняли тексты для этих карнавалов.

— Папы и мамы! Дяди и тети!
Если вы курите, если вы пьете,
Вы в ногу с нами совсем не идете! —

пели пионеры.

Я тоже писал частушки и фельетоны, маленькие пьески и оратории, участвовал в сборниках «Синей блузы», частенько бывал в Охотном ряду, где помещалась редакция «Блузы» и где я познакомился со многими поэтами, в том числе и с Маяковским.

Кроме того, что я руководил детской живой газетой на «Трехгорке», мы с Володей Лавровским, моим сверстником и сополеткультовцем, руководили гимнастическим кружком, ставили акробатический аттракцион.

Собственно говоря, акробатом был Володя Лавровский,

акробатом, певцом, танцором и прекрасным (так мне казалось) художником. Он был неиссякаем и бесконечен, гениален и разносторонен.

Тогда в Пролеткульте все были гениями. Кроме того, мы увлекались партерной и воздушной гимнастикой. Только вот создать единое сюжетное и темповое представление (на весь аттракцион отпускалось четыре с половиной минуты) Володя не мог. Просил меня помочь. Вооружившись свистком и палкой, одновременно дирижируя пианистом, я орал, хлопал палкой и кричал: «Темп! темп! темп!» Удары на барабане, крики «ап!», галоп на фортепиано и звон тарелок горячили исполнителей.

Дважды на сцене «кухни» мы исполняли наш аттракцион с непременным успехом. Заканчивался аттракцион трехэтажной пирамидой, изображавшей единство международного рабочего движения. Потом сверху сваливалось чучело Чемберлена, из чучела выбегали маленькие дети (члены детской акробатической секции), изображавшие доллары, которыми был подкуплен Чемберлен, загорался красный свет, пламя металось по сцене, над пламенем возникали рабочие в синих блузах с серпами, молотами и штурвальными колесами в руках. Все пели:

Мы в домнах и мартенах
расплавим наш металл
и этим, безусловно,
угробим капитал.
И по всему Союзу
призыв наш прогремел.
Рабочий в синей блузе
руль стройки завертел!

Вот для чего были нужны штурвальные колеса — их вертели.

Происходил марш-парад: появлялись все участники, лучи прожекторов бегали по стенам, били литавры и гремели трубы — апофеоз!

Все были довольны нами. Володя Лавровский был доволен мною, я — Володей... Но больше всех радовалась нашему успеху Ниночка Барова. Она любила Володю, часами ждала его на Воздвиженке или возле «кухни» для того, чтоб вместе с ним пойти домой.

Володя был очень скрытным и молчаливым. Никогда и ни с кем не делился своими душевными переживаниями. Любовь Ниночки принял очень спокойно, чересчур спокойно.

Он был равнодушен к Ниночке. Любил спектакли, акробатику, плакаты... С женщинами держался на отдалении, никогда не откровенничал, не уединялся. В Ниночку был влюблен я. Но она об этом не знала, да так никогда и не узнала. Только разве теперь, если прочитает этот рассказ. Но теперь она уже пожилая... Прости меня, Ниночка, за то, что признаюсь тебе в любви с сорокапятилетним опозданием!

Ниночка ждала Володю после репетиций и спектаклей очень долго, иногда до середины ночи, пропуская последние трамваи... Потом, когда он выходил, она его окликала. Они шли домой по разным сторонам улицы: он по левому, она по правому тротуару.

Иногда вместе с ними по мостовой шел и я в качестве третьего лишнего. И Володя, казалось, был очень рад, что я иду с ними, не отпускал меня, не хотел оставаться наедине с Ниночкой.

Володя был многогранно одаренный человек. Небольшого роста, с большими руками, с очень выразительными выпуклыми глазами, с гривой вьющихся густейших волос, он был одним из многих, кто сознательно, исступленно и безвозмездно принес свой талант в Пролеткульт. Его мало интересовало, как там и чем там жили его сестры, мать и племянница. Мог поступить плакатистом в любой кинотеатр и зашибать большие деньги: его и приглашали. Мог стать профессиональным акробатом в цирке. Коверным. Ведь он умел делать все: жонглировать, ходить по проволоке, вертеть двойное заднее и переднее сальто. На уроках импровизации умел до слез смешить студийцев и преподавателей. Удивительно точно и зло показывал руководителей Пролеткульта Плетнева и Додонову, артисток Первого рабочего театра Глизер, Янукову, режиссеров Эйзенштейна, Винера, Крицберга, героев кино Гарри Ллойда и Дугласа Фербенкса. Словом, это был человек самых разнообразных талантов, которые ничего, кроме ограниченной славы, ему не принесли. Его уроки были целыми пьесами с диалогами, неповторимыми интонациями, безумными мизансценами. Заканчивалась импровизация каскадом акробатических номеров, разными фликфляками, имитацией падения из-под купола цирка, предсмертными криками и мгновенным возрождением. Потом он подбегал к роялю и, аккомпанируя себе, пел тут же выдуманную песенку.

Как жаль, что тогда не было магнитофонов и я не записал ни одной его песенки, ни одной его импровизации! Впро-

чем, неизвестно, как это бы все получилось в записи. Не завяли бы, не скукожились бы его великие импровизации.

Абсолютно убежден, что, если бы Володя Лавровский еще немного прожил, он прославился бы как выдающийся актер-импровизатор, куплетист-сатирик, художник-моменталист и клоун-эксцентрик. Но он прожил очень мало... Даже до большой войны не дожил.

В ту ночь, когда мы возвращались с праздничного концерта, где наши воспитанники стяжали небывалый успех, Володя был мрачен.

На улице его, как всегда, ждала Ниночка Барова. Я повел их к себе. Теперь я ночевал у двоюродного дяди на Трубной. А иногда у его подруги в Марьиной роще. Дядя и любовница уехали на курорт, и к моим услугам были две комнаты в разных районах. Мы шли пешком от «кухни», потому что трамваи уже не ходили, а на такси у нас не было денег. Да и были ли такси в ту пору?

Уже светало, когда мы ввалились в дядину комнату. После наскоро съеденного студенческого ужина, несладкого чая и кислого вина я предложил справить сейчас же, здесь же их свадьбу. Музыки не было. Телевизоры не были изобретены. В ресторан нам по причине бедности пойти невозможно. К Володе поздно. Я сорвал с дядиной единственной кровати тюфяк, одеяло, подушки и постелил их на полу.

Открыли окно, и мы с Володей закурили.

Как жить дальше?

Что будет завтра?

Нина навсегда ушла из дому. Я был уже давно бесквартирным московским кочевником. Володя не мог рассчитывать на гостеприимство матери, двух сестер и племянницы, живших все вместе в одной маленькой комнате.

Пролеткульт изжил себя, и дело шло к его закрытию. «Кухню» на «Трехгорке» хотели разрушить и вместо нее построить Дворец. Охотный ряд вместе с «Синей блузой» рушили, чтоб построить здание Совета Народных Комиссаров, а напротив гигантскую гостиницу...

Спать мы не хотели, а семикилометровая ночная прогулка не отняла, а прибавила нам силы. Мы лежали на дядином тюфяке и давали друг другу советы. Никто не советовал себе, только другим.

Когда дошла до меня очередь выслушивать советы, Володя Лавровский уронил горящую папиросу на дядину по-

душку, прожег большую дырку в наволочке, замазал ее наскоро слюнями и сказал:

— Тебе, сынок, хуже всех. В тебя пока никто не влюблен и тебе скоро двадцать. Специальности у тебя нет. Образование неоконченное и окончено не будет никогда. Актер из тебя не получился и не получится. Нет голоса, нет выдержки, а кроме того, тебя во время спектакля всегда тошнит. Думаешь, я не вижу? Режиссером ты не будешь, ты слишком вспыльчив и неорганизован. Поэт? Но это же стыдно читать и слушать, что ты пишешь! «Рука станка крепка, пока...»

— Что же мне делать? — в панике спросил я.

— Сделайся драматургом! Напиши драму. Или комедию. Только не о том, как одна баба стала подмастером. Напиши о комсомольцах. О себе, обо мне, о Нинке, о пролеткультовцах, о Красной Пресне. Напиши о маленьком провинциальном городке, откуда все бегут в Москву, словно чеховские три сестры. Никто не хочет оставаться в родном городе и строить там социализм. А кто же будет строить социализм в городе Пирятине, я тебя спрашиваю? Кто?

— Но, Володя, я не знаю никакого Пирятина. Я никогда не жил в маленьких городках. Всю жизнь только в больших городах: в Петербурге, в Харькове, в Москве.

— Тебе и не надо жить в маленьких городках. Опиши Красную Пресню. Только не заставу, не главную улицу, а возьми Курбатовский переулок, Мантулинскую, Малую Грузинскую... Вот такие деревянные домики, мальчишки голубей гоняют, все знают друг друга... А вблизи хлебозавод или мукомольная фабрика, гвоздильный заводик, спичечный... И все комсомольцы уехали в Москву. Осталось только три парня: Среди них один очень энергичный, очень талантливый и очень упрямый, который решил свой город превратить во вторую Москву. Да, да, в настоящий огромный город, из которого бы не бежали, в который бы все стремились. Вот этот парень организует СЛОП — союз любителей обновленного Пирятина. Нет, надо назвать город как-нибудь иначе, а то настоящий Пирятин обидится. Назови его Нырятин. И общество СЛОН — союз любителей обновленного Нырятина. Слушай, а ты видел когда-нибудь стадо диких слонов в джунглях? Не видел? Я тоже не видел. Не имеет значения. Когда идет такое стадо, оно сметает все преграды на своем пути — заборы, сараи, дома,— все сметает! Не попадайся на пути. Вот такое движение поднимают в своем родном го-

роде эти ребята из Нырятина. Пусть твои герои прут вперед, разрушая все препятствия, прут, пока живы, растаптывают, уничтожают обывательщину, затхлость, мещанство, канареек. И эпиграф возьми у Маяковского: «Опутали революцию обывательщины нити, страшнее Врангеля обывательский быт. Скорее головы канарейкам сверните, чтоб коммунизм канарейками не был побит!» А назови пьесу так: агитка о любви, о дружбе и о цели жизни. Понял? А мы с Нинкой придем на премьеру.

— А ты, Володя, поставишь этот спектакль у нас в Пролеткульте?

— Нет. Я поступаю в архитектурный институт. Актерство бросаю навсегда, ну его! Я окончу архитектурный и попробую сделать проект нового театра, ну хотя бы у нас на Пресне. Снести уже отслужившую свой век «кухню» и построить современный, сверхсовременный театр-дворец наподобие греческих амфитеатров или Колизея, только с современной техникой, с лифтами, движущимся партером, с летающими ложами, с распахивающимся потолком. Пусть во время представления сверху будет лететь гигантское полотно, только что сотканное на Трехгорной мануфактуре, прямо от станков на сцену. И пусть начинают светиться стены — ведь рядом же завод лакокраски! Новые светящиеся краски, лампионы, огромный оркестр, поднимающийся на движущейся платформе снизу из-под пола. А потом выдвигаются лестницы, и все идут к Москве-реке гулять. Ведь она тут же, рядом... Спектакли будут ставить Мейерхольд и Маяковский... Как только кончишь писать пьесу про Нырятин, сейчас же начинай писать для нашего театра. Нам с Мейерхольдом и Маяковским понадобятся такие пьесы. Начинай! Заказываю!

Я никогда не видел Володю таким возбужденным, страстным. Наконец-то он высказался. Вот, оказывается, о чем он мечтает.

Прошла эта ночь.

Для нас она была рубежом.

Володя засел за учебники, он готовился к экзаменам в архитектурный институт.

Я начал писать пьесу о Нырятине и о слонах.

Вечерами мы все продолжали встречаться. Красная Пресня была краем театральным. Один конец ее упирался в театр Мейерхольда на Садовой-Триумфальной площади. Другой — в Арбат, в Никитские ворота. Там Театр Револю-

ции, ГИТИС. Рядом Дом печати (ныне Дом журналиста), куда мы бегали в свободное и в несвободное время, там встречались с Маяковским, Фурмановым, Безыменским, Сельвинским. С кем только мы там не встречались! В Доме печати слушали мы первое чтение Маяковским его поэмы «Хорошо!». А через год в краснопресненском Доме комсомола на Васильевской участвовали в обсуждении комедии «Клоп». Читал Маяковский. Рядом с ним был Мейерхольд. Когда окончилась читка, Мастер стал рассказывать постановочный план комедии, показал эскизы и просил высказаться.

Володя Лавровский и Леня Фридман полезли на сцену и прокричали, что пьеса им очень нравится. Мейерхольд пригласил комсомол Красной Пресни на первое представление. Мы поблагодарили. Мейерхольд просил принять резолюцию, одобряющую пьесу. Мы приняли.

Леня Фридман попросил Мейерхольда как можно подробнее обрисовать его, Мейерхольда, мнение о Пролеткультах.

Мейерхольд ответил кратко:

— Мнение самое плохое. Перспектив не вижу. За деятельностью Пролеткульта не слежу.

Мы были очень огорчены.

Мейерхольд усиленно репетировал «Клопа», а мы, пролеткультовцы, выселенные из особняка на Воздвиженке (здание понадобилось отдать заграничному посольству), оказались под одной крышей с театром Мейерхольда. Помещение бывшего театра Зона разрезали по вертикали; Пролеткульту досталась левая сторона, там, где было кино «Зеркальное», а в первые годы нэпа — казино. Новоявленные нэповские богачи проигрывали там целые состояния в рулетку, трант-карант, девятку.

Двери от театра Мейерхольда к Пролеткульту были тщательно замурованы. Но все же мы ходили к мейерхольдовцам на спектакли и на репетиции, дружили с актерами.

Наступила генеральная репетиция «Клопа», устроенная специально для краснопресненского комсомола, как Мейерхольд и обещал.

Спектакль кончился, и разразился скандал.

Актерам много хлопали, они кланялись. Кланялись Маяковский и Мейерхольд. Затем на просцениум вышел Мейерхольд и обратился к зрительному залу:

— Ну как, понравилось?

Зрительный зал хором ответил:

— Спасибо!
Мейерхольд сказал:
— Нужен комсомолу наш театр?
— Очень! — ответил зрительный зал.
— Ну так вот,— сказал Мейерхольд.— Мы просим вас сейчас вынести резолюцию и послать Совету Народных Комиссаров о том, что комсомол Красной Пресни требует, чтоб помещение, занимаемое Пролеткультом, было немедленно передано театру Мейерхольда. Вот резолюция.
И Мейерхольд прочитал проект резолюции.
Тут вскочил Володя Лавровский. За ним я. За нами Ниночка Барова. За ней Леня Фридман. И мы стали кричать:
— Провокация! А куда же девать Пролеткульт?!
Мейерхольд закричал:
— Куда угодно!
Тогда я побежал по проходу к сцене и закричал:
— Стыдно, товарищ Мейерхольд, травить родственную организацию!
Мейерхольд взбеленился и закричал:
— Не родственную! Пролеткульт мне не родственная организация!
В этот же миг ко мне подбежал молодой артист театра Мейерхольда Валька Плучек, схватил меня за рубашку и закричал:
— Сюда пробрались пролеткультовцы! Бей их!
И ударил меня, и порвал на мне рубашку.
Я в долгу не остался. Нас разняли. Мейерхольд ушел. Так окончилась история с резолюцией.
И началась моя дружба с Плучеком, которая длится уже пятый десяток. Он, как вы знаете, народный артист РСФСР, как некогда был Мейерхольд, главный режиссер Московского театра сатиры, интерпретатор драматургии Маяковского, возродивший эту драматургию для современной сцены после многолетнего перерыва...
А потом я покинул Передвижной рабочий театр, осточертело мне актерское дело, да и мешало работать над пьесой.
С «Трехгорки» меня и Володю Лавровского уволили. «Кухню» собирались ломать.
Мы с Володей, с Ниной, с Плучеком почти не виделись. Я сидел целыми днями над будущей пьесой о Нырятине.
И вдруг мы все встретились 17 апреля 1930 года на похоронах Маяковского во дворе Союза писателей. Это была тяжелая встреча.

Мы очень любили, мы обожали Маяковского, старались не пропустить ни одного его вечера. Он импонировал своей манерой держаться, независимостью, а главное, конечно, своим поэтическим гением.

Вместе со всеми другими районами двинулась к гробу и Красная Пресня. Она была ближе других к Кудринской — площади Восстания, к улице Воровского. Все прилегающие улицы и переулки были запружены народом. Москва хоронила своего поэта.

Михаил Кольцов попросил подвинуться шофера на грузовике, сел за руль и повел траурный поезд.

Если внимательно и медленно смотреть кинохронику этого дня, то можно видеть идущих за грузовиком Володю Лавровского, Валю Плучека, Ниночку Барову, меня...

Через полгода с лишним в Большом Головине переулке, одним концом выходившем на Сретенку, а другим на Трубную улицу, открылось в подвале новое театральное помещение, отданное молодому театру-студии под руководством Завадского. На открытии шла моя пьеса «Нырятин» («Идут слоны») — агитка о любви, о дружбе и о цели жизни. Над заглавием стоял эпиграф из Маяковского насчет обывательщины, канареек и коммунизма. На премьере присутствовали Луначарский, Мейерхольд, Москвин. Главные роли играли начинающие артисты Мордвинов, Марецкая, Плятт, Туманов, Македонский, Фивейский, Кубацкий, Конский и зрелый прекрасный актер Абдулов. Постановка Завадского. Музыка Милютина. Спектакль провалился.

То есть он не совсем провалился, были даже похвальные рецензии (например, Юзовского), отмечавшие талант исполнителей и молодость автора. Прожил спектакль недолго. Несмотря на отдельные занятные лирические и комедийные моменты, азарт исполнителей и постановщика, это в общем было нечто невнятное, несобранное...

На премьере в антракте меня представили Мейерхольду. Он меня, конечно, не узнал и отнесся весьма благосклонно.

По окончании спектакля я вылез на сцену, хотя меня никто не вызывал, и полез целоваться с Завадским и со всеми исполнителями. Словом, вел себя, как дурак. Пока не понял, что спектакль провалился. Впрочем, я был к этому готов, потому что за три месяца до этого дня пьеса моя уже успела провалиться в Ленинграде в Красном театре Госнардома.

Я уехал в Магнитогорск, где пробыл почти год.

Перед отъездом я попрощался навсегда с Пролеткультом,

с моими кружковцами на «Трехгорке», со студией Завадского, с Трубной улицей...

А когда вернулся, все было уже по-другому. Ниночка Барова вышла замуж за дипломата и с ним уехала за границу.

Володя Лавровский долго хворал и умер в больнице от менингита.

Теперь я снова часто бываю на Красной Пресне, хожу по ее переулкам и улицам. Вижу, как преображается этот район, часть моей жизни, район, послуживший натурой для моей первой пьесы. Сносятся деревянные и каменные домики, становится совсем другой Пресня, прокладывается проспект, состоящий из высоких, стройных, светлых зданий.

Но в переулках по-прежнему мальчишки гоняют голубей в синем небе, небе моей юности.

Григорий РЫКЛИН

Помнить старые песни

В дни первой пятилетки я с бригадой «Правды» пришел на «Трехгорку». Газета следила за работой прославленного коллектива, подхватывала передовое, рожденное в корпусах на Рочдельской улице, критиковала негодное. Мы старались помогать трехгорцам в борьбе с прогулами (иногда были такие факты), с браком (и зто случалось).

В бригаду поступило письмо рабочего К. из красильного отдела. «Я прогулял самовольно четыре смены, и сделал огромную ошибку, которая мешает выполнению программы и строительству коммунизма. Ошибку я свою признал и в ней раскаиваюсь, буду ударно работать до конца пятилетки».

...Выходной день на «Трехгорке». День праздничный. Погода хорошая. Гуляют парни и девушки.

Заходила гармонь, зазвенел бубен. Вот молодой рабочий с кепкой набекрень в поте лица своего отплясывает нечто вроде трепака, выкрикивая со смаком слова новой частушки:

«Кто хозяин,
Кто мне пан?
Я теперь —
Хозяин сам...
Наша сила, наша воля,
Наша власть Советов...»

Вполне допускаю, что зту частушку пела в дни первой пятилетки ткачиха Елена Власовна Папугина, о которой рассказано в моем старом репортаже.

«Я теперь хозяин сам!» — зто зстафетой прошло через годы и десятилетия, зто и сейчас, в дни девятой пятилетки, говорят и старые и молодые трехгорцы.

«Наша сила, наша воля!» — с полным правом может сказать невестка Елены Власовны, ткачиха Валентина Папугина, молодая хозяйка страны, депутат Верховного Совета СССР. О ней вы прочтете в этой книге.

А я решаюсь предложить читателю свой старый репортаж, который был напечатан в «Правде» 7 января 1932 года.

Сейчас другие времена, другие песни поет народ. Но нельзя забывать и старые песни. Итак — репортаж сорокалетней давности.

Большевики Трех гор

1.

Пятьсот двадцать семь орудийных снарядов выпущено царским правительством в декабрьские дни пятого года по «Трехгорной мануфактуре».

Жерла пушек были направлены на «Прохоровку», откуда на баррикады шли боевые рабочие отряды!..

Истоки большевистского коллектива «Трехгорной мануфактуры» у баррикад. Вот здесь, на этой улице, стояли баррикады. И на этом перекрестке. И там, за углом. А в этот дом попал снаряд. На этих Трех горах все — история. Большевистская история борьбы.

Не только улицы, переулки, дома. Люди! Они здесь, на фабрике, активные участники боев пятого года. Они же — лучшие ударники и энтузиасты борьбы за социализм.

От пятого к тридцать второму — прямая линия. От баррикад к ударным бригадам — прямой рабочий путь.

И, когда на фабрике тревога, когда в цехах прорыв, когда станки теряют большевистские темпы, когда по старым фабричным корпусам черным дымом проносится слово «позор!», они, дружинники пятого года, считают это своим личным позором. Они не допустят пятнать фабрику! И вместе со своей партийной организацией они поднимают фабрику на высоты социалистического строительства.

В октябре 1931 года захромала «Трехгорка». Да так захромала, что даже вспомнить стыдно.

Тогда с письмом ко всем рабочим выступил бригадир хозрасчетной бригады Григорьев:

«Когда я пришел 2 ноября на фабрику, мне сразу бросился в глаза плакат на воротах: «Трехгорцы! Вы не выполнили плана за октябрь!»

Меня, старого подмастера, который имеет за своими плечами 44 года производственного стажа, от этой фразы будто молнией прошибло... Я на «Трехгорке» не первый день. Я еще до революции десять лет здесь работал, дрался в 1905 году на баррикадах, стоял перед военно-полевым судом...

Разве у нас на фабрике все цехи закончили октябрь с прорывом? Нет. Красилка и чесальный выполнили план досрочно».

Дальше Григорьев пошел чесать и отстающих рабочих, и хозяйственников, и местные организации — за прогулы, за простои, за брак, за нерасторопность.

Кончает он свое письмо так:

«Многое еще надо сделать, и это будет сделано, потому что нами руководит ленинская партия. Я всю свою жизнь был беспартийным, а теперь решил — баста. Нельзя сейчас мне, старому производственнику, стоять вне рядов партии. Сейчас, к 14-й годовщине, я подал заявление о приеме».

От пятого к тридцать второму — прямая линия.

Румянцев и Апенченко, активные ударники, участники 1905 года и Октября, будут рапортовать партконференции Красной Пресни о цифре 167.

О 167 миллионах метров ткани, которые «Трехгорка» дала в 1931 году. Или о 100,5 процента задания. О задании, выполненном досрочно,— к 20 декабря.

2.

Мы, ткачи, обречены
Жить для муки и позора.
Нас и судят без вины,
И казнят без приговора...
Хуже каторги наш труд,
Наш станок — орудье пытки...

Так поют текстильщики в «Ткачах», в пьесе немецкого драматурга Гергардта Гауптмана.

Прошли годы. За это время значительно шагнули вперед наука и техника в капиталистическом мире. Но столь прославленная «цивилизация» двигалась все время спиной к рабочему классу. Станок продолжал оставаться «орудием пытки».

Почти за 50 лет до Гауптмана Генрих Гейне сложил песню силезских ткачей:

Летает челнок и шумит наш
станок,
Мы ткем день и ночь, не вставая
на срок,
Ткем саван Германии дружно, как братья,
Вплетая в тот саван тройное
проклятье.

Больше 75 лет, как не стало автора этих стихов. Что изменилось в Германии, Англии и других капиталистических странах?

Что изменилось? Были новые войны, новые правитель-

ства, новые министры. Но разве сегодня текстильщики (и металлисты, и горняки, и другие) не могут там петь с еще большим гневом о «тройном проклятии» по адресу своих эксплуататоров?

Что изменилось? То, что к «орудиям пытки» прибавилась пытка голодом. В Германии в сентябре 1931 года на каждые 100 членов профсоюза текстильщиков 24,9 являлись безработными, а 39,9 работали неполную неделю.

Что же изменилось у нас? Революция вымела Прохоровых. Красная Пресня стала одним из передовых районов большевистской Москвы. Москва — столицей страны, строящей социализм.

В корне изменились взаимоотношения между человеком и станком. Там станок — «орудие пытки». Здесь он — орудие социалистического строительства. Ткач стал хозяином и творцом, частью победоносного пролетариата, который под знаменами своей партии дает «вращению земного шара» иное направление.

Под звуки новых бодрых и призывных песен «летает челнок и шумит наш станок»...

Вот почему 92 процента рабочих «Трехгорки» охвачены социалистическим соревнованием и ударничеством. Вот почему лучшими ударниками, бригадирами Григорьевыми укрепляется парторганизация «Трехгорки». И вот почему крепок и стоек этот пролетарский коллектив.

И, когда на отдельных участках начинают скрипеть колеса, рабочие идут атакой на неполадки. Быстро перестраиваясь, мобилизуя все свои силы, возглавляет эту атаку партийная организация. Ближе к массам, к цехам, к станкам! Было 8 ячеек, стало 24. Вместо 57 партгрупп — 219. Все партийцы объявляют себя мобилизованными. 99,6 процента — в ударных бригадах.

В первые шеренги — коммунистов, лучших производственников! Киселева, Гришина, Донцова, Голованова, Гулютина — они годами выполняют программу не менее чем на 107—108 процентов. В ткацком цехе из 101 коммуниста 87 даже в октябре, когда фабрика была в прорыве, выполнили 100 и больше процентов. Этих вперед! Пусть на их примере учатся все, как надо бороться за план.

В дни борьбы за досрочное окончание плана, в декабре, в партию принято 160 рабочих и 111 — в комсомол.

План выполнен досрочно. Точно, к 20 декабря. Парторганизация немедленно перевооружает рабочих на борьбу

против брака. Закрепить достижения декабря. Учесть людей и опыт, и к новым боям!

Новый год — год борьбы за качество.

3.

В первых числах декабря на фабрику пришла Елена Власовна Папугина. Ткачиха с двадцатипятилетним стажем. Большевичка. Как выдвиженка работает в Центросоюзе. Пришла и сказала:

— Узнала я, товарищи, из газеты, что на нашей фабрике прорыв. Примите меня на работу. Каждый день после службы буду приходить сюда помогать вам.

Затем с таким заявлением пришли Калакатова из Центросоюза, Абраменцева из треста.

Четыреста имен, отчеств и фамилий надо было бы перечислить здесь. Четыреста выдвиженцев «Трехгорки», партийных и беспартийных, работают в разных учреждениях Москвы. Все они — до одного! — словно по зову, словно по мобилизации, явились на фабрику:

— Дайте работу! Поможем!

Старики и старухи, бывшие рабочие фабрики, находящиеся ныне на «социалке», и те приплелись:

— Хоть чем-нибудь да поможем. Еще силушка есть.

4.

...Член партии Петров, один из руководителей ситценабивной, начал сеять панику:

— План не выполним. Никаких досрочных. И так не успеем.

Тайком он убеждал беспартийного специалиста Ломановича:

— Нельзя брать на себя ответственность за такой план.

Петрова исключили из партии.

Партийный молодняк воспитывается, учится, как бороться с оппортунизмом. Одновременно с героической борьбой за промфинплан идет массовый штурм высот техники, идет усвоение ленинизма.

Вводные полуторамесячные курсы для новых рабочих — на 400 человек.

Производственно-политические курсы — 300 человек.

Рабочая техническая школа — 200 человек.

Вечерний техникум — 50 человек.
Инженерные курсы — 75 человек.
Филиал Промакадемии — 60 человек.
ФЗУ — 400 человек.
Предметные кружки (история партии, политэкономия) — 150 человек.
Кружки текущей политики — 150 человек.
Филиал райкомвуза для партактива — 100 человек.
Ликбез — 800 человек.
Специальные кружки для ИТР.
Кружки для жен рабочих. Ликбез для жен рабочих.
И комсомольская сеть просвещения, охватывающая свыше 900 человек.

Сюда, в этот сухой перечень, надо внести существенное добавление — тягу к учебе, к знанию как у партийцев, так и у беспартийных, как у стариков, так и у молодых.

Растет пролетарская семья текстильщиков: из деревни, из колхозов, идут пополнения. Растет партийная организация на Трех горах. В настоящий момент на 6 с половиной тысяч рабочих мы имеем 1400 членов и кандидатов партии и 1300 комсомольцев. Не надо при этом забывать, что за один 1931 год принято в кандидаты партии свыше 600 человек.

Каждый старый кадровик, каждый старый член партии должен взять на особую заметку эти цифры. Пусть за цифрой он увидит живого человека. Надо обработать этот свежий материал. Надо суровье превратить в хорошую ткань — в тысячи новых боевых знамен.

Бороться за чистоту пролетарской идеологии, за большевистскую бдительность. За качество большевика!

5.

Рабочие «Трехгорки», окончив досрочно план, постановили:

— К Московской и Всесоюзной партконференциям дать подарок стране — сверх плана полтора миллиона метров ткани.

Полтора миллиона — это 1500 километров.

Это — новая яркая полоса в истории «Трехгорки».

Павел ЖЕЛЕЗНОВ

Ополченцы

«Я счастлив, что я этой силы частица...» — сказал Маяковский в поэме «Владимир Ильич Ленин». Эти строки я вспомнил, когда в начале июля 1941 года встал в строй народного ополчения... Воевать с фашистами пером, приравненным к штыку, я начал в первый день Отечественной войны. Вечером 22 июня поэт Василий Лебедев-Кумач, написавший вскоре песню, ставшую гимном тех дней: «Вставай, страна огромная»,— вызвал меня по телефону в Радиокомитет. Там, в комнате с зашторенными впервые окнами, я увидел многих знакомых поэтов: Алексея Суркова, Сергея Васильева, Николая Панова... Было дано задание — написать стихи для завтрашней всесоюзной радиопередачи. Утром 23 июня я выступал у микрофона со стихами-воспоминанием о кайзеровских немцах, которых видел мальчишкой в 1918 году на Украине...

...Толпились люди в касках на перроне,
к вагонам поднося за тюком тюк,
и, словно злое карканье воронье,
летело в нашу сторону: «Цурюк!»...
...Но враг недолго грабил Украину,
народ поднялся и прогнал ворюг,
и помню, как летело немцам в спину,
со свистом: «Геть вид нас!.. Назад!.. Цур-рюк!»

Эти стихи были тогда же напечатаны в газете «Труд», вошли в первый военный сборник Гослитиздата. Но в райвоенкомате, куда я обратился 23 июня, мне — белобилетнику, снятому в середине 30-х годов по болезни с военного учета,— велели подождать. А ждать было тяжко. Москвичи моего поколения помнят тревожные сводки Информбюро. Помнят толпы народа у громкоговорителей. (Так назывались висящие на фонарных столбах огромные радиорупоры — тогдашнее чудо техники.) И толпы у военкоматов. Взволнованные и гордые лица призванных в армию. И зависть на лицах тех,

кто еще не подлежит призыву или уже не подлежит... Не удивительно, что в первый же день, когда была объявлена запись в народное ополчение, записалось чуть не вдвое больше народа, чем ожидалось. И надо было видеть, как спорили и даже плакали те, кого не брали в ряды ополченцев. При мне в одной из школ на Молчановке, где формировался 22-й стрелковый полк 8-й Краснопресненской дивизии, старые и хворые люди доказывали, что они еще могут владеть оружием. Подростки прибавляли себе возраст, а старики убавляли. Седовласый поэт Галицкий, рослый, грузный человек, автор популярной песни «Синий платочек», с первых дней войны полюбившейся солдатам, настаивал, чтоб его взяли в ополчение. Стоя навытяжку перед командиром полка — невысоким полковником Васениным, он цитировал Горького и Маяковского. Вспоминал замечательные горьковские слова: «Если вспыхнет война против того класса, силами которого я живу и работаю,— я тоже пойду рядовым бойцом в его армию», и звучащие, как присяга, стихи Маяковского:

С первой тревогою
с наших низов —
стомиллионные
встанем на зов!

Горький и Маяковский до войны не дожили. Галицкого и еще нескольких писателей, с явными признаками гипертонии или астмы, отправили домой. Но около ста литераторов-москвичей пошли на фронт в рядах 8-й Краснопресненской дивизии рядовыми бойцами. Те, кто не мог дождаться, пока его призовет военкомат. Кого сердце и совесть призывали немедленно идти на бой с фашистским отребьем.

В час, что просится в песню,
как в обойму патрон,
под знаменем Красной Пресни
рабочие шли на фронт.
Дружно, как на воскресник,
когда пылал горизонт,
под знаменем Красной Пресни
ученые шли на фронт.
Помнят камни предместий
шаг ополченских рот.
Под знаменем Красной Пресни
писатели шли на фронт...
...Мы все по призыву сердца
шли с фашизмом на бой,
и старики-ополченцы
вели сыновей с собой.

Да! В наших рядах шли пожилые люди и юноши. Рабочий с «Трехгорки» Баранов, человек в возрасте под пятьдесят, записался в ополчение вместе со своим шестнадцатилетним сыном. Так и шли в одном строю батя и сын. Рабочие «Трехгорной мануфактуры», заводов «Пролетарский труд», имени Мантулина, Пресненского машиностроительного и других предприятий Красной Пресни составляли основу дивизии. Но целый полк, более тысячи добровольцев, дал Московский университет. Рядом с молодыми аспирантами Петровым, Рябининым и другими шли преподаватели. Среди них — академик Серебровский, будущие академики Сказкин и Зубов.

Один из аспирантов — комсомолец Владимир Шабат «обманул» командование. Некоторые из нас вернулись с войны на протезах, а он, круглолицый, плечистый, пошел на войну на протезе, скрыв от командиров свою инвалидность... Когда колонна добровольцев Московского университета, проходя по улице Горького, задержалась у памятника Пушкину, кто-то из аспирантов, взобравшись на пьедестал, прочел стихи:

...И Пушкин с обнаженной головой
нас провожал на подвиг боевой!

Батальон добровольцев дала Московская консерватория. Вместе с аспирантами Анастасьевым, Живовым и другими взяли винтовки преподаватели — известные музыканты и певцы — Дьяков, Окаемов, Лузенин. Записавшиеся в первый день в ополчение Ойстрах и Гилельс были потом отозваны по приказу высшего начальства... Забегая вперед, хочу сказать, что Окаемов (первый исполнитель песни «Орленок») и Лузенин погибли героями. Погибли так, как учил чапаевский комиссар Фурманов, чтоб и смерть твоя была агитационной, партийной работой. Попавшие в плен к фашистам, зверски избитые, идя босиком по снегу на расстрел, они пели, поддерживая друг друга, боевые революционные песни. Об этом со слезами на глазах и гордостью за советских людей рассказали нашим бойцам жители города Кричева...

Писателей в дивизии была целая рота, которой командовал аспирант Московского университета лейтенант Яшунский. Несколько дней командиром числился наш коллега писатель Вильям-Вильмонт, но у него оказался слишком мягкий характер. Ходили анекдоты, что, подавая команду, он прибавлял: «Пожалуйста» или «Будьте добры». Яшунский был строгим и справедливым командиром. Писатели сравнивали его с фадеевским Левинсоном... С гордостью

несли звание рядовых бойцов маститые литераторы: участник трех революций, член КПСС с 1903 года, автор «Красных дьяволят» Бляхин; участник гражданской войны, автор «Недели» и «Комиссаров» Либединский; автор «Дикой собаки Динго» Фраерман; один из первых советских очеркистов — Жига; известный новеллист, редактор журнала «Огонек» Зозуля; писательницы Аргутинская и Шмераль; сравнительно молодые тогда Злобин и Бек; драматург, автор пьесы «Рига — Маньчжурия» Фурманский; широко теперь известный драматург Розов, в ту пору артист Театра Революции. (Кстати, артисты составляли немалую прослойку в нашей дивизии.) Несли за спиною винтовки поэты: Стрельченко, Молчанов; первый переводчик Мусы Джалиля — Миних, Островой, Чачиков. И многие другие литераторы всех возрастов, всех жанров. С первых дней пребывания в дивизии мы стали выпускать полковую стенгазету под редакцией Зозули. На марше Зозуля, я, Островой и Молчанов написали в стихах и прозе «Обращение бойцов народного ополчения к бойцам Красной Армии». Это «Обращение» было торжественно прочитано перед полком, выстроенным в каре по приказу комиссара полка, светлой памяти полкового комиссара Катулина, стройного, подтянутого, чем-то похожего на Фурманова... Еще в Москве он напомнил писателям, пришедшим в ополчение, что кроме общевойскового оружия у них есть перо, приравненное к штыку... Он горячо поддерживал нашу стенную газету и «боевые листки», посылал нас проводить беседы в других полках дивизии...

Сотрудником нашей стенгазеты, рядовым нашей роты был венгерский писатель Белла Иллеш, автор повести «Тисса горит», участник венгерской революции 1919 года. С ним произошел на марше забавный случай. Наш комроты Яшунский поставил его однажды часовым. А Иллеш плохо говорил по-русски. Вскоре колхозницы, вооруженные берданками и вилами, привели его связанного: «Тут у вас фриц переодетый на посту стоит!» Командир поблагодарил колхозниц за бдительность и посмеялся вместе с нами и Иллешем. Вообще, несмотря на все трудности, мы часто шутили и смеялись. И тон в этом задавали наши старшие товарищи... Сейчас, почувствовав тяжесть лет, еще больше уважаю их за бодрость и мужество. Не раз на марше Бляхин или Жига, люди с седыми висками, услышав, как ворчит от усталости какой-нибудь молодой, здоровый детина, предлагали ему понести его вещевой мешок, солдатский «сидор». Вспоминали,

под общий хохот, шутку-жалобу новобранца: «Почему винтовка большая, тяжелая на одного, а котелок маленький, легкий на двоих?» Они подсказывали нам темы для сатирических заметок и сами писали заметки и стихи, бьющие не в бровь, а в глаз. А на рытье окопов учили владеть лопатой, как пером. Помню, как гордились писатели-бойцы, научившись рыть окопы и траншеи не хуже подмосковных колхозников, влившихся на марше в нашу дивизию.

Позже часть писателей прямо из окопов, в обмотках, вымазанных глиной, направили по приказу Политуправления Западного фронта в армейские газеты на должность литсотрудников в звании красноармейцев. Мне посчастливилось попасть в одну газету с Бляхиным. Всем своим поведением старый большевик укреплял авторитет партии. Сотни километров в ополчении мы шли пешком с полной солдатской выкладкой, но, когда Бляхину предлагали ехать в машине или на подводе, он возмущался: «Товарищи идут, а я что ж, хуже их?» Работая в газете, он вместе с нами нес красноармейскую службу, стоял с винтовкой на посту... Когда я прочел ему мой «боевой листок», где были строки:

Мы восклицаем: «Не Москва ль за нами!»
Как наши предки в день Бородина...—

он сказал: «Люблю лермонтовское «Бородино», но никогда не соглашусь с этим дядей...» — «С каким дядей, Павел Андреевич?» — «Да вот, который говорит «были люди в наше время,— не то что нынешнее племя». Может, это и верно для племен прошлых времен. А у нас — каждое племя советских людей дает своих богатырей!» Жизнь показала его правоту. Комсомольцы 40-х годов стали в один ряд с героями штурма Зимнего и Перекопа! А комсомольцы 60-х годов оказались первыми покорителями космоса!

Когда вместе с Бляхиным мы с группой товарищей выходили из окружения, он с нас взял слово: «С оружием не расставаться, в плен не сдаваться!» Мы вышли с винтовками, с документами и тут же были отправлены снова на подмосковные рубежи... Много погибло тогда наших товарищей. Погиб уже работавший в газете Зозуля. Хорошо и грустно сказал о Зозуле Сергей Васильев: «В бой пошедший в сорок первом, павший в нем вперед лицом...» Погибли оставшиеся в дивизии мои друзья-поэты: Миних, Стрельченко, Чачиков... Вспоминаются написанные за пять лет до войны строки из стихов Стрельченко «Слава»:

Славить будем всех, на чьих гербах —
Ни орлов, ни филинов, ни псов,
Только колос, срезанный в полях,
Только серп и молот их отцов!

Рядом с поэтами сражались и пали смертью храбрых переводчик Волосов, литературовед Борис Гроссман, прозаик, председатель месткома издательства «Советский писатель» Клягин и многие наши товарищи. Трудно сейчас всех перечислить, но никто не должен быть забыт... Попал в плен раненый Степан Злобин. В концлагере он, беспартийный, одно время возглавлял подпольную коммунистическую организацию... Вышел из окружения и вывел большую группу ополченцев поэт Кушнарев, участник первой мировой войны... Я рассказываю в основном о нашей писательской роте. Но дошли до нас сведения и о других наших однополчанах. Погибли краснопресненские рабочие — отец и сын Барановы, любимцы нашей дивизии. Стояли насмерть трехгорцы, мантулинцы, машиностроители. Многие отдали жизнь за Родину. Многие вступили в партизанский отряд, который возглавил бывший начальник штаба 8-й Краснопресненской дивизии полковник Шмелев... Те, кто вышел из окружения, воевали потом в других соединениях. Могу назвать Архипова, Балабина, Шульгина... Шульгин, бывший председатель обкома профсоюза работников высшей школы и научных учреждений, пошел в ополчение вместе со всеми своими сотрудниками. На дверях обкома можно было оставить надпись, как это делалось в дни гражданской войны: «Обком закрыт. Все ушли на фронт»...

О том, как вели себя санинструкторы и сандружинницы, комсомолки-доброволки, рассказывали военврач Вознесенская и спасенные ими бойцы. Работница Краснопресненского рафинадного завода Аня Белобородова вынесла с поля боя более пятидесяти раненых. Тяжело раненная, она сама сделала себе перевязку и осталась на передовой. «Если я уйду, кто же будет им помогать?» Так же держались ее подруги Маша Гридина и Лена Сазонова. Немало раненых перевязали и вынесли из-под огня санинструкторы Радченко и Хачатурянц. Последней обязаны своей жизнью академик Зубов и драматург Розов.

Большой отряд, около ста человек, вывел из окружения аспирант Московского университета Петров. Несколько сот человек под командованием комиссара Сараева вышли с боями, уничтожив транспорт немецких машин, захватив

оружие и штабные документы. Позже под его же командованием полторы тысячи ополченцев Красной Пресни были со сборного пункта в Москве направлены под Наро-Фоминск в 33-ю армию Западного фронта... В послевоенные годы Павел Иванович Сараев, кандидат сельскохозяйственных наук, организовал группу ветеранов ополчения Красной Пресни, обязав нас проводить военно-патриотическую работу до конца своей жизни. Так поступал он сам, до последних своих дней встречаясь с молодежью, выезжая на места боев. После смерти Сараева, скончавшегося в 1970 году не столько от старости, сколько от старых ран, нашу группу возглавил научный работник Афанасий Васильевич Шульгин, тот самый, который в июле 1941-го ушел на фронт вместе со всеми своими подчиненными, работниками обкома высшей школы и научных учреждений...

В беглых, коротких заметках не расскажешь обо всех и обо всем. О 8-й Краснопресненской дивизии будут еще написаны и диссертации, и мемуары, и романы, и стихи...

Приходилось слышать в ту пору, в 1941 году, приходится иногда и сейчас слышать разговоры о трагической гибели нашей дивизии. Нет! Это была не трагическая гибель, а героический подвиг!.. По воспоминаниям участников боя, по личным воспоминаниям о тех боях, в которых мне пришлось участвовать под Москвой, я написал «ПЕСНЮ О 8-й КРАСНОПРЕСНЕНСКОЙ ДИВИЗИИ» с таким эпиграфом: «Прошедшая на марше обучение, но духом тверже камня и железа, 8-я Краснопресненская дивизия народного ополчения отбросила от Москвы 15-ю моторизованную гренадерскую дивизию гитлеровских головорезов».

Мы не забудем, как горели дали,
как в сорок первом — в буре огневой,—
когда деревья с корнем вылетали,
стояли насмерть люди под Москвой.
По ротам передав: «Назад ни шагу!»,
оружие проверив и сердца,
как воин, соблюдающий присягу,
дивизия сражалась до конца.
Срывали краснопресненцы шинели
и в контратаку шли в крови от ран.
Немногие, что в битве уцелели,
потом влились в отряды партизан.
Девчата, сандружинницы с «Трехгорки»,
держались так средь грома и огня,
что чудилось — на них не гимнастерки,
не ватники надеты, а броня.
Не дрогнула дивизия в ту пору,

которой не забыть, пока живу,
и гитлеровских мотомародеров
остановила на пути в Москву.
Есть песни об Одессе и о Бресте.
Я о моих товарищах пою,
не посрамивших знамя Красной Пресни,
сложивших честно головы в бою.
Представить бы вас к ордену посмертно,
тех, что сказали твердо, как один:
— Жизнь отдадим за Родину Советов,
а Родину за жизнь не отдадим!

Боевая судьба 8-й Краснопресненской дивизии заслуживает, чтоб о ней говорили, обнажив головы.

Во Дворцах культуры предприятий Красной Пресни, в Московском университете имени М. В. Ломоносова, в консерватории имени П. И. Чайковского, в Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева навечно начертаны золотом на мемориальных досках имена наших товарищей, погибших, но не пропустивших врага к Москве.

Братья-однополчане
и дети славных отцов,
почтим минутой молчанья
память павших бойцов!

Евгений ВОРОБЬЕВ

Город, вставший под ружье

Человек стоит в кузове грузовика, опершись ладонями и коленями о шаткую шоферскую кабину. Он вглядывается вперед, туда, где в белесом тумане возникает и вырисовывается московское предместье.

Глаза слезятся от ветра и снега, колючего, как битое стекло. Человек еще глубже втягивает голову в плечи, ниже надвигает на глаза ушанку, не отрываясь, смотрит вперед. Машину сильно трясет, она подпрыгивает на выбоинах, а человеку, стоящему за шоферской кабиной, кажется, что машина все-таки идет недостаточно быстро. Скорей, скорей!

Москва лежит сегодня на перепутье военных дорог, и судьба забросила в город фронтовика, который держит путь с одного участка фронта на другой.

Человек, стоящий в кузове на ледяном сквозняке, долго жил в Москве. Но только сейчас понял, как горячо любит свой город. Он волнуется, будто спешит на свидание с любимой после долгой разлуки и хочет поскорее вглядеться в ее прекрасные черты.

Лицо Москвы не озарено сегодня улыбкой. Оно исполнено решимости, оно стало строгим и настороженным, как у часового на посту.

Да, изменились московские пригороды. Заколоченные на зиму киоски — зеленые, голубые, желтые — как из другой эпохи. На дачных платформах многолюдно, а прежде в такие ненастные дни конца октября и в ноябре бывало пустынно. Медный кабель, питавший электричку, снят, свернут и увезен куда-то в тыл, электропоезда тоже угнаны на восток, и на пригородной ветке вновь, после многолетнего перерыва, дымят слабосильные паровозы. Поезда набиты москвичами, которые строят оборонительные рубежи.

Бои идут на подступах к городу, и во фронтовой сводке мелькают названия станций и платформ, хорошо известных московским дачникам. Шесть вокзалов, по существу, превратились в пригородные. Поездам не стало дальнего пути на

запад, на север, на юг. Но сегодняшние дачники особого покроя — все они в ватниках, лыжных штанах, с лопатами и кирками на плечах.

Противотанковый ров начинается тут же, вблизи дачной платформы, и подступает вплотную к шоссе. Всюду видны надолбы, частоколы из бревен, врытых в землю, проволочные заграждения. Бесконечно длинной лентой, похожей на позвоночник невиданного доисторического чудовища, уходят к горизонту ежи — обрубки рельсов и балок, сваренные, склепанные крест-накрест. В землю вкопаны демонтированные котлы, они несут обязанности бронеколпаков, внутри них обживаются на новоселье пулеметчики.

На шоссе патрулируют броневики и танкетки: можно ждать визита немецких парашютистов.

Все ближе Москва. Пригород сменился окраиной, машина замедляет бег и минует узкий проезд, оставленный в баррикаде. Ее сооружали на улице 1905 года. Вот амбразуры, вот рогожные кули и мешки, вот бойницы со стальными козырьками, вот бронированные щиты. Мешки набиты землей, но сейчас их припорошило снегом и они похожи на мешки с мукой. По соседству с баррикадой про запас вырыты окопы. Сколько лет прошло с тех пор, как Пресня видела баррикады? Тридцать шесть лет!

Сквер у Краснопресненской заставы, в центре высокий камень. Это суровый и скромный памятник смелым сынам Красной Пресни, которые в 1905 году бились на баррикадах за счастливое будущее. Немало красногвардейцев дала Пресня в годы гражданской войны. Один из них — седоусый Михаил Саввич Яковлев записался в ополчение. Сегодня мимо сквера, где высится драгоценный камень, шагают бойцы народного ополчения, добровольцы коммунистического батальона. Когда была объявлена запись добровольцев, батальон был сформирован на Красной Пресне буквально за два дня и многим тогда отказали в зачислении.

Красная Пресня, как и другие районы Москвы, покрылась оборонительными сооружениями и напоминала военный лагерь: маршировали бойцы народного ополчения, в сквере у заставы по мерзлой земле, присыпанной снегом, учились ползать по-пластунски и юнцы, и совсем пожилые люди.

Подъем, ведущий к Садовому кольцу от зоопарка, с трудом осиливала батарея на конной тяге. Батарея ехала мимо пятиэтажного дома, разрушенного бомбой. Не придержи-

ваясь своих городских маршрутов, прошли автобусы с ранеными. На площади Восстания возле двухэтажных домиков, между улицами Воровского и Герцена, стояли на огневой позиции две пушки.

Памятник Тимирязеву у Никитских ворот возвышался на пьедестале, а рядом с ним по-прежнему занимало позицию зенитное орудие. Помню день, когда взрывная волна опрокинула памятник. В тот день казалось, что великий русский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев вступил в народное ополчение и стал одним из номеров этого орудийного расчета. А сейчас Тимирязева, снова занявшего свое место, можно было уподобить раненому, который не покинул поле боя.

Рабочий батальон Красной Пресни занял оборонительный рубеж на подступах к Москве и одновременно вел боевую подготовку. Батальоном командовали опытные командиры запаса майор Яковлев, старший политрук Андреев и другие. На строительство нового оборонительного рубежа вышли тысячи и тысячи рабочих и служащих. Здесь можно было увидеть рабочих завода «Красная Пресня», научных работников юридического института во главе с его руководителем Арсеньевым, студентов Московского университета, ткачих «Трехгорки», железнодорожников Окружной дороги и студентов геологоразведочного института.

«Мы знаем,— писали бойцы добровольческих отрядов Красной Пресни в «Правду»,— что трудная борьба с фашизмом потребует от нас немало жертв, но каждый из нас говорит: лучше умереть героем, чем жить трусом. А победить в этой войне может только храбрость, героизм наших людей. И мы победим!

На призыв: все силы отдать для защиты родной Москвы, отвечаем — мы готовы! Мы готовы сегодня, в любой час двинуться в смертельный бой с нашим лютым врагом.

Мы знаем, что с нас много спросится. Потому-то и отдаем сейчас каждую минуту военной подготовке, боевой выучке.

Мы ждем боевого приказа. Займем свое место в строю, на линии обороны Москвы. И мы твердо знаем, что вместе с нами встанут в строй еще многие батальоны Красной Пресни, еще многие батальоны Москвы, и эта линия обороны станет линией наступления.

Политрук роты **Я. Рукин**, бойцы **М. Литочевский, С. Дмитриев, П. Ефимов, М. Павлов**, медсестра **С. Семенова...**»

Казалось, прошли годы с того летнего дня, как я расстался с Москвой и в последний раз заходил в Союз писателей. Мы выехали на фронт втроем: Марк Серебрянский, Морис Слободской и я. Поездка оказалась не такой уж дальней, хотя и очень медлительной. Поезд тогда добрел только

до Вязьмы, там на станционных путях стояли обугленные составы, а вокзал, платформы, все пристанционные постройки хранили следы недавней жестокой бомбежки...

После выхода из окружения я начал работать в газете Западного фронта «Красноармейская правда». Мне поручили написать о праздновании в Москве 24-й годовщины Октябрьской революции. Отправляя меня в Москву, редактор газеты, бригадный комиссар Т. В. Миронов, предупредил, что мне потребуется специальный пропуск, и я намеревался получить его в Союзе писателей.

В Доме литераторов царило холодное запустение. По двору летали неприкаянные бумаги. Несколько человек в военном и полувоенном топили камин в Дубовой гостиной и жались к огню. Кто-то читал вслух стихи. А в трех маленьких комнатках второго этажа в соседнем здании, где находилось Правление ССП, было тепло, оживленно, здесь ютилось Московское бюро Правления Союза писателей. От Елены Ивановны Авксентьевской, секретаря, я узнал, что бюро только на днях создано, в него входят В. Г. Лидин, В. А. Сытин и директор Литературного института Г. С. Федосеев.

Виктор Александрович Сытин внимательно выслушал меня, распорядился, чтобы меня накормили обедом (без талона), но сказал, что никаких пропусков в Союзе писателей нет и не будет. Он посоветовал мне обратиться в Краснопресненский райком ВКП(б). Райком занимал тогда здание на Суворовском бульваре, где сейчас находится Дом журналиста.

После пустынных, молчаливых домов Союза писателей Краснопресненский райком показался бессонным и деятельным штабом. Толчея в вестибюле, в коридоре, в комнатах. Сидели на полу в вестибюле, на лестнице. Молодые ополченцы разматывали обмотки, снимали армейские ботинки, наматывали портянки, переобувались в сапоги. Все расступились перед бойцами, которые пронесли ящики с зажигательными бутылками КС. В верхнем зале раздавали противогазы и дополнительные патроны ополченцам, на дверях комнаты по соседству висел красный крест, та комната была оккупирована девушками.

Я уже знал, что вечером состоится торжественное заседание Моссовета, посвященное октябрьскому празднику, на станции метро «Маяковская». Но об этом в райкоме говорили вполголоса и даже шепотом.

Бесконечной вереницей шли посетители в кабинет первого секретаря Краснопресненского райкома ВКП(б) С. А. Ухолина. Я терпеливо дождался своей очереди, показал редакционное предписание и все прочие документы. Товарищ Ухолин, невысокого роста, коренастый, отнесся к моей просьбе положительно. Он попросил секретаря райкома Соломатину, зашедшую в кабинет, выдать пропуск. Пока мы спускались по лестнице и шли по коридорам, товарищ Соломатина, женщина средних лет, светловолосая, с гладкой прической, поделилась своими заботами. Все в райкоме готовились к праздничному субботнику на Красной Пресне, будут строить новые оборонительные сооружения. Для тысячи двухсот участников субботника заготавливают лопаты, мешки, носилки. Не хватало только кирок и ломов, которые незаменимы при сооружении баррикад.

...Эскалатор на станции метро «Маяковская» в тот вечер работал с перерывами, к нему вела ковровая дорожка. Мне удалось протиснуться довольно близко к президиуму торжественного заседания, и я подробно записал речи. Никто не знал, будет ли опубликован в печати отчет об этом заседании. С фронта прибыло несколько военных корреспондентов. Поздно вечером, после того как мы поднялись со станции метро в вестибюль, нам доверительно сообщили, что в случае благоприятной, то есть скверной, погоды утром на Красной площади состоится парад войск. Выяснилось, что пропуск на парад мне нужно получить не в Краснопресненском райкоме, а в Московском комитете партии, в секретариате А. С. Щербакова.

Хорошо помню ночь на Красной площади перед парадом. Конные патрули из конца в конец мерили притихшую площадь, из темноты доносился цокот копыт, приглушенный снегом. Циферблат часов на Спасской башне не светился, не горело рубиновое созвездие Москвы — звезды были то ли закрашены, то ли укрыты защитными чехлами. Редкие машины, проходившие мимо ГУМа, освещали себе дорогу прищуренными фарами: узкие прорези пропускали лишь подслеповатый синий свет. Решение о параде держали в тайне: в прифронтовом городе нужно опасаться враждебных ушей и глаз. Помнится, еще в половине десятого вечера площадь была без праздничного наряда, пустынна. Но под стеклянной, прохудившейся крышей мерзлого ГУМа сколачивали рамы для транспарантов, лозунгов. Хлопотали декораторы и художники. На крышах Исторического музея и ГУМа ра-

ботали саперы. В Ветошном переулке дежурила пожарная машина. Впервые за месяцы войны пожарным дали праздничное поручение — приставить свои высоченные лестницы к фасадам домов, помочь украшению площади. Только электрикам, вопреки обыкновению мирных лет, нечего было делать в тот предпраздничный вечер.

Погода не обманула ожиданий: ее следовало признать как нельзя более подходящей для парада, прямо-таки великолепной. Именно о такой погоде мечтали устроители и участники парада. Все заиндевело от тумана, сырой морозной тяжестью стлался он над землей. Колокольня Ивана Великого и соборные купола едва посвечивали тусклым золотом. Памятник Минину и Пожарскому был укрыт мешками с песком, а окна в храме Василия Блаженного походили на бойницы крепости; в нужную минуту там появились бы пулеметы и противотанковые ружья. Обычно аэростаты заграждения после ночного дежурства в московском небе опускали. А в то утро, хотя погода была нелетной, из особой предосторожности аэростаты заграждения не отвели на дневной покой. Также из предосторожности парад начался на два часа раньше, чем бывало до войны,— в восемь утра. И, когда куранты отбили восемь ударов и принимавший парад маршал Буденный выехал из Спасских ворот, снег шел уже довольно усердно, а небо сделалось цвета шинельного сукна. За снежной завесой на Кремлевской стене кое-где виднелись следы камуфляжа: летом там были намалеваны зеленые аллеи. Горстка военных корреспондентов стояла у левого крыла Мавзолея, там, где прежде толпились в своей пестрой форме военные атташе. Сейчас военных атташе не было, все посольства уехали в Куйбышев.

Из требований безопасности, радиотрансляция с Мавзолея началась только в середине речи Сталина.

Вслед за кадровыми частями и подразделениями прошел полк народного ополчения и коммунистические батальоны Москвы — разношерстное войско, обутое кто в сапоги, кто в ботинки с обмотками, одетое в бекеши, телогрейки, пальто, бушлаты, шинели, шапки-ушанки, буденовки, картузы, кубанки, папахи. И вооружены были красногвардейцы сорок первого года неважнецки — винтовки вперемежку с карабинами, автоматов мало, совсем нет противотанковых ружей. Среди других районов Москвы прошли и волонтеры Красной Пресни.

В то утро, совсем как в годы гражданской войны, парад

был одновременно проводами на фронт. И одной из самых точных примет того, что путь бойцов отсюда лежал не в казармы, а на позиции, были заплечные вещмешки.

Через несколько дней по городу расклеили афишу: «Писатели — защитникам Москвы». 12 ноября писатели с Западного фронта читали рассказы, стихи, а зрители заполнили промерзший зал Чайковского. Это было самое удобное помещение из-за соседства со станцией метро — на случай бомбежки. Литературный вечер в зале Чайковского прошел с большим успехом. Позже мы прочли отклики на него и в иностранной печати. «Таймс» писала: «Большевики плюют на бомбы и читают стихи».

Московское бюро ССП развернуло энергичную работу. Было эвакуировано около ста семей писателей, им предоставили два классных вагона. Выпустили единственный тогда журнал «Смена». Вслед за вечером в зале Чайковского состоялось еще несколько писательских выступлений. Запомнилась встреча писателей-фронтовиков (А. Сурков, В. Кожевников, В. Рудный, В. Сытин) с курсантами Училища имени Верховного Совета в Кремле. Группа писателей продолжала работать в «Окнах ТАСС». Обо всех этих и многих других делах доложил на пленуме Краснопресненского райкома ВКП(б) В. А. Сытин. К слову сказать, пленум состоялся в подвале церкви Большого Вознесения около Никитских ворот, той самой церкви, где некогда венчался Пушкин. Могучие своды превратили церковный подвал в надежное бомбоубежище.

Весь ноябрь в Подмосковье шли ожесточенные бои, и линия фронта на некоторых направлениях приблизилась к городу. Когда немцы 25 ноября захватили Красную Поляну и соседнюю с ней деревню Катюшки, они получили возможность — к счастью, кратковременную — обстреливать из дальнобойных орудий центр города, их отделяло от Кремля всего 27 километров.

Нужно с горечью сказать, что обстановка на фронте в конце октября, в ноябре и в первые дни декабря сильно сокращала маршруты корреспондентов на передний край обороны; на иных участках линия фронта проходила через дачные места Подмосковья.

В газете Западного фронта «Красноармейская правда» в писательской группе служили тогда Алексей Сурков, Вадим Кожевников, Морис Слободской, Цезарь Солодарь и автор этих строк. Из числа корреспондентов центральных

газет и журналов, которые работали на нашем фронте, бывали в редакции или работали в контакте с нашими товарищами Владимир Ставский, Петр Лидов, Евгений Петров, Александр Бек и Евгений Кригер.

В те дни писатели и журналисты счастливо избежали потерь, хотя фронтовые корреспонденты оказывались иногда в тяжелой обстановке. Так, например, в критическом положении очутились в 9-й гвардейской стрелковой дивизии Белобородова Алексей Сурков и фотокорреспондент «Красноармейской правды» Л. Бать. Они оказались в деревне, куда прорвались немецкие танки. В те дни на том же волоколамском направлении Алексей Сурков в деревне Дарне под Истрой и написал стихотворение «Бьется в тесной печурке огонь».

Когда редакция перебралась в Москву, в типографию «Гудка», мы получили приглашение встретить новый 1942 год одной писательской семьей. Во флигеле дома № 52 по улице Воровского за скромным праздничным столом собрались у гостеприимных Т. и В. Сытиных писательский «взвод» «Красноармейской правды», а также Г. С. Федосеев, П. Н. Павленко, П. Ф. Юдин и другие. Я вернулся в тот вечер в Москву с наро-фоминского направления, и, может быть, поэтому запомнился приказ командира 1-й гвардейской мотострелковой дивизии от 31 декабря 1941 года: «Как новогодний подарок, приказываю взять деревню Кузьминка». И весь тот вечер деревня Кузьминка не выходила у меня из головы.

А на следующее утро мы расстались с Москвой, с Красной Пресней и разъехались на разные участки Западного фронта, а Сытин выехал на Волховский фронт.

Уже к вечеру я был в Малоярославце, который только что освободили и где мне пришлось вторично встретить Новый год. Командир батальона старший лейтенант Александр Бараев отбил у немцев машину с новогодними подарками, и грех было не отметить освобождение города.

Елена КОНОНЕНКО

Ткачихи

Особенно остро я почувствовала характер краснопресненских ткачих в годы Великой Отечественной войны, в самые тяжкие ее дни. Когда гитлеровцы наступали на Москву, мне довелось побывать на оборонных рубежах. На Поклонной горе... Еще — в деревне Крылатское недалеко от Кунцева. Среди москвичей, которые рыли противотанковые рвы, траншеи, устанавливали надолбы, ежи — склепанные крест-накрест обрубки балок и рельсов, было много краснопресненцев — тысячи, восемь с половиной тысяч... И много, очень много ткачих.

15 октября 1941 года вышла «Правда». В этом номере напечатали и мой очерк «Москвич». Дежурным редактором был Емельян Ярославский. На рассвете с пачкой влажных еще газет я уехала туда, где строили оборонительные сооружения, раздавала эти газеты. Было холодно. Фашистские стервятники рвались к Москве. Бомбили. Тогда люди ложились, припадали к земле. Потом опять брались за лопаты, кирки. Как они работали! Вот уж поистине Красная Пресня встала на защиту родной Москвы. И мои дорогие, драгоценные ткачихи... Они даже шутили, они даже смеялись на студеном ветру. Вечером я вернулась в город и написала заявление-просьбу принять меня в ряды Коммунистической партии. Это они, краснопресненцы, трехгорцы, подтолкнули меня совершить важный шаг в моей жизни.

18 октября 1941 года в «Правде» было напечатано письмо бойцов всевобуча Краснопресненского района Москвы: «...Клянемся: не уроним твоей чести, Красная Пресня, будем стойко биться за тебя, за Москву, за великую советскую землю. Отстоим! Не быть России под ярмом немцев, не бывать поколению краснопресненцев рабами фашистских баронов! Все отдадим, крови, жизни не пожалеем, чтобы отстоять, чтобы отбросить прочь, уничтожить кровавых фашистских захватчиков...»

Я и сейчас помню эти строки наизусть.

В годы войны я много бывала на Красной Пресне, которая ткала ткани, нужные фронту, выпускала детали боеприпасов. С каким мужеством трудились ткачихи «Трехгорки», заменившие мужчин, ушедших на фронт! Так было везде. Но на «Трехгорке» я видела это своими глазами. Не поникли работницы перед тяжестями, которые принесла война, не раскисли, не повесили головы. Многое изменилось в их личной, семейной жизни. Многое было смято. Но не смять было Гитлеру самого главного — их характера, душевной твердости, жизненных сил, любви к советской земле.

Запечатлелась мне на всю жизнь Аграфена Карповна Дурняшова. Она работала в красильном цехе на ситценабивной. Но я все равно называю ее ткачихой. Они для меня все ткачихи — и прядильщицы, и красильщицы, и художницы «Трехгорки».

Я бывала в большой дружной семье Дурняшовых. Веселая, шумная семья в рабочем поселке «Трехгорки». И вдруг все изменилось. Ушел на фронт сын Ваня — гордость Аграфены Карповны. Ушел на передовые с ополчением муж Василий Андреевич, с которым жили душа в душу. Ушел на фронт и третий мужчина из семьи — молодой зять Александр, муж дочери Нюры. Они ушли все сразу. Аграфена Карповна не плакала. Слезы подступали к глазам, кипели, конечно, на сердце. Но не заплакала. Нет, не заплакала. Выпрямилась, сказала:

— Ну, идите по-хорошему. Бейте проклятого. Для него, что ли, мы свою жизнь строили, берегли, как цветок чистый...

Именно так и сказала Аграфена Карповна: «как цветок чистый»... Добавила: «О нас не беспокойтесь, не сомневайтесь, себя берегите». И отвела глаза.

И вот они ушли. Аграфена Карповна подошла к столу, потрогала недокуренную кем-то папиросу. Сбились в кучу вокруг нее остальные члены семьи — бабушка Евдокия Васильевна, тринадцатилетний сын Миша, дочки-малолетки Лиза и Катя, дочь Шура девятнадцати лет и дочь Нюра с двумя малышами — трехлетней Валюшкой и грудным Шуриком. Те, кто постарше, смотрели во все глаза на Аграфену Карповну:

— Ну, мама? Ну? Как же мы будем?

Она пригладила ладонью растрепавшиеся волосы, окинула взглядом свою артель, ответила твердо:

— Будем переживать. Что же теперь делать-то, милые мои, а кто же Гитлера прогонять будет? Вот они и пошли...

папаня, Шура, Ваня... Будем жить. Будем и мы помогать.

И все пошло своим чередом. Аграфена и дочь Шура с утра — на родную «Трехгорку», где работали до ухода на фронт муж и сын слесарями. Нюра с бабкой — по хозяйству, Миша стал ходить в очереди за продуктами.

Я бывала в красильном цехе и никогда не видела горечи в карих глазах Аграфены Карповны. Она работала крепко. И что меня восхищало, она всегда находила сердечное, освежающее слово для тех женщин, на которых вдруг нахлынет злая кручина.

— Милая моя, да разве это трудности, мы настоящих трудностей-то еще и в глаза не видали. Ну, бомбит.. Ну, побомбит и перестанет. А вот слыхала ли ты, что фашистское зверье в оккупированных районах делает!

И дома она всегда находила спокойное слово.

— Мам, холодно... Смотри, пар идет,— жаловался Миша.

— Надышим сейчас — вот и потеплеет. Милые мои, да разве это холод! Отцу-то, поди, в окопах куда холоднее...

А потом Аграфена отправила дочерей-малолеток Лизу и Катю с бабушкой и дочь Нюру с ее малышами туда, где им будет жить поспокойнее.

Они плакали, прощаясь. Младшие девчонки говорили, обхватив руками ее шею: «Маманя, поезжай с нами». Она отвечала: «Да ведь Красную Армию одевать надо, кто ж им суконце ткать да красить будет, глупые мои». И только один раз я застала ее в слезах. Она, дочь Шура и сынок Миша перебрались в одну комнатенку. Окна были заколочены. На полу лежал Катин чулочек, забытый... Она подняла его и всплакнула. На столе — недописанное письмо сыну Ване на Балтийский флот: «...Нам особенно обижаться нечего, только обижаемся на кровавого зверя Гитлера. Шлю тебе, дорогой сыночек Иван Васильевич, материнское благословение, чтобы ты имел силу и мужество побеждать кровавого, лютого зверя...»

Подбила Аграфена Карповна работниц огороды сажать, и многие вместе с ней взялись за огородное хозяйство. И все ей было мало, все казалось, что еще что-то надо сделать. Пошла записываться в доноры. Вернулась огорченная: не записали, не позволило ее здоровье. Тогда стала собирать теплые вещи для людей, пострадавших от гитлеровских банд. Потом стала собирать подарки для фронтовиков. И сама поехала на Западный фронт отвозить эти подарки.

Запечатлелась ткачиха Зинаида Меньшикова. В дни

войны каждая ткачиха работала на четырех так называемых жаккардовых станках. Зинаида первая стала работать на восьми станках.

— Неугомонная вы, Зина,— сказала я ей как-то.

— Будешь неугомонной,— застенчиво улыбнулась Меньшикова.— Сколько раненых, сколько марли-то надо.

С Меньшиковой я встречалась и в трудные годы после победы над гитлеровцами. Надо было быстро перестроиться на выпуск довоенного ассортимента. Измученные войной, истощенные, потерявшие близких — кто мужа, кто сына, кто брата или отца — ткачихи «Трехгорки» поразили меня своей невероятной жизнеспособностью, энергией и чувством нового.

Зинаида Меньшикова, Наталья Дубяга, Александра Штырова, Мария Графова! Вы и многие другие ткачихи «Трехгорки», несомненно, войдете в историю Красной Пресни, вошли в нее...

В сорок шестом году вернулся из армии в звании лейтенанта Владимир Ворошин и снова пошел работать рядовым помощником мастера на «Трехгорку» — на ткацкую, где работал и до войны. Его встретили сердечно.

Он стосковался по ткацкому делу и ощущал в себе силы работать иначе, чем работал до войны. Он стал требовательнее к другим и к самому себе. В его бригаду вошли Наташа Дубяга, Саша Штырова и Маша Графова. Прежде всего надо было организовать свой маленький коллектив.

Сидели вчетвером после смены в маленьком закутке: он и три ткачихи.

— Можно, девушки, работать лучше, можно продукции государству дать больше... Народ обносился, ждет... Я знаю, что вы здорово вкалываете... Шестнадцать станков в руках каждой из вас — это немало. Давайте все же сообща да посмелей раскинем умом, как лучше работать без надрыва, а? Я — поммастера, от меня многое зависит, я это знаю и буду вам создавать условия для перевыполнения производственного плана. Наташа... Наталья Ильинична, ты меня понимаешь?

— Понимаю,— сказала Дубяга. Она была квалифицированная ткачиха, умела превосходно работать, но она знала также, что помощник мастера — хороший организатор может сделать многое.

— Со сменщицами надо договориться,— сказала Саша Штырова.— Станки-то общие.

Сменщицами Дубяги, Штыровой и Графовой были знакомые мне Меньшикова, Шарапова и Жебалдова. Сменщиком Ворошина оказался молодой поммастера Юрий Алексеев.

— Вот что, Юра,— сказал Ворошин,— давай работать по-новому. Ты понимаешь, Юра, мы друг друга можем вперед двигать и назад тянуть, мы же на одном оборудовании работаем. Ясно?

— Ясно. Драться за первое место в соревновании,— сказал Алексеев.

— Мне не слава нужна, Юра,— задумчиво произнес Ворошин, видя, как разгорелся юный сменщик.— Это дело принципиальное. Мы можем работать по-новому, все можем работать по-новому — и я, и ты, и вся ткацкая.

Вначале Ворошин задался целью всячески облегчить труд своих многостаночниц. Тысячу сто пусков станка делала ткачиха в смену — большое напряжение руки. Основательно повозившись со станками, Ворошин облегчил их пуск.

Как-то я пришла в цех и услышала требовательный голос Владимира Ворошина:

— Да не готовьте вы мне, девушки, целый букет неполадок. Чуть что заметила — сигнализируй.

— Да ведь не хочется, Володя, беспокоить тебя по одному делу. Дай, думаю, подкоплю сразу несколько,— сказала одна из ткачих.

— С этими привычками надо кончать. Беспокойте, беспокойте меня! Лучше я двадцать раз к твоим станкам приду, но зато ни один не встанет.

Вот я сейчас пишу очерк и слышу это требовательное, взволнованное ворошинское «Беспокойте! Беспокойте меня!..» Сейчас Владимир Ворошин — директор ткацкой фабрики на «Трехгорке», лауреат Государственной премии.

И вижу я не менее взволнованное лицо Наташи Дубяги, у которой от этого «Беспокойте! Беспокойте меня!» играют в глазах бесенята.

Наташа... Особенно близко столкнулась я с этой ткачихой в сорок восьмом — сорок девятом годах и вновь почувствовала краснопресненский характер. Наташа смело пошла на ломку того, что считалось каноном в технологии ткацкого дела, сумела сочетать высокое мастерство с искусно продуманным планированием работы и добилась изумительных результатов. Производительность ее труда в два раза была выше производительности труда средней ткачихи.

Большой зал клуба «Трехгорки» до отказа наполнен рабочими, мастерами, инженерами, директорами московских ткацких фабрик.

Они пришли послушать лекцию о новом в технологии ткацкого дела, о новых резервах повышения производительности труда и станков.

Звон колокольчика. Зал стих. Лектор — молодая светловолосая женщина в строгом, но изящном костюме, превосходно облегающем стройную фигуру, легко поднялась на кафедру и обвела слушателей внимательным взглядом серых глаз.

Профессор? Доцент? Научный специалист текстильной промышленности? Нет. Это была «моя» Наташа. Советская ткачиха Наталья Ильинична Дубяга.

На клубной сцене за спиной Наташи возвышалась гора цветных тканей. Это соткала Наташа сверх своего годового плана. Тридцать три тысячи триста семьдесят метров. Сколько женщин, девушек, детей надели новые платья из этой ткани, дополнительно вытканной ткачихой-новатором!

Наталья Дубяга читала широкой аудитории московских текстильщиков лекцию о методах своей работы. Она рассказывала подробно о всех приемах своего труда — о смене и зарядке челнока, о ликвидации обрыва основы и многом другом. Она рассказывала, как планирует свой труд на шестнадцати станках — труд, заставивший руководителей фабрики увеличить скорость станков.

«...Вы понимаете, товарищи,— говорила Наташа (я точно цитирую ее лекцию).— Вы понимаете, товарищи, что такой разгон початков по восьмеркам дает мне возможность предвидеть, на каком станке произойдет доработка початка, быть у этого станка наготове и пустить его без лишнего простоя. Кроме того, это дает мне возможность совершать переходы лишь между соседними станками, затрачивая на это минимум времени. Значит, я могу после смены челноков на всей восьмерке зарядить их один за другим во время хода... И кроме того, я могу при переходе на другую восьмерку время от времени осматривать основы или полотна... Ну, само собой разумеется, несмотря на этот общий порядок планирования работы, мне, конечно, приходится на практике в отдельных случаях принимать то или иное решение... решать, в какой последовательности лучше обслуживать станки, чтобы не было лишних простоев...»

Вот это да! «Предвидеть»... «Принимать то или иное решение...» Можно ли назвать труд ткачихи Натальи Дубяги только физическим! Конечно, нет. Это был труд умственный, творческий. Сознание, что я — одна из свидетелей того, как постепенно уничтожается противоположность между физическим и умственным трудом, наполнило душу светом. Я долго бродила в тот вечер по Красной Пресне, думая о Наталье Дубяге, о том, что она — ткачиха совершенно нового типа, каких не было, не было никогда ни в одной стране земного шара. Она не только не та, что были во времена царской Прохоровской мануфактуры, но даже не та, какими были работницы наши двадцать, десять, пять лет назад. Даже по внешнему облику нельзя было отличить ткачиху-новатора Наташу от советского интеллигента, работающего где-либо в лаборатории, в научном институте. А она — потомственная ткачиха. Ее мать, Акулина Гавриловна, в ту пору тоже работала на «Трехгорке». Покойный отец, Илья Иванович, тоже всю жизнь работал на «Трехгорке». Акулине Гавриловне, конечно, не довелось читать лекций о методах творческой работы на ткацких станках перед инженерами и студентами. Какие тут лекции, какая тут творческая работа! «Мы рожали у станков. Страшная угроза увольнения и голода висела над нами постоянно. Горя — реченька бездонная»,— писали работницы «Трехгорки» в письме Центральному Комитету Коммунистической партии, вспоминая свою дореволюционную жизнь. Да, какие уж тут лекции! А вот Наташа не только их слушает, а и сама читает. Да ведь это же черт знает, как хорошо! Конечно, Наташа талантлива. Бывают талантливые поэтессы, талантливые скрипачки, бывают талантливые ткачихи...

Так мысленно размышляла я о Наталье Дубяге, бродя по улицам Красной Пресни. И вспоминала о ней все, что знала. Наташа ездила в составе советской женской делегации в Польшу.

На большой текстильной фабрике кто-то из администраторов спросил:

— Может быть, пани Дубяга не ткачиха, а научный работник по текстильной промышленности?

Наташа не вытерпела. Она засучила рукава своего нарядного платья и принялась ткать сразу на восьми станках. На шестнадцати станках она при всем желании не смогла работать, потому что там не было такого гнезда. Там в ту пору ткачи работали на одном-двух станках.

Польские работницы с восторгом следили за ловкими, быстрыми, почти виртуозными движениями Наташи. Но кто-то из старых специалистов спросил:

— Не объясните, пани, пожалуйста, почему вы так быстро работаете, почему спешите?

— Я не спешу,— улыбнулась Наташа.— Я просто не умею работать медленно. Работать медленно мне скучно. Да и зачем работать медленно, если можно работать быстро? Ведь я одна из хозяек своей «Трехгорки». Я хочу принести как можно больше пользы своему государству.

Встреча с Натальей Дубягой произвела впечатление на польских рабочих. Сейчас-то уж сотни польских ткачих — новаторы...

...Когда в Москве созываются всемирные форумы или всесоюзные конференции сторонников мира, я всегда лечу на Красную Пресню, на «Трехгорку», потому что «Трехгорка» в эти дни постоянно несет «вахту мира» и там очень интересно, вдохновенно, там все бурлит. Еще бы! Все — матери, жены, невесты. И много солдатских вдов.

Помнится, накануне одной из всесоюзных конференций сторонников мира я пришла на ткацкую фабрику. Первой решила встать на «вахту мира» молодая ткачиха Маруся Кошуба.

А потом я встретила одну из старейших ткачих «Трехгорки» — Тавровскую. Ее всегда все звали «тетя Оня». Полная, добродушная, с засученными выше локтей рукавами, она пронеслась по коридорам ткацкой по-домашнему хлопотливо.

— Здравствуйте, тетя Оня, постойте, тетя Оня, что у вас новенького? Вы, поди, тоже на «вахте мира?»

Она всплеснула полными, оголенными руками, к которым прилипли кусочки волокна. Ее глаза блеснули совсем молодо.

— Я, милок, всегда на вахте — как хочешь ее называй. Я четвертый десяток на вахте. А как же иначе-то?

Наклоняясь к уху, чтобы было слышней, тетя Оня веселой скороговоркой поведала:

— Новости у меня такие. Зять диссертацию защищает. Дочка в министерстве работает. А внучка, отрада моя, в университете Ломоносова учится. Как же мне на вахте-то не стоять? Вся Красная Пресня, милок, стоит на вахте.— И побежала дальше «моя» тетя Оня...

...Крупные и светлые события начались на ткацкой фабрике «Трехгорка». Фабрика приняла решение начать борьбу за звание предприятия коммунистического труда. Я стала часто бывать у ткачих.

Все понимали: это решение требует мужества, если подходить к нему не формально. А здесь это не было формально, и поэтому волновались. Шутка ли сказать — речь шла не об отдельных бригадах передовиков, а о целом коллективе, в котором, как и в каждом коллективе, есть всякие люди — молодые и старые, сознательные и отсталые, энергичные и нерадивые, чуткие и черствые...

Да, это нелегко. И вместе с тем как заманчиво, как прекрасно. Даже мечтать об этом было интересно, душа замирала. Частенько в скромной комнате партбюро ткацкой собирались старые и молодые коммунисты, комсомольцы, члены бригад коммунистического труда. Смена закончена, можно идти домой, а они не уходят, сидят, думают вслух, окрыленные своей высокой мечтой.

— Это тебе не новую шубу справить или там еще что-нибудь... Шуба она и есть шуба. Ну справил ты ее, носи на здоровье. Теперь вот и в кредит можно... А это другое. Тут уж забота о всей жизни, о человеке, о будущем. И на душе как-то приятно, что ты можешь иметь мечтания, а не только что, скажем, лишний костюмчик или там сервант полированный купить... Сам в своих глазах растешь.

— Это, конечно, правильно. Мечта каждого возвышает. Но самое главное: коммунизм-то с неба не свалится. Кому его строить? Нам его и строить. Что мечтать? Делать надо, вперед продвигаться.

...Два с половиной года шла на ткацкой фабрике борьба за право получить звание предприятия коммунистического труда. Краснопресненским ткачам хотелось, чтобы это решение было не для красного словца. Долго, упорно, кропотливо боролись ткачи. Впереди шли, как всегда, коммунисты. И старые и молодые. Каждую ниточку пряжи берегли, не сводили глаз с челноков, с основ. И главное — не сводили глаз с каждого человека, товарищ с товарища: и корили друг друга, и учили друг друга, и судили, и помогали...

Просыпалась среди ночи тогдашний секретарь парткома Лидия Ефимовна Рудых, стонала, словно от зубной боли.

— Ты что, Лида?
— Старик там в переулке какой-то объявился. После получки захаживает к нему кое-кто... Стаканчики дает, разливает.
— Да ладно, спи. Дня тебе мало!
И комсомольский секретарь Нина Шматкова беспокоилась, обдумывая, как лучше провести собрание молодежи на тему незабвенных слов Николая Островского: «Кто не горит, тот коптит». Владимир Ворошин, Николай Лапшов, помощники мастера, порой бормотали про себя слова вроде «капроновые уборки», «блоки», а то и просто: «Черта лысого с тобой завоюешь!» или: «Совесть у тебя есть или нет?».
Два с лишним года шла на ткацкой фабрике жизнь, которую по накалу можно назвать фронтовой. Мечтали получить звание предприятия коммунистического труда. Да и обязательство такое дали. Но... не получили... И это было горько. Кое-кто из краснопресненцев подзуживал:
— Что же это вы, ткачи, не торопитесь?
— Тише едешь — дальше будешь! — спокойно отвечала знатная ткачиха Варвара Ефимовна Федорова. А у самой на душе кошки скребли. Варвару Ефимовну избрали делегатом на партийный съезд, и уж так хотелось ей прийти в Кремль с результатами: ткацкая стала предприятием коммунистического труда...
А молодые ткачихи Светлана Василенко, Женя Родионова, Фаина Хадилулина, умницы, энтузиастки, заводиловки — по их почину сотни других работниц-сменщиц на «Трехгорке» вступили в соревнование за отличную работу в каждой смене,— чуть не плакали от обиды: подумать только, так фабрика здорово работает, таких успехов добилась и в модернизации станков, и в производительности труда, и в экономии пряжи, по всем статьям свои обязательства выполнили, а тут нá тебе — несколько каких-то случаев, проступков, нарушений трудовой дисциплины и... нельзя получить звание, о котором мечтали, даже просить его совестно. И пошла Светлана Василенко делегатом на свой комсомольский съезд тоже с занозой в сердце.
Я знала о переживаниях ткачей. Но эти переживания, а также то, что присуждение ткацкой фабрике звания, за которое она боролась, о котором мечтали, откладывалось, признаться, радовали. Все это говорило о том, что весь комбинат «Трехгорной мануфактуры» и его ткачи очень серьезно, очень честно отнеслись к своему решению.

Но вот однажды раздался телефонный звонок с «Трехгорки». Певучий, радостный голос Ефимовны:

— Завоевали!

И я помчалась на «Трехгорку». На ткацкой — митинг. На фронтоне знакомого здания фабрики — кумачовый стяг: «Ткацкая фабрика — предприятие коммунистического труда». Весело и отрадно было видеть этот стяг. Простое полотнище кумача, простые слова. Но я-то знала, сколько труда, горения, подлинной борьбы за нового человека вложено в то, чтобы получить право вывесить этот кусок кумача на своей фабрике.

Мне очень хочется подробно рассказать об удивительном митинге ткачей, о характере этого митинга. А перед этим несколько строк уделить производственным показателям. Я тщательно знакомилась со всеми необходимыми документами, актами соревнования, со всеми цифрами. Ткачи повысили производительность оборудования. Они добились высокой производительности труда. Они сэкономили горы пряжи. Разработали несколько новых тканей. Они заметно модернизировали свою технику.

Они все стали учиться. В кружках, в школах рабочей молодежи, в техникумах, в институтах. И все до одного стали принимать участие в общественной работе. Они часто ходят коллективно в театры, в кино, в туристские походы. Шлюпочная команда ткачих получила звание чемпиона Москвы по гребле. У них, у ткачей, свой мощный отряд дружинников. У них такая художественная самодеятельность, какой можно позавидовать.

И самое главное — чувствовалось, что рабочая общественность влияет на управление фабрикой. Работа шла с каждым человеком. Коллектив уже интересовался не только тем, как человек выполняет свои нормы, но и как он живет, о чем думает, к чему стремится, хорош ли он в семье, как он воспитывает своих детей, как относится к товарищам...

Ткачи решили учиться коммунизму. Вот это я зримо почувствовала на их праздничном митинге. Да, на ткацкой был праздник. И уже два вечера в Доме культуры имени Ленина плясали так, что искры из-под каблучков сыпались. Но не было у ткачей такого настроения: вот, мол, мы добились звания предприятия коммунистического труда — теперь можно жить поспокойней. Именно теперь-то и наступила на ткацкой пора больших волнений. Это ощущалось даже на праздничном митинге. О чем говорили? О том, чтобы «идти вглубь».

Шлифовать всем коллективом каждого человека. Шлифовать каждому самого себя. Жить красиво, умно. Идти вперед, вперед...

— А то ведь бывает и так, товарищи ткачи: на производстве хорош, а дома плох. Два лица у одного человека. Нельзя нам так жить. И если что — держи ответ перед лицом коллектива...

— И каждый должен оглядываться на себя. Ты вот живешь в квартире, рядом с тобой люди. Они знают, что ты представитель фабрики коммунистического труда, а не кто-либо.

— Трудно тебе в чем-нибудь с собой совладать — скажи, поможем...

— Чтобы не было у нас никаких отдельных вывихов. Следить в оба глаза за слабыми, за теми, кто может оступиться.

— Ну споткнулся на одну ногу — не дадим ему споткнуться на другую...

— Совсем чтоб не спотыкаться!

— Ну мало ли что, не святые! Важно вовремя замечать, выправлять.

— Поднимать свою сплоченность! Еще просачивается кое-где и сплетня, и кляуза, и интрига. Освободиться от всей этой дряни!

— Будем все 1300 человек как одна дружная семья. Помогать друг другу. Не зазнаваться. Чтобы каждый на фабрику, как в свой родной дом, шел.

— Прежде всего, конечно, каков труд и какая твоя душа. Но и на внешний вид обратим внимание. Почему это, товарищи, так получается, что некоторые помощники мастера ходят на производство в замусоленных рубашках? Что у них, возможностей, что ли, нет? Есть полная возможность. От небрежности это. Заставим его уважать и себя и коллектив. А кто это может? Ткачи на бригаде...

— Ткачиха иная тоже придет в таком фартуке с заплатой на животе, что глядеть неприятно. А дома платьев полно...

Это все точные, записанные мною слова. Они были произнесены на митинге.

— Вот что я хочу сказать, ткачи,— поднялся поммастера Николай Михайлович Румянцев.— Мы долго добивались этого звания. И, я думаю, мы должны стремиться к тому, чтобы в конце концов отказаться от суда. К тому, чтобы су-

дить было некого, к тому, чтобы людей обсуждать на бригаде, в смене, на партийных, комсомольских, профсоюзных собраниях и до суда не доводить.

— Как говорится, назвался груздем — полезай в кузов,— заметил Владимир Иванович Ворошин.

Ткачи дружно засмеялись, зашумели. Но по их лицам, которые светились изнутри каким-то особенным светом, по веселым глазам чувствовалось, что не кузовом считают эти крепкие грузди с «Трехгорки», с Красной Пресни свое новое положение — рабочих предприятия коммунистического труда, а скорее свежим, прекрасным лесом, зеленой рощей, полной простора, света. Но шутку Ворошина они поняли: надо брать новые рубежи.

Может быть, пока это слишком щедрое название — «фабрика коммунистического труда». Но они будут учиться коммунизму, как завещал Ленин.

...Ткачихи ушли в цехи... И я пошла тоже, потому что невозможно быть на ткацкой, не побывав там, где рождается новая ткань. Как всегда, мне показалось на мгновение, что передо мной поле спелых, шуршащих на ветру хлебов, пронизанных солнцем. И кое-где гордые головки цветных маков — косынки ткачих.

Я смотрела на юную ткачиху, которая пришла на «Трехгорку» из десятилетки. Русые волосы ее были повязаны малиновой косынкой, светлая, с короткими рукавами блуза ловко перехвачена рабочим фартуком, из кармана которого торчал крючок. Девушка обходила станки вдоль основ. На щеках ее горел румянец, серые глаза смотрели чрезмерно серьезно, почти строго, а движения рук были слишком порывисты. Кадровые ткачихи двигаются меж вереницы своих станков быстро, но спокойно и плавно, без малейшей суетливости, и руки у них твердые, властные. Они и орлиный свой взор могут отвести от машины, и весело улыбнуться, и подмигнуть друг другу, и перекинуться острым словцом. Вот и сейчас я увидела знакомое лицо опытной ткачихи, которую давно знала. Она неторопливо обходила свои станки, причем казалось, что не она идет к станкам, а станки к ней.

Девушка, что пришла из десятого класса, была вся настороже. Она никого не видела, кроме своей машины и волн ткани, отливающей золотом, точно крылья жар-птицы. Она не заметила меня, а может быть, и заметила, но боялась отвести взгляд от станков.

— Закалки маловато,— сказал мне поммастера.— Но со-

образительные. Десятилетка сказывается — культурная молодежь.

Я ходила по этажам ткацкой, наблюдая именно за юными. Это же будущее Красной Пресни. Увидела старую ткачиху Ефросинью Шарапову, которую звали когда-то «Фросенька», а теперь «тетя Фрося»...

Тетя Фрося подошла к одной из новеньких ткачих, заткнула ваткой девичье ухо, розовое от волнения.

— Затыкай, затыкай, девушка, не ленись, не модничай. С непривычки шумно тебе,— сказала тетя Фрося. В том, как она это сказала, как это все проделала, было столько материнского тепла, что сразу стало понятно, как встретила Красная Пресня пополнение из десятиклассников.

Это было хорошо.

Виктор ТЕЛЬПУГОВ

Колобок

Рассказ

Московский завод бросил свои якоря возле крохотного волжского городка. Под дождем, перемежавшимся со снегом, разгружали с барж станки. Торопились: до того как стукнут морозы, надо успеть обосноваться на новом месте. Развертывать производство предстояло в помещении сгоревшего перед самой войной железнодорожного депо, жить — в землянках, которые, кстати, еще надо было выкопать.

А фронт уже ждал продукции завода. И не когда-нибудь — немедленно, «вчера», как сказал директор Шишмарев на митинге, собранном прямо тут, возле барж, на берегу почерневшей Волги.

Колобков проработал на заводе токарем больше тридцати лет. Наверно, поэтому старик и набил самым первым кровавые мозоли на руках во время такелажного штурма. Впрочем, «старик» говорилось в шутку. В расход его никто не списывал, хотя года, конечно, бежали.

Кадровому токарю Колобкову предложили койку в халупке у кого-то из местных жителей, но Степаныч наотрез отказался. «У нас вон баб сколько! А детей? Да и из мужиков не всяк сможет в землянке — только тот, кто двадцатые не забыл».

Вместе с другими Колобков после смены шуровал лопатой, подбадривал молодых, показывая, как надо рыть, чтобы было не глубоко — не мелко, как складывать печку, чтоб грела и не дымила.

Ну, а в цехе, там и подавно пример с Колобкова брали. Его самоточка начала шевелить шестернями чуть ли не в тот час, когда ее чугунная станина с рук уставших людей опустилась на земляной пол.

Нормальная работа завода, однако, налаживалась трудно. То того не хватало, то этого — эвакуировались под бомбами, многого не успели взять. Мягкая сталь «серебрянка», например, которой всегда было завались, стала вдруг на вес золота. И с другими материалами было плохо. Дров и тех не

хватало — кругом степь. И в цехах мороз, и в столовой. Одним словом, куда ни кинь — все клин, да еще какой!

Но клин, как известно, клином вышибают, это Колобков не из пословицы знал. Давно, еще с революции усвоил и не уставал повторять:

— Вы того, ребята, дружней. И главное — клином, клином! В нем крепость большая, ежели вдуматься. А она нам, матушка, вот как нужна!

Скоро заводские заметили, что возле Колобкова не так тяжко переносить любое лихо, что ни случится, какая морока у кого ни стрясется — со всем к Степанычу. Каждого выручит.

Но однажды сам Колобков встал в тупик. На складе не оказалось камней для доводки режущих инструментов. То ли забыли в Москве при погрузке, то ли в пути потеряли. К Колобкову, счастливому обладателю небольшого бруска, стали бегать со всего завода — кто с резцом, кто с фрезой, кто с шабром. Крепкий был брусочек, шведский, а все равно таял на глазах. Наступил час, Степан Федорович заворчал:

— Все! Кончилась «Швеция», измылилась. Была и вышла...

С того дня Колобкова как подменили. Злющий сделался, раздражительный. Брусок исчез с его тумбочки и больше не появлялся. Жадничает Степаныч, решили в цехе, свой-то резец небось втихомолку потачивает. Раньше такого не водилось за стариком.

И еще небывалое замечать стали. К начальству Колобков повадился. От технолога к инженеру ходит, от инженера — к технологу. Какие у него разговоры с ними — неизвестно, но все чаще видели его то с тем, то с другим. Особенно зачастил к Ремезову, технологу. Говорили, будто земляки они, из одной деревни, что ли, но раньше дружбы между ними что-то не было, а тут — водой не разольешь. Вместе в столовку, в очередь за похлебкой, вместе обратно. И все шушукаются, шушукаются...

Злые языки начали побалтывать разное. В доверие, мол, влезает Степаныч. Оно, конечно, время тяжелое, глядишь, кое-что и отломится — лишний талон на селедку или галоши. Болтунов сперва урезонивали, потом перестали. В конце концов на заводе вообще потерялся интерес к Колобкову, к непонятной его перемене. Только изредка, после какой-нибудь новой загадки, опять вспыхивали удивленные пересуды:

— Видали? Степаныч-то землянку свою утепляет. Из заброшенного карьера, что за Волгой, мешками тащит по льду песок да щебенку. Чудеса в решете...

— Видали. С Ремезовым вместе. Строители! А ведь все одно, строй не строй — из землянки хором не состроить.

В самый канун Нового, сорок второго года Колобков и Ремезов появились в заводоуправлении и без очереди стали пробиваться к директору.

— Дело срочное, браток, серьезное, пойди объясни,— басил Колобков недоуменно вставшему на пути секретарю.

Директор, услышав в полуоткрытую дверь возбужденные, громкие голоса, вышел навстречу нетерпеливым посетителям.

— А... Это вон кто, оказывается! Заходите.

Шишмарев пропустил Колобкова и Ремезова вперед, сам вошел следом за ними. Сказав еще несколько полагающихся в таких случаях слов, нахмурился:

— Плохо дело, товарищи. Совсем никуда. И сталь не подвозят, и цветные на исходе, и со «Швецией» дрянь. Центр не шлет ничего, обходитесь, говорит, пока своими средствами. А у нас, кроме прорех, ни черта!

Колобков покашлял, подождал пока директор все скажет, потом вставил словечко:

— Со «Швецией» было бы ничего, Пал Палыч. Вы же сами когда-то слесарили, знаете. Вот без «Швеции» никуда, это точно...

— Я и говорю, со «Швецией» дело дрянь,— не понял мрачной шутки директор.

— А мы как раз по этому делу,— сказал технолог.— Не на «Швеции», в конце концов, белый свет держится...

Ремезов подтолкнул локтем Колобкова, тот опустил руку в карман, не спеша, деловито извлек оттуда какой-то замусоленный сверток, положил на край директорского стола.

— Это еще что такое?..

— Первый блин, Пал Палыч. Шибко не ругайте — самый первый.

— Не понимаю!..— пробормотал Шишмарев, взвешивая на ладони шуршащий газетой сверток.

Придавленные густыми бровями глаза Колобкова сперва растянулись в две щелочки, потом вовсе скрылись.

— Принимайте работу, Пал Палыч: «Швеция»!

— «Швеция»?..

Сквозь газетные лохмотья в руках директора сверкнул

гранями ровный, еще не тронутый металлом, совершенно новый брусок.

— Камень?! Доводочный камень? Неужели... Откуда? И красный... Почему красный?

— Потому что советский,— расхохотался Колобков.— Наша, Пал Палыч, «Швеция» — расейская.

— Да ну вас к лешему, чего вы мне голову морочите! Говорите, откуда?

— Во-о-он оттуда, Павел Павлович, из карьера,— снова вступил в разговор Ремезов.— И еще из муфеля нашего, самодельного. А остальное — смекалка рабочая: Колобкова голова и труд Степана Федоровича.

Директор смотрел на красный брусок, удивленно гладил его кристаллическую, шершавую поверхность.

— А ну, дайте попробовать! — обратился он к Колобкову.

Резец у токаря был припасен заранее. Еще секунда, и жесткий, шаркающий звук наполнил все уголки директорского кабинета.

— А ведь берет! И как берет! Это же здорово, хлопцы! Честное слово, здорово! Неужто сами?

Колобков и Ремезов молча посмотрели друг на друга.

— Молодцы. Слов нет! Ну, рассказывайте, рассказывайте все по порядку, по науке. Садитесь. Вот бумага, вот карандаш. Давайте. С технологией, с выкладками.

— Начали мы, Пал Палыч, ежели по совести, чуть не с преступления,— признался Колобков.— Взяли остаток «Швеции» и... положили под пресс.

— Надо было узнать,— перехватив изумленный взгляд директора, пояснил Ремезов,— как и из чего делают шведы свои хитрые камни. И делают ли вообще? Может, это природа за них целиком старается, пока они столетиями отсиживаются в теплом, уютном нейтралитете.

— Прессом раздавили «Швецию»? — директор схватился за голову.— Прессом? И что же вышло?..

— В прах распалась с первого раза, Пал Палыч. Труханули мы тогда с ним,— Колобков кивнул на Ремезова.— Ой, труханули! Последний брусок загубили, а толку что? Песок один, пыль...

Колобков свел вместе повернутые вверх ладонями руки так, словно на них до сих пор лежали кристаллики раздробленного камня.

— Ну и что же? Как же вы? — все больше недоумевал директор.

— Думать стали. Нужны были кислоты, реактивы, муфельная печь, тигли и многое другое,— сказал Колобков.— На вкус и на цвет ничего не опробуешь. Вот тут-то и начались волжские наши страдания, Пал Палыч! После ночной смены люди в землянку, отсыпаться, отогреваться, а мы за Волгу, в карьер — сперва в лодке, потом, как зима стала, по льду. Породу искали нужную. Что ж было делать, Пал Палыч? Не к шведу же на поклон Красной Пресне идти?

Несколько часов подряд просидели Колобков и Ремезов у директора. Павел Павлович вызывал к себе инженеров, начальников цехов, мастеров. Вновь и вновь просил то Колобкова, то Ремезова доложить все по порядку, а сам то и дело перебивал то одного, то другого на полуслове:

— Видели? Слышали? Выкрутились! Ай да Пресня, ай да рабочий класс! Своими силенками вывернулись. Спасибо, братцы! Выручили. Проведем через бриз, премируем. Ничего не пожалеем. И в столицу сообщим! Как же назовем ваш камень? А?

— Пришелся бы к месту,— говорил Колобков.— Придется — и без названия проживет. Не придется — туда ему и дорога. Будем снова шевелить мозгами.

— Действительно мозговой трест, выходит! — потирал руки директор.— Головы!

— Стараемся, Пал Палыч. Сознаем. А насчет названия там и премий не беспокойтесь. Это дело...

Много воды с тех пор утекло по Волге мимо высоких, сплошь теперь из стекла и бетона корпусов завода, поднявшихся на ее берегу.

Колобков вошел в такие солидные года, что его уже стали стесняться называть стариком. По этой или по какой другой причине он давно не бывал на заводе. И время, откровенно говоря, не всегда можно было выкроить. То рыбалка, то к пионерам на костер, то куда-нибудь в лес — за муравьиным спиртом и травами против ревматизма и головной боли. Да и не осталось на заводе прежних работников. Пал Палыч сразу после войны, получив повышение, куда-то уехал. Ремезова и других специалистов с собой забрал. В цехе тоже кого куда расшвыряло, разбросало, днем с огнем никого не сыщешь. К тому же все перестроили до такой степени, что от стен старого железнодорожного депо не сохранилось ни кирпича.

Но недавно Колобков все-таки побывал на родном заводе.

— Тянет, слов нет, как тянет,— сказал он жене однажды утром.— Схожу, проведаю.

Пропуск Степану Федоровичу оставили навечно, когда провожали на заслуженный отдых. В завкоме так и сказали:

— Получай, Степаныч, документ. Бессрочный, на все времена. И в любой день — на завод. Помни, ты тут полноправный хозяин.

Сегодня у полноправного хозяина с утра дрожали руки. Сам не мог понять, почему так волнуется. Даже пуговицы на выходном пиджаке застегнул так, что жене пришлось перезастегивать.

Но, войдя в свой цех, вернее — в тот цех, который вырос на месте прежнего, Колобков постепенно обрел душевное равновесие. Шаги его из старческих стали твердыми, уверенными. Он почувствовал силу в руках и мог бы сейчас, если б потребовалось, заменить у станка любого из этих молодых, незнакомых. То ли привычный ритм завода так подействовал, то ли общая атмосфера токарного цеха была тому причиной, но настроение Колобкова улучшалось с каждой минутой. Он шагал все уверенней, все тверже, бросая ревнивые взгляды по сторонам. Хотел даже придраться к чему-нибудь или к кому-нибудь. Но работа кругом шла дружно, согласно. Эмульсия подавалась вовремя, резцы врезались в металл, как в масло, не дробили, не ломались, не грелись, стружка падала не на пол, а в аккуратно подставленные железные ящики. Ребята были сосредоточенны, собранны. Ни лишних разговоров, ни шуток, никаких посторонних дел. Только изредка кто-нибудь оторвется от станка, распрямит спину, вытрет руки концом ветоши, мельком глянет на вмонтированные в дальней стене электрические часы и снова — лицом к теплому ветру от быстро вращающегося патрона.

Степаныч раза два прошел туда и обратно по узкому пролету между станков. Ни одной знакомой души не обнаружил. Ни среди токарей, ни среди мастеров, ни среди начальства, которое с любопытством поглядывало на него из-за стеклянных перегородок конторки.

Только один паренек напомнил Степанычу кого-то из тех, кого он знавал в прежние годы. Вихрастая, белобрысая голова низко, пожалуй даже слишком низко, склонилась над станком. Вот-вот золотая прядка втянется в кулачки патрона. Колобков, проворчав что-то, шагнул к увлекшемуся

работой парню. Тот, словно угадав за спиной чей-то строгий взгляд, резко выпрямился, обернулся к соседу, громко, на весь цех крикнул:

— Ва-ась! А Вась! Ну-ка, дай мне этот самый, как его? Колобок. Скоренько.

— Что, что, что?! — Степан Федорович вздрогнул, подошел к пареньку вплотную: — Как ты сказал? Повтори. Колобок?..

— Колобок. А что, папаша? Смешное название? Мы сами удивляемся, почему, думаем, колобок? И не круглый вроде, а колобок. Чудно!..

Колобков помолчал, ухмыльнулся в совсем уже белые, даже синие от времени усы. Поправил на себе пиджак и неожиданно весело подмигнул парню:

— Зато румяный! Смотри! Не брусок, а ясное солнышко...

Они засмеялись оба, старый и молодой.

— Колобок, значит? И правда, смешно! А хорошо ли берет? Чисто ли доводит? — в голосе Степаныча дрогнула какая-то незнакомая до этой минуты ему самому нотка.

— Что вы! Алмаз! Без него как без рук.— Парень взял протянутый ему соседом ярко-розовый, почти красный брусок, весело подбросил его на ладони, потом склонился к станку и старательно стал править жало резца.

По звуку Степаныч понял, что колобок действительно берет хорошо. Сталь хотя и сопротивляется как ей и положено, но вынуждена поддаваться, уступать под напором бруска, под давлением его крепких граней.

Иван АРСЕНТЬЕВ, Герой Советского Союза

Два Николая

Они врезались в компактную группу фашистских бомбовозов, летевших им навстречу. 16 «илов» атаковали 38 «юнкерсов» над передним краем, на глазах тысяч товарищей и тысяч врагов.

Конечно, не дело штурмовиков, да еще груженных бомбами, затевать воздушные схватки, им положено бить наземные цели, но война есть война: предвосхитишь замысел противника, догадаешься, что сделает он через секунду-другую,— будешь жить и победишь, упустил момент — пропал.

В бою жизнь одного — смерть другого.

Об этом знали прекрасно два Николая с Красной Пресни: Столяров и Яковлев, командиры эскадрилий, ведущие за собой две семерки «илов». У штурмовиков и у фашистских бомбардировщиков оказалась одинаковая высота полета, но «юнкерсы» были в более выгодном положении, над ними кружились, прикрывая, 12 «Мессершмиттов-109». Полста вкруговую против шестнадцати — очень большая разница, это пахнет смертью. Но ведь не зря существует находчивость и дерзость двадцатидвухлетних! Летчики совершают вопиющее нарушение всех прописных истин, делают то, чего не ждет противник: устраивают «малу кучу», врезаются в строй «юнкерсов». В лоб!

Страшны пушки штурмовиков, они танки срезают, а о самолетах и говорить нечего: рассыпаются, горят, падают. Двадцать пять секунд, и восемь грузных «бомберов» с дымом и воем врезаются в землю. Двадцать пять секунд... А может быть, двадцать пять лет?? Длинны, ох, как длинны секунды боя!

Бомбы падают в стороне от окопов...

Командующий наземной армией выскакивает из своего НП.

— Кто ж это там воюет? Чья братва крылатая? — спрашивает.

А командир дивизии штурмовиков генерал Рязанов отвечает скромно:

— Да мои это... Ошибка какая-то у них...

— Ошибка? За такую ошибку представьте всех к награде!

Высокие начальники еще разговаривают, а от самолетов и след простыл, улетели за Днепр делать свою прямую работу. У них строгое задание, а то, что случилось минуту назад над передовой, это так... Непредвиденный «приработок».

...Чернила в летной книжке Столярова выцвели, страницы истрепались, и с трудом разбираешь сейчас наименования населенных пунктов, лаконичные даты, цифры: это боевые вылеты, это число атак, это география войны.

Сорок второй год... сорок третий... сорок пятый...

Один боевой вылет — целая человеческая жизнь со всеми горестями и радостями, находками и потерями, взлетами и падениями. А у Столярова таких вылетов 184! А у Яковлева таких вылетов 214, и в каждом три-четыре захода, сотни встреч со смертью глаза в глаза: кто — кого?

Смерть проносилась мимо обоих Николаев, иногда, можно сказать, касалась костлявой рукой, не добивая, лишь оставляя на теле шрамы. Они, эти шрамы, упорно напоминают нынче в непогоду о том, что вынесли и пережили двадцатилетние мужчины.

Бывает, встретятся два Николая за стаканом вина, вытащат вдруг картонную коробку и начнут перебирать плохие, обтрепанные фронтовые фотографии, с которых смотрят на них молодые веселые ребята. А то вдруг запоют никому не известную песню неизвестного тогда, а сегодня недосягаемо маститого поэта. Или полистают зажелтевшие вырезки из армейских газет. Фронтовые газеты... Короткие статейки, репортажи, советы, как сподручней убить врага, порой наивные, написанные меж двумя вылетами, меж двумя атаками. Строка — бой, десять строк — десять боев, и фамилии, фамилии тех, кого давно уж нет, но кто навсегда остается в памяти и в сердцах фронтовых товарищей. И Столяров и Яковлев видят их такими, как на карточках, и еще помнят их последние страшные секунды. Говорят тихо, печально: «сбит... не вернулся... сгорел... упал в море...» И опять встает перед их глазами рваное в куски небо, багровый мрак над искалеченной землей.

Тяжелые бои за Харьков, Белгород. Курская дуга. Станция Мерефа. Изрытая боями, рассеченная окопами земля,

маленькие, точно игрушечные заводные жуки, танки, совсем крошечные сверху и грозные на своих позициях орудия... Надо разметать их, сжечь, уничтожить, иначе они сомнут наши передовые части и сами врежутся в их порядки.

Снаряд попал точно по двигателю самолета Столярова. Брызги металла и огня, злобная дробь осколков. Кабина стала купелью, наполненной горячим маслом. Самолет в пике, несется на танки — они там, внизу, а двигатель глохнет. Самолет конвульсивно дергается, и вот уж «палка» застыла.

До чего ж трудно, чертовски трудно лететь на самолете, когда он не летит! А впереди в каких-то двух-трех километрах — передний край, там жизнь, та самая жизнь, во имя которой и поднялся летчик в суровое небо войны. И Столяров летит, летит вопреки всем летно-тактическим данным самолета, который вроде бы лететь уже не должен, но летит. Искусство летчика, то, что дано ему природой и настойчивой тренировкой, заставляет самолет делать невозможное.

Удар, скрежет металла, пыль и... тишина. Та самая фронтовая тишина, когда земля дрожит от грохота, но стреляют не по тебе.

А вот и по тебе начали.

Столяров выметнулся из кабины, отбежал в заросли кукурузы. Следом — воздушный стрелок. Попàдали, смотрят и не узнают друг друга: масло, пыль, грязь, только белки глаз блестят лихорадочно. В какой стороне свои, в какой враг — с ходу не разобрать. Сломали кукурузный стебель, надели сверху шлемофон, подняли. Теперь ясно: бьют со всех сторон. Сели на нейтральной полосе.

Лежали, прислушиваясь к свисту пуль и осколков, высасывали из зеленых початков молоко — от жажды во рту песок. Точно сориентировались, где свои: с той стороны прилетели на работу друзья-штурмовики. Поползли.

Помогли летчикам появившиеся вдруг разведчики-пехотинцы.

— Видите кабель? — сказали они.— Держитесь за него и валяйте! Да поглядывайте, между прочим: здесь минное поле немцев.

— Как же это мы не взорвались при посадке? — удивился Столяров.

— Черт вас знает! Сами удивляемся...— ответили разведчики.

А через двое суток экипаж опять был в воздухе, опять

штурмовал вражеские позиции, живую силу и технику. «Шли бои местного значения», как писали в сводках.

За четыре года войны Столяров узнал все, что нужно знать и уметь человеку — на всю жизнь.

Две Звезды Героя... Но тщетны мои старания заставить Столярова подробно рассказать о своих ратных делах. Он молчун. А ведь любой из его полетов мог бы стать темой для психологического исследования. Это они оставили на лице бывалого летчика резкие отметины — морщины.

Да, Николай Столяров молчалив, кажется угрюмым, и только когда видишь его глаза — голубые, как бы вопрошающие: «Ну о чем говорить?» — лишний раз убеждаешься, как обманчива порой бывает внешность.

После войны Столяров закончил Военно-воздушную академию, командовал авиачастью, летал на новых самолетах, пока не ушел на пенсию. Но что такое пенсия для человека, по натуре деятельного, беспокойного, энергичного? Трудно таким людям на переломе; то одного, то другого скручивает «болезнь пенсионеров» — странная болезнь. Вроде и здоров мужчина, и не хворал ничем, а лишился привычного дела, ушел из родного коллектива — и словно смысл жизни потерял. И глядишь, на Ваганьковское везут...

Нет, Столяров не сядет во дворе за стол играть в домино. То, прежнее, что не заглушат ни годы, ни расстояния, будет всегда для него, как перекрещенные над головой руки: безмолвный сигнал запрета безделию.

Столяров пошел на автобазу. Работал инспектором по технике безопасности, был избран председателем месткома коллектива, в котором трудятся две тысячи человек. Спроси кого угодно, и каждый скажет: Столяров человек честный, принципиальный, активный. На фронте он гордился, когда Первый штурмовой авиакорпус, в котором он воевал, получил высший знак воинской доблести и славы — Гвардейское знамя. И теперь Столяров гордится: автобаза № 5 Краснопресненского района завоевала и держит переходящее Красное знамя, знамя победы в социалистическом соревновании.

Как я уже сказал, Николай Яковлев — фронтовой друг и однополчанин Николая Столярова.

Яковлев вырос на Пресне. Были школа, аэроклуб Метростроя, затем авиаучилище, инструкторская работа, фронт и служба в частях ВВС. И опять Красная Пресня.

В Первый штурмовой авиакорпус входила одна эскадрилья, где все поголовно — летчики, техники, оружейники

и воздушные стрелки — были комсомольцами. Этой эскадрильей командовал комсомолец Николай Яковлев.

Мы шли с ним по Хорошевскому шоссе мимо играющей детворы, никогда не слышавшей воя сирены воздушной тревоги, не видавшей над своей головой черных силуэтов вражеских бомбовозов.

Временами Николай Яковлев трогает машинально рукой поясницу и замедляет шаги. На мой вопросительный взгляд отвечает:

— Память с Северного Донца... С годами сказывается. Осколки вытащили, а все равно...

Район, о котором говорит Яковлев, хорошо мне знаком. Я тоже воевал там.

Мы, летчики, слышали на фронте о том, что якобы в каком-то штурмовом корпусе есть полк, летающий на «илах» ночью. Слухи эти не внушали доверия. Правда, некоторым из нас, в том числе и мне, приходилось несколько раз попадать в обстановку, вынуждавшую летать ночью, но чувствовали мы себя прескверно. От выхлопов пламени из патрубков двигателя ни зги не видно. Действовать нам приходилось в горах Кавказа, и такие полеты напоминали хождение слепого над пропастью...

И вот, спустя много лет, я встретился с теми, для которых ночная боевая работа на штурмовиках была обычным делом. Эти летчики — Столяров и Яковлев. Они летали в донецких степях и воевали по ночам весьма успешно. Яковлев, так тот просто издевался над фашистами.

Кто из наших сверстников не помнит характерного тона двигателей «юнкерсов»! Звук у них был неровный, с этаким подвывом. Можно было, не глядя, безошибочно угадать, чей самолет летит в ночи: наш или вражеский. Этой особенностью и воспользовался Николай. Двигая периодически сектором газа, он заставлял подвывать мотор «ила» и настолько точно подражал немцам, что мог спокойно летать по вражеским тылам, не опасаясь ни прожекторов, ни зениток. Только после того, как на головы их обрушивались бомбы и эрэсы, они спохватывались, да поздно.

Такие полеты долго сходили Николаю с рук, но в конце концов немцы подловили его все же, и пришлось летчику садиться на вынужденную с разбитым мотором.

Ночь, тьма, весенняя распутица. Яковлев с воздушным стрелком так спешили уйти подальше от места посадки, что в горячке забыли прихватить коробку с аварийным бортпай-

ком. А там и галеты, и тушенка, и сгущенное молоко. Вспомнили, когда отмахали километров двадцать. Наступил рассвет. Неподалеку по дороге двигались немецкие машины, оттуда заметили двоих, окликнули. Летчики побежали, по ним дали очередь, но они успели нырнуть в овраг и, увязая в грязи, прошлепали по дну, пока не уткнулись в сплошную снеговую стену. Ловушка. Вынули пистолеты, приготовились отстреливаться, хотя понимали тщетность затеи: их срежет издали любой пулемет. Что делать? Николай плюхнулся животом в ледяной ручей и пополз в пробитый потоком лаз под снеговой завал, стрелок — за ним. Немцы долго ходили по краю оврага, стреляли бесцельно. Ушли.

Мокрые до нитки сидели Яковлев со стрелком, стуча зубами, в своем укрытии до темноты. Выбрались, сделали еще один бросок к Донцу. Вот и вода блеснула впереди. Скатились к обрывистому, подмытому половодьем берегу и замерли не дыша: над самой головой заиграл аккордеон и чистый приятный тенор запел неаполитанскую песню. Итальянцы! Видно, сторожевое охранение. Ах, черт, сами в руки к ним пришли...

Сидели, затаившись. Страшно хотелось пить, но нельзя наклонять голову к воде — заметят. У Яковлева был портсигар, табак промок, и его выбросили. Осторожно стали черпать портсигаром из реки, с жадностью пили. Поползли обратно и задели в темноте какой-то провод. Певец из Неаполя сразу же замолк, загомонили, приближаясь, солдаты. Летчики вскочили и бросились бежать. Вдогонку им застрочили автоматы, вспыхнули ракеты. Метнулись в кустарник, зарыскали, петляя, не зная, куда бежать и вдруг оба свалились в какую-то яму. Просидели, не двигаясь, до рассвета. Откуда-то потянуло жареным. Выглянули — мать честная! Близехонько — пищеблок. К походной кухне топал строем добрый взвод итальянцев. Почему они не заглянули в яму, проходя мимо? Видно, очень есть хотели...

Летчики просидели так весь день, а ночью, стараясь не нарваться на секреты и охранения, пошли берегом на юг искать переправу через Донец к своим. Яковлев, открывавший и закрывавший с детства купальный сезон на Москве-реке, мог бы давно переплыть неширокий Донец в любом месте, но стрелок плавать не умел. Нужна была лодка или плотик.

Есть хотелось три дня, а потом только жажда мучила. Страшно подумать: ведрà по два воды в сутки выпивали.

Кругом — вражеские войска, а силы на исходе. Наступили девятые сутки блужданий, и тут вечером они опять напоролись на секрет.

— Хальт!

Очередь. Воздушный стрелок падает. Убит. Яковлев забрал его оружие, документы и скрылся. В ту же ночь, связав комбинезон и сапоги в узел и сунув внутрь летный планшет и оружие, он поплыл на восточный берег. Сверток с одеждой тянул за собой на веревке. Рассчитывал так: если заметят, будут стрелять по более крупной цели, по свертку. Его заметили, когда он миновал середину. Замелькали ракеты, полоснули пулеметы. Всплески от пуль ложились то слева, то справа. Яковлев продолжал плыть, видя, как вздрагивает сверток от снайперских попаданий. В небе совсем стало светло от беспрерывных вспышек ракет, ледяная вода сводила мышцы, силы иссякли. Оставалось до суши каких-то пятнадцать — двадцать метров, а пловец уже захлебывался, тонул. И все-таки уже в полубеспамятстве сделал последний рывок и ударился головой о берег. Здесь его никто не встречал. Стрельба немцев помалу утихла.

Яковлев полежал в осоке, отдышался, встал и пошел от воды, волоча за собой сверток, и опять вышел... к воде. На островок попал, оказывается. Дрожа от холода, лежал, чтоб набраться сил, но силы не набирались. Он сгреб в охапку сушняк, связал и вошел с ним в воду, держась, как за спасательный круг. Поплыл.

Наконец под ногами земля. Настоящая, своя.

— Руки вверх! Попался, гад! — уставились на него два черных дула.

— Не стрелять! Я советский летчик!

— Видали мы таких летчиков. А ну, марш!

— Ведите меня к вашему командиру.

— Мы тебя отведем, хе-хе! Не оглядываться! — толкнули его в спину.

— Тише, дурак! У меня ребра не железные...

Пошли тропкой среди зарослей ивняка, выбрались на полянку, полную народа. У тлеющего костра сидели женщины в военной форме, кто-то озорным голосом напевал частушки.

— Дай хоть комбинезон надеть, неприлично так...— попросил Яковлев, поддергивая исподники.

— Топай, и так хорош...

...Трое суток спустя накормленного, вымытого и отдохнувшего летчика отвезли в его полк. И война продолжалась.

До Берлина было еще много разных водных рубежей, но вплавь Яковлев их не форсировал...

После войны он еще восемь лет прослужил в авиации, а потом — в запас. Через четырнадцать лет вернулся на родную Пресню, да так и живет здесь безвыездно, работает главным механиком строительной организации.

...Когда у Ваганьковского моста я прощался с Николаем Яковлевым и Николаем Столяровым, над Москвой сеялся мелкий, нудный дождь.

— Во-он то здание, видите? Мы его строили. И вон то — мы...— показывал Яковлев, и, хотя за сеткой дождя ничего не было видно, я понимал: этот человек гордится сделанным, как гордился бы всякий бывалый воин, который четыре года разрушал, зато восемнадцать лет — строит.

А Столяров, как обычно, молчал. Я ведь про все его полеты не от него узнал — от друга его, Яковлева. Вот и сейчас Столяров молчал, хотя дальше по Хорошевскому шоссе находится автобаза № 5, где он диспетчером. Я в последний раз попытался его разговорить. Но на все мои вопросы он отвечал односложно:

— Стараемся, работаем...

Ну что поделаешь с эдаким молчуном?!

Алексей ПАНТИЕЛЕВ

Свадьба со стрельбой

Рассказ

Свадьбу лейтенанта Круглова и Ксении сыграли в полку. К тому времени наша дивизия — 382-я Новгородская — воевала уже в Прибалтике и была недалеко от Курляндского полуострова. Стало быть, дело шло к весне, той весне, какая случается единожды в жизни целого поколения и даже нескольких поколений, и самая пора была человеку думать о брачных делах.

Круглов Федор — разведчик, войну начинал рядовым. Наша дивизия рождалась за Уралом, за годы боев она порядком обновилась, но всю дорогу наши старослужащие вспоминали, что мы, однако, сибиряки. Федора считали земляком, хотя пришел он к нам на Волховском фронте. Пил он воду из Иртыша! Так мы считали. Недаром в самом тяжелом году так называемых боев местного значения, изнурительных и несчастливых, когда офицерам не доставалось не то что орденов, даже медалей, Круглов, тогда еще старшина, получил Красную Звездочку. Говорят, двое их таких было: старшина Круглов — на Волховском и старшина Полутин — на Ленинградском, по соседству; оба командиры взводов полковой разведки. Придумали они — а может, кто их надоумил — идти в дневной поиск. Казалось бы, самоубийственная затея — в гости к противнику не ночью, а днем... А между тем оба вернулись без потерь и добыли таких «языков», каких по ночам не встретишь на переднем крае, поскольку ночуют они не в траншеях.

Удача? Конечно. Но и талант. В военном деле начать с того, чего противник не ожидает,— значит, уже выиграть. Вдобавок, действовали кругловцы как один. Поиск длился двадцать семь минут ровно. Бросок туда — девяносто метров... короткая рукопашная... бросок назад — сто двадцать метров, как положено, другим путем, опять же неочевидным и невыгодным... и — наша взяла. Без единого выстрела. Про-

тивник сообразил, что делается, и открыл огонь, ураганный, отсечный, только на двадцать пятой минуте.

Заодно с орденом дали тогда Федору и младшего лейтенанта. Тогда же наша дивизионка «Боевая Красноармейская» подняла шум, что Круглов будто бы дальневосточник, приморец. Кто это выдумал — не знаю. Боюсь, не сам ли Федор — из озорства. Стрелок он был бесподобный. И самбист квалифицированный, разрядник. Ну и написали, что это у него наследственное: отец — охотник, бьет соболя дробинкой в глаз, а уссурийского тигра берет живьем, с помощью дреколья, вяжет голыми руками. Таких баек у Круглова обыкновенно полон зоб; ими он обольщал медичек.

Надо сказать, что ликом Федор был темен, а волосом зело кудряв. Буйная его шевелюра смахивала на каракулевую шапку. К тому же — зубы волчьи. В глазах — веселый злой азарт, а по диагнозу медсостава — нахальство. Только усы, русые, шелковые, почти невидимые на губе, смягчали его в общем-то басурманский вид.

Мы гадали, кем он мог быть до войны. По разговору, ни дать ни взять, учитель физики-химии, истории-географии, а по виду и по повадке — циркач либо уркаган с золотых приисков. Сам Федор говорил, что на гражданке ничего не успел: учиться не доучился, жениться не женился, работал на копейку, на рубль проедал. Впрочем, женщин Федор заверял, что он конокрад. Истинно кругловское словечко! На медицину оно действовало, как ворожба или шаманство; верить ему не верили, а слушали охотно. Женщины — они любят разговоры и не любят, когда все слишком просто. Это тоже слова Круглова.

Теперь что же вам доложить про Ксению? Она — совсем другая песня. Скромница, тихая птичка, голубка чистая. Известно вам, что такое голубь чистый? Это значит — белый, чернокрылый; тем он и бросается в глаза между сизарей. Такая была и Ксения. Красивая? Как вам сказать... Могла быть и красивой! Могла быть и дурнушкой. Есть, говорят, такие артисты: под настроение — нет им равных, а если не в ударе — пустое место. Так и Ксения. Глаза ее, серые, крупного калибра, останавливали. Не то в них испуг, не то гнев, не то восторг, не то мольба... Какая-то детская прямота. Держалась Ксения дичком, была молчалива, замкнута — либо донельзя робка, либо без меры горда. А поднимет глаза — не оторвешься и не насмотришься в них. Поговаривали,

что все это неспроста, что в душе у нее, однако, неладно по той причине, что два года, сорок второй и сорок третий, она была в оккупации. Это как ранение в бою. Наверное, поэтому мы и ее тоже считали землячкой.

Так скажу: любили мы и Федора и Ксению. Но, право, нам и в голову не приходило, что они пара! Жених, видите ли, и невеста...

Ксения пришла в полк год назад, вскоре после освобождения Новгорода. В дверях штабной землянки она столкнулась с Кругловым, и он, известное дело, тотчас схватил ее за плечи.

— Постойте, сестричка! А мы не знакомы с вами? Кого-то мне напоминает ваше лицо... Где мы встречались?

Ксения подняла глаза, и руки его опустились, наверно, впервые в жизни.

— Прежде всего, я вам не сестричка, а старшина медицинской службы. Нигде мы с вами не встречались и встречаться не будем.

Круглов усмехнулся одобрительно:

— Ясно! Выйдет из тебя, медслужба, хирург, ей-богу... Нет, серьезно, старшина, я вас, должно быть, знаю... видел... У меня зрительная память безотказная.

— У вас зрительная галлюцинация,— сказала она тоном врача, ставящего диагноз.— Она вызвана вашим чрезмерным полнокровием.

— Слушай! — вскрикнул он, заикаясь от упрямства.— Слушай... как говорят на Кавказе... живи сто лет, из них три со мной... Хотя бы не уходи так вот, не обнадежив.

— А не то зарежу! — добавила ему в тон Ксения.

Он засмеялся, она ушла.

Но через неделю она сама подошла к Федору словно бы с повинной.

— А ведь мы действительно где-то встречались. Я пригляделась к вам... и мне тоже так кажется...

— Я думал об этом всю неделю,— буркнул Федор.

— Вы на самом деле сибиряк?

— Даже хуже. Родом с Командорских островов. Это по ту сторону Камчатки... Произведен на свет во время плавания на промысел. Так что в жилах моих наполовину кровь, наполовину Тихий океан. И сам я, очень возможно, в какой-то степени — морской лев, в простонародье именуемый — тюлень. Похоже?

Она вздохнула:

— А в моих жилах разве что капелька Волги. По ту сторону Волги бывать не приходилось.

— А как же вы попали по ту сторону фронта?

— Поехала в ночь под двадцать второе июня к тетушке больной — проведать ее... Приехала к немцам. Уйти не успела. Перехватили на дороге.

— Где это было?

— В Новгороде.

Так вот они и гадали, откуда знают друг друга, пытая свою память. И до того это оказалось им интересно, что, не сговариваясь, они согласились — все же допытаться.

Ни в чем другом меж ними согласия не было — ни поначалу, ни после. Разные они были, как кобчик степной и мышь-полевка. Год кряду, пока мы шли от Волхова до Балтики, они обижали друг дружку, высмеивали в глаза и за глаза. Мы диву давались, как они не разбранятся навек, что называется, насмерть. Терпеть они не могли один другого, это точно. И вот уже что трудненько было вообразить себе — как они обнимаются.

Оказывается, однако, при всем при этом, что еще они не могли жить друг без друга.

Федор привык, особливо с тех пор, как стал кавалером и героем, целоваться с той, которую избрал, с первой встречи. С Ксенией это не удалось. Тогда он решил больше не замечать ее. Ход не новый и не слишком мужской. Но и это ему не удалось. Тогда ему вдруг пришло в голову — жениться на ней, хотя он еще не насытился своей драгоценной свободой и быстрыми краткими успехами. Понадобился, стало быть, человеку иной успех — на всю жизнь.

Федор сразу понял, что и этого придется добиваться. Ксения чуралась и даже как будто боялась его, он это чувствовал и люто презирал себя. Он был старше ее, за годы войны возмужал и научился внушать женщине ощущение монархической власти над собой, считал, что выигрывает на этом, и так был собой доволен, что обучал этой премудрости и сверстников и стариков. А Ксения была еще сама не своя. Где-то на самом дне ее души лежал угарный газ страха и унижения двух лет неметчины. Минул год в армии, год наступления, год самой большой радости, прежде чем из души Ксении выветрилась наконец отрава.

Со временем открылась и другая помеха, обыкновенная. Кто-то у Ксении был, кажется, на Волге, суженый-сватанный-нареченный, друг детства. Федор не больно ин-

тересовался, кто именно. По-видимому, Ксения дала ему слово, а может, их связало и нечто большее. Это ничего не меняло. Встретив ее, Круглов понял, что настоящая женщина — завоевание. И он решил, раз это так, отобрать Ксению у того счастливца из ее прошлого.

И вот — отобрал: мы праздновали их свадьбу.

До последней минуты мы не верили, что она будет, и ждали, что дело расстроится. По правде сказать, помимо всего прочего, непонятно было, что это значит? Что это должно означать? Свадьба в полку... Кто ее хотел — Федор? Ксения? Непохоже — ни на него, ни на нее. Что-то показное и что-то фальшивое мерещилось в этой затее. В действующей армии мы не справляли свадеб. Так думалось: уж коли дано тебе обнять женщину, обнимай ее в святой тишине, пока ты жив и пока она жива, да помни, что рядом ходит Косая и ее неурочный развод. Чего ради шуметь да трезвонить?

Понятно, что была тут и своя ревность: не хотелось срама ни Круглову, ни Ксении, оберегали мы их от конфуза... Вышло, однако, как они хотели. Свадьба была немирная, свадьба со стрельбой.

Накануне придумали мы им свадебный подарок. Достали машину и отправили их на север, к Балтийскому берегу. Послали, что называется, на счастье, посмотреть на море! На то самое тесное милое наше море, из которого, как говорили ребята, 10 октября прошлого года была взята фляга воды и отвезена на броневике прямым ходом в Москву, к Верховному главнокомандующему.

К самому берегу, к кромке прибоя, подойти было нельзя. Остановились вдали, на крутых, обрывистых песчаных дюнах, поросших красными соснами.

Море стояло вплотную перед дюнами грандиозной стеной до половины неба. Оно не простиралось, оно высилось, подпирая плечами края земли; горизонт был прямо над головой, намного выше плоского берега. Море стояло и смотрело на дюны в упор огромным оком.

День выдался неяркий, пасмурное небо обвисло, но море было густо-синее, а горизонт черный. Вдоль берега, докуда доставал глаз, тянулась толстая белая кайма прибоя. Море дышало, нешумно, сладостно-свежо и мощно.

И казалось, нет войны и огня боев, нет ни молодости, ни старости, ни веселья, ни тревог. Есть море. Вечность.

Лейтенант Круглов застыл у песчаного обрыва с блаженной улыбкой под мальчишескими усами, из чего следовало,

что в его жилах не было и в помине Тихого океана и море он видел впервые в жизни. Ксения смеялась тому, как он ахает и стонет.

— Вот бы сюда моего батю,— сказал Круглов.— Глянуть бы ему в это о к н о...

— Он у тебя, кажется, лесовик коренной?

— Нет, мой батя — рабочий класс.

— Слушай,— заметила Ксения,— как говорят на Кавказе, живи сто лет, скажи один раз правду!

— Я уж сказал в своей жизни один раз правду.

— Кому? Мне?

— Нет, тебе — еще нет. Тебе скажу, когда ты будешь вскрывать меня... по поводу аппендицита.

— Я хирургом не буду,— сказала Ксения.— Я в медицине случайно.

— Случайно? Зачем? Случайно мужик в ведре утонул...

— Затем, чтобы попасть в армию.

— Ага! Как же ты смогла стать старшиной медслужбы?

— Я училась в медицинском техникуме... потому что провалилась в Текстильный институт... Мой отец — тоже рабочий класс! Учиться ужасно хочется...

Федор поскреб пятерней свой кудрявый чуб:

— Не хочу учиться, хочу жениться. Говорю честно.

Ксения пожала плечами:

— Это твое личное дело. Я свое скажу — тоже честно... когда буду вскрывать тебя по поводу твоей беспардонности.

— Вас понял... перехожу на прием,— сказал Федор с некоторой оторопью.

Бросить монетку в море не удалось; Федор огорчился и обозлился. Впрочем, как знать, на что он злился.

Вернулись в полк, собрались в землянке командира полка — в тесноте, да не в обиде. Но и здесь, на скамье новобрачных, Круглов и Ксения язвили друг друга, будто соперничали в злословии. Зря говорили, что они уже не могут друг без друга ни радоваться, ни скучать и что будто бы общение изменило их обоих: Федор стал менее бесшабашен, Ксения более мягка. Перцу меж ними было хоть отбавляй, а близости никакой, сплошное противоречие, как нам казалось, теперь уже дурашливое. В с к р ы в а л и они друг друга беспощадно, без хлороформа...

Свадебный стол был скромен, но вина добыли много. Выпили крепко. Не отстал от артели и Круглов. Сдерживать

себя он не умел ни в чем, и мы побаивались, что в конце концов начудит парень, несмотря на присутствие командира полка.

Крикнули мы «горько» и прикусили языки. Облапил наш Федя невесту, как медведь, боровой архимандрит, поднятый из берлоги на рогатину прежде времени, до благовещения. И стал целовать не так, как положено жениху, а как любовник с глазу на глаз. Она пыталась его унять, не смогла и повесила руки.

Господи, помилуй, думали мы, неужто он впервые ее целует? В первый раз, а как в последний.

Когда же он ее отпустил, на глазах ее были слезы... А что это за напасть?

Спросили мы:

— Ты что, Ксюша?

Ответила непонятно:

— Вспомнилось...

Федор будто ничего не заметил. Выхватил из кобуры пистолет ТТ и выстрелил в потолок дважды. На стол посыпался песок.

Командир полка хмуро глянул на Круглова. Тот сел, но закричал:

— Это салют! Товарищ подполковник... В честь! Этой вот гр-ражданки...

Мы глянули на потолок и простили ему сорок грехов. В бревне наката была одна дырка, словно сложенная из двух полукружий-лепестков. Пули легли одна в одну. Железная рука!

Был у нас в штабе дивизии старший лейтенант, гитарист. Имелась при нем и гитара, именная, призовая. Он недурно играл и пел под гитару хриплым модным эстрадным голосом.

(Кстати, он, единственный, утверждал, что Круглов начинал войну якобы в московском ополчении — в 8-й Краснопресненской дивизии, пошел добровольцем, был тяжело ранен...)

Смотрим, подсел он справа от Ксении, настроил свою семиструнную и начал цыганскую, может, и свадебную, как обычно, знакомую и незнакомую, веселую и печальную. Песня — я скажу — как мед и как чеснок.

Не пришлось нам, однако, ее послушать. Не успел певец войти во вкус, как вступились двое — Володя Ворушило, редактор дивизионной газеты, и майор Дедов из политотдела.

Никогда они не давали хода нашему гитаристу, всякий раз вставали поперек дороги...

Володе Ворушило дал бог редкостной силы голос — настоящий большой драматический тенор; у майора Дедова был тоже тенор, но нежный, лирический. Учиться бы Володе серьезно, в консерватории — мог бы петь в опере «Пиковая дама» и в опере «Кармен». Но никаких арий и романсов он не знал и знать не хотел, а с Дедовым впару распевал исключительно украинские песни.

И вот встали они против гитариста и, глядя сквозь него, неторопливо затянули:

Дывлюсь я на нэбо
Тай думку гадаю:
Чому я нэ сокил,
Чому нэ литаю?

И раздавили гитару. Смолкла гитара. А из нас всех словно вышибло хмель. И полился в души хмель песенный.

Голос Володи звучал, как труба, гордо, страстно. Он и на воле потрясал, а в тесноте землянки вмиг обнял и соединил всех воедино. Голос Дедова — флейта, милая, ласковая. Но и флейту было слышно, голоса спорили любовно, чутко внимая друг другу. И как у певцов, так и у нас сердца захлебывались.

Володе и Дедову редко когда подпевали. Они могли петь часами, и часами их слушали.

Но нынче вдруг услышали мы третий голос, новый... Он был силен, как у Володи Ворушило, и поначалу показался нам мужским, так звучал густо и уверенно. Он сразу слился и заспорил с трубой и флейтой, как будто век с ними пел, только слова выговаривал наполовину русские.

А слова̀-то, слова̀! Много ли им равных?

Чому мэни, боже,
Ты крылэць не дав?
Я б землю покинув,
Я б в небо злитав!

Огляделись мы. Верить ли? Это Ксения! Она пела.

Пела и плакала И так была хороша, лучше не бывает. Стало быть, высветлилось до дна в ее душе. Правильная была ее жизнь в полку. Стало быть, так.

Слушали мы ее, как соловья. Замерли, будто могли сглазить. Допелась песня, а мы все молчим, смотрим, как Ксе-

ния утирает слезы. И вино у нас не кончилось, а мы смотрим, молчим. Так нам это понравилось. Притих, поостывши, и Круглов.

Поднялся тут командир полка. За ним было, как водится, благословенье. Видимо, он решил, что надлежащая минута подошла.

Он любил в Круглове боевого офицера, несмотря на его озорство. Любил, впрочем, и его лихость, она стала чертой мастерства. Таков характер разведчика, и вообще человека не разделишь на желток и белок. Втайне командир полка волновался за Федора, как за сына. Но сейчас старался держаться официально. Чуточку разве схитрил — без злого умысла...

— На мой взгляд, у нашей невесты — все навыки воина...

— Не у вашей, товарищ подполковник, у моей! — немедля перебил Круглов.

— Да, да, у твоей... Помолчи секунд сто. Я говорю: воин она. Но, пожалуй, ее контратаки угасают. Ты, Федя, завязываешь уже уличные бои. Хотелось бы думать, что — с малыми потерями...

На том хитрость командира полка исчерпалась.

— Однако же, товарищи офицеры... и товарищ старшина... Это присказка, а сказ мой — о действительных боях, в которых мы добыли честь нашей дивизии. Вам понятно, что я имею в виду. Бои за наш...— он повторил: — наш Новгород Великий! Приказом Верховного главнокомандующего мы поименованы новгородцами. Это звание освящено нашей кровью... Сегодня у нас праздник небывалый — семейный. Как командир полка и глава семьи, я... именем Советской власти... узакониваю этот брак. И надеюсь, что ты, Федор, и вы, Ксения, не уроните нашего высокого звания. За Новгород, товарищи боевые, и за новгородцев!

Все поднялись. Чокнулись торжественно, осушили залпом, крикнули «ура». У многих из нас первые нашивки ранений и первые ордена появились после Новгорода. За Новгородом началась новая жизнь.

— Ну, а теперь, кажется, опять горько,— посмеиваясь, добавил командир полка.

— Нет,— сказала Ксения неожиданно резко и сильным движением удержала Федора.— Нет... Я хочу сказать! Вы этого не знаете, товарищ подполковник, и Круглов не знает... Но я в вашем полку не случайно. Я давно считаю себя новгородкой. Специально просилась в вашу дивизию. Мне

помогли — устроили к вам... Дело в том, что один из вас, не знаю только, офицер или солдат, спас меня в Новгороде во время боев от верной гибели. Попросту вырвал из немецких рук. Ну, и я... хотела... найти этого человека...

Федор зло и подозрительно покосился на Ксению, и она добавила упрямо:

— И по сей день хочу найти.

— Зачем?

Вряд ли стоило Федору спрашивать это. Ксения тряхнула строптивой своей головой:

— Вот за кого я бы вышла замуж!

Федор крепко ударил кулаком по столу, но следом за ним еще крепче стукнул командир полка.

— Черт меня возьми,— вскричал он,— придется вас обоих поставить по команде «смирно»! Круглов, умей слушать... Не узнаю тебя, честное мое слово... Ну-ка, новгородка, выкладывай, как оно было, все без утайки.

Ксения взглядом спросила Федора: ты не против?

Он молча кивнул: давай!

А мы смекнули, что речь пойдет о том самом загадочном друге, у которого Круглов отобрал невесту, но с которым еще не рассчитался.

И вот Ксения рассказала. Случай был простой, но в своем роде замечательный.

20 января 1944 года, в день, когда наши полки с боями вступили в Новгород, застрял в городе один немец, не то офицер, не то фельдфебель, во всяком случае — в очень видном мундире, с лычками, нашивками, значками на вороте, рукавах и груди, чуть ли не с аксельбантами.

На улицах еще трещала автоматная и пулеметная стрельба, бухали минометные разрывы, когда Ксения, одна из первых, а в тот момент, может быть, единственная, вышла из подвала, где пряталась от огня и немцев. Не утерпела, не смогла усидеть под землей. Вышла, как из гроба, на свет, навстречу нашим солдатам, навстречу жизни. Хотела увидеть поскорей красную звездочку.

В воротах полуразрушенного дома на Ксению и наскочил немец, который метался, как крыса в кувшине; обрадовался, уткнул ей в грудь дуло пистолета. Был он нерослый, но в добром теле, сапоги без пятнышка, на высоком каблучке.

Немец велел Ксении раздеваться. Он сам левой рукой сорвал с нее ватник и ухватился за подол юбки.

— Платя... платя! — твердил он.— Разувай.

Должно быть, он намеревался облачиться в женскую одежду.

Все пережитое за два года неметчины, вся ненависть к ней и все достоинство и гордость советского человека в тот час освобождения и исполнения надежд поднялись в слабенькой, измученной Ксении. Она ослепла от гнева и презренья, плюнула немцу в лицо, а потом и на его пистолет.

И немец, конечно, убил бы ее и снял бы платье с мертвой, если бы не появился первый русский воин — в полушубке, увешанный гранатами, с наганом в руке. На плечах у русского были погоны защитного цвета, возможно со знаками различия, но Ксения в них не разбиралась. Она их и не видела, она видела только лицо, измазанное гарью, взмокшее от пота, и запомнила его черным, белозубым и белоглазым.

Он вбежал в ворота с улицы, остановился и сплюнул.

Увидев его, немец схватил Ксению и заслонил ею себя. Из-за нее он несколько раз выстрелил в русского. Но выстрелы эти были неметки. И русский довольно спокойно снял с головы ушанку и вытер ею пот со лба. Голова его была стрижена и казалась светлей лица. От лба к затылку ее рассекал тонкий белый шрам, как будто только что прочерченный пулей.

Немец перестал стрелять, видимо сберегая патроны, и начал оттаскивать Ксению в глубь двора, на пустырь. Там стояла оседланная лошадь. Она плясала на привязи и ржала. Надеялся немец все же улизнуть.

Тогда Ксения закричала русскому в неистовом, отчаянном самозабвении:

— Стреляй! Не жалей! Не думай обо мне.

И русский тотчас поднял наган.

Немец судорожно уткнул голову в спину Ксении, не решаясь даже выглянуть из-за нее, лишь ругаясь по-немецки и по-русски. Тогда русский выговорил два слова, одними губами. Только потом Ксения поняла их смысл и почему они были сказаны беззвучно. Их должна была услышать только она.

— Не ше-ве-лись...— сказал русский и, как ей показалось, в ту же секунду выстрелил.

Ксения повалилась без чувств вместе с немцем.

Когда она пришла в сознание, то нашла себя в крови, но кровь была чужая. Кровь еще сочилась из круглого пулевого отверстия в надбровной дуге немца. Глаз уцелел, только

верхнее веко было разорвано, и оттого, наверно, глаз смотрел равнодушно, стеклянный и пустой.

Значит, немец все же выглянул из-за ее спины и получил свое.

Русского Ксения не нашла. Он ушел, видимо, сразу же, уверенный в своем выстреле и не имея времени приводить Ксению в чувство. Вот такой случай.

— Я его совсем не запомнила и не могла бы узнать,— закончила Ксения.— Разве что по шраму на голове...

Мы выслушали ее со странным чувством неловкости. Нам лестно было услышать эту историю,— в каждом из нас была частица того русского, который выручил Ксению из беды, доля его мужества и скромности. Было это и в Круглове, может быть, больше, чем в других. Но вряд ли ему так уж сладко в день женитьбы такое открытие. И нас оно не больно обрадовало. Неясно было, дразнит ли Ксения Федора (жестоко, однако, дразнит!) или ее в самом деле так занимает мечта встретить своего новгородского героя.

Круглов словно протрезвел. Он слушал Ксению, опустив глаза, его волосы тугими спиральками лились ему на лоб, губы были крепко закушены не то в улыбке, не то в гримасе.

Глухо он спросил:

— Так ты пошла бы за него? За то, что он тебя спас?

— За то, что он неболтливый человек.

— Девчонка ты, Ксанка. И рано тебе замуж,— сказал Федор с неожиданным для нас спокойствием и зрелостью, которой прежде мы не видели в нем.— И правда, что ты в медицине случайно.

Не помню, что нас тогда отвлекло, но, когда через малое время мы огляделись, Федора в землянке не было. Он исчез.

Никто не знал, куда он ушел, никто не заметил — когда, в том числе и Ксения. Прошло несколько неприятных тягостных минут, затем несколько десятков минут. Федор не появлялся. Веселье наше угасло. Одна Ксения по-прежнему безмятежно улыбалась. И не скрою, это начинало нас немножко раздражать против нашей воли.

Ксения не отрывала глаз от двери из землянки, то краснела, то бледнела, но пойти за Федором никого не пустила. Настояла на своем.

— Он придет, сейчас придет,— заверяла она, а мы, признаться, уже отворачивались, чтобы ненароком не засмеяться.

Ксения, однако, оказалась права. Круглов вернулся. Вошел и, ничего не объясняя, сел на свое место, демонстративно спросив у командира полка разрешения присутствовать.

Никто не сказал ему ни слова, ни в чем не упрекнул. И Ксения ничего не спросила. Тогда медлительным, рассчитанным жестом Федор снял фуражку.

Ксения вскрикнула, за ней и мы.

Голова Федора была наголо острижена, его львиной гривы как не бывало. А от лба к затылку тянулся тонкий шрам, похожий на белую нитку.

Таким мы видели Федора впервые. Под Новгородом он воевал в другом полку.

Дальше было самое интересное. Ксения встала и сказала:

— Круглов! Зачем ты это сделал? Испортил песню, чудак. Кажется, понимали друг друга с полуслова... и вдруг такой грубый номер! Я давным-давно узнала тебя — с первой встречи, с первого взгляда. Я тебя нашла! — Она положила ему руки на плечи.— Хотела, чтобы ты... тоже... Это так плохо? Скажи!

Но Федор, глазом не моргнув, снял ее руки со своих плеч.

— Нет, ты знаешь что? Ты пока не обнимайся. Ты сядь. Я тебя знал еще до войны.

— На Командорских островах?

— На Красной Пресне... на Трех горах... Ты тогда носила косу, русую, до пояса и пела «романс любимый Лизы». Говорила, что твой отец в пятом году был дружинником. Говорила?

— С ума сойти...— сказала Ксения.

Федор опять легонько отодвинул ее от себя.

— Кто же из нас испортил песню? Ваше ситцевое величество...

— Ну да, ну да...— говорила Ксения, разглядывая Круглова.— Ты слесарь с «Пролетарского труда»... это бывший завод Тильманса, так? И потом ты был великий человек...

— Так, так. Говори, говори.

— Я и говорю: я своего отца не помню, только по рассказам... а ты... племянник товарища Шеногина! Или нет — товарища Златоверова! Ты племянник, да?

Тут скажу тем, кто этого не знает: Шеногин, Федор, с завода Тильманса, командовал Красной гвардией в семнадцатом году, а Златоверов, Михаил, прапорщик, член партии

большевиков с марта семнадцатого года, был начальником штаба.

Круглов усмехнулся, косясь на Ксению, и со вкусом выговорил:

— Нет, милая моя. Я не племянник. Я этим людям сын родной. А ты им родная дочь! Эти люди наши с тобой отцы. Э-эх, медицина... Темнота-матушка! Еще вопросы есть?

Вопросы, может, и были... Но Ксения и Круглов вдруг вскочили со скамьи и молча, горячо обнялись.

Не знаю, что нас больше всего задело в словах молодых, то ли, что они сами рабочие ребята, то ли память о красногвардейцах... Но мы еще говорили и пели на этой свадьбе — и про Красную Пресню, и про Выборгскую сторону, и, понятно, про Москву мою, Москву мою, про самую любимую.

Ксения и Федор ничего не слышали, никого больше не замечали. Они потихоньку отсели в угол землянки, повернулись к нам спинами, взялись за руки и как будто затаились вдвоем. Казалось, что они сидят в лодке, опустив весла, качаясь на волне, и, хотя это было не ново, хотелось смотреть и смотреть, как они плывут. Они не шептались, не переглядывались. Они словно привыкали быть вместе и вслушивались в могучее течение, которое уносило их лодку. Им предстояло долго плыть.

Василий ЧИЧКОВ, Вадим КАССИС

Мы — «спецы»

Наверное, в тот день на нас было забавно смотреть со стороны. Мужчины, которым давно за сорок, у которых уже поседели виски, кричат друг другу: «Здорово, Витька!», «Привет, Женя!» — и по-мальчишески бьют друг друга по плечу.

Мы собрались в 101-й средней школе Краснопресненского района, ученики которой организовали комнату-музей боевой славы выпускников 1-й спецартшколы. Со стен музея на нас глядят фотографии времен войны. Кто-то из наших ребят в звании лейтенанта или капитана сидит на наблюдательном пункте, кто-то поднял руку и сейчас скомандует: «Огонь!», кто-то в госпитале после ранения...

Но все мы, собравшиеся в этот день, прежде всего вспоминаем наше житье-бытье в стенах школы.

Впервые мы встретились, когда нам было по четырнадцать лет. Окончив семь классов, мы пришли в 1-ю Московскую специальную артиллерийскую школу на Красной Пресне, чтобы продолжать образование и обязательно стать военными. В школе нам дали военную форму, мы изучали оружие, занимались строевой подготовкой и пели:

Если завтра война,
Если завтра в поход...

Спецшкола была для нас не просто школой. И хотя наше общежитие называлось не казармой, а интернатом, хотя мы подчинялись не наркому обороны, а Наркомпросу, каждый из нас чувствовал себя вполне военным и при встречах на улице с командирами отдавал по всем правилам военного устава честь. Мы носили зимой буденовки с красной звездой, а летом защитного цвета пилотки, обшитые красным кантом. Мы до одури занимались разными видами спорта, чтобы нарастить стальные мышцы. И в мае 1941-го наша

спецшкола участвовала в первомайском параде на Красной площади.

Строевые занятия командование — да, да, командование! — школы перенесло с краснопресненского двора на набережную возле Крымского моста. Там было где развернуться.

Маршируем шеренгами, по двадцать человек в каждой. Занимаются с нами капитан Малинкин и полковник запаса Крайский. Крайский — старый кадровый командир. Он был кадетом, воевал в империалистическую, потом громил беляков в гражданскую войну, был несколько раз ранен, имеет Георгиевский крест. Но полковник никогда его не носит. Он считает, что рядом с орденом Красной Звезды цеплять на китель «Георгия» нельзя...

Мы любим Крайского не только за его седины, не только потому, что он годится нам в отцы. Полковник — большой знаток артиллерийской науки и хочет, чтобы мы тоже стали «мастерами огня». Он с утра до вечера в своем военном кабинете. Приходи, когда пожелаешь, спрашивай о чем угодно — Крайский всегда найдет нужное слово, объяснит, растолкует. Но стоит ему заметить, что урок не подготовлен или малейшую неряшливость в одежде — держись. Полковник бывает строг и даже резок. Особенно он не терпит нытиков, или, как он говорит, «сентиментальных».

Нытиков у нас, в общем-то, нет. В спецартшколу каждый поступал добровольно, никого за уши не тянули. Да и за прошедший год ребята многому научились, привыкли к военной дисциплине, возмужали.

Стоим, поеживаемся от холода, следим за Крайским. Немного прихрамывая, откинув назад свою большую голову, он отходит назад, окидывает придирчивым взглядом строй. И вот уже команда подана. Справа — гранитный парапет набережной, слева — серый, облезлый забор.

— Рука вперед до пряжки, назад — до отказа! — зычно кричит Крайский, маршируя вместе с нами.

Шлеп-шлеп по лужам, шлеп-шлеп...

— Тверже шаг! Печатай, руби! Ботинки выдержат, не жалей ног!

И мы не жалеем. Не только ног, но и головы. От напряжения ноют шейные позвонки.

В Москве пять специальных артиллерийских школ. Наша — первая. Мы будем открывать первомайский парад всех спецшкол.

День 1 Мая 1941 года выдался ясный, солнечный. С вечера мы начищали пуговицы, гладили-переглаживали брюки, драили щетками и бархотками ботинки.

Красная площадь... Сегодня она особенно величественна, по-праздничному нарядна. Мы пришли сюда задолго до начала парада. От одного края до другого протянулись шеренги слушателей военных академий Москвы. Наше место — на Манежной площади, между Историческим музеем и чугунной решеткой Александровского сада. Отсюда виден краешек гранитного Мавзолея.

— К торжественному маршу,— доносится команда,— дистанция на одного линейного. Первый батальон прямо, остальные направо!

— На-пра-во,— вторит эхо.

Гремит оркестр, все приходит в движение. С каждым шагом ближе и ближе трибуна Мавзолея. Там стоят Сталин, Ворошилов, Буденный, Тимошенко... Все тверже, увереннее становится шаг. Плотно прижавшись, шагаем плечом к плечу, сливаемся в одну непрерывную шеренгу.

Это был последний год нашей мирной учебы...

Весть о нападении Германии на СССР мы восприняли по-особенному, с боевым духом: «Вот теперь-то мы покажем фашисту, на что способны».

Правда, в первые дни войны мы показывали свои способности не врагу — он был далеко от Москвы, а домоуправу и дворнику. Мы, «спецы», были постоянными дежурными на крышах во время воздушной тревоги. Мы лезли на крышу потому, что именно здесь чувствовалось, что началась война. Черное небо перекрещивали лучи прожекторов. В парке на Пресненской заставе ухали зенитки, бросая при каждом залпе розовые блики в ночное небо.

Отсюда, с высоты пятиэтажного дома, видна вся наша родная Пресня.

Не такая она уж и большая, эта улица от зоопарка до заставы, а сколько связано с ней всяких событий. Больших и малых. Здесь, когда ходил трамвай, мы мчались на «колбасе». По Грузинской мы катались на коньках, цепляясь железными крючками за машины и сани. В угловом универмаге у заставы был куплен первый в жизни костюм.

Весь наш детский мир был на Пресне. Наша 116-я школа, куда мы пришли в первый класс, наш зоопарк, где бродили по воскресеньям, наш любимый кинотеатр «Баррикады», где

мы шесть раз смотрели «Чапаева», «Красных дьяволят» и «Броненосца «Потемкина».

Когда мы начали учиться, Пресня открылась нам с другой стороны, с революционной и боевой. Боевое прошлое Пресни придавало нам, пресненским мальчишкам, немалую гордость. Мы считали, что лучше Пресни улицы нет — она, можно сказать, самая главная в городе, и готовы были за нее драться не хуже, чем дрались наши предки в 1905 году на баррикадах.

Мы точно знали, где были эти самые баррикады. Шагая по мостовой, мы приглядывались к булыжнику, выискивая на них следы пуль. Ведь эти самые камни были на баррикадах.

Наверное, потому, что Красная Пресня — рабочая улица, здесь прежде, чем в других местах, стали строить после революции дома для рабочих. Наш пятиэтажный дом по Волкову переулку вырос в 30-м году. Рабочие семьи из подвалов и деревянных развалюх переезжали сюда. Люди любовались блестящими кранами в ванной комнате, с какой-то особой радостью зажигали газовые горелки на кухонной плите. Нам, мальчишкам, на всю жизнь запомнились новенький красный кирпич на стенах, едкий запах масляной краски в квартирах.

Этот дом был построен на земле какого-то барина, как говорили тогда. Его обиталище с колоннами выходило фасадом на Пресню, в том самом месте, где теперь стоят многоэтажные жилые дома и магазины. Барин бежал еще в годы революции. В его доме тоже поселились рабочие. Все вокруг принадлежало нам. Это радовало и мальчишек и взрослых. Почти каждое воскресенье люди выходили на воскресник. С лопатами и ломами в руках под песню они работали во дворе — ровняли площадку для игр, посыпали песком дорожки, сажали деревья. И вот теперь фашисты хотят отнять у нас все это, собираются топать своими коваными сапогами по Пресне. Сидя на крыше и глядя на небо, мы сжимали кулаки.

Пусть пролетит фриц и бросит «зажигалку» на крышу. Вот тогда-то мы и покажем, на что способны.

В ту ночь, на 21 июля 1941 года, в небе послышался тяжелый гул самолетов. Этот гул нарастал. Все мы, ребята, затихли от предчувствия чего-то грозного.

По небу нервно забегали лучи прожекторов. Они высвечивали на черном небе желтые самолеты со свастикой.

По ним неистово били зенитные пушки. С крыш строчили зенитные пулеметы.

А самолеты приближались. Гул становился все мощнее. Брошена первая бомба. Рев ее начался где-то высоко в черном небе. Он возрастал. Он заглушил стрельбу зенитных пушек. Обхватив голову руками, мы прижались к крыше. Нам казалось, что бомба летит именно на нас.

А она летела на завод «Красная Пресня», который был неподалеку. Раздался огромной силы взрыв. Наш дом вздрогнул.

Следом за первой бомбой разорвалась вторая и третья.

А самолеты продолжали лететь. Наверное, у них кончились бомбы, и они стали бросать «зажигалки». «Зажигалки» летели со свистом. Одна ударилась о крышу и пробила ее. Мы наперегонки побежали к слуховому окну. Один за другим нырнули на чердак и увидели шипящую «зажигалку», которая была похожа на бенгальский огонь.

Некоторое время все мы стояли вроде бы в нерешительности. А потом бросились к «зажигалке», кто-то ее схватил за хвост. Кто-то тащил ведро с песком, куда мы благополучно и засунули немецкую «игрушку».

Вскоре прибежали домоуправ и дворник. Они благодарили нас, стоя руки по швам. Мы тоже стояли по стойке «смирно». Не зря на нас шинели.

Следующим нашим военным испытанием было строительство оборонительного рубежа на подмосковной станции Гучково, куда остервенело рвались гитлеровцы. Для фашистов Гучково — очередной рубеж на пути к Москве. На военно-топографических картах это местечко обозначено черной точкой с булавочную головку. А сколько таких точек вокруг Москвы!

Мы, спецшкольники, должны рыть противотанковый ров под Гучковом. Наш поезд ведет машинист в промасленной кепчонке. Может быть, он просился в ополчение. Но в военкоматах не дураки сидят. В самом деле, разве можно машинистов снимать с паровозов? Вспомнить хотя бы гражданскую войну. Сколько таких машинистов сели тогда за штурвалы бронепоездов. О них книги писали, кинофильмы делали. Нет, машинисты и на войне профессия важная.

Немец наступает на Москву с разных сторон. В Кремле принято решение срочно развернуть строительство оборонительных рубежей на всех направлениях. Нельзя терять ни минуты. С Брянского, Курского, Ленинградского, Савелов-

ского, Белорусского вокзалов уходят составы с ополченцами, людьми, по тем или иным причинам освобожденными от строевой службы в Красной Армии, школьниками старших классов, работницами швейных, текстильных фабрик. «Все на оборону Москвы!» — призывают лозунги на станциях и полустанках. «Не подпустим фашистскую гадину к столице нашей Родины!»

На станции Гучково огромный плакат с надписью: «Чем ты помог фронту?!» Плакат сильнее магнита. Кажется, он притягивает тебя. И пока не ответишь на этот простой, но властный вопрос, ответишь не словом, а делом, он будет неотступно преследовать, стоять перед тобой и требовать, требовать, требовать. Какая сила искусства в его простоте и строгости!

...Размытая, вязкая дорога, косой, нудный дождь, мерзкая сырость. Ноги в добротных хромовых ботинках фабрики «Скороход» хлюпают по лужам. Намокают, теряя щегольскую форму, фуражки. А мы все идем. И кажется, нет конца-краю этой проклятой осиротевшей дороге: без встречных, без машин, без указателей. Дачники давно уже позаколачивали окна деревянными щитами, навесили на калитки ржавые замки. А летом здесь должно быть хорошо. Беззаботно босиком бегали по высокой траве ребятишки, взрослые заводили патефон, варили вишневое варенье и попивали с ним чай. От этих мыслей еще больше хочется пить. Но вода только в лужах, взмученных шагающими впереди взводами. Очень хочется пить.

Поле, широкое голое поле с еле видной на горизонте серой деревушкой. До леса ближе. Низкорослый редкий кустарник сменяется чахлыми островками берез, переходит в пустой горемычный лес.

— Дивизион,— командует нараспев политрук,— стой!

Чавкает под ногами грязь. Дождь поутих, но нам уже все равно — идет он или совсем прекратился. Замечаем за поворотом дороги людей. Сотни людей. В основном — женщины. Поношенные ватники, поддевки, старые кожанки. Море цветастых женских платков. Женщины с нескрываемым любопытством смотрят на нас. Они выстроились бесконечной цепочкой, убегающей к деревушке, что еле обозначилась на горизонте. Почти у всех лопаты. Плетеные корзинки, ведра валяются под ногами на пожухлой, примятой траве.

Первая батарея останавливается возле вбитой в землю

«пограничной» тесины. Здесь стык двух трудовых фронтов. Слева от тесины роют контрэскарп гражданские. Вправо военные, то есть мы, мальчишки с Красной Пресни. За голым подлесником, на поляне, прячется санитарная машина, лошадь, впряженная в телегу с бочкой. Водовоз в перелатанном зипуне, косматой кроличьей шапке стоит на телеге возле бочки, наливает консервной банкой в бидончик воду. Прозрачная струйка стекает на сапоги женщины. Она берет бидончик и размашисто шагает к своим.

Проходит минут двадцать, прежде чем нам подвозят на грузовике лопаты, ведра, ломики. Дождь совсем перестал. Мы сбрасываем шинели, развешиваем на голых сучьях берез, орешника поясные ремни. На нашем участке работой руководит лейтенант инженерных войск. Мы не знаем ни его имени, ни фамилии. У лейтенанта бледное продолговатое лицо, на впалых щеках отросла рыжая щетина. Сутулые плечи, мешковато сидящая шинель. Сразу видно, что человек он сугубо гражданский. Однако это не мешает лейтенанту шустро бегать вдоль фронта работ, давая указания, успевать самому промерять ширину контрэскарпа, вбить в землю саперной лопаткой на короткой ручке разметочные колышки.

— Мы должны, товарищи спецшкольники,— говорит лейтенант,— пройти через огороды, поле, пригорок и эту опушку. Ничего не поделаешь, нарушим красоту ландшафта, но превратим эту дачную местность в неприступную крепость. Когда-нибудь потом придут сюда другие люди и снова засыпят этот ров. Но сейчас он нужен всем — от мала до велика. Если дружно возьмемся за дело, дальше немец не пройдет! Ура, товарищи!

Мы подхватываем его последние слова, и мощное «ура» несется вдоль неровной цепочки людей туда, к голубеющей на горизонте деревушке.

Лопаты с трудом врезаются в мокрую землю. С каждым ударом мы все глубже и глубже забираемся в сырой ров, обрубаем корни деревьев, выкатываем на бруствер огромные валуны, режем глину и лихо отбрасываем ее в сторону. Еще лопата, еще. Торопимся. Скорее бы добраться до заветной отметки, когда можно позволить себе короткий перекур, подойти к телеге с бочкой и жадно притянуться губами к жестяной консервной банке с колодезной водой, побалагурить с десятиклассницами. Там, за «пограничной» тесиной, тоже вовсю кипит работа. Женщины, девчонки никак не хотят

уступать нам. В минуты перерыва мы обмениваемся шутками, остротами. Кое-кто из ребят успевает завести знакомство.

— Шуркой ее зовут. Она из 12-й железнодорожной. Симпатичная, с косичками,— говорит парень.

— А ну, покажи! Я ведь до войны там учился. Может быть, ты мою старую «любовь» отбить захотел?

Теперь мы запросто говорим эти слова: «до войны», «после войны». Военное время все больше срастается с нами, и отделиться от него мы уже не в силах, зная, что началась в жизни новая, неизведанная дорога, которая может быть куда труднее всех прежде пройденных. Мы идем по ней и не свернем с нее ни на шаг до самой победы. Или собственной смерти.

Растет, поднимается, как на дрожжах, широкий бугристый вал свежевыкопанной земли. Тех, кто работает на самом дне, уже не видно. В ход идут ведра, корзины. Их наполняют лопатами и передают по цепочке наверх. Землю ссыпают на бруствер, а порожние ведра, передаваемые из рук в руки по той же цепочке, снова скрываются во рву.

Часа через два ладони покрываются мозолями. Мы бегаем к санитарной машине за бинтами. Там их вдоволь. Запаслись на всех. На поляне возле санитарной машины ветер поднимает опавшие листья и гонит их через бруствер в поле. Чуть дальше, правее деревушки, медленно поднимается в мрачнеющее небо аэростат воздушного заграждения. Значит, время близится к вечеру. Мы продолжаем остервенело вгрызаться в землю, расширять контрэскарп до трех метров. Противотанковый ров против вражеского самолета ничто. Но танк наверняка найдет себе здесь могилу. От одной этой мысли хочется копать быстрее, тверже сжимать рукоятку лопаты. Мы знаем: если не выполним норму — никто ее за нас не доделает.

Нас подзывает политрук:

— Ополосните в луже руки и быстренько принимайтесь за «боевой листок».

— Слушаемся, товарищ политрук. Разрешите вызывать редколлегию?

Подходят ребята. У них уже подготовлены заметки. Мы договорились обо всем с вечера.

В левом углу «боевого листка» мы старательно рисуем нашу «трехдюймовку», из которой, может быть, в эти самые минуты артиллерийский расчет уже ведет огонь по немец-

ким танкам. Справа вверху делаем надпись: «Орган комсомольской организации 2-й батареи». Да, с 1 сентября мы называемся 2-й батареей — девятый класс.

— Товарищ политрук, а если вместо карикатуры на своих ребят изобразить немецкий танк, а от «трехдюймовки» через весь лист прочертить пунктиром траекторию и в конце — снаряд. Этот снаряд воткнуть в броню гада. Должно бы неплохо получиться.

— Не уверен. Содержание «листка» должно отвечать главной теме: кто лучше и кто хуже работает на «гучковском валу». А вы хотите тут же с немцами сражаться... Лучше уж дайте «один выстрел» по тому, кто отлынивает от работы, увлекается перекурами.

— Все вкалывают будь здоров, товарищ политрук. Ни один не сачкует. С головой ушли по всему фронту в землю. Ров получается что надо! Никакой танк не пройдет.

Из-за санитарной машины выбегает лейтенант инженерных войск.

— Я бы, товарищ политрук, отметил ваших питомцев. Молодцы! По две нормы выполнили. С такими темпами к темноте до трех дотянут...

Политрук грозит нам пальцем:

— Не зазнавайтесь!

Саввин присаживается на корточки, затачивает карандаши, легко, с улыбкой делает несколько быстрых штрихов: противотанковый ров, ползущий на него немецкий танк со свастикой на башне. В него впивается снаряд из нашей «трехдюймовки».

Мы сочиняем подпись:

Трудились мы не зря в Гучкове,
«Спецы» Московской артспецшколы.
По две мы выполнили нормы,
Копать эскарпы впредь готовы!

Не очень гладко, но идея отражена верно...

«Боевой листок» переходит из рук в руки, исчезает на «той стороне», у гражданских. Мы слышим, как звонко прыскают девочки. Это, конечно, смеются над стихами.

Темень поглотила и аэростат, и далекую деревушку. Работать становится все труднее. Даже «летучую мышь» зажечь нельзя. Ров уже почти закончен. Добиваем последние метры, чтобы побыстрее соединиться с девчатами, убрать узкую перемычку, где все еще стоит «пограничная» тесина.

И вдруг совсем рядом, по-над полем раздается нарастающий рокот мотора. Самолет. По всей вероятности, он идет очень низко.

— Воздух! — Команда, как тонкая волосяная плеть, стегает по рядам, придавливает людей к земле. Еще, еще ближе. Никто не поднимает головы. Тра-та-та-та-та! Тра-тата-та. Пули со свистом шлепаются в грязь, посыпают рощу. Самолет разворачивается и уходит в сторону.

— Всем в укрытие! — надсадно кричит политрук.— Без моей команды никто не...

Его слова заглушает частая дробь новых выстрелов. Тот же, а может быть, другой самолет кружит над нами, швыряя в мокрую землю очереди горячего свинца. Под градом пуль начинает осыпаться суглинок. Перемычка с грохотом рушится, и опять свинцовая очередь проходит совсем рядом. Кто-то тяжело стонет. Стоны и плач слышатся совсем рядом, на той стороне, за остатками перемычки, где начинается эскарп, отрытый слабыми руками школьниц.

Мы видим, как на зеленый брезент носилок осторожно кладут кого-то, закрывают одеялом и несут вдоль молчаливого строя наших ребят, испуганно сбившихся в кучу женщин, чуть слышно всхлипывающих девочек. С носилок свисает косичка с большим белым бантом.

Санитарная машина, не включая фар, выползает на слякотную проселочную дорогу и растворяется в чернильной мгле дачного поселка Гучково.

Самолеты исчезают в низких облаках, оставив в воздухе едкий запах пороховой гари, в Москве наверняка уже объявлена воздушная тревога. Бегают, перекрещиваясь, по небу лучи прожекторов. Москвичи спешат в бомбоубежища. Мы стоим, понурив головы. Но мы будем работать и завтра и послезавтра — до тех пор, пока не построим неприступную преграду для фашистских танков.

...Год 1941-й — год 1971-й. Мы стоим на краснопресненском школьном дворе, окруженные детворой, как бы узнавая себя в этих доверчивых ребячьих лицах, в их бесхитростных вопросах.

— Скажите, а это какой орден? — не решаясь тронуть пальцем, спрашивает курносый парнишка.

— Орден Боевого Красного Знамени...

— Отечественной войны...

— Орден Александра Невского...

— Вы говорите, что изучали пушки, а где они сейчас? Вот бы нам их разыскать и — в музей...

— Зачем в музей,— перебивает его сосед с красным галстуком.— Уж лучше сделать учебное пособие, как тогда, у них...

А где же действительно наши «трехдюймовки»?

Кто-то вспоминает, что орудия, служившие верой и правдой Красной Армии еще в гражданскую войну, ставшие учебным пособием 1-й спецартшколы в 1940-м, не превратились в музейные экспонаты. В тяжелые дни обороны Москвы наших «старушек» со стальными монолитными лафетами и неуклюжими деревянными колесами подцепили вместе с зарядными ящиками к грузовикам и потянули на передовую. Там не хватало стволов...

Да, не хватало тогда многого.

Война есть война. Она не щадила никого — ни на фронте, ни в тылу. Многие из выпускников 1-й спецартшколы не вернулись с войны. На мемориальной доске комнаты-музея 31 фамилия наших товарищей. Но это еще не полный список тех, кто отдал жизнь за Родину. Следопыты 101-й средней школы продолжают розыск.

Рядом с мемориальной доской стенд. С него на нас, поседевших людей, смотрят мальчишки, наши друзья, однокашники. Мальчишками они остались навсегда. Игорь Коптельцев, Игорь Кучко, Валентин Данилов, Павел Молчан, Борис Лавров, Илья Урешзон... В восемнадцать-девятнадцать лет они водили за собой в бой взводы и батареи. Под стеклом пожелтевшие от времени письма погибших товарищей.

«18.2.44. Добрый день, дорогая мама! — пишет П. Портнов.— Я жив и здоров. Самочувствие у меня отличное. Сегодня у меня праздничный день: я получил партийный билет. А ведь не так давно мне казалось, что партия для меня на недосягаемой высоте. А теперь я в 19 лет член ВКП(б)... Крепко целую всех».

Коммунист Портнов не дожил до победы. Он погиб, защищая украинскую землю.

А вот несколько строчек из письма тоже погибшего Г. Олиферова:

«Я воюю за свободу своей Родины и поэтому с врагом буду биться до последней капли крови. Эту клятву я даю вам...»

— Мы уходили на фронт, получив образование в спецшколе и закончив всего трехмесячный курс в артучилище,— говорил на сборе наш однокашник генерал-майор В. Лебедев.— Но знания, которые мы приобрели в спецшколе, позволили нам, молодым командирам, выполнять самые сложные артиллерийские расчеты.

Да, когда началась война, многие спецшкольники стали боевыми командирами.

Выпускник 1-й спецартшколы А. С. Дмитриев прислал письмо, в котором рассказывает о боях на Днепре в 1943 году. Участниками этих боев были наши пресненские «спецы» В. А. Попов, П. В. Константинов, В. Г. Коренев, Г. Т. Васильев, В. И. Нестеренко.

В сентябре 1943 года перед полком, который находился в 40 километрах от Днепра, была поставлена задача прорваться через линию фронта в тыл противника и выйти к Днепру. Эта операция была проведена настолько стремительно и неожиданно для противника, что, начав прорыв с наступлением темноты, к рассвету полк вышел к Днепру. Фашисты, не успев переправиться на правый берег Днепра, сдались. Командующий 53-й армией генерал Манагаров, высоко оценив эту операцию, прибыл в полк и вручил отличившимся в этом бою ордена и медали.

Нас, молодых лейтенантов, встречали на фронте, как кадровых военных. Убеленные сединой командиры считали нас своей сменой и поэтому старались как можно скорее и лучше передать знания и сделать настоящими боевыми командирами. Многие краснопресненские «спецы» помнят гвардии майора Ивана Передельского, под командованием которого они прошли немало фронтовых дорог. «Ничто нас в жизни не вышибет из седла»,— говорил нам Передельский.

Иван Передельский погиб при взятии Руммельсбурга, ведя в атаку не только нас, своих артиллеристов, но и пехотинцев.

Мы помним, как хоронили его под Руммельсбургом. Сейчас над этой могилой шумят листвой ивы и каштаны, и мы, его однополчане, бывшие краснопресненские «спецы», с благодарностью вспоминаем его имя.

Однажды почтальон принес нам неказистую канцелярскую папку, в которой было собрано множество документов, писем, фотографий гвардии майора И. Передельского. Все это собрали ребята-следопыты из 44-й школы города Брян-

ска, где родился наш боевой командир. Эту папку мы передали в музей боевой славы 101-й школы. И она будет лежать здесь под стеклом, рядом с нашими полевыми сумками, планшетками с трофейными немецкими картами, личным оружием, боевыми орденами и медалями, гвардейскими значками, справками о ранениях, Почетными грамотами. Кто-то притащил сюда свою старую фронтовую грубошерстного сукна шинель с погонами старшего лейтенанта и фуражку с черным околышем. А это что за диковинная трофейная сабля? Она принадлежала фашистскому генералу.

— Ребята,— восклицает вдруг Титов,— посмотрите, да это же комсомольский билет Виктора Смирнова!

С красной книжечки под № 13538608 смотрит на нас мальчишеское лицо... Чуть выше, на стенде, фотография Виктора на фронте.

А вот он и сам... У всех нас разные судьбы. Но учились мы вместе и все вместе вступили в бой за Родину.

Когда мы окончили осмотр музея, отправились в Краснопресненский парк, где когда-то мальчишками катались на лодках, зубрили геометрию и физику, зачитывались фантастическими книжками. В этом парке под тенистыми липами приютился небольшой ресторан «Луч», где и собрались бывшие краснопресненские «спецы». Каждому была дана всего одна минута на «доклад», самоотчет, так сказать.

— В спецшколу поступил в 1940-м, окончил в сорок третьем. Воевал на 2-м Белорусском. Сейчас служу в армии...

В армии служат сейчас генералы М. Рогаткин, А. Ваньков, В. Лебедев и другие.

У одного из наших «спецов» любопытная судьба. Учился в Краснопресненской спецшколе и сейчас — начальник Краснопресненского районного отдела милиции. Это полковник Оржеховский Владлен Вячеславович.

Спецшкола давала нам не только военные знания, она выковывала характер, который был так нужен на фронте да и после войны в мирных делах.

В. Смирнов, что принес в музей свой комсомольский билет, работает председателем исполкома Ленинского райсовета Москвы, В. Попов — заместитель министра культуры СССР, на партийной работе — О. Рахманин, К. Рева — заслуженный мастер спорта.

Мы крепко жмем руки нашим педагогам, которые пришли на встречу: директору школы В. Величко, преподава-

телям А. Фотисову и Никифорову, бессменному секретарю учебной части З. Матросовой и другим нашим добрым друзьям и наставникам.

У всех нас, окончивших 1-ю спецартшколу, разная и в то же время общая судьба. И нам завидуют нынешние мальчишки. Они с восхищением смотрят на наши боевые ордена, они хотят знать, как мы учились, куда девались наши школьные «трехдюймовки», как мы сражались на фронтах Отечественной войны.

Александр РЕКЕМЧУК

Мальчики

В 1953 году редакция газеты «Московский комсомолец» поручила мне написать очерк о молодом композиторе, студенте Московской государственной консерватории — «каком-нибудь, но обязательно с первого курса, вовсе начинающем, никому не известном» — именно так конкретизировали задание в редакции.

Я отправился в комитет комсомола консерватории, попросил подсказать мне кандидатуру для будущего очерка. Ребята подумали, сказали: «Есть такой парнишка... Учится хорошо. Активный общественник, комсомолец».— «Ну, а... какой он композитор?» — «Этого сейчас сказать не можем — рановато, первый курс...»

Через несколько дней я встретился с юношей — долговязым, веснушчатым, застенчивым. Он сыграл фрагменты из оратории, которую сочинял в те дни. Оратория посвящалась двадцати восьми гвардейцам-панфиловцам. Музыка мне понравилась.

Написал очерк. Уже не помню, какой изобрел заголовок, но в редакции «Московского комсомольца» его с ходу забраковали, сказали, что слишком напыщенно, и на газетной полосе этот очерк появился под заглавием предметным и внятным: «Студент-композитор Родион Щедрин».

Впоследствии, живя на Крайнем Севере, я с большим интересом следил за тем, как «восходит звезда» Р. Щедрина в современной музыке. Ныне — это один из виднейших советских композиторов, автор симфонических и фортепианных произведений, среди которых я бы особо выделил блестящий Второй концерт для фортепиано с оркестром, оперу «Не только любовь», балеты «Конек-Горбунок», «Кармен-сюита», «Анна Каренина», очень популярной музыки для кино.

Да, повезло мне с героем очерка о «начинающем»!

Но в течение полутора десятка лет никак не уходила из памяти одна деталь: до поступления в консерваторию Родион Щедрин учился в детском хоровом училище, пел в знаменитом Хоре мальчиков — у него был дискант. А потом — как это, увы, случается с подавляющим большинством поющих мальчиков — произошла мутация, ломка голоса и... голос пропал безвозвратно (имеется в виду, конечно, певческий голос). Однако осталась страстная любовь к музыке, ранний артистизм и, главное, талант! И вот уже в детском возрасте предстояло совершить подвиг: обрести другой голос, остаться музыкантом. И этот подвиг был совершен. Здорово!..

Так возник замысел написать «Мальчиков» — повесть о верности мечте, о поиске призвания, о сложном духовном мире подростка.

Состоялась новая встреча с Родионом Щедриным.

А затем я отправился в старинный особняк на Большой Грузин-

ской улице, где помещается Хоровое училище. Беседы с учениками и преподавателями. Спевки и концерты Хора мальчиков. Снова доверительные беседы, обдумывание материала...

Через семнадцать лет после газетного очерка была написана повесть, отрывок из которой публикуется в этом сборнике.

Хочу оговориться, что вовсе не следует считать Родиона Щедрина прямым прототипом главного героя повести Жени Прохорова, от лица которого идет рассказ,— здесь все гораздо сложнее, как и бывает обычно с проблемой прототипа. Кроме того, судьба Щедрина — вовсе не исключение. Из стен училища вышло немало ныне широко известных композиторов — Агафонников, Бойко, Артемьев, Флярковский, здесь же обрели путевку в большое искусство многие хормейстеры, дирижеры.

Однако в читательских письмах, которые я получаю — и особенно в письмах юных читателей, отличающихся, как известно, редкостной пытливостью! — содержатся категорические требования подтвердить самостоятельную «отгадку»: уж не является ли прототипом Маратика Алиева певец Муслим Магомаев, а не была ли прототипом девчушки-композитора, поступающей в консерваторию, Александра Пахмутова? Но с полной уверенностью считают юные читатели (а их уверенность, кстати, авторитетно разделил на страницах журнала «Дружба народов» критик Федор Левин), что, мол, очевидным прототипом директора Хорового училища Владимира Константиновича Наместникова является его подлинный многолетний руководитель — народный артист СССР, Герой Социалистического Труда Александр Васильевич Свешников...

Я не стану оспаривать эту догадку. Да, мне очень хотелось, чтобы герой книги в чем-то походил на замечательного музыканта и педагога. Иной вопрос — удалось ли это автору?

Хочу лишь отметить — взволнованно и благодарно,— что когда на киностудии «Мосфильм» приступили к экранизации повести «Мальчики», Александр Васильевич Свешников дал добрые советы режиссеру фильма, ознакомился с эскизами декораций, а также справился, кому из актеров будет поручена роль Владимира Константиновича Наместникова...

...Так началось мое учение.

Рано утром, проснувшись, умывшись, одевшись, как подобает, мы отправлялись из общежития в училище, с Красной Пресни на Большую Грузинскую. Пешком, конечно,— не столь уж дальний путь. Правда, когда миновали осенние месяцы и наступила зима, утреннее это хождение было не из приятных. И даже не в холоде тут дело, хотя и доводилось нам бегать по крепкому морозцу, не во встречном ветре, не в скользких тротуарах — это, в общем-то, ерунда. Неприятность заключалась в том, что было в эту пору еще темно. Совершенная ночь была на улице в тот час, когда мы гуськом, задрав воротники, нахлобучив поглубже ушанки, топали

с Пресни на Грузинскую. Конечно, вокруг горели фонари, светились этажи домов, искрились желтым инеем окна проезжающих трамваев, задние огоньки автомобилей были красны, как угольки, а на передних стеклах такси угольки были зелеными.

И улицы были полны людей, спешащих на работу, у метро кипела и ворочалась толпа — да, уже был самый настоящий день.

Но поднимешь глаза, взглянешь исподлобья — а в небе-то еще ночь, густая, сонливая, беспробудная... Глаза сами собой норовили закрыться снова. Теплый зевок слетал с губ, превращаясь тотчас в облачко студеного пара.

Но мы уже протискивались в двери училища. Наваливались на вешалки.

А наши носы чутко улавливали и мгновенно определяли запахи, доносившиеся снизу, из столовой.

— Тефтели?

— Тефтели...

— Братцы, тефтели!

Я до сих пор не знаю, как по-научному решается вопрос насчет связи между нюхом и слухом. Но я лично уверен, что такая связь является законом. Вот, скажем, в наше училище принимают ребят с безупречным слухом и отличным голосом. Однако и я, и все мои новые друзья, включая недругов, все, кто был в нашем училище, помимо совершенного музыкального слуха обладали поразительным нюхом на то, что готовилось для нас на завтрак, обед и ужин в полуподвальной кухне. Мы на расстоянии двух этажей отличали гуляш с макаронами от гуляша с картофельным пюре так же безошибочно, как различали на слух си и си-бемоль третьей октавы.

Когда же на завтрак жарили оладьи, что случалось довольно часто, то тут, по правде говоря, и не требовалось особенного нюха, было вполне достаточно зрения: едва мы переступали порог, у нас начинали слезиться глаза. Все этажи, все коридоры, все классные комнаты были полны едкого, прогорклого сизого дыма. Дым этот очень стойкий. И он особенно досаждал в те самые главные и святые часы нашего распорядка, когда шла утренняя спевка. В зал, где мы пели, проникал и долго не улетучивался дым, от него першило в горле.

Но я об этих спевках расскажу чуть дальше.

А сначала о других уроках. То есть о тех предметах, ко-

торые существуют в любой школе, на которых она, школа, стояла, стоит и будет стоять во веки веков.

Тут нас учили читать. Ма-ма, па-па. Тут нас учили писать. Нажим — волосная, нажим — волосная. Тут нас учили считать. К двум прибавить два будет четыре.

И об этом можно было бы не распространяться: ведь всем это известно, никого не миновала эта наука. Кабы не одно существенное отличие.

Во всех нормальных школах учат писать таким способом: сперва в косую на трех линейках, потом в косую на двух, затем на двух линейках уже без косых, после — в одну линейку. А потом уже пиши всю жизнь как бог на душу положит...

У нас было иначе. Мы начинали не с двух, не с трех, а с пяти. С пяти линеек, которыми была расчерчена наша классная доска — белой краской по охре. В каждом классе нашего училища, с первого по десятый, висели одинаковые доски, и все они были в несколько рядов разграфлены пятью линейками нотного стана.

И на этих линейках изображались мелом нотные знаки. Сначала их рисовала нам учительница. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Скрипичный ключ и басовый ключ. Четверти и восьмые. Диезы и бемоли.

Но вскоре мы уже сами научились все это писать на доске и на уроках сольфеджио пели всю эту писанину — хором и поодиночке. Даже дирижировать научились: на три четверти, на четыре четверти, на сколько хочешь — знай маши руками.

Однако кроме музыки, как я уже сказал, было и другое: арифметика, письмо... А доска-то, наша классная доска, была разграфлена пятью линейками нотного стана!

Вот почему свои самые первые в жизни «а» и «б» мы, высунув от старания языки, писали мелом на пяти линейках. И дважды два мы высчитывали на тех же пяти линейках. И во время переменок рисовали всякие рожицы на этих же пяти линейках.

Что поделаешь? Доски в классах были прибиты намертво — такущими вот гвоздями, и не станешь ведь перед каждым новым уроком отдирать доску и приколачивать вместо нее другую!..

Мне все же сдается, что за этим положением с классными досками крылся другой, никем не придуманный нарочно, но особый смысл.

Чтению, письму, арифметике, как и везде в начальных классах, нас обучала одна учительница. Ксения Васильевна — седенькая такая, добрая старушка. И это очень правильно заведено, что у малышей сперва бывает одна учительница. Иначе они бы просто запутались, кто и чему их учит. Да и про кого впоследствии, на выпускном вечере, они бы пели со слезами на глазах: «Учительница первая моя...»?

Лично я не знаю, про кого мы тут будем петь. Ведь кроме Ксении Васильевны за нас, первоклассников, тотчас взялись еще полдюжины учителей: сольфеджио — раз, фортепьяно — два, музыкальная грамота — три, хор — четыре... А на плечи Ксении Васильевны, всегда укутанные шерстяным платком, легли остальные заботы: чтобы мы умели читать, писать и считать.

Музыка главенствовала. Она таилась за всеми другими предметами, которые мы изучали. Она просвечивала сквозь них пятью линейками нотного стана, нарисованными на классной доске. Она всюду высовывалась наружу: я здесь!.. Она давала понять, музыка, что стоит за всем и надо всем, что она самое важное в этом мире. Извольте знать!

Что ж, мы и так это знали.

Каждое утро начиналось спевкой. Первый урок — спевка.

Мы собирались в небольшом зальце, где был рояль, где заранее расставлялись пюпитры.

Мальчики выстраивались у пюпитров. Дисканты слева. Альты справа. И, не дожидаясь появления хормейстера, принимались шипеть.

Не скрою, что в самые первые дни меня очень удивляло и смешило это шипение: ну, надо же, обещали, что будут учить пению, а вместо этого — ш-ш-ш...

Но вскоре я узнал причину этого шипения.

Оказалось, что самое главное в певческом деле — умение дышать. Расходовать дыхание. Ты набираешь полную грудь воздуха, а потом мало-помалу, медленно, очень медленно, как можно медленней выпускаешь его изо рта. Если ты не научишься этому, тебе никогда и ничего толком не спеть, потому что весь дух из тебя выйдет на первых же нотах и ты задохнешься на полуслове и будешь хватать ртом воздух, как рыба, которую вытащили из воды.

Впоследствии я наслышался всяких потрясающих историй об этом искусстве дышать. Как певцов заставляли петь «на свечку»: то есть ставили перед поющим человеком горящую свечу, прямо у рта, и он должен был петь на эту

свечку, но так, чтобы пламя нисколечко не колебалось, будто на него и не дышат... Фокусы, чепуха, игрушки? А вот и не игрушки. Были в старину такие певцы, которые могли на одном дыхании целую минуту давать полный и могучий звук — целую минуту! Порой за одну минуту хоккеисты загоняют в ворота три шайбы, а он в это время все тянет, все поет на одном и том же единственном выдохе...

Вот какие бывали певцы.

Ну, а наши этому только учились. Набирали полные легкие воздуха и потихоньку выпускали наружу, цедили сквозь зубы. Да, но зачем же шипеть? Незачем, конечно. Просто у мальчишек этого возраста, как правило, недостает зубов,— они ведь выпадают в детстве, молочные зубы, выпадают по очереди, и у каждого из нас меж зубов непременно имелась дырка. Вот дырка-то и шипит, когда уходит воздух. Сто ртов, сто недостающих зубов — вот вам и целый паровоз: ш-ш-ш-ш...

Появляется Владимир Константинович Наместников.

Он здоровается с нами, кивает концертмейстеру Сергею Павловичу, сидящему за роялем, и взмахивает своими сухими пальцами.

Начинается ш к о л а.

— Фокин, опусти гортань...

— Петров, раздвинь ребра...

— Больше серебра! Круглей!

— Макавеев, дыши спиной...

— Почему не поют глаза?

А это покуда еще гаммы. Упражнения.

И я сам пока еще не пою — лишь стою и слушаю. Мы, новички, еще не поем, а только присутствуем.

— Везет Сенька Саньку на санках, свалил Сенька Саньку в сугроб...

— Быстрей!

— ...схватил Сенька Саньку за санки и снова свалился в сугроб.

— Так. Дрова.

— На дворе — трава, на траве — дрова, раз дрова...

— ...два двора...— ошибается кто-то.

Все хохочут. Мы, новенькие, тоже хохочем.

Рядом со мной смеется Маратик, мой одноклассник. Вот уж ему-то и не следовало бы смеяться. Каково самому будет, когда и нас заставят тараторить эти скороговорки для отработки дикции? Ведь он вообще очень плохо говорит по-

русски, Маратик Алиев — черноглазый кавказский мальчик, который стоит подле меня.

— Гайдн.

Предчувствие радости охватывает меня.

Я уже не первый раз слышу эту песню. Она называется «Пришла весна». В ней поется про то, как приходит весна. Но дело не в самой весне, тем более что сейчас на дворе стоит крутая зима. К весне, должно быть, я тоже буду петь эту песню, мне уже разрешат петь ее вместе со всеми, петь в хоре. Поскорей бы!

Однако чувство ликования охватывает меня не из-за этой будущей весны, вовсе не из-за того, что тогда запою и я.

Просто я жду, как радости, самой этой песни.

Мальчики раскрывают ноты на пюпитрах. А Сергей Павлович у рояля — он, наоборот, закрывает свои ноты. Ноты не нужны. Аккомпанемент не нужен. Будет только хор. Будут только живые голоса. Я уже знаю, что такое пение называется «а капелла».

Сто звонких голосов взлетают в поднебесье.

Нет, не в этот потемневший потолок маленького зальца, а в ярко-синее небо. Будто стая птиц. Даже не одна — четыре стаи. Потому что хор поет в четыре голоса. И они не сливаются, а переплетаются меж собой, эти голоса, то отдаляясь друг от друга, то сходясь. А каждый из четырех голосов — это, в свой черед, отдельные мальчишеские голоса, слитые в единый, чистый звук. Однако мне вдруг кажется, что я различаю в этом едином звуке самую звонкую струну, и, поискав глазами, я нахожу ее: Николай Иванович Бирюков — широко распахнутый рот...

Пришла весна, птицы! Пришла весна, братцы! Слышите, пришла!..

Вдруг меня словно бьют в ухо. Я едва удерживаюсь на ногах.

И успеваю заметить, как покачнулся Владимир Константинович.

Хор еще дисциплинированно продолжает петь, но дирижер уже выставил ладонь: стоп...

Наместников оборачивается к окну. Только что там продудел автомобиль. У нас под окошком стоянка легковушек. У нас такое важное соседство, стена в стену — Министерство геологии. И бывает, что шоферы нервничают, дожидаясь...

Владимир Константинович смотрит на открытую форточку. Должно быть, он раздумывает: не прикрыть ли ее?

Вдруг — опять, в самый неподходящий момент... Но закрыть форточку тоже нельзя. Больно уж маленький у нас зал, в котором каждое утро идут спевки. Крохотный такой залишко. А в нем — сто человек. Сто ртов, сто пар жадных до воздуха легких. И случается, что этого воздуха просто не хватает на всех. Весь издышат, испоют — и вот уж кому-то сделалось дурно...

Нет, форточку закрывать нельзя.

Владимир Константинович, повернувшись снова к хору, говорит недовольным, строгим голосом:

— Нет, это не работа, друзья! Не ра-бо-та... Вот тут совершенно не годится.— Он фальцетом напевает фразу.— Пробуем партии раздельно. Поют альты. Дисканты молчат... Внимание.

И теперь уже не четыре стаи в небе, а всего лишь две. Те, что летают пониже. И это уже совсем не то. Не та музыка. Не та весна. Не тот Гайдн.

Это школа.

Поют альты. Дисканты молчат.

Альтам хорошо. А дискантам плохо.

Как же не хватает верхних голосов, которые — вот сейчас, в это мгновение, когда альты полого ниспадают,— взмыли бы ввысь!

Я слышу, как кто-то рядом не выдерживает, начинает тоненько мычать. А вот и еще один робкий голос...

— Стоп! Что такое?.. Я сказал: дисканты молчат. Кажется, кому-то захотелось покинуть спевку?

Мальчики молчат. Никому не хочется покидать спевку.

Просто дискантам хочется петь. А им сейчас нельзя: поют альты.

И нам, новичкам, тоже очень хочется петь вместе со всеми. Но нам пока петь не велено.

Владимир САВЕЛЬЕВ

Главная встреча

Стихотворения этого цикла были и задуманы и написаны мною в разные годы, подобно тому как в разные годы и по-разному складывались мои отношения с легендарным районом нашей столицы.

Юность моя прошла на маленьком судоремонтном заводе, чьи цехи и сборочные площадки скромно отражались в медлительных водах величественной Волги. За спиной этой юности сутулилось тогда лишь голодное военное детство, впереди загадочно разворачивалась панорама всей последующей жизни. Помню, как безоговорочно доверялись мне пароходы, нуждающиеся в срочном ремонте, пароходы, в чьих продолговатых клюзах тускло поблескивали якоря, словно от боли навернувшиеся слезы. Помню, случалось мне исподтишка любоваться усталым лицом сварщика, который, наложив швы, медленно выбирался из судового котла, путаясь в шлангах; теперь бы я его сравнил с космонавтом, покидающим свой корабль. Не случайно вызывали у меня чувство восхищения (не уважения, нет, а именно, восхищения!) обнаженные до локтей руки пожилого котельщика, руки в рубцах и шрамах, напоминающих те морщины, которые оставляет на лице мудрость.

Около тысячи километров отделяло меня в те дни от Москвы, около полувека — от героических баррикад на Пресне... Но почему же тогда, почему же вышептывалось в такт моим утренним шагам:

Не в том ли, надо понимать,
минувшего примета,
что мне рассказывала мать
про каторжника-деда?
Устанешь за день от трудов.
Но чудятся спросонок
в растрескиванье вешних льдов
разрывы «македонок».
И волны шепчут про борьбу
в тревожном переплеске.
Кто накалил мою судьбу
судьбою Красной Пресни?

Не всегда сбывается на веку то, о чем так безоглядно мечталось; еще реже одаривает жизнь тем, о чем и мечтать-то не смелось. Не всегда... Еще реже... И однако, студенческие годы мои связаны с Москвой, озвучены напористым говором ее улиц и площадей, обогащены теми большими и малыми открытиями, которые фатально неизбежны для новичка в столице, для «периферийного жителя», как принято было говорить еще каких-нибудь полтора десятка лет назад.

Я многое уже успел повидать тогда, со многим смог познакомиться достаточно коротко. Но главная встреча, та, о которой, точно о любви к матери, почти никогда не говорят вслух, была еще впереди... Летом 1958 года по Литературному институту имени Горького разнесся подтвержденный вскоре слух: группа студентов старших курсов будет проходить недолгую практику на заводе сталелитейных машин «Красная Пресня». Сейчас не помню, какой из невнятных моих доводов оказался тогда решающим, но бывший в ту пору директором института И. Н. Серегин сердито блеснул стеклами очков: «Да включите вы и его! Иначе все равно никому житья не будет!»

Так я впервые смог, наконец, причаститься святая святых истории России. Впервые не через вторые и третьи руки, не через книги получил тот хаос впечатлений, которому еще долгие и долгие годы отстаиваться в моих стихах. А в те дни тетрадь, начатую утром, к вечеру сменяла новая, и сердце заставлял биться учащенно странный холодок, навеянный чувством сопричастности с прошлым:

Стволам, что выпалить должны,
ответят только взгляды...
Я от стены и до стены
бегу вдоль баррикады.
Веду — карателям в обход —
голодную дружину.
Нет у поэзии забот
таких, что не по чину.
И ветры шепчут про борьбу.
и тонут в синей бездне.
Не оборвать мою судьбу
расправами на Пресне...

Шло время. И вот снова оно, неожиданное везенье: несколько лет назад я переселился на жительство в район, который издавна привык считать *своим*. Теперь я уже внутренне настолько сросся с темой труда, с темой революционной борьбы, что даже это чисто внешнее событие склонен был рассматривать как нечто неслучайное, нечто обязывающее меня перед самим собой.

Я прохожу по новым улицам, у которых с теми, старыми, тоже любимыми мною, осталось общим лишь местонахождение; я подолгу стою у родниково прозрачных входов в кафе и магазины, у входов, осыпанных отблесками городских огней, и представляю удушливые провалы темноты в барачном лабиринте бывшей заводской окраины; я пролетаю мысленно над бесчисленными стройками с еще недовозведенными этажами, как над стихотворениями с еще недописанными строками.

Когда иду в толпе людей,
в лицо мне дышат жарко
названья улиц, площадей,
заводов, клубов, парков.
Иду, разлуки устраня,
как будто в эти дали
с безмолвных баррикад
меня
за помощью послали.

Иду, чтоб кликнуть на борьбу
сердца, поступки, песни.
Я не виню свою судьбу
за верность Красной Пресне.

Как видите, стихи появились уже в этом маленьком прозаическом предисловии.

Не пора ли полностью передать слово стихам? При этом я не прошу, как принято подчас, снисхождения у строгого читателя, хотя лишь «Баррикада» входила в состав моей книги, «Сходка» публиковалась в периодике, а все остальные стихотворения цикла выносятся на общий суд впервые...

Сходка

С утра поодиночке и попарно,
бестрепетно минуя кабаки,
сходились подозрительные парни
в каком-нибудь лесочке у реки.

Сходились, переваливаясь пьяно,
друг друга задирая не всерьез,
чтоб некто
с оттопыренным карманом
властям о беспорядках не донес.

И цвет, таящий будущие грозы,
из года в год передавали вновь
глазам их — реки,
волосам — березы,
судьбе и флагам — пролитая кровь.

В тюрьме гноят не за пустые байки.
Пусть радуга, уткнувшаяся в луг,
казалась обезумевшей нагайкой,
над миром прочертившей полукруг.

Пусть виделось грядущее не четко...
Оспаривай, свергай и возноси,
страстями раскаляемая сходка —
верховный орган смуты на Руси!

Худой оратор
в картузе из кожи,

сомкнувшиеся плечи работяг —
не зря ты даже издали похожа
на колокол, чернеющий в кустах.

Не зря ты в чудо веруешь упрямо,
не веря проявлениям причуд.
И вскоре люди, покидая храмы,
за новыми пророками пойдут.

И грозный час колоколов наступит:
плеснут набатом
в будничность земли
те богом перевернутые ступы,
в которых время попусту толкли.

Плеснут, плеснут — и отзовутся души...
Недаром от лесочка у реки
мне и поныне ударяют в уши
тугие полицейские свистки.

Меня охранка, нервничая, ищет,
а я у самой смерти на краю
листовку, будто нож за голенищем,
от взглядов настороженных таю.

Сейчас иная надобна отвага.
Но до седых волос
за мигом миг
тончайшие полоски алых флагов
полощутся в артериях моих.

Оскал клинков
в глазах моих маячит.
И, жгучую надеждуароня,
хрипят ветра, как есаул казачий,
булыжниками сброшенный с коня.

Забастовка

Их, в общем-то, было немного.
Но, зло самокрутки куря,
они не боялись ни бога,
ни дьявола и ни царя.

Ни тех полицейских лупастых,
что строй размыкали в тиши...
Бастуем,
а, стало быть, баста
пупок надрывать за гроши!

Ни фартуков, ни обогрева,
ни харча добиться нельзя!
И сзади, и справа, и слева
простуженно дышат друзья.

И сзади, и слева, и справа
на тихих путях в никуда
недвижно темнеют составы,
как вымершие города.

А по-над клинками устало
уставились в очи мои
владыки огня и металла,
рабы кабака и семьи.

Ни штофа они, ни бутылки
сегодня распить не могли.
Ах, шпалы, которым в затылки
забиты тобой костыли!

Смыкают набрякшие веки
оконца разъездов и сел.
Ах, мостики, что через реки
ты сам, надрываясь, навел!

Дышал обжигающим чадом.
...Лечу я сквозь время само
к чумазым собратьям по аду
железнодорожных депо.

Мелькают ненастья по сини,
болотца, проселки, дымы.
Кто дал эту скорость России?
Не цивилизация — мы!

Предвиденьями будоража
знамена, гранит и холсты,

под слоем мазута и сажи
скрываются наши черты.

Так зреют в недвижности рейсы...
Мы знаем, что будут потом
вот эти блестящие рельсы
продолжены Млечным путем.

И, Пресней предчувствуя Смольный,
горящий рейхстаг и Луну,
сегодня мы песней крамольной
под насыпь сметем тишину!

Баррикада

Когда, наконец накопившись за годы,
обиды рождали порыв штормовой,
девятым,
грохочущим валом свободы
вздымалась она поперек мостовой.

И, впрок приходясь на веку на коротком,
все было как намертво спаяно в ней:
мешки с рафинадом, лихие пролетки,
афишные тумбы и груды камней.

Теперь выплывали наружу секреты,
крамольные выкрики резали слух.
Размыть эту грань
между мраком и светом
свинцовым дождям удавалось не вдруг.

Дышали стволы раскаленною жутью,
частили хлопки самодельных гранат.
И стыли вдали, как тюремные прутья,
густые ряды полупьяных солдат.

А если к концу подходили патроны,
летели булыжники с каждой стены...
Я слышу,
как залпы, проклятья и стоны
доносятся с той и другой стороны.

С обеих сторон ощущение боли
и явь наподобье бредового сна.
Две веры,
два разных понятья о воле,
но правда одна и победа одна!

Я знаю, не горы добра и не беды,
не тихую, словно забвенье, судьбу,—
нам гордые, вечно ослушные деды
примером своим завещали борьбу.

Беспечны по виду и модно одеты,
мы все и доныне в ответе стократ
за то, что когда-то
на теле планеты
багрово вспухали рубцы баррикад.

Мы жаждем сердцами не отзвуков боя,
а тех грозовых и щемящих минут,
когда ты живешь,
точно впрямь над тобою
трепещет пропитанный кровью лоскут.

И так понывает под ложечкой сладко,
как будто увидел сквозь дымную мглу,
что вот уж и вновь белоснежной перчаткой
махнул офицер пушкарям на углу.

В бегах

Отчаянье, голод, простуда,
бессилье, сменявшее прыть...
Куда я, зачем и откуда —
никто не решался спросить.

Но, загнанно рушась на землю,
я, словно пастушьи рожки,
забытым мелодиям внемля,
к губам подносил родники.

Смотрел,
как в ознобе веселом

болтаются при большаках
хмельные сибирские села —
котомками на посошках.

Зубами от холода ляскал,
хоть плавила душу жара,
и на сеновалах щелястых
вполглаза дремал до утра.

И вновь не быстрей и не тише
петлял босиком без дорог.
И солнце, как тетерев рыжий,
взлетало в зенит из-под ног.

Плутал от зимовья к зимовью,
замшелые корки грызя.
Казалось мне, налиты кровью
неведомых ягод глаза.

Казалось, чуть сближу ресницы —
с церквей, полонивших закат,
кружа, будто хищные птицы,
кресты над Россией летят.

Но жаждал я,
в муке свободы
еще не измучась вконец,
царем стоязыкой природы
нагрянуть к царю во дворец.

Как сжатые веком пружины,
мне снились дробящие шаг
не рати — стальные дружины
голодных и злых работяг.

Когда-то из цеха формовки
за то меня вышибли вон,
что в тощем кисете листовку
нашел у меня фараон.

Но, лютый, бездомный и сирый,
до ссылки прошедший централ,
я все же назад по России,
а не из России бежал.

Копил не деньгу, а эпоху,
шпиков сторонясь за версту.
Да метил оттуда, где плохо,
туда, брат, где невмоготу.

И, не припадая к планете,
молчали и лес и жнивье,
предчувствуя
в скором рассвете
и слово и дело мое.

Красная Пресня

От края до края, от песни до песни
раскинулись грязные улицы Пресни.
И — верно, с получки —
на них не впервые
куражатся буйные мастеровые.

Могем и по окнам...
Могем и по роже...
Война фараонам, собакам, прохожим.
Война магазинам, витринам, посуде.
Мы русские люди — рабочие люди.

Нам любы
в гульбе до последней полушки
и тихий напев, и срамные частушки.
Нам любы
и слезы, и грусть, и веселье,
и лютый первач, и казенное зелье.
И тайные ласки, и жаркие губы.
Нам память о них
да похмелье не любы...

Замри, моя юность,
умри и воскресни
в глухих переулках клокочущей Пресни!
Не пьяная свара,
не стенка на стенку —
здесь правда грозит мировому застенку.
Грозит не глазами и не кулаками,

а злыми и ловкими боевиками.
И в дьявольской пляске
на рамы, на крыши
взлетает мятежное пламя Парижа.
И стынут друзья в окровавленной груде.
Мы русские люди — рабочие люди.
Наган на троих,
на дружину винтовка...
Печальные песни о нас — лакировка.
Мы ждем не стенаний,
а яростных стонов.

Драгуны, озлясь, не жалеют патронов.
И — залпами...
А надо мною закаты
летят кирпичами с немой баррикады.

Так нам ли
дремать благодушно и пресно,
моя современная Красная Пресня?
И нам ли
мечтать о несбыточном чуде?
Мы русские люди — рабочие люди.
На улицах, некогда политых кровью,
мы стройки кладем облакам в изголовье.
Гордимся и силой, и сдержанным тоном,
как ты, мой район,—
и стихом, и бетоном.
Ты стал,
этот век начиная собою,
моим вдохновеньем, моею судьбою.

Ты — словно окно,
выходящее в небыль,
окно, застекленное солнцем и небом.
И я не сквозь будничность
личной свободы —
смотрю сквозь тебя на людей и на годы.

* *
*

Заслоняя дремлющие дали,
Пресня задремала и сама.
Клавишами смолкшего рояля
стынут в полусумраке дома.

Липы,
будто вдовые солдатки,
мерзнут в ожидании зари.
Да в отполированной брусчатке
сумрачно желтеют фонари.

Да поземка,
вскидываясь дико,
на бегу отпугивает высь.
Съежусь я от мысленного крика:
«Прошлое, откликнись! Отзовись!»

Но лишь окна
глянут темно-сине,
да метель, соскальзывая с крыш,
прошуршит по киногероине,
машущей косынкою с афиш.

Машущей то весело, то строго...
Подобрав к покорности запал,
улицы района,
словно строки,
Пятый год в историю вписал.

В этом Пятом,
пламенем объятом,
здесь визжала царская картечь.
Здесь под пули выбегали в Пятом,
чтобы победить или полечь.

Здесь дружинам приходилось туго,
здесь бомбисты гибли без затей,
чтобы нам с тобой
любить друг друга
и растить всезнающих детей.

Чтобы им, как нам, хватало «пятых»
не для гибели, а для трудов.
...Тот же век.
Декабрь семидесятых
высвеченных памятью годов.

* * *

Плывут по поднебесью
Стожары и Стрельцы.
Проходят Красной Пресней
девчонки и юнцы.

Загадочные взгляды.
Трещотка каблуков.
Сверхмодные наряды
пугают стариков.

И пусть одни
в зените,
других слепит закат,
но кто мы, извините,
без этих вот ребят?

Без этих вот — зеленых...
Они, воздев очки,
несут магнитофоны
и сумки-сундучки.

Склоняются к гитарам,
как вещие певцы.
Идут по тротуарам
девчонки и юнцы.

Идут и судят дерзко
дела своей земли.
Не зря мы
наше детство
в тревогах провели.

Идут и дышат жарко.
А юность наших дней
немецкие овчарки
душили у плетней.

Прицелов перекрестья
нащупывали нас...
Так пусть же
Красной Пресне
не дремлется сейчас!

Пусть у виска России
с восхода до темна,
подобно жилке синей,
пульсирует она!

* *
*

Летний день уходит
без возврата:
улицам свежо на ветерке
и румянец русского заката
тонко догорает вдалеке.

И легко пустеют магазины,
и огни машин — что светлячки.
И слепят стеклянные витрины,
как мотоциклетные очки.

Здесь знаком нам
каждый переулок.
Но, хоть как былое береги,
торопливо множатся шаги
наших краснопресненских прогулок.

Видишь,
в сквере сохраняют годы
то накидку канувших времен,
то пиджак давно забытой моды,
то потертый китель без погон.

То глаза, мигающие часто,
то несильно стиснутый кулак...
Здесь и рядовые и начальство
отшумевших строек и атак.

Позабыть ли новому о старом?
И над бездной чистого листа
юностью любуешься недаром,
зрелостью гордишься неспроста.

Дряхлость почитаешь не случайно.
Здесь мы,

друг от друга не таясь,
Пресней переполнены, как тайной,
постигаем дней взаимосвязь.

Видишь,
там, где громыхало глухо,
где звучало «целься!» или «бей!»,
стройная и смуглая старуха
черствым хлебом кормит голубей.

Юрий ГАЛЬПЕРИН

Дом на площади Восстания

Площадь Восстания... Как просто и сильно назван этот кусочек московской земли! Вспоминаю, что Кудринскую площадь переименовали в 1919 году, значит, еще при Ленине... Тогда же и улицу, что спускается от площади к Красной Пресне, нарекли Баррикадной.

Останавливаюсь подле двухэтажного старинного домика с подслеповатыми оконцами, сохранившегося, вероятно, лишь потому, что жил в нем когда-то композитор Чайковский. Пытаюсь представить себе, как выглядела эта площадь в декабрьские дни 1905 года...

На углу Садовой-Кудринской и Баррикадной нарядное желто-белое здание с портиком и колоннадой — бывший Вдовий дом. Он, по праву очевидца, принял на свой фасад бронзовый барельеф в память о происходивших здесь боях.

И тут же на площади монументальное здание — высотный дом, двадцать два жилых этажа. Это одна из достопримечательностей сегодняшней Пресни; как гигантский обелиск высится он на месте баррикад.

Мне предстоит встреча с жителями этого дома. Я уже бывал там, листал толстенные домовые книги. Сколько имен, знакомых всей стране!

Судите сами: герой исторических перелетов Михаил Громов, гроза фашистских оккупантов, партизанский генерал Александр Сабуров, строитель Куйбышевской гидростанции и Асуанской плотины профессор Иван Комзин, заслуженные летчики-испытатели Константин Коккинаки, Марк Галлай, Сергей Анохин и его жена — первая советская планеристка Маргарита Раценская, участник гражданской войны генерал Николай Соколов-Соколенок, народный артист Советского Союза Михаил Царев и народная артистка республики Элина Быстрицкая, известный врач-терапевт профессор Борис Вотчил и ученый-астроном Алла Масевич...

Что это — дом избранных? Нет, дом славных! Славных трудом, ратными подвигами, творчеством.

Здесь живут люди, защищавшие революцию, строившие новый мир и прославившие его.

Сперва я записывал номера квартир и телефонов, потом перестал... Да, о каждом из названных можно писать книги (а о некоторых они давно написаны). Не смогу я побывать у всех, хотя хотелось бы познакомиться, пожать руку и сказать: спасибо!

Решил начать с Лещенкова, Ионы Михайловича.

Высокий, подтянутый человек в сером джемпере проводит меня в комнату. На обеденном столе отогнута скатерть

и разложен инструмент: плоскогубцы, штангенциркуль, небольшой, ухватистый молоток. В плоской коробке сложены напильнички, сверла...

Такой любовно ухоженный инструмент можно увидеть у талантливого мастерового, умельца. Иона Михайлович прибирает начатую работу:

— Вот решил немного подделать карбюратор, приспособленьице тут одно мастерю, машину не бросаю до сих пор.

— Это не ваш ли светленький «Москвич» у подъезда?

— Мой, недавно вернулся из автопробега, две тысячи шестьсот десять километров прошел по донским степям... Но это я так... С чем пожаловали?

Стараюсь скрыть удивление — автопробег, когда водителю близко к восьмидесяти... Шутка ли сказать!

Хозяин дома приветлив, но сдержан, и, боясь разрушить едва наметившийся контакт, рассказываю о нашей коллективной книге.

Иона Михайлович переспрашивает и, показывая на не замеченный мною слуховой аппарат, просит говорить погромче.

— Так о Красной Пресне книга? Одну минутку.

Он снимает с полки несколько объемистых папок, затем отбирает одну, нужную.

— С Пресней меня связывает нечто большее, чем проживание в этом доме. Дело в том, что в двадцатых годах я работал на одном здешнем заводе. В 1930 году по инициативе Серго Орджоникидзе был создан вечерний рабочий политехникум. Вот смотрите...

Иона Михайлович открывает папку. В ней аккуратно, по годам, сложены документы, справки, грамоты. Потом, познакомившись с другими папками Лещенкова, я понял, что это настоящий клад для историка, изучающего советский период.

Так и сказал Ионе Михайловичу.

— Да полноте, какой тут клад, я для внуков собираю, пусть знают достоверно все о своем корне. Вот на полке тетради — в них вся моя жизнь описана, начиная с детства. И путешествие по донским степям, на родину совершил в честь столетия со дня рождения кузнеца Михайлы Лещенкова, отца моего.

А пока я держу в руках маленькую книжицу: «Студенче-

ский билет. ВСНХ ГЛАВВТУЗ СССР. Московский практический вечерний рабочий Политехникум для производственного актива металлозаводов. Прием 1930 года».

За этим кусочком картона видится мне важная веха советской истории. Государство готовило из рабочих командиров производства.

— После четырех лет обучения давали нам диплом инженера-практика. Но главное не диплом, а хорошая подготовка теоретическая — нужна она была мне просто позарез. С 1932 года стал специализироваться в новом деле — производстве металлических воздушных винтов для самолетов, или, как их называли, пропеллеров. Летали-то раньше на деревянных. Вышло так, что первые пустотелые винты делать довелось мне, вот авторские свидетельства...

Свидетельств пять. Положив бумаги на место, Иона Михайлович продолжал:

— Слышали про самолет-гигант «Максим Горький»? Вот для него поручили изготовить металлические винты. Чтобы сделать эти невиданно громадные лопасти, пришлось срочно выехать на один крупный завод. Там не сразу, конечно, удалось отштамповать эти махины. А лопасть винта, надо вам пояснить, вещь тонкая — точность необыкновенная во всем нужна: и конфигурацию, и вес до грамма выдержать, словом, ювелирная работа. Это был первый опыт. Потом готовили мы трехлопастные металлические винты для самолетов, на которых Чкалов и Громов в Америку летали.

— Иона Михайлович, наверное, и я летал на ваших винтах в довоенные годы?

— Летчиком были? На чем летали?

— На СБ.

— Точно, первые винты с изменяемым шагом для СБ мы делали. Двадцать лет отдал я этому производству.

— А потом?

— Потом с конструктором Яковлевым работал, начальником цеха сборки и испытаний самолетов. Выпустили тогда первые истребители «яки», и мне поручили готовить самолеты к параду на Красной площади 7 ноября 1940 года. Машины получились прекрасные, ну, это известно, война подтвердила, а тогда их впервые показали на параде.

Вот так... Дальше, у Алексея Николаевича Туполева десять лет, сперва начальник цеха, потом старший инженер по винтам. Да...— покачал головой Лещенков,— сорок лет только в авиационной промышленности.

— А всего?

— Это как считать, вообще-то, много больше. Знаете,— он впервые улыбнулся,— могу рассказать, не как начал, а как кончил работать. Решил про себя: сил хватит — буду трудиться до пятидесятилетия Советской власти. Это для меня двойной юбилей: посчастливилось Зимний штурмовать... Так доработал. Праздники отметили, а мне уже тогда семьдесят три стукнуло, пора, говорю, молодым место уступить... Вот и весь рассказ.

— Что вы, Иона Михайлович! Совсем не весь, только начало. Вы о семнадцатом годе не рассказали, о революции.

— Так это уже к Пресне отношения не имеет.

— Имеет. Вы в Октябре продолжали то, что начато было на Пресне в пятом году...

— Откровенно скажу, не по душе мне громкие слова, может быть, потому, что часто произносим их всуе... Конечно, судьба любого бойца поучительна, да и каждого честного труженика, скажем, такого, как мой отец. Да вот интересно ли?

Разговор был долгим. Мы встречались еще не раз. Не вдруг получил я доступ к семейному архиву. Зато теперь с разрешения Ионы Михайловича могу рассказать историю и семьи Лещенковых, и его самого. Моими «помощниками» в этом деле будут испещренные записями блокноты, верный спутник радиожурналиста — звуковая «записная книжка» — магнитофон и выдержки из автобиографических записок Ионы Михайловича. Их он озаглавил так:

«Мы — кузнецы.

Посвящается памяти моего отца, ко дню столетия со дня рождения».

Начало записок — рассказ о том, как тринадцатилетний сирота Михайла Лещенков был отдан в ученье к кузнецу в станице Нижне-Чирской. Став мастером, молодой кузнец женился на девятнадцатилетней Федосье.

«Первым родился я,— записал Иона Михайлович,— в 1894 году. По рассказам отца, в день моего крещения хотели дать мне имя Петр или Алексей. Но в тот день было в святцах еще имя Иона. Поп и нарек меня Ионом. Не понравилось отцу, но пришлось согласиться».

«...Семья выросла, появились братья: Василий и Сергей, сестра Люба. Я был поведения тихого, прозвище получил в школе «Из чрева кита», по библейской легенде...

В 1907 году, неурожайном, тяжелом в наших краях, отец

подрядился на Урал, строить большую мельницу. Он и меня взял с собой, к делу приучать.

Собираясь в дальний путь, отец смастерил большой ящик для инструмента. В нем помещалось все необходимое: напильники, метчики, плашки... Этот ящик до сих пор у меня.

Поселились мы с отцом на станции Чумляк. Во дворе у нашей хозяйки пустовал саманный сарай, бывшая пекарня, и отец решил оборудовать в нем кузницу. Это было первым моим заданием.

Вместе с хозяйкиным сынишкой, который с радостью определился ко мне в помощники, мы вычистили помещение, разобрали старую печь до половины и на ней сложили горн. Потом врыли два березовых столба, приладили поперечину. К перекладине подвесили кузнечный мех, качалку сделали, чтобы двигать мех. Все сами.

Какое же было чудо, когда мы натаскали древесного угля и впервые разожгли горн!

Отец похвалил и сказал, что надо сложить над горном трубу, вывести ее на крышу. А надымили мы здорово. Сложили трубу.

Потом вкопали в землю огромную деревянную плаху, на ней закрепили наковальню, звонкую. Отец любил такие наковальни, умел под удары молота, которым орудовал молотобоец, очень красиво пристукивать ручным молотком. Получалось, будто в колокола звонят.

Как-то зашел к нам поглядеть хозяин мельницы Малахов, у которого работал отец. Тоже похвалил и посоветовал сделать вывеску, дал нам два листа железа, краску.

Я старался вовсю. Покрасил листы в черный цвет, вставил их в рамку деревянную. Белой краской вывел: «Кузнечно-слесарная мастерская». Наковальню нарисовал, тиски и напильник. Вышло хотя и коряво, но здорово. Врыли два столба и повесили вывеску. И сразу посыпались заказы.

Когда осенью вернулись домой, стал я уже неплохим подмастерьем.

Первый заказ отец получил от купца Волкова — поставить перед его домом красивую железную арку и на крыше решетки.

Я усердно работал в кузнице, а по вечерам сидел за учебниками, чтобы сдать экстерном [1]. Дел в нашей мастерской все прибавлялось. Отец взялся ремонтировать маслобойню с

---

[1] За курс тогдашнего городского училища. (*Авт.*)

паровым локомобилем. Выписал книги о паровых двигателях. Мы с ним разбирали устройство механизма, назначение деталей.

Как-то на станции увидел, что выгружают незнакомые моторы, похожие на картинки в моих книжках. Это был керосиновый «Бенц» с карбюратором и электрозапальником и «Дон Карлос», нефтяной, с форсункой и запальным шаром.

Начал узнавать, кому их привезли.

Нашел немца-механика Эдмунда Ивановича Клейна. Моторы для мельницы в одной из станиц. Я к механику:

— Возьмите в ученики на установку, а плату какую дадите, спасибо скажу. Научите быть около них машинистом.

— Больно уж ты молод, малец...

Ухватил механика за руку и чуть не силком к отцу привел. Тут немец узнал, что я уже кое-что умею. Договорились, что сделаю анкерные болты для крепления моторов к фундаменту и с ними приеду в станицу. Я ликовал.

Когда отковывал в кузнице головку анкерного болта, на ногу упал большой кусок раскаленной окалины, да прямо в башмак. Прожгло ногу. И шрам на правой ноге остался на всю жизнь как помета о вступлении в настоящую технику.

...Много пришлось чинить машин, перенимал опыт у мастеров, до всего пришлось своим умом доходить. Копил деньги, чтобы учиться на шофера-монтера. Мечтал об этом. Отец выписал из Москвы программу автомобильных курсов. По тем временам для коваля непростое дело — поехать в Москву.

Собрали мы триста рублей денег, как раз столько стоило обучение. Отец запросил курсы: если приедет мастеровой, знающий машины, и будет полдня бесплатно работать по ремонту автомобилей, то нельзя ли внести за курс половину?

Владелец курсов ответил согласием. Выходит, что на собранные деньги можно и курс пройти, и просуществовать все время учебы в Москве.

Поехал после новогоднего праздника, в январе 1913 года. Со мной чемодан, одеяло с подушкой, ящик с продуктами. Деньги зашиты в поясе.

Не стану рассказывать о путевых впечатлениях, о том, как ошеломила меня Москва. Добрался, нашел Петербургское шоссе, дом один. Время подходило к вечеру, занятий на курсах уже не было. Сторож разрешил переночевать.

Устроился на заднем сиденье автомобиля, стоявшего в мастерской, и долго не мог уснуть. Ведь сбылась давняя мечта.

Утром я предстал перед хозяином школы инженером Кржевицким: «Уж очень ты молод, парень, сумеешь ли заработать свои сто пятьдесят рублей?»

Вызвал он мастера и велел дать мне на пробу слесарную работу.

За мной наблюдали. Работал я спокойно и проверку прошел успешно. Ночевал снова в автомобиле. Так поступил на курсы.

Поселился я на Лесной улице, недалеко от Триумфальной арки. Удобно — школа рядом.

Начались занятия в классах. Лекции читали знающие инженеры. Мы разбирали и собирали агрегаты автомобиля, двигатель. Практический курс езды проходили в аллеях Петровского парка.

С утра я занимался, а после обеда ремонтировал машины. Тяжело, конечно, но и польза была.

Каждое свободное воскресенье, с утра до вечера, бродил по городу. Все хотел увидеть, все узнать. Счастливая пора!

Приходилось экономить деньги! А как? Ясно, что на питании. Обедать ходил через день — в Народный дом на Грузинах. За шесть копеек суп, а на другой день обедал уже с шиком за двадцать одну копейку. Замечу, что в том же Народном доме побывал на концерте знаменитой балерины Гельцер. И в театре был, и в цирке, и в Третьяковке.

Запомнилось еще, как на Ходынке видел полеты известного авиатора Габер-Волынского. На хлипком аэропланчике он два раза поднялся в воздух...

Подходило время экзаменов. Инженеры очень придирчиво проверяли наши знания.

В апрельский день девять выпускников с тремя автомобилями расположились вблизи памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Мне предстояло сдавать экзамен на французской машине «Берлие». Сдал я хорошо. Но это был начальный этап, а хотелось получить диплом шофера-монтера, или, по-нынешнему сказать, механика.

В Московской городской управе получил права на вождение автомобиля за № 353...»

Через год Иона Лещенков получил права шофера-монтера за № 62.

В начале 1914 года был объявлен призыв охотников-добровольцев в автомобильные части. Все равно приближалось для Ионы время службы в армии. Решил податься в «охотники». В московском манеже Иону экзаменовали. Предложили выбрать любой из шести стоявших там автомобилей, завести, проехать два круга, сделать «восьмерку» и задним ходом поставить машину на стоянку.

Выбрав немецкий «Адлер», Лещенков легко и красиво проделал все, что требовалось.

Так он попал в автомобильную роту, расквартированную в Петербурге. Было Ионе тогда двадцать лет.

Вскоре разразилась война.

Лещенков переходит в бронедивизион, оснащенный английскими машинами «Остин». В первом же бою у реки Нарев выяснилось, что хваленую броню пробивает ружейная пуля...

В одной из операций броневик попал в воронку и оказался под сильным артиллерийским огнем противника. Командир и механик убиты. Лещенков ранен... Ночью удалось спасти подбитый броневик. Так Иона Михайлович стал георгиевским кавалером. После госпиталя он в Петрограде на нестроевой службе, в автомастерских бронедивизиона.

В разговоре, в знакомстве с документами дошли мы до года 1917-го.

— К тому времени был я старшим мастером по ремонту броневиков. Теперь покажу драгоценную для меня бумагу.— Иона Михайлович достает несколько машинописных листков, заверенных печатью:

«Воспоминания солдат, старших мастеров автоброневых мастерских Броневого дивизиона Оганьяна М. С. и Лещенкова И. М. о Февральской революции, о встрече В. И. Ленина на Финляндском вокзале, о штурме Зимнего дворца броневиками и о выезде в Пулково».

Оригинал этого документа — свидетельства двух ветеранов революции — находится в партийном архиве Ленинграда.

Из воспоминаний явствует, что вошедший в историю особняк балерины Кшесинской был после Февраля занят солдатским комитетом мастерских бронедивизиона под клуб и библиотеку.

Председатель солдатского комитета — Мирон Оганьян, а душой всей революционной работы был ефрейтор Георгий Елин, большевик-подпольщик.

По его предложению, вопреки протестам офицеров, часть особняка в марте 1917 года передали большевикам. Там разместились Центральный и Петроградский комитеты партии.

Решение это Елин провел на общем собрании мастерских, его же назначили комендантом особняка.

В начале апреля Елин созвал группу революционно настроенных солдат. Был среди них и Лещенков. Рассказал тогда Елин, что получена телеграмма: прибывают из Швейцарии Ленин с товарищами-эмигрантами. Надо подготовить машины к встрече.

Солдаты задумались.

— Грузовик обеспечить можем, немного подделать, и пойдет...

— Легковая тоже почти готова...

— Людей нет, пасха ведь...

— Людей соберем,— сказал Елин.

— Если поможете, то и броневик дадим, есть один на выходе,— предложил Лещенков,— только вот как из мастерских выехать?

— А ты доложи начальству: остались, мол, кое-какие дефекты, проверить надо на пробной обкатке. Но учти, дело серьезное: за вывод боевой машины могут и под военно-полевой суд. Не боишься?

— Нет, Егор. Я хоть не записался в большевики, но считайте — душой ваш. Будет броневик.

Под предлогом испытаний Лещенков получил у начальника мастерских разрешение на выезд.

Солдаты Володин и Зюзин помогли подготовить броневик, опробовали двигатель, и вечером Лещенков вывел на улицу боевую машину. За воротами ждал Елин. Слегка притормозив, Лещенков открыл бронированную дверцу, и Елин вскочил на ходу:

— Молодец, Иона! Давай к клубу.

Около особняка Кшесинской уже собрались солдаты, рабочие. Над толпой красные флаги.

Тут же несколько грузовых и легковых автомобилей, дежурный броневик под командованием Оганьяна.

Выстроившись в колонну, машины направились к Самсониевскому мосту.

Заводы стояли — был второй день пасхи, почти не ходили трамваи, а по вечерним улицам, что вели к Финляндскому вокзалу, шли, как на демонстрацию, группы рабочих, с ними смешивались отряды солдат, матросов.

На слабо освещенной привокзальной площади собралась огромная, празднично настроенная толпа встречающих.

Медленно продвигаясь сквозь толпу, броневики подошли к главному подъезду вокзала. За машиной Лещенкова, вышедшей из мастерской без оружия, встал легковой автомобиль, позади второй броневик с пулеметчиками.

В двенадцатом часу ночи раздались паровозные гудки. Тут же грянули оркестры.

Солдаты инженерных войск успели подготовить прожекторы, и над площадью, еще усиливая торжественность момента, вспыхнул яркий свет.

В дверях показалась группа приехавших. Впереди невысокий человек в темном демисезонном пальто с бархатным воротником.

— Не знаю, как описать свое состояние в тот момент,— вспоминает Иона Михайлович,— вижу Ленина первый раз, а глаз отвести не могу, радость вдруг охватила, душа поет, «ура» кричу со всеми...

И ведь еще не слышали Ленина, хотя видно, Владимир Ильич говорит что-то, улыбается.

А с площади уже кричат:

«Выше! Товарища Ленина выше!»

Несколько человек, что были рядом, подхватили Ильича и поставили на наш броневик...

Что дальше было — всем известно, повторять не буду, а вот что счастье мне такое выпало — встречать Ильича — не только гордость моя, но, можно сказать, с этого дня и весь путь определился. Считаю, что окончательно стал большевиком именно в этот день.

...Дальше было так. К нам подошел Елин и сказал, что Владимир Ильич поедет на броневике. «Ты, Мирон, за рулем,— велел он Оганьяну.— Веди потихоньку, на первой передаче. Люди рядом пойдут. Понятно?»

А Ленин спускаться сверху не захотел. Мы, кто был рядом, стали говорить, что ехать наверху опасно: рессоры у «Остина» жесткие, амортизаторов нет, мостовая булыжная, вообще дорога неровная, машину будет раскачивать с боку на бок. А Ильич улыбнулся и остался.

Оганьян плавно тронул броневик.

Все же держаться стоя было действительно трудно, и Ленин вскоре сел рядом с Оганьяном.

Справа, у мотора шел Подвойский, слева, у дверцы броневика — Елин, а за ними — Евсеев, Володин и я.

Дальше, за броневиком, члены ЦК и Петроградского комитета партии, потом — второй броневик.

На легковой машине, которую вел Косенков, ехали Н. К. Крупская и другие товарищи.

Передние смотровые щитки в броневике были открыты, и люди видели Ленина, видели, как Ильич сердечно отвечал на приветствия. Где было много встречающих, Ленин останавливал машину. Дверь открывалась, и Ильич, стоя на маленькой подножке, произносил короткую речь. Несколько раз Владимир Ильич выходил из машины, становился на капот броневика и опять говорил с народом.

Потом, когда доехали, Ильич вышел на балкон, и мы снова слушали его выступление.

Мне еще довелось слышать Ленина в Измайловском полку, в Михайловском манеже.

После июльских событий офицеры установили у нас в мастерских более жесткую дисциплину, но солдатский комитет и большевистская ячейка свою работу продолжали.

В середине октября Елин предупредил Оганьяна и меня — мы ведь руководили ремонтом машин,— что надо готовиться, дело идет к вооруженному восстанию. Тогда решили: ремонт грузовиков и броневиков затягивать подольше, не заканчивать, но машины держать в таком состоянии, чтобы их можно было выпустить по первому сигналу...

23 октября Елин сообщил, что Петроградский военно-революционный комитет назначил его комиссаром нашего бронедивизиона. Приказ — привести в боевую готовность два броневика. Командирами назначили Оганьяна и меня.

Теперь прочтем воспоминания Мирона. Тут все точно и кратко:

«...24 октября, примерно в 8 часов вечера Елин дал указание двум броневикам ехать к Смольному в распоряжение Военно-революционного комитета.

...Подъехали к Смольному. Елин передал приказ... нам двигаться к Зимнему дворцу, действовать по обстановке. Поехали по Миллионной к мосту Зимней Канавки, слышим ружейно-пулеметную стрельбу. У моста небольшой отряд рабочих-красногвардейцев. Командир просит помочь — перекрыть путь от Зимнего. Я оставил Лещенкова — не допускать подкреплений и отхода противника на Миллионную. Сказал, если мою машину подобьют — ему вступать в бой на Дворцовой площади.

На площади темно, только видны вспышки выстрелов. Мы тоже открыли пулеметный огонь в направлении баррикад, где засели юнкера...»

Дальше идет описание штурма Зимнего, ареста Временного правительства.

— Что еще пришлось вам делать в эти исторические дни, Иона Михайлович?

— Так ведь сразу же после Октября началось наступление на Петроград генерала Краснова. Нас с Оганьяном снова вдвоем отправили в Пулково. Там примерно сутки вели бои с красновцами, наши части разбили генерала, поход красновцев бесславно закончился.

Вот вся моя история тех дней.

— А после революции, Иона Михайлович?

— Это уж, как у многих. В 1918 году вернулся домой, а там сами знаете, что было на Дону. Снова воевать. Сперва с белоказаками, потом со всякой белогвардейщиной. Воевал на Южном фронте. Там разбитый трофейный автомобиль переоборудовал под «броневик». Ребята прозвали его «Голодранцем». Но «Голодранцу» этому удалось однажды с первого же появления решить исход важного боя...

После в автомастерских Южного фронта, вместе с братом Владимиром, участвовал в обороне Царицына.

Отвоевал, вернулся в Морозовскую, а там назначили меня первым красным директором завода сельскохозяйственных машин.

А позже повстречал друга юности, нашего морозовского, Моисеева. Он тогда был уже известным летчиком. Вот он и перетащил меня в Москву, в авиационную промышленность.

— А судьба братьев?

— Самый младший, Сергей, учился на рабфаке, строил Челябинский тракторный, потом был директором авиазавода, заместителем министра авиационной промышленности. Сейчас — доктор наук, начальник Научно-исследовательского института авиационной технологии. Люба, сестра, работала бухгалтером, на пенсию теперь вышла. Василий — участник октябрьских боев, заместитель главного механика на одном из заводов.

Все Лещенковы в технике. Как отец нас к ней приставил, так и пошло. Вот и дочка моя, Зоя, тоже специалист по авиации, кандидат наук. А что из внучонка Володи выйдет — сказать трудно, школьник еще.

...Рассматривая папки с документами я обратил внимание на диплом мастера спорта по автотуризму. Диплом под номером 1.

Подтверждают спортивные заслуги Ионы Михайловича десятки альбомов — по каждому пройденному им маршруту.

— Сорок тысяч фотографий, все мною сделаны. Там же и отчеты, путевые листы. Ну вот, посмотрите хоть этот,— горделиво протягивает мне Лещенков объемистый альбом.— Мне уже семьдесят было. Забрались с женой в горы Кавказа. Двадцать два перевала одолели, десять тысяч километров по горным дорогам!

И вот что любопытно: теперь, на пороге восьмидесяти лет, Иона Михайлович строит планы новых путешествий. Крепкой породы человек. Кузнец.

Дом на площади Восстания. Много раз приходил я туда, встречал множество интересных людей — о каждом можно было бы рассказать. Вот и сегодня, когда я забежал к Ионе Михайловичу — надо было кое-что уточнить в его рассказе — в вестибюле встретился мне экс-чемпион мира гроссмейстер Василий Смыслов... Народный артист республики, популярный актер эстрады Лев Миров вел за ручку любимую внучку Катюшу... С чемоданом, отправляясь в дальний вояж, вышел к ожидавшей машине ученый-полярник Андрей Петрович Капица...

Многогранна жизнь обитателей одного лишь дома на Красной Пресне. И опять я подумал о том, что их труд продолжает подвиг борцов, сражавшихся здесь на баррикадах.

Дмитрий ЕРЕМИН

Старухи

Рассказ

Если бы семидесятипятилетней Евдокии Карповне сейчас сказали, что она в тот, теперь уже далекий, день поступила, как нищенка, старуха не приняла бы упрека. По крайней мере, на мой вопрос об этом она сердито сказала, сверкнув из-под сивых бровей настороженно-колючими коричневыми глазами:

— Чего ты, парень, плетешь? Какая такая нищенка?

Старуха заметно порозовела, смущенно хмыкнула. Но морщинистое лицо ее оставалось по-прежнему несогласным.

— Ты брось неведомо что болтать,— добавила она сердито и оглянулась: не слышит ли кто неприятного разговора? — Ишь чего выдумал, лукавый тя раздери!

С ней и с заведующей Домом престарелых работниц Анной Петровной мы сидели в уютной, светлой гостиной. Под нашими ногами пестрел, как пышный луг накануне покоса, огромный ковер. На столе, посредине гостиной, сверкала пузатенькими боками большая фарфоровая ваза, и в ней розовел, зеленел, синел и желтел такой же большой букет осенних цветов.

Окна гостиной были задернуты шелковыми гардинами палевого оттенка. На аккуратно оклеенных дорогими обоями стенах висели картины. Под ними стояли обитые плюшем диваны и кресла. Несколько рядов гарнитурных стульев выстроились перед главным простенком, где на рижском фигурном столике виднелся полированный ящик телевизора новейшей марки: минут через двадцать, когда закончится перерыв после только что сделанного мною доклада, на эти стулья сядут такие же, как Евдокия Букина, древние старухи и на экране для них начнется фильм, а затем концерт...

Одна за другой старухи-пенсионерки уже появлялись в гостиной с добрыми, порозовевшими после ужина лицами. Они присаживались на диваны и кресла, вели негромкие разговоры, и Анна Петровна, указывая глазами то на одну, то на другую из них, вполголоса поясняла:

— Вон та, с бородавкой, ткачиха Марья Смирнова, сорок пять лет проработала в ткацкой... стаж! А та вон красильщица — Мальцева Антонина. Производственный стаж ее чуть поменьше, чем у Смирновой. Вот эта, дряхленькая, Матрена Картонникова. Годами она моложе своих подруг, а на вид, пожалуй, постарше. Вглядитесь...

Но я невнимательно слушал Анну Петровну: было уж очень заметно, что, прикрепленная парткомом текстильного комбината к Дому престарелых работниц в качестве общественного директора, сдержанно-официальная с посторонним человеком, она своими пояснениями все время старается отвлечь меня от неуместных, как ей казалось, расспросов и разговоров с бабкой Букиной.

А меня-то как раз именно эта старуха и занимала. Она уже кое-что успела мне рассказать, и теперь, до начала сеанса, я торопился узнать побольше...

■

Старуха не собиралась делаться попрошайкой.

— Об том и в мыслях я не держала! — настойчиво уверяла она, испытующе поглядывая на меня из-под косматых бровей: «Поверит ли хитрый «парень»? — Подумай ты, стыд какой — просить подаянье! Одной-то мне много ли было надо! Слава богу, пензии и тогда мне хватало...

Старуха произносила: «пензия», нажимая на это слово с особенным удовольствием, как на главное доказательство того, что быть попрошайкой «и в мыслях она не держала»...

— Хоть небольшая была та пензия, верно,— говорила она все тверже.— И хоть несытно, а все — кормила. И угол свой был. Хоть угол и невелик, не больно и грел, если сказать по правде, а все же казалось, что свой до гроба! В одном только, парень, всегда возникала трудность: одной-то до невозможности скушно! У них, молодых, и театры с кином, и площадки для танцев-шлянцев, а нам одним каково? Когда под восьмой десяток — житье не ахти какое!

— Подруг уж, конечно, мало...

Она оживилась, толкнула меня локотком:

— Ой, не скажи! Живут еще наши бабы-скрипучки, живут! Вишь, сколько их в нашем Доме? Ткачихи, мотальщицы да сновальщицы, шлихтовщицы да отбельщицы...

В прошлом тоже ткачиха, старуха произносила эти слова

по-фабричному, с ударением на первом слоге: мо̀тальщицы, сно̀вальщицы, и это придавало особый оттенок всей ее речи.

— Только нам, старым, и было отрады, что с этой товаркой разок на неделе встретишься, с той в церквушке лоб перекрестишь, с третьей изредка вспомнишь: «Как-то скрипит моя Лизавета Козлова? Пойду к ней в гости схожу» — оно не так уж вроде и скушно! А в праздник, бывало, тем более в государственный, сходишь к снохе...

Евдокия Карповна оживилась:

— Хорошая баба сноха моя Катерина! Деловая да умная — страсть! И тоже ткачиха...

— А у нее почему не живете?

— Все потому! — Старуха вздохнула: — Звала меня Катя. Звала и звала: поживите, мол, мама...

Она помолчала, вытерла губы ладошкой и неожиданно улыбнулась. Улыбка была и горькой и доброй — в какой-то печальной дымке.

— Когда сынок мой Андрюша погиб на войне под городом Курском, осталась Катя, сноха, вдовой. А ух как деток ловко растит! И так-то уж сноровиста! Придешь к ней — приветит, как мать родную: «Садитесь, мама. Чаю хотите? Машутка, скорее ставь нашей бабоньке чайник!» — «Не надо, говорю, мол».— «Нет, обязательно выпьем: булка да масло сегодня — све-еженькие! Сергунька, ты чего бабке мешаешь?.. Нет-нет, мамаша, мешает. Сядь, милый, с бабушкой рядом да покажи ей книжку. Дай и бабушке отдохнуть: ей нынче тоже ведь воскресенье...»

Старуха сурово поджала губы:

— Однако не вышло. Не захотела я к ней на шею влезать. Да тут еще этот лукавый меня попутал...

— А как же он вас попутал? — с улыбкой спросил я, приняв слова старухи за шутку.

Она в ответ улыбнулась:

— Да так, как и всех: соблазном!..

В то утро, по словам старухи, у нее «и в мыслях не было» делаться попрошайкой. Вышло это случайно: вдруг захотелось сладкой халвы.

— Что хочешь делай,— объяснила она, усмехнувшись,— а чаю с халвой мне вынь да положь в тот вечер! Приглашу-ка, я думаю, в гости Марью Смирнову, попьем чайку! Грамм триста хотела купить. Сунулась было в кассу, а мне оттуда: «Бабушка, мало!» Здесь же у кассы стала я пересчитывать свой запас. Пересчитала деньги — не поняла, сбил по-

купатель: толкнул меня локтем, чуть все с ладони не полетело. Пришлось пересчитывать еще раз. И только я кончила счет, как кто-то сказал над ухом:

— На́ тебе, бабушка, что осталось! — и прямо в ладошку сунул восемь копеек...

Не успела она понять, в чем дело, как бес в коричневой шапке («На самый затылок ее он сдвинул, вот-вот слетит! И чуб спереди будто грива...») уже отошел от кассы, спокойно подал свой чек продавцу, взял сверток — и был таков. Бежать за ним следом? Неловко. И не успеешь. К тому же ведь вот удача: как раз этих восьми-то копеек и не хватало на триста граммов халвы! Слаб человек, нестоек. Пришлось сказать тому доброму бесу вслед: «Спасибо, сынок!» — и сунуть денежки в кассу.

— Случай, скажу, не ахти какой,— усмехнувшись, проговорила старуха.— А вот, выходит, что он и явился всему началом!

Она указала рукой на сияющий мир гостиной:

— Ведь, может, как раз из-за тех восьми-то копеек с Домом для нас, престарелых, и началось! Выходит, что я положила всему начало...

— Ну, ну! — упрекнула старуху Анна Петровна.— Хорошее дело не принижай. Оно, уж поверь мне, возникло из-за другого!

— Не говорю, из чего оно вышло от корня,— строптиво, но все-таки согласилась старуха.— Возникло оно, конечно, из основного закона Советской власти насчет заботы об человеке. Это мы понимаем. Это само собой. А я говорю другое: из-за меня у Ивана Никитича мысль в те поры возникла!

— Ну, может, частично это и так,— в свою очередь, согласилась Анна Петровна.

— Об этом и речь! Сам же Никитич первый признаѐт, коль спросим, что так и было...

И в самом деле: секретарь райкома партии Иван Никитич Григорьев задумался над судьбой престарелых работниц в своем районе после войны действительно из-за бабки Букиной. В тот день по пути из райкома в партком текстильного комбината он забежал в магазин купить папирос и коробку спичек. Самому заниматься этим ему приходилось редко, и он, встав в очередь к кассе, взглядом свежего человека сразу заметил старуху: стоит возле кассы неважно одетая бабка, молчит, чего-то смущенно мнется, хотя и не просит, а в руку ей кто-то походя сунул сдачу.

Лицо старухи явно знакомо. Ну так и есть: бывшая ткачиха Букина Евдокия... вот тебе раз!

— Ты чем же, бабушка, промышляешь? — спросил он, забыв о спичках и папиросах.— Неужто милостыней живешь?

Старуха смутилась: надо же так случиться — сам секретарь! Не ожидала она увидеть Григорьева в этот час в магазине. Хоть не ахти как знаком и в районе, считай, новичок — всего пять лет назад в районе о нем и узнали, а все — начальство. Однажды ее и других старух пригласили в райком, а потом и на юбилей текстильного комбината. Старухи сидели рядком в президиуме, вели разговоры с Григорьевым и директором комбината Петровым. Выходит, не то, чтобы очень знакомы, а все же мужик душевный: партийный товарищ...

Подумав об этом, старуха сказала:

— Я так... стою себе. Вон сдуру, чай, дал какой-то. Да не бежать же теперь за ним — на, мол, обратно?

— Бежать ни к чему. Но могла бы и не брать.

Старуха насупилась: ишь ты, въедлив этот Григорьев. А рассудить-то: что человеку пять либо восемь копеек? Дал не из жалости, а по дружбе. И не на немощь дал, а просто от доброты: «Покушай, мол, бабушка, повкусней за наше здоровье!» Только-то и всего... Подумав об этом, она угрюмо сказала:

— Не нищенка я. А хочу — и стою у кассы. Кому я округ мешаю?

— Стыд, бабка, должен мешать. И прежде всего не тебе, а мне,— ответил Григорьев негромко и дружелюбно.— Давай-ка, старая, отойдем в сторонку. Ты мне расскажешь, что да к чему...

Неделю спустя в кабинете секретаря райкома собрались руководители фабричных парткомов, профкомов и комсомольских организаций текстильного комбината и других предприятий.

Еще через несколько дней в отделах кадров стали срочно просматривать архивы.

При помощи жилотдела райисполкома нашли адреса.

Девушки-комсомолки и женщины из завкомов пошли по квартирам.

Так набралось семнадцать старых ткачих, проработавших на комбинате по тридцать, по сорок лет, а теперь коекак живущих на пенсию: либо в перенаселенных комнатках

у родных, либо в таком же безрадостном одиночестве, как Букина Евдокия.

На заседании бюро райкома, а затем в главке директор комбината сделал доклад. Решили вначале для опыта создать интернат-общежитие для старух. Их пенсии лягут в общий котел. Правда, не очень-то густо будет в этом котле, поэтому надо в него добавить в три раза больше фабричных средств — из фондов директора и завкома.

— Выходит, «похлебка из топора»? — пошутил начальник главка, подводя итоги.— Как в сказке о бравом солдате Куроптеве! Но уж если солдат сумел сварить такую похлебку из топора, то мы-то, я думаю, при наших средствах сможем ничуть не хуже? А то о людях у нас забота, пока они у станка. Чуть вышел за проходную, никто по-людски и не вспомнит!

Он что-то пометил в своем блокноте, сказал:

— Устроим ткачих — займемся другими. Таких, полагаю, у нас наберется куда как больше семнадцати человек. Им тоже надо помочь. А старухам,— добавил он, оживившись,— надо все сделать с душой, добротно. Чтобы и дом был удобным, и в комнатах чистота. Пусть комсомольцы с завкомом шефство возьмут. Об этом товарищ Григорьев правильно говорил. Старухам, конечно, будут нужны и подарки к праздникам, и читка газет, и выступления молодежной самодеятельности. Экскурсии, может быть...

— До сих пор у наших старух пока что была популярна одна экскурсия,— усмехнулся Иван Никитич.— Как воскресенье, так идут гуськом на Ваганьковское. Сядут там на скамеечки да и делятся новостями. Чужих покойников до могил провожают. Вместе со всеми поплачут — и вновь на свои скамеечки, поболтать...

Весть о заводском Доме для престарелых разнеслась среди старух мгновенно.

— Держитесь, девки! Не поддавайтесь! — предупреждала подруг горбатенькая, самая недоверчивая из ткачих Матрена Картонникова в очередное воскресенье, когда они, шесть бабок, отдыхали после обедни среди могил на скамеечках и надгробьях.— Вдруг да нас только так завлекут, как, бывало, парни молоденьких завлекали? Наобещают, наговорят семь верст до небес и все лесом, а хватишься — только одни просчеты...

— Чего ты боишься недосчитаться? — насмешливо спросила Матрену неторопливая и благообразная, наиболее рас-

судительная и уважаемая из них, Марья Смирнова.— В чем тебя там обманут?

Она повернулась к настороженным старухам:

— Похоже, полсотни годов назад, а может и больше, нечаянно обманул Матрену какой-никакой ловкач-парень. Обманул, да небось плевался потом весь день. А она с тех пор никак и досе очнуться не может! Все ей мерещится обольщенье...

Старухи негромко, дробненько засмеялись.

— А что же, хоть поздно, а честь свою бережет! — усмешливо поддержала Матрену Букина Евдокия.— Оно и в старости беречь ее надо...

Подружки опять засмеялись, одновременно и одинаково вытерли, нет, не вытерли, а как-то очень уж по-старушечьи бегло обмяли смуглыми ладошками свои сухие, морщинистые губы и тут же притихли: что-то еще скажет разумная Марья?

Та добавила, усмехнувшись:

— Честь свою хорошо беречь, когда она есть. А тут, у Матрены, небось эта честь и сама про себя забыла: какая-такая она была в те поры? Не честь бережет Матрена,— сердито закончила Марья Смирнова,— а скупость свою да глупость старую тешит! Кто на твою пенсию нынче позарится, ты скажи? — обратилась она к Матрене.— Что ты боишься?

— А то и боюсь,— обидчиво закричала в ответ Матрена,— что уж наверное обольщенье! Пенсия, чай, нас кормит. Она государством дадена за былую работу. Она есть питанье мое, одеванье мое, надея моя до гроба! С ней я вроде и житель! А в общем котле она как утонет да как зачнут над ней мудровать... живо станешь тогда никому не желанной, без всякой самостоятельности, молчком!

— Зачем же молчком? И кто начнет мудровать?

— Да так уж, найдутся! — загадочно проговорила Матрена.— Еще неизвестно, какое будет начальство. Потом опомнишься да захочешь выйти назад, ан — и не выйдешь, пенсию из котла не вынешь. Ходи тогда, хлопочи...

Она замолчала. Притихли и остальные. Хоть скучно живут, а как-то живут, привыкли. Да не всякой и выгодно сравниваться с Матреной: вон, к примеру, у Марьи Смирновой пенсия больше да еще и сын шлет. Может, и невыгодно ей — в общий котел! Но велит сердцу по долгу и по душе, а оно, сердечко-то, может, ноет...

И все же старая Марья Смирнова, вздохнув, упрямо сказала:

— Тебе, Матрена, я вижу, и пенсия по уму. Но я за твой умишко и рубль не дала бы: много...

Старухи неодобрительно зашумели. Не слушая их, Марья добила Матрену:

— Не хочешь с нами объединяться — не надо. А если объединишься и после захочешь выйти, вернем тебе все твои денежки, когда ты захочешь. Из собственной пенсии их верну! Да еще пятьдесят приплачу за общую радость, что ты ушла...

Широкое, доброе лицо старухи Смирновой изобразило такое открытое презрение, что именно это вдруг больше всего и убедило горбатенькую Матрену.

— А я чего? — спросила она смущенно.— Говорить говорю, а я, чай, от всех не отстану. Как вы, молодухи, так уж и я! Бывало, помнишь? — добавила она горделиво.— В цеху с тобой рядом стояла, а много ли отставала? Ну, верно: ты — впереди, но и я за тобой! Ведь правильно, за тобой?

— То верно,— смягчилась Марья Смирнова.— Ты ростом была и тогда с уто̀к, а бегала шустро...

— Вот видишь? Чего же в самое темя бьешь, лиходеева тетка? — уже шутливо, с легкой душой ухмыльнулась Матрена.— Нельзя и слово свое сказать! Чай, дело тут на всю жизнь! И ночь не поспишь, вздыхамши...

Когда оформление дел уже подходило к концу и исполком райсовета, после сложных прикидок для густонаселенного района, выделил наконец и дом, предназначенный для старух, бабка Евдокия решила тайком от подруг взглянуть на их будущее жилище.

Есть еще в Москве зеленые, тихие переулки. Совсем недалеко от оживленной городской магистрали, после камня, железа, бензинного перегара и шума вы вдруг оказываетесь в мире дерева и травы. Обшитые потемневшим от времени тесом, дремлют под солнцем одноэтажные и двухэтажные старые дома. Перед ними, в маленьких палисадничках, кудрявятся липы и клены, акация и сирень. Растет трава в кое-как замощенном чистеньком переулке.

В одном из таких переулков, возле широкооконного, похожего на деревенскую школу одноэтажного дома, бабка увидела плотников: шел ремонт. На небольшой, но уютной усадьбе, среди нескольких яблонь и вишен, прямо на клум-

бах лежали бревна, доски, кирпич. А у крыльца деловито похаживала Матрена Картонникова...

Букина, усмехнувшись, спросила:

— Шумела больше всех, а пришла?

Матрена смущенно хмыкнула, вытерла губы засаленным рукавом кацавейки, потом лицо ее расплылось в улыбке, и она сказала, кивнув на доски и дом:

— За дело, как видно, взялись всерьез! — И это было окончанием ее спора с Марьей Смирновой...

■

Теперь этот дом хорошо и плотно обжит. В спальнях сверкают никелированными спинками аккуратно застеленные кровати. В гостиной, в столовой и коридорах — картины и зеркала, ковры и дорожки. В шкафах висят еще не успевшие потерять своей свежести новенькие пальто.

Об этих пальто бабка Букина и Анна Петровна рассказывают со смехом:

— Ну вот, значит, съехались мы, живем хорошо. И уж лето проходит. А у старух осенних пальтишек нет. Вернее сказать, они есть, да старые, тех времен, когда мы жили по личным средствам. И вот добились мы ордеров и едем на базу. А там все пальто одного фасона: «волнующий зад». Примерили мы и ахнули: как тут быть? Решили пока не брать, посоветоваться со всеми. Вернулись домой, пошел круговой разговор. Какие старухи постарше, решительно говорят: «Не надо!» Другие, напротив: «Подружки, аль мы не бабы? Рано идти в архив! Давай и нам такие пальто!» — и первой об этом кричит Картонникова Матрена!

Старухи весело засмеялись, как видно припомнив во всех подробностях тот старушечий, глупый спор. Потом Букина легонько ткнула меня в бок своим остреньким локотком:

— Кои постарше да поразумнее, убедили не покупать «волнующий зад». Поехали мы на другую базу, там оказалось все подходящим. Оделись мы и обулись. А про еду,— оживилась она,— и речь не веду! Иная из нас всю жизнь такого не пробовала, какое нынче дают нам на каждый день! Ну, чисто как в ресторане: все разными ложками, вилками да ножами, эта — к тому, а эта — к тому. И на разных тарелочках. Из разных судочков и сковородок. Даже сеточки на кофейниках и на чайниках есть! — добавила она, торжест-

вуя.— Рабочие бабы мы были, из самых бедных семей. Какие там золотые сеточки на кофейниках? Смех один!

— Ты ему лучше про торт скажи! — напомнила Анна Петровна.

Старуха счастливо и удивленно всплеснула сморщенными ладошками.

— Ух, торт был велик! — протянула она и даже привстала с дивана, опять толкнув меня локотком, будто приглашая тоже встать и удивиться.— Едва уместился на нашем подсобном столе в буфетной! А знаешь ты, что за торт? — спросила она пытливо.— Ни в жисть не узнать. Подарочный! Разрезали мы его на Восьмое марта, так в каждом куске, поди, по целому килограмму! Три дня этот торт мы ели. Досе у меня кусочек остался. Пойдем, тебя угощу...

Она потянула меня за рукав, но я уклонился: не ем тортов.

— Не ешь так не ешь! — согласилась старуха.— А вкусный он, торт тот, страсть! Да главное — дело совсем не в нем. Главное в том, как в песне поется...

Дребезжащим, старческим голоском она негромко пропела:

Мне-е не до-орог твой подарок,
Дорога тво-оя лю-юбовь!

— А с тортом пришло письмо. Ух, плакали мы, прослушамши то письмо: государство об нас, гляди-ка ты, помнит! Поплакамши, написали ответ.

Я повернулся к Анне Петровне:

— Вот это я почитал бы сейчас же!

— Ничего от тебя не уйдет! — усмехнувшись, ответила за Анну Петровну старуха.— Все тут узнаешь, все увидишь. А главное, что я тебе под конец скажу, это — стали мы ценными кадрами для детишек всего комбината. Выступали недавно у пионеров, про старое говорили. И я! — подчеркнула она особо.— Откуда только слова у меня взялись? Ух, сыпала как горох! И очень понравилась ребятишкам: три раза вставала да кланялась, как актерка. Теперь вот, в будние дни, всем скопом чулочки да шапочки вяжем для детских домов. Уж сколько связали, скажи, Петровна?

— Пар семьдесят, я считаю...

— Ага! — с удовольствием подчеркнула старуха.— Глядишь, еще то ли от нас, песочниц да отжитух, добра изойдет? А все оттого, что вышло то дело с этим вот Домом...

Бабка хотела сказать мне что-то еще, очень важное для нее. Но в эту минуту послышался громкий голос, свет мгновенно погас, и на телевизионном экране возникло красивое лицо молодой, улыбающейся актрисы.

Старухи зашикали друг на друга, плотно сдвинули стулья.

Минуту спустя все они уже напряженно глядели только туда, где на светлом, голубоватом квадрате экрана бледной тенью живой удивительной жизни мелькали кадры телефильма. И видимо, оттого, что это бледное было тем, на что можно было смотреть, как на жизнь за окном, а на себя смотреть вот так же, со стороны невозможно, старухи глядели и наслаждались, и даже не догадывались о том, что сами они — интереснее и ценнее всего, что можно увидеть в фильме или в театре!

Наталья СОКОЛОВА

Пресненский вал

I

Пресненский вал — улица, сохранившая свое старинное название. Но в облике ее все меньше остается от прошлого. Она теряет год от года, как раскрошившиеся зубы, дореволюционные низкорослые домики мещанского вида, кирпичные или деревянные, где внизу могла притулиться лавчонка, а наверху теснились жильцы, сдающие и «от себя» углы. Вот и сейчас стоит такой двухэтажный домишко, весь развороченный, доживает последние дни, с пустыми глазницами, с черными, полусгнившими стропилами ободранной крыши...

Адрес завода: Пресненский вал, 23.

Когда-то завод был развернут главным фасадом к железнодорожным путям (которые сейчас примыкают к его территории почти вплотную). Он принадлежал железной дороге, обслуживал железную дорогу — и смотрел на железную дорогу. Оттуда приходили на ремонт паровозы (до 1923 года), вагоны (до 1959 года). На Пресненский вал выходили зады завода, что-то вроде черного двора. Лежали штабеля досок, ютились какие-то складские помещения.

Потом все изменилось. Оборотился завод лицом к городу, к Пресне. По Пресненскому валу встали проходные, новое здание заводоуправления, клуб, тоже отделанный по-новому, хотя и на вековом фундаменте (раньше на этом месте был один из складов).

Появилась мраморная доска: «Здесь 7 декабря 1905 года мощным заводским гудком рабочие мастерских Московско-Брестской железной дороги возвестили о начале всеобщей политической стачки и вооруженном восстании на Пресне».

II

Работал он на заводе долгие годы. Был слесарем сборочного цеха, а уж самое последнее время — старшим раздатчиком в инструментальном.

Своим участием в первой русской революции никогда не кичился. Был скромен, прост, спокоен. Попросят — расскажет. Рассказывал удивительно простодушно, с такими живыми деталями, точно дело происходило вчера.

— Вышло, значит, решение: быть на Москве всеобщей стачке. Начиная с седьмого декабря. А гудок о начале стачки давать Брестским мастерским. Надо сказать, был у нас печник Лапкин, он сочувствовал нашей большевистской организации, бывал на митингах, литературу почитывал, но сам активного участия не принимал. Я стал его просить, чтобы в одиннадцать часов дня он открыл дверь кочегарки. Согласился. «Что хотите,— говорит,— для вас сделаю, русую бороду в черную выкрашу». В одиннадцать Николаев, я и Горячев Васька засели на дворе среди колес. Как только отворилась дверка, я вскочил по железной лестнице на котел и открыл вентиль. Ух, как даст! Гудок наш имел такую силу, что если его пустить как следует, то слышно за двенадцать километров. Он ревел, наверное, минут десять. Жители повыбежали из домов — посмотреть, в чем дело, чего такое стряслось.

— Ну, а дальше что? — спрашивали у него.

Розанов поглаживал усы, как всегда степенный, неторопливый. Обстоятельно продолжал:

— Известно что: два дня шли митинги, мы стали призывать к вооруженному восстанию. Оружия у нас не было. Где достать? Мы предложили: пусть каждый дружинник откует себе железные пики или палки, чтобы можно было выступать против казаков.

«Брюхо коням пропарывать? Много железной палкой не сделаешь»,— сомневалась молодежь.

Все лучше, чем с голыми руками. Организовалась девятого декабря наша боевая дружина и под руководством большевика товарища Литвина-Седого отправилась в первый полицейский участок на Нижней Пресне. Полицейские спали. Забрали мы у них штамп, печать, некоторые бумаги и, конечно, оружие...

Однажды на политзанятиях разбирали причины поражения Московского декабрьского восстания. Розанов молчал, слушал. Потом сказал негромко, грустновато:

— В семнадцатом у рабочих имелось оружие, воинский навык. Рабочий, он стал солдат. А в пятом что? В бою у моста мы отбили пушку, но ничего не могли с ней сделать. Обидно было. Я самое большее был ратник ополчения 1-го

разряда. Оставлять пушку мы не хотели. Ударили ее поленом несколько раз, перевернули в канаву, затоптали снегом, и все.

Товарищам запомнился этот невеселый рассказ.

Когда восстание было разгромлено, Розанову пришлось бежать, жить под другой фамилией, с чужим паспортом. Поступил в Можайске на строительство моста. Однажды чудом спасся от ареста. Мальчуган один знакомый предупредил: «Там жандарм тебя ждет». Удалось убежать. И все равно через год его опознали, попал в охранку, а оттуда в «Бутырки».

О тюремных своих мытарствах Розанов не любил говорить. Отмахивался:

— К плохому зачем возвращаться? Пускай выветривается.— И сразу переводил разговор на другое: — Когда Пресня была в кольце, товарищ Седой велел нам строго-настрого схоронить в тайне оружие и сказал: «Настанет время, мы появимся вновь». С Пресни мы ушли благополучно.

...Вот нету уже человека, давно не стало. А память о нем живет на заводе. Не забывают Розанова, передают его рассказы.

III

Только откроешь дверь, выйдешь из парадного — и сразу перед глазами заводская стена, а за ней приметная, необычной формы кирпичная труба, прямоугольная, книзу расширяющаяся конусом, на которой рельефно выложено: «1903».

Константин Яковлевич садится во дворе на скамейку. Щурясь от неяркого зимнего солнца, привычно поглядывает на крыши цехов. У ног его прыгают нахохленные воробьи, точно стараясь согреться. Что ж, посидим, подождем. Можно не торопиться, встреча в парткоме назначена через полчаса, а тут ходу десять минут.

Много завод строил на своем веку жилых домов. Этот — ближайший. Пенсионеры, где бы они ни жили, стараются не отрываться от завода: навещают, несут нагрузки. Но, понятное дело, того, кто живет ближе, чаще теребят. Что ж, оно и к лучшему. Нужен людям. Пока нужен, значит — живешь. Живешь, а не доживаешь.

Тридцать лет отдано заводу. Как это пишут обычно в

очерках? Пришел мальцом на батькин завод, ходил в учениках, потом поднимался по ступенькам разрядов; растили, выдвигали... Нет, у него не так. Подросток из крестьянской семьи, слесаренок Ярославских железнодорожных мастерских, он записался добровольцем на фронт. Полыхала гражданская война. Эшелон шел через Москву. В Москве опросили, кто знаком с техникой, и часть ребят высадили из теплушек. Направили в систему Наркомпрода, в автомастерские. Сказали: «Хлеб сегодня решает все. Бросаем на хлеб! Считайте своим фронтовым заданием». Грузовики, английские «уайты», почтенного возраста, к тому же добитые войной, разрухой, просились на кладбище. А оказались в Сибири. Возили зерно, муку из глубинки к железнодорожным станциям. Спать приходилось мало: машины разваливались на ходу, почти беспрерывно требовали ремонта. Их чинили с помощью подручных средств. Хлеб в Сибири был, но его надо было суметь найти и взять. Москва ждала сибирского хлеба. Так в свои девятнадцать он проходил суровую школу боевого девятнадцатого года.

Сюда — на Пресню, на завод «Памяти 1905 года» — Константин Яковлевич Сафонов пришел уже инженером, после Промакадемии. Кем был? Да кем только не был. Начальником инструментального цеха, механического. Начальником производственного отдела. И дважды — секретарем парткома.

В начале тридцатых годов завод ремонтировал вагоны. Да, не сравнить его с сегодняшним!.. Низкие коробки цехов с деревянными перекрытиями, старенькая полукустарная литейка, чумазая, точно трубочист. А механический цех? Теперь, конечно, у каждого станка индивидуальный привод, это вроде бы само собой подразумевается, а тогда — смешно вспомнить — лес ремней, совсем другой вид. Молодежи нынешней покажи — не поймет, пожалуй, что к чему. А шума, грохота сколько!.. Территория заводская захламлена, прямо под открытым небом, где попало — лом, чугунные чушки, кучи песка и черной земли. В сушь кучи курятся дымками, пылят на всю округу, в дождь черные ручьи, без сапог не пройдешь. Межцеховой транспорт: только ручные тележки. Станки устаревшие, изношенные, бедная технология, начальники цехов без специального образования, практики.

Но уже готовились перемены. Ну, он тогда пришел с дипломом, еще несколько человек. Стали добиваться нового

оборудования. Задувал крутой ветер первой пятилетки, страна шла на подъем. Ветром обжигало лицо, как будто ты верхолаз, все время работаешь на большой высоте. «Реконструкция», «темпы», «встречный план» — вот обиходные слова того времени, требовательного и напряженного, они звучали жестко, в них слышался скрежет металла. Все было внове, все было впервые, на митингах выкрикивали (а люди переспрашивали друг у друга, повторяли, чтобы лучше запомнить) — Днепрогэс, Уралмаш, Краматорск, Березники, Магнитка...

Рождалась индустриальная держава. Требовала вагонов, исправных вагонов, вагонов на ходу. Вагонов — во что бы то ни стало! «Дайте вагоны!» — кричали кумачовые полотнища, надутые ветром, и пестро размалеванные бумажные листки-«молнии» у заводской проходной (их по ночам рисовала комсомолия). Не хватало кадров. Для чернорабочих, навербованных из разных мест, вчерашних деревенских парней, наскоро строили длинные низкие бараки. Ох, и трудно было с этим народом! Ни квалификации, ни дисциплины. Все оглядывались через плечо туда, назад, в свое прошлое — отелилась ли корова, да успеют ли до холодов сменить два подгнивших венца избы. Помучились с ними. Почти никто не вернулся назад, к избе и корове. Потом именно из них сложился костяк рабочего коллектива. А последний корявый барак, уродующий улицу, сломали, дай бог памяти... Когда же это? Давно дело было, не припомнить.

...В первые два дня Отечественной войны многие с завода ушли в армию — призывники, добровольцы. Стали брать людей на рытье укреплений. Завод начал наряду с вагонами ремонтировать раненые танки. С конца июля Пресню бомбили. Деревянные домики, хорошо просушенные временем, и старые дощатые склады загорались от искры, полыхали отчаянно, напоминая о древних разрушительных пожарах избяной матушки-Москвы. По территории завода ползал старенький маневровый паровоз и поливал водой стены цехов, ограду. Рабочие охраняли завод, первыми приходили на помощь населению, вытаскивали из огня стариков, женщин с детьми, обмотавшись мокрым тряпьем, задыхаясь в дыму.

В ноябре сорок первого эвакуировались под Ульяновск, аккуратно демонтировав и погрузив на платформы все станки до последнего. В марте сорок второго уже вернулись.

Константин Яковлевич, чуть усмехнувшись, вспоминает своеобразную похвалу заводу, которую довелось услышать. Он был тогда секретарем парткома, приехал в Москву пораньше своих, чтобы все подготовить. Вместе с товарищами из райкома объезжал опустевшие, эвакуированные предприятия Пресни. Если где видел брошенное оборудование, забирал без стеснения, вывозил (конечно, с разрешения райкома) к себе на завод. И вот один из руководителей ему сказал: «Что, хорошо поживился? Ну, и правильно. Пусть не будут разинями. Небось после вашего отъезда нельзя было на территории даже гаечный ключ подобрать? Хозяйственно уезжали, толково».

Быстро наладили производство артиллерийских снарядов, мин. Переделывали вагоны, создавали спецпоезда — санитарные, банно-прачечные. К станкам пришли жены фронтовиков, подростки. Бывало, идешь по цеху, скажешь начальнику: «Тебе завтра подкинем двух работничков». А он и спрашивает: «Каких? С подстановкой?» — «Да уж, не без того». С подстановкой — это значит: придет малец-недомерок, до станка ему не дотянуться. Ящики подставляли, а чаще делали специальные скамеечки, подгоняли под рост. Сохранилась бы одна такая скамеечка, ее — в заводской музей, в виде экспоната, для наглядности. Да только кто будет сохранять, пожгли за ненадобностью.

Константин Яковлевич встает, распугивая воробьев, которые совсем уже привыкли к его неподвижности, осмелели. Брызнув в стороны, воробьи усаживаются на тонкие голые ветки деревьев, которые отчетливо рисуются на фоне сероватых плит заводской ограды.

Пора идти, в парткоме уже небось ожидает Николай Николаевич. У них теперь много общих дел, частые встречи. Кто-то сказал шутя: «Идет операция «Большой поиск». Или не совсем шутя?

Заворачивая за угол, уходя со двора, он оглядывается через плечо, бросает последний взгляд на приметную кирпичную трубу. Воздвигли в 1903-м. Тогда еще было спокойно на Пресне. Неспокойно стало потом, попозже, через каких-нибудь полтора-два года... Печь служила для сушки теса, который шел на вагоны. Давно уже упразднили печь, не нужна стала и труба. Если ее только для чего и используют, так это для праздничной иллюминации: высоко, нарядно, отовсюду видно.

IV

Новый директор пришел на завод в пятидесятых годах.

До этого Николай Николаевич Рей директорствовал в Вологде, тоже на ремонтном заводе. Был он опытным коренным железнодорожником, кончал Транспортную академию как инженер-механик по паровозам. В Москве, правда, предстояло ремонтировать вагоны. Но недаром транспортники говорят: «Кто знает паровоз, тот знает все».

Собственно говоря, в Вологде и жилось и директорствовалось неплохо. Согласился Николай Николаевич на перевод в Москву по причинам личного, семейного характера. Подрастали два сына, увлекались теоретической физикой, а в Вологде подходящего института не было. Расставаться с сынами не хотелось, семья была дружная, прочно сколоченная. Вот и порешили на семейном совете: сниматься с насиженного места.

Тогда на вагоноремонтном заводе «Памяти 1905 года» еще никто не подозревал, какие предстоят крутые перемены в заводской жизни. Не мог предвидеть этого и Николай Николаевич. А перемены близились.

В 1959-м заводу сказали: «Хватит ремонтировать составы. Стране нужно крановое и металлургическое электрооборудование, его не хватает. Быть вам отныне электромашиностроителями!»

Очень уж все было неожиданно. Привыкли считать себя транспортниками, гордиться этим. Многие заговорили об уходе. «Охота работать по специальности. У меня высокая квалификация, что ж, мне теперь ее терять?» Заработки на транспорте высокие. Отличное медицинское обслуживание (железнодорожное ведомство вообще этим славится). Едешь в отпуск — тебе бесплатный проезд. Было о чем пожалеть.

Да и самому Николаю Николаевичу психологически было нелегко. Ведь сколько лет связан с железнодорожной державой. Кажется, до того врос, что без боли себя и не оторвать. Заслышит гудок паровоза (рельсы-то, вон они, тут же рядом с заводской территорией, где были, там и остались), и что-то сердце екает.

Но надо было дело делать, а не переживать. Стали обсуждать план перехода в новый фарватер. Существовали два варианта. Первый: остановить производство; все спокойно перестроить и наново запустить. Второй: перестраивать, не прекращая выпуска. Остановились на втором. Помогало то,

что завод еще в пору своего железнодорожного бытия начал — наряду с ремонтом вагонов — осваивать ремонт тяговых двигателей. Литейку в свое время упразднили, завод стал получать готовое литье со стороны, а в помещении бывшего литейного цеха оборудовали небольшой электромашинный цех. Вот отсюда и надо было плясать.

Крепкий хозяин, не без той хорошей мужицкой хитроватости, которая директору никогда не мешает, Николай Николаевич подсчитал, прикинул, сообразил. И сказал своим: «Механический, колесный пока не трогать. Колесный остановим последним. Так?» Его поняли. С ним согласились. Секрет был прост: колесный давал новые колеса, выгодную продукцию — труда мало, денег много. Колеса могли вывезти в этот тяжелый период, выручить.

Помогал завод «Динамо», старший брат. Пришли инженеры-динамовцы, с ними легче было разрабатывать временную технологию (кстати, она оказалась настолько удачной, что без особых изменений стала потом постоянной). А своих отправляли на «Динамо» — учиться электротехнике.

Был приказ — прекратить подачу вагонов и двигателей на ремонт. Дескать, со старой жизнью покончено! Да и материалы как раз подошли к концу. Николай Николаевич пошел в старый главк, который уже формально не имел к ним отношения. «Вот что, братцы, больше я к вам не приеду. Но в последний раз помогайте, выручайте! Не готов завод, сами знаете, пройти в игольное ушко». Приказ приказом, а у жизни свои требования. Согласились, уважили, в порядке исключения дали все, что требовалось.

Время шло. Сокращали, теснили понемногу ремонт, участок за участком освобождали, на освободившихся площадях монтировали новое оборудование. А план честно держал колесный цех, в котором все оставалось по-старому. В результате укладывались в нормативы, имели прибыль, а следовательно, могли отрывать людей на учебу, переустройство. Расчет директора сбывался. Завод входил в новую жизнь с гордо поднятой головой, оплачивая переход своим трудом, никому не должая и ни у кого не одалживаясь, ни одного дня не числясь в слабых, нуждающихся.

В колесном цехе работал Василий Снегирев. Был он рабочий знатный, известный, получил орден Ленина, не раз избирался депутатом. «Уйду,— сказал Снегирев директору,— на завод Войтовича. Транспортник я, чем начал, тем и кончу. Вот помогу немного коллективу, полегчает — и уйду». Ди-

ректор сказал коротко: «Жаль». Отговаривать не стал. Дело серьезное, решать надо каждому за себя, без подсказки. Но было обидно: теряет завод заметных людей, беднеет.

Остановили уже и колесный цех, когда новое стало налаживаться, утверждаться. С ремонтом было покончено, теперь заводу предстояло выпускать электроаппаратуру для прокатных станов, кранов, экскаваторов, для судостроения, городского транспорта. Сложилось разделение труда: самые крупногабаритные двигатели делали «Электросила», Харьковский электромеханический завод; в среднем регистре работал «Динамо»; а «вся мелочь» досталась пресненцам.

Начали с того, что стали выпускать самый большой электродвигатель из своей «малогабаритной» номенклатуры (пятый габарит, «пятерку»), потом пошли вниз по лестнице габаритов («четверка», «тройка»). Так как двигались от трудного к менее трудному, то дела пошли хорошо, работали ритмично. Оказалось, что можно даже кое в чем потягаться со старшим братом. Завод «Динамо» освоил новые крановометаллургические двигатели с кремнийорганическими изоляторами, выдерживающими особо высокие температуры. Пресненцы тоже их освоили. И получилось, что у них продукция обходится дешевле. Пускай у динамовцев больше опыта, но зато пресненский завод — меньшой брат — куда маневреннее, накладные расходы у него ниже, а это в определенных случаях решает дело.

И тут начались осложнения. Двигатели выпускать — это не блины печь, они неодинаковые, делаются по определенному заказу, поставляются комплектно. Набор двигателей для 250-тонного плавучего крана — это одно, а для вагона метро типа «Е» — другое. Элементы, в общем-то, стандартные, а сочетания разные, идет разный материал. Молодому электромашиностроительному предприятию требовались заказы. А они не поступали. Госплан утверждал, что существует большая нужда в малых двигателях, серьезный дефицит. Именно поэтому заводу изменили профиль. Но не ошибся ли Госплан? Всяко бывает. Одолевали сомнения.

Завод не остановишь, производство не затормозишь — временно, впредь до прояснения обстановки. Стали работать, как говорится, на склад, делали электроаппаратуру без точного прицела, на глазок, в расчете на возможного заказчика. Завалили все помещения готовой продукцией. Вот когда люди приуныли. Материально никто не пострадал (заводу дали кредиты), но настроение было подавленное. Делать не-

нужное, работать зря — в самой натуре рабочего человека заложено что-то, что возмущается против этого, не мирится с бесцельной затратой усилий. С таким трудом переходили на новые рельсы — и для чего?

Некоторые ушли. Ушло не так много. Меньше, чем ожидал Рей. Василий Снегирев по-прежнему продолжал работать на заводе. «Уйду, когда станет полегче». А месяцы эти были ох какие тягостные, тягучие (такой упадок духа, думал про себя Рей, опасен, куда опаснее, чем перенапряжение, вызванное трудностями роста). Стали поступать первые заказы. Тоже хватало неприятностей: кое-что подходило, а кое-что нет, залеживалось. Склады очищались медленнее, чем хотелось бы. А жизнь шла своим чередом, поступали заказы, заказчики торопили, что-то выходило легко, а что-то не ладилось, заедало, надо было двигаться дальше, осваивать новые типы. Проводишь одни трудности — наплывают новые. Когда это бывало, чтобы на производстве — без трудностей?

...Так ведь и не ушел Василий Снегирев. Остался на заводе.

V

Знали, что заводу как будто скоро сто лет. Что в свое время рабочие приняли заметное участие в декабрьском восстании, а началось оно по гудку, который дал слесарь Розанов...

Да, все это было, конечно, известно, но как-то в общих чертах. Прошлое рисовалось расплывчато, туманно, всерьез им не интересовались, не дошли руки. И когда однажды после заседания парткома кто-то спросил: «Ну как, братцы, будем отмечать столетие и когда именно?», то наступило неловкое молчание. Не могли назвать точной даты. Давненько дело было, кто знает, сохранились ли вообще какие-то данные? И где их искать, с чего начинать?

Но вопрос был поставлен, и от него уже нельзя было уйти. Трудно сейчас вспомнить, кто первый позвонил в такое-то хранилище, кому первому пришла мысль съездить в такой-то архив. Да и нужно ли вспоминать? Сначала получали отказы: нет, не сохранилось, нет, не имеется, нет, не знаем, где искать... Было много беготни, хлопот. Наконец ухватились за кончик одной нити, которую вроде бы стоило разматывать, подобрались к другому запутанному клубку. Освоились, стали увереннее. Появился уже какой-то опыт, навыки, возникли связи. Помогали историки, архивисты, му-

зейные работники. Старые большевики Красной Пресни, ветераны революционного движения, и молодые ребята, студенты финансового института, которые незаметно заразились общим увлечением, «заболели» историческим поиском.

...Пожелтевшая за столетие плотная бумага. Старинный четкий писарский почерк, несколько щеголеватый, кое-где с этакими завитушками и загогулинками, но, впрочем, пристойно-сдержанный, почтительный (отменные карьеры делались иной раз с помощью такого хорошо отработанного почерка). Много заглавных букв, тщательно выписанных. Глаз невольно задерживается, спотыкается на ятях и твердых знаках, которые с непривычки мешают.

«Его сиятельству Господину Управляющему Министерством Путей Сообщения.

На основании параграфа 8 Высочайше утвержденной концессии Правление Общества Московско-Смоленской дороги имеет честь почтительнейше представить на утверждение Вашего сиятельства проект здания больших мастерских в трех экземплярах с пояснительной запиской.

Председательствующий директор...........»

И пометка другим почерком, тоже канцелярски безупречным: «Получено 18 июня 1869 года».

Еще не было пишущих машинок. Автомобилей. Электрического освещения. Копыта лошадей цокали по булыжнику, высекая искру. Тяжеловесные тумбы охраняли углы домов. Вечером старичок с лесенкой неспешно зажигал керосиновые фонари. Но Москву уже завоевывала «чугунка», вытесняя дилижансы и почтовые кареты (которые не так давно сделали ненужными ямской промысел, традиционные слободы ямщиков, основанные еще Борисом Годуновым). Строилась железнодорожная линия Москва — Смоленск, у Тверской заставы вырос Смоленский (ныне Белорусский) вокзал, правда еще непохожий по своему облику на сегодняшнее, такое привычное для москвичей здание.

В сентябре 1870 года правительственная комиссия произвела приемку здания «Больших мастерских для починки подвижного состава», выстроенных по проекту Правления Общества Московско-Смоленской дороги «потомственным гражданином» Шепелером и банкирским домом братьев Зульцбах. В честь такого события 19 сентября был дан парадный завтрак. Газета «Московские ведомости» писала, что «на этот случай вагонный сарай был превращен в щегольскую залу». Стреляли в потолок пробки, лилось шампанское,

произносились речи. Настроение было великолепное, прогнозы — самые радужные. Отменено крепостное право, нарождается Русь буржуазная, капиталистическая, ей принадлежит будущее.

Парадный завтрак, о котором идет речь, проходил в вагонном цехе мастерских. Здание, хотя и перестроенное, переоборудованное, сохранилось до сих пор. В нем сейчас размещается компрессорное отделение.

Нашли, разыскали, раздобыли! Один за другим стали появляться на свет, возникать из небытия давние документы. Проект «Больших мастерских», представленный на рассмотрение и утверждение... Чертежи, расчеты... И то письмо министру от имени Правления Общества Московско-Смоленской дороги, которое я только что привела. И торжественная ответная бумага, извещающая, что господин исправляющий должность министра путей сообщения «приказать изволили проект сей утвердить». («Верно. За столоначальника...») Журнал «комиссии, свидетельствовавшей отстроенный первый участок», украшенный подписями действительных статских советников и инженеров путей сообщения (тех самых, наверное, которые на парадном завтраке отдавали должное речам, шампанскому и праздничному убранству «вагонного сарая»). Так утвердилась, приобрела права гражданства твердая дата: 19 сентября 1870 года, день приемки мастерских. Теперь можно было отмечать столетний юбилей. День рождения предприятия стал известен точно.

VI

«Я нашел...», «Я разыскал...», «Я прочел...» — с этими словами теперь часто входили в партком, в редакцию многотиражки, в кабинет директора. Эти слова стали обычными, привычными.

— Я прочел за эти дни... Знаете, в пятом томе «Истории Москвы» наши мастерские упоминаются девять раз. А другие, даже очень известные заводы — один раз или совсем ни разу. Послушайте! «Волнения среди рабочих на почве недовольства низкой заработной платой, чрезмерно длинным рабочим днем, штрафами и т. д. происходили в 1895 году в мастерских Брестской и Казанской железных дорог. Власти с беспокойством отмечали, что с 1894—95 гг. брожение среди

рабочих усилилось...» Еще даже двадцатый век не наступил, а они уже борются. И как здорово.

— Я нашла... По-моему, очень сильная резолюция. Прямая, резкая. Смотрите, я переписала, чтобы у нас осталось. В ноябре 1905 года меньшевистский стачечный комитет захотел свернуть борьбу. Тогда 8 ноября общее собрание рабочих Брестской дороги выразило ему недоверие. Постановили предложить стачечному комитету «все свои средства, собранные для помощи бастующим рабочим, передать в Совет Депутатов».

— Мы разыскали... Ох, пришлось помаяться. Боялись, не доберемся до истины. И все-таки... На заводе многие думали-гадали, когда же к названию прибавилось — «Памяти 1905 года». Один старичок называет такую дату, другой этакую, спорят. А как на самом деле? Получайте приказ народного комиссара путей сообщения! «Переименовать в мастерские Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги «Памяти революции 1905 года», поскольку рабочие и служащие возбудили ходатайство...» И число: 27 сентября 1926 года. Никаких споров! Все точно, ясно. Затеяли-то, наверное, рабочие и служащие в связи с тем, что было двадцатилетие первой русской революции...

Впрочем, не всегда приходилось далеко отправляться. У себя на заводе, где-то среди старых бумажных залежей, не то в подвале, не то в дальнем углу кладовой, нашли «Матрикульную книгу токарного цеха» восьмидесятых годов прошлого века. Она огромная, как партитура оперы, в твердом тяжеленном переплете, едва удержишь в раскрытом виде на вытянутых руках; а положи на современный малогабаритный письменный стол — перекроет его, концы свесятся. На каждом листе графы: поступление, прибавка и уменьшение платы, штрафы, увольнение. Интересно было прочитать своими глазами: «Поступил на службу 8 мая 1888 года... Оштрафован за курение в мастерской на 0,50 копеек... То же — на 0,50 копеек... Уволен за неблагонадежностью». Собрались старые рабочие, книгу передавали из рук в руки. «Да это же нашей Акимовны дед. Смотри, штраф за разговорчики! Он потом в гражданку комиссаром был, у красных конников. Небось лихо разговаривал, и без штрафов! А Сизов, это, выходит, мой родич по матери, боевой был, мать рассказывала, избил трактирщика за доносы». Для них это не было что-то далекое, книжно-отвлеченное, нет, это был живой кусок их биографии, биографии завода, Пресни.

Знали ли на заводе, что их партийную организацию когда-то называли «старейшей ячейкой Красной Пресни»? Что корни ее уходят в то далекое время, когда русская социал-демократия только нарождалась, оформлялась? Да вроде бы знали, не могли не знать. Но как это все происходило, с чего начиналось? Многотиражка «В путь» начала из номера в номер печатать воспоминания Сергея Ивановича Мицкевича, большевика-ленинца, одного из первых московских революционеров-марксистов. Отыскали и другие материалы. Картина прояснялась, догадки уступали место уверенности.

А начиналось все очень просто, обыденно. У студента-медика Мицкевича был приятель, тоже студент, который жил у своей сестры в Грузинах (во Втором Тишинском переулке). Сестра эта была замужем за слесарем Брестских мастерских. Так стал завязывать революционер Мицкевич знакомства среди рабочих железной дороги.

Надо сказать, что на Брестской дороге и до этого существовал кружок, даже довольно большой по тому времени, но не марксистский, не социал-демократический, а народнического характера. Возникновение его терялось где-то в начале восьмидесятых годов. Кружковцы имели хорошо подобранную библиотеку легальных и нелегальных книг, поддерживали близкие отношения с писателем Златовратским. Среди них были очень яркие, богато одаренные люди, страстно рвущиеся от тьмы к свету, жаждущие знаний, такие, как слесарь Лазарев, который писал стихи и печатал их в «Русском богатстве» под псевдонимом Николай Темный.

Народнический кружок тускнел, работа гасла — ведь к этому времени народничество окончательно изжило себя. Весной 1892 года Мицкевич, познакомив рабочих с теорией революционного марксизма, как бы сбрызнул их живой водой. Душой дела стал железнодорожный машинист Прокофьев «молодой, живой и с большой инициативой, очень интеллигентный человек». Был создан первый в мастерских рабочий марксистский кружок. Работа закипела. «Мы снабжали Прокофьева литературой, а он ее распространял и требовал постоянно новой...» — пишет в своих воспоминаниях Мицкевич. Многие кружковцы показали себя умелыми пропагандистами, успешно проводили на какой-нибудь частной квартире занятия с 10—15 рабочими. А Прокофьев даже стал членом руководящего московского центра для систематической работы среди рабочих, вошел в состав так называемой «шестерки».

...Аресты, аресты. Лучших вырывают из рядов. Их удел — тюрьма, каторга, ссылка. Уже арестован Прокофьев, за решеткой и Мицкевич. Но новые люди подхватывают их связи, создают кружки, организуют за городом массовки, печатают листки. И вопреки всем преследованиям к двадцатипятилетию Парижской коммуны уходит тайными путями за кордон приветственный адрес французским рабочим, братьям по классу, под которым стоит 625 подписей.

Многих из тех, кто давно работает на заводе, попросили написать о том или ином периоде заводской жизни. Студенты финансового института обходили ветеранов, выслушивали и записывали их рассказы о прошлом.

Стали собирать фотографии. Просили принести, что у кого есть, сохранилось. И из архива завода взяли. Вот они лежат, эти фото. Часть уже разобрана, разложена по большим конвертам. Остальное еще предстоит сортировать. Работа немалая. Серия снимков: паровозы, ремонт паровозов. Двадцатые годы. Смешные вагоны с открытыми тамбурами — это когда же такие были? Юное светлое лицо, на обороте надпись: «Погиб на Волоколамском шоссе, 1941 год». Завод военных лет. Чернеют выбитые стекла, кое-где залатано фанерой. Снег, необычно много снега. Ну да, не убирают снег, некому убирать, не до того. Заготовленные дрова, штабеля напиленных и наколотых дров у стены цеха. Весна, огромные сосульки на карнизах... А вот пошли времена повеселее. Самодеятельность. Известный на всю Москву заводской коллектив циркачей (наиболее талантливые поступают в Государственное училище циркового и эстрадного исскуства). Пионерлагерь, субботник родителей. Пестрые джемперы лыжников. В отдельных конвертах — старые заводские пропуска, всякие документы прошлых лет, которые могут представлять интерес...

Отпраздновали столетие. Завод был награжден орденом. Нашли гудок — тот самый, исторический, знаменитый, приладили на крышу, попробовали погудеть втихую, можно сказать, вполголоса, только для своих (чтобы дать в Москве громкий, полноценный гудок, нужно специальное разрешение). Молодые рабочие признавались, что никогда не слышали заводского гудка.

Выпустили по случаю юбилея небольшую брошюрку, что-то вроде краткой исторической справки, где обозначили основные вехи истории московского электромашиностроительного завода «Памяти революции 1905 года». Да много ли можно уместить на каких-нибудь семнадцати страничках?

А материалы накапливались, множились.

И тогда заговорили:

— Нужен музей... Да, да, по истории завода! Взять, выделить комнату в клубе. Красиво оформить. Вон какая работа проделана. Вон сколько папок насобирали, ломятся от бумаг. Положить в витрине на видном месте «Матрикульную книгу», раскрытую, это же историки сбегутся, будут завидовать, щелкать фотоаппаратами. Или выставить требования бастующих рабочих и ответы администрации. Очень показательно! Рабочие: «1. Уплатить жалованье за все дни забастовки». Администрация: «Отклонить». «2. Никто не должен пострадать за забастовку». Ответ уклончивый, подловатый: «Безвинных не взыскивать». «5. Уничтожить сверхурочные часы». «Вряд ли возможно». «6. Отменить штрафы». «Повлечет за собой единственное взыскание — увольнение, что вряд ли к выгоде рабочих». «10. Работы 1 мая проводиться не должны». «Праздники устанавливаются положением». «14. Устроить для обеденного перерыва чайную-столовую». «Нельзя». «21. Устроить баню для рабочих». «Бани близко». Так, значит, и шли с работы неумытые, чернущие...

VII

Сидят в парткоме по обе стороны длинного стола Николай Николаевич Рей и Константин Яковлевич Сафонов. Два пенсионера. Вчерашний директор и вчерашний парторг.

Их сегодняшняя забота — история завода.

— Нет, постой,— говорит Константин Яковлевич,— как малец-то? Внук ведь у тебя вроде приболел.

— Уже здоров. Наша порода крепкая... Вот посмотри, какое я золотишко накопал.— Николай Николаевич раскладывает на столе листки, исписанные его крупным разборчивым почерком.

Не директорствует больше Николай Николаевич. Принято говорить: ушел на покой. Но что-то покоя особенного не получилось. Покой — нехорошее слово, кладбищенское какое-то, не любит его Николай Николаевич. Аллах с ним, с

покоем! Стал работать в народном контроле, сделали в районном масштабе начальством, заведующим производственным отделом. Да вот еще впрягся в одну упряжку с Сафоновым — собирать материалы по истории завода. Сидит по архивам, с головой зарывается, увлекло его это дело. Когда-то говорил жене: «Выйду на пенсию, свое домашнее вино стану из ягод выжимать». Даже книжки кое-какие на этот счет почитывал. Дело хитрое, любопытное, со всякими тонкостями. А теперь иной раз спохватится, когда уже снежок лег,— черт, осень прошла, опять о вине и не вспомнил.

— Так что там у тебя?— спрашивает Константин Яковлевич, наклонив голову набок, с любопытством кося глазом на бумаги.

На этот раз Николай Николаевич копался в архивах департамента полиции. Выискивал и выписывал все, что имело отношение к Брестским мастерским.

— Чертовски интересно. Знаешь, я нарочно взял папки не периода революции, а так начиная с 1907-го и дальше. Ну, словом, годы упадка, реакции. А все равно кипит, бурлит рабочий котел. Протестуют, бастуют, все что хочешь. На, почитай-ка хоть это.

Константин Яковлевич берет листок. Январь 1907 года. Начальник охранного отделения сообщает директору департамента полиции, что рабочие Брестских мастерских забастовали, требуя отмены новых правил относительно выдачи денег раненным на производстве. Требования были удовлетворены, через три часа мастерские начали работать. «Отделением обстоятельно выявлен железнодорожный союз, но полное отсутствие мест заключения лишает меня возможности его ликвидировать в настоящее время»,— меланхолически писал подполковник Климович.

— Это, что ли, тюрьмы у них переполнены? Еще после пятого года? — спрашивает Константин Яковлевич с усмешкой.— Видит кошка мышку, а зацапать не может.

— Ну, да, конечно. Всех ведь не пересажаешь, хоть и хочется. А вот, пожалуйста, за тот же год. Из донесения секретного агента. «Чернорабочий Арсений Петрович Якубов, 22 лет, сын диакона города Витебска, и слесарь Иван Григорьевич Батышев, мещанин, распространяли прокламации». Да и в следующем году... Это из сводки агентурных сведений. «28-го апреля 1908 года на 29 версте в лесу «Вагау» происходило собрание железнодорожного союза. От Брестских мастерских присутствовало 4 рабочих, фамилии не-

известны... Выступавший рабочий (фамилия неизвестна) заявил, что в Брестских мастерских настоящих членов 31 человек. Работа ведется крайне осторожно, так как среди рабочих есть четыре провокатора, один уже установлен и его придется убрать, остальные под подозрением. Сочувствующих союзу около 30 человек».

Константин Яковлевич пожимает плечами:

— Фамилии неизвестны... выступавший неизвестен... Что-то плоховато у них работали секретные агенты. Боялись, видно, за свою шкуру, глубоко не копали.

Секретные агенты фигурировали в официальных бумагах под кличками «Ерш», «Грозный». Николаю Николаевичу где-то встретилось упоминание о том, что «Грозному» установлено месячное вознаграждение 10 рублей, поставлена цель — узнавать, кто в каких организациях состоит, где и какое положение в таковых занимает.

Сводки агентурных сведений, как правило, начинались с одной и той же фразы: «Настроение мастеровых спокойное». Видимо, полицейский хороший тон требовал такого оптимистического начала. А дальше шли факты, никак не согласующиеся с этим обязательным благопристойным зачином. «Настроение мастеровых на 29 марта 1913 года спокойное. Недавно среди них собирались деньги в особую кружку под видом покупки масла, из которых оказывалась поддержка пострадавшим за политические убеждения. Бригадир Зычников и слесарь Степанов не скрывают своего недовольства существующим государственным строем. Отдельные рабочие поют революционные песни, но на это никто из местного начальства внимания не обращает. Всякие политические вопросы обсуждаются в трактире Бурлова. Перед 20 февраля среди рабочих шел разговор о праздновании трехсотлетия Дома Романовых. Литейщики Чепеликин, Краснов, Прусаков, говоря о назначенном в мастерских молебне, склоняли товарищей не приходить на молебен и высказывали, что его устраивает бюрократия. Поговаривают, что нужно мастеровым создать свою легальную библиотеку, в которую должны войти все лучшие произведения по рабочему вопросу. Более всех об этом говорят маляр вагонного цеха Сергей Никитин и модельщик Иван Глазков. Последний при разговоре об убийстве греческого короля высказал, что добиться своих прав рабочему классу можно только с оружием в руках. А Никитин привел мнение, что должен наступить период экономического террора и что необходимо карать всех адми-

нистраторов, которые притесняют рабочих и тормозят профессиональное движение».

— А что это еще за экономический террор? — поинтересовался Константин Яковлевич.— Что-то не слышал о таком.

Но Николай Николаевич поднял его на смех.

— Ты хочешь грамотности от копеечных шпиков и жандармских офицеров? Излагали как понимали. А понимали... да ни бельмеса они не понимали, по правде сказать. Смотри, я выписал, попался мне донос некоего «вспомогательного агента» по кличке «Ерш». Интересно, что значит «вспомогательный»? Дешевле платили, что ли? Или не помесячно, а штучно? Ну, неважно. Так он писал: «В мастерской нет никакой организации эсеров...» Их всех видимо, особо нацеливали на эсеров, потому что охранка боялась взрывной силы бомб. Взрывной силы идей эти чугунные головы не понимали. «В мастерской нет никакой организации эсеров, есть небольшая группа сочувствующих социал-демократам, но прямых связей с партией нет». Хорошо, предположим, что он прав. Но дальше идет такой текст: «Состоящий из пяти лиц кружок социал-демократов работает совместно с фабрикой «Сиу». Собираются они в Петербургской слободке у служащего фабрики «Сиу» в доме № 12. Руководителем собрания был партийный работник, в настоящее время арестованный». Что ж получается? Тут они уже прямо названы социал-демократами, а руководитель у них — партийный работник. Так как же насчет утверждения, что «нет прямых связей с партией»? Где логика, здравый смысл?

— Стоит ли горячиться?— резонно говорит спокойный Константин Яковлевич.— Ведь не ты им деньги платил. Работали-то они на охранку, а не для истории рабочего движения. Ну и хорошо, что плохо работали, люди целее были.

— Но теперь-то их данные приходится использовать для истории,— вроде как оправдывается Николай Николаевич, уже сам смеясь над своей горячностью.— А у них каша, неразбериха. «Настроение спокойное...»

Впрочем, после начала первой мировой войны даже самые захудалые доносчики прозрели. Видно, не замечать явное уже нельзя было. Ни донесения, ни агентурные сводки теперь не начинались старой успокоительной формулой. Нет, писали прямо, без обиняков: «Социал-демократы начинают активно работать и их влияние очень заметно. 12 апреля около 12 часов дня в уборной мастерских были разбросаны про-

кламации. Разбрасывал прокламации кто-то из бригады Зеленцова...» (Агент «Щука», 1915 год). Да и сами масштабы событий стали несколько иными. Несмотря на массовые аресты, 1 мая 1915 года в Москве бастовало 19 тысяч рабочих на 74 предприятиях. К первомайской забастовке примкнули рабочие Брестских мастерских и другие железнодорожники... В феврале 1916 года брестцы снова бастовали — вместе с «Товариществом шелковой мануфактуры» и машиностроительным заводом Михельсона... Нарастал девятый вал гнева народного.

— Понимаешь,— говорит Константин Яковлевич озабоченно,— надо нам с тобой сесть, покумекать. Какие материалы на стенды, а что в альбомы будем клеить. Помещение для музея готово, художница торопит. Содержание — это ведь наша забота, ее дело оформить.— Хозяйственно складывает все листочки в большой конверт.— Так я, стало быть, и эту порцию припрячу? Туда, к остальным? Ладно, договорились. А когда встретимся в следующий раз?

VIII

Только что окончилась смена. Из проходной густо идет народ.

В потоке нет-нет да возникают завихрения: кто-то окликает приятеля («Можно бы на сеанс...»); сын разыскивает отца («Опять батя на участке застрял»), муж через головы людей переговаривается с женой («Я сам за Мишкой зайду, а ты...»). Несколько молодых ребят неожиданно останавливаются, создавая затор, один что-то чертит прутиком на снегу («Если привод рольгангов...»). Вот она, жизнь предприятия, выплеснувшаяся на улицу, но еще не растворившаяся в большом городе. Так сильная река, врываясь в море, еще некоторое время несет свои воды отдельно, нехотя и не сразу сливаясь с морской гладью.

Попробуй-ка пробраться, продраться наперекор общему движению!

Рудольф БЕРШАДСКИЙ

Завод и люди

Людская память не сохранила имени предателя. Говорят, это был заводской сторож. Ему посулили сто рублей. Он-таких денег сроду не видал! И дел всего — показать, кто из семидесяти душ спящих мужиков Федор.

Он не поверил.

— Ваше благородие, что его показывать? Его и так все знают!

— Все, все! — передразнил «его благородие».— А я тебя одного спрашиваю! Или ты тоже против начальства?!

— Господь с вами! Как можно!

Но и предатель невольно залюбовался Федором, когда жандармы, подняв того среди ночи, стали шпынять его кто чем, а он, будто они это делают по ошибке — с кем другим его спутали,— продолжал степенно одеваться. Штаны, чтоб не смялись, аккуратно положены на табурете, под ними, так же по складочке выложенная, сатиновая косоворотка с белыми пуговичками...

Только обуться не дали. Пока зашнуровывал один штиблет, еще терпели. Но когда так же не спеша принялся за второй, озверели от его неколебимого спокойствия и так и вывели на мороз — в одном штиблете. А другая нога — босая, в калоше.

Сторож посмотрел вдогонку, сокрушенно покачал головой:

— Орел мужик, хоть и против начальства! Ей-богу!

И тут же торопливо перекрестился: не гоже всуе поминать имя господне — накажет!

Стоял на исходе неизгладимый из памяти России 1905 год. Фамилию Федор носил — Мантулин...

Я иду по Красной Пресне. Площадь Восстания. Улица Баррикадная. Улица Дружинниковская. Имени 1905 года. И наконец — Мантулинская...

Сегодня она почти в центре Красной Пресни. В 1905 же году была на окраине, да и Пресне еще только предстояло тогда получить от народа самое почетное пролетарское звание, выше которого нет: Красная!

Федор Мантулин стоял во главе боевой дружины рабочих сахаро-рафинадного завода братьев Берг, которую сколотил и подготовил к боям заранее. Их баррикада была самая дальняя на Пресне, бойцы оставили ее последней. А самым последним ушел с нее Мантулин: он та̀к понимал, что такое командир.

Отобрал у всех дружинников оружие: Московский Комитет большевиков и Московский Совет рабочих депутатов под натиском превосходящих сил царской армии и полиции подали сигнал прекратить восстание, чтобы не обескровливать дальше рабочий класс и сберечь силы для новых, будущих боев. Оружие в этих условиях из грозной силы восставших превращалось только в улику против любого, у кого бы его нашли. В то же время его обязательно надо было до поры до времени схоронить.

Командир взял на себя и эту боевую задачу. И лишь после того отдал завершающий приказ: всем дружинникам немедленно скрыться — уйти к родным в деревню, перебраться в другой город или хотя бы в другой район Москвы!

— А ты сам, Федор, куда?

— А мне, друзья, придется остаться тут. Не весь народ у нас на заводе сознательный. Кто-то, может, подумает: как наша берет, так он заводила; а как нас на крючок, так он в темный куток... Нет, я уж тут останусь! А иуд, я думаю, чтоб меня выдать, среди рабочего класса не найдется.

Ему было тогда двадцать пять лет. Силен, здоров, статен, красив. Да еще и грамотен! Мало того, что в своем деле был первый мастер — машинист-компрессорщик, так еще и бухгалтерские курсы кончил. Даже диплом получил! Однако на чистую работу в контору не пошел — и в мыслях этого не держал. Просто, эти курсы были доступней. (Он уже достаточно долго общался с большевиками — еще когда четырнадцатилетним пареньком ушел на отхожий промысел от безземельщины своего курского села,— и понимал, почему именно эти курсы давали образование почти даром: растущему российскому капитализму нужны были новые и новые приказчики, счетоводы, бухгалтеры... Что ж, с паршивой овцы, как говорится, хоть шерсти клок. Бухгалтерия тоже пригодится!)

В родном селе Гапонове у него осталась молодая жена Танюша с грудной Шурочкой на руках. Куда ей с малюткой в Москву? Вот подрастет девчушка, тогда другое дело. А пока она грудь сосет, им обеим спокойней у родных.

Однако скучал по жене и дочери нестерпимо. И в сентябре вырвался-таки, съездил к ним.

У Татьяны не просыхали глаза в его приезд. И от счастья, что снова свиделись, и от тревоги, что он опять уедет.

Утешал ее:

— Не беспокойся, Татьянушка! Не беспокойся!

Но разве сердцу прикажешь? Да и как было не беспокоиться — она ж видела: он на село не с одними гостинцами приехал, еще какие-то книжечки привез. Сказал: литература называется. Но как приметил, что им что-то чересчур заинтересовалось волостное начальство, враз эту «литературу» перепрятал. И вовремя! Пришли жандармы делать обыск, а в избе ничего нет.

— Что искать пришли, господа хорошие? Приехал мастеровой на праздник к молодой жене и дочери. Неужто и на это нет прав?

— Ладно, помалкивай! Ишь, разорался на все село, людей булгачишь!

Федор подмигнул потихоньку Тане: не останавливай, дескать,— нарочно булгачу. Пусть весь народ видит, за кого считают рабочего человека на Руси и как с ним обращаются!

На прощание сказал ей:

— Если от меня ничего не будет — не беспокойся, Танюша: значит, мы восстание начали. И пусть тогда другие беспокоятся!

Расцеловал ее и с тем уехал.

Это было в сентябре.

А за два дня до сочельника — уж она и не знала, что думать о Феденьке, вся земля слухом полнилась про смертоубийство в Москве, про то, как рабочих людей мало что из ружей — из пушек убивают! — постучался к ней ввечеру, уже на дворе совсем темно было, какой-то мужчина молодых лет, по облику мастеровой, и сказал:

— Вы будете Татьяна Кирилловна? Здравствуйте, значит, Татьяна Кирилловна. А кто я — этого я вам не скажу. И в горницу не зовите — не взойду. Потому что привез я горькую весть. Ваш супруг, а мой драгоценный товарищ Федор Михайлович погиб в Москве за рабочее дело. Его расстреляли царские палачи — изверги-семеновцы. Поезжайте

поскорее. Может, успеете хоть похоронить по-людски, а то он там прямо на земле лежит. А мне из Москвы пришлось бежать — он сам мне и наказывал: беги!

В ту же ночь Татьяна с Шурочкой на руках выехала в Москву. Но все равно — опоздала.

Его расстреляли перед корпусом спальни — чтобы все видели! Его, Афанасьева, Волкова — тоже боевых дружинников завода. И три дня не давали ни подходить к телам, ни похоронить их.

Выли, не переставая, псы, подбирались со всей округи к покойникам. Часовой, выставленный на пост, чтобы никто не похитил трупы и не похоронил их, время от времени швырял в собак головешками из разведенного тут же, для собственного обогрева, костра. Собаки, скалясь, отступали, но выть не прекращали.

На третий день к вечеру жандармское начальство наконец разрешило женщинам с завода обмыть трупы и обрядить их как положено, чтоб наутро произвести похороны.

Однако даже для этого скорбного дела женщин не оставили без присмотра. Жандармы стояли рядом, покрикивали:

— А ну, не реветь! Мертвяков никогда не видали?

Работницы, молча глотая слезы, обмыли тела расстрелянных и одели их во все принесенное из дому свое — чистое и не пробитое пулями. После этого женщин выгнали. До утра, сказано было. Но когда они, едва рассвело, вернулись, тел уже не оказалось.

Жандармы скалились, как те псы:

— Спрашиваете, куда мертвяки подевались? А нам что за печаль! Они нам живые нужны были, а такие — без надобности!.. Ну, очищай помещение!

Жандармы лгали: они боялись и мертвых. Оттого и выкрали их тела и погребли до сих пор неизвестно где. А когда приехала в Москву Татьяна Кирилловна и стала выпрашивать, чтобы ей Феденьку хоть мертвым отдали, швырнули в лицо его порубленную шашками шубу, его любимую, с белыми пуговками, косоворотку, в отверстиях от пуль, штиблет один и одну калошу...

Я иду по Мантулинской улице. Точней, это аллея сегодня: в четыре сплошные шеренги выстроились вдоль обоих тротуаров достигшие уже гренадерского роста тополя и густокронные липы; высажены палисадники перед всеми фа-

садами. Одни жильцы взлелеяли цветочные клумбы, другие отдали предпочтение мавританским коврам: землю вольно и густо засеивают только полевыми травами, наивные и неприхотливые цветочки которых трепетно радуют взгляд своим простодушием. Чуть ли не через каждые тридцать — сорок метров гостеприимно поставлены прямо в траву просторные скамьи для отдыха: посиди, прохожий, побеседуй с вышедшими подышать свежим воздухом хозяевами этих домов, они будут тебе рады. Чуть смеркается — вдоль Мантулинской загораются в зелени листвы лампионы...

А давно ли Студенецкая, едва вечерело, утопала в непроглядной темноте и круглые сутки — в непролазной грязи. Испражнения, которыми рачительные огородники этой улицы унавоживали свои грядки, распространяли мерзкое зловоние по всей округе, а вдобавок нужники, выстроенные во дворах отдельно от деревянных хибар хозяев, добавляли струи еще и своих запахов...

Кто из сегодняшних обитателей Мантулинской помнит все это?

Идет навстречу стайка девочек — подростков. В руках портфели — наверно, из школы или из техникума. В нарядных, веселых расцветок, модных пальто; новенькая моднейшая обувь. Поравнявшись с ними, я услышал, о чем они так живо беседуют: обсуждают новую кинокартину, которую видели уже все. И сравнивают со многими другими картинами, на которых тоже успели побывать.

Очень вдруг захотелось мне остановить девушек, заговорить с ними.

— Извините, девушки, вы не из этого района? Не скажете ли мне, как называлась Мантулинская улица раньше?

Они переглянулись. Разве она когда-нибудь имела другое название?

Одна, побойчее, в спортивной нейлоновой куртке на молнии, ответила:

— По-моему, она всегда была Мантулинской. Я, например, живу в этом доме всю жизнь,— она показала на явно послевоенной постройки высокое добротное здание, низ которого занимала поликлиника детской больницы.— Так, знаете, когда мама учила меня, еще малышку, помнить наизусть свое имя и фамилию, чтобы я, если заблужусь, не потерялась, она мне всегда говорила: если тебя спросят, где ты живешь, ты отвечай...— а я ей подсказывала сама: «Улица Мантулица, дом, где лечат деток»!

— И я живу тут всю жизнь,— добавила другая девушка,— вот, напротив парка культуры, и тоже всю жизнь знаю: Мантулинская и Мантулинская, больше никакая!

Что ж, они были по-своему правы: раз всю жизнь — так это и означает для них всегда!

Я постеснялся начать рассказывать им про унавоживание огородов. Я сказал им о другом:

— А что она прежде называлась Студенецкой и на ней нечем было дышать от вони с сахарного завода — об этом тоже никто из вас не слыхал?

Моя первая собеседница посмотрела недоверчиво:

— Какая может быть вонь с сахарного завода? Что там может плохо пахнуть?

Вторая отрубила еще решительней:

— Нет, ничего мы про это не слыхали.

Я почувствовал, что уже в тягость им. Вызвал в них если не недоверие, то, во всяком случае, недоумение. Сколько лет вот этой девочке? Ну, пятнадцать. Ну, шестнадцать. А ее родителям, вполне возможно, тридцать пять — тридцать семь. И они тоже не помнят запаха костокальных печей сахарного завода; и названия такого никогда не слыхали, даже если и сами работают на Мантулинском заводе. Вот он, красавец-чистюля, из нежно-розового кирпича, весь в зелени, со свериком перед входом, на берегу аккуратного, ухоженного, сплошь облицованного светлым бетоном чистого пруда. Как вообразить, что от него могло исходить зловоние?

Кстати, когда в сороковых годах этот пруд — кажется, впервые за все его существование — вычистили, со дна неожиданно извлекли оружие. Это оказалось оружие боевой дружины сахарников, упрятанное самим Мантулиным. Доживи Федор Михайлович до семнадцатого года, он бы его значительно раньше, чем принялись за чистку пруда, вытащил на белый свет...

А костокальня — что это такое?

Хотя в дореволюционную пору, едва заканчивалась поздней осенью деревенская страда, к воротам заводов, особенно сахарных, отличавшихся тогда непременно сезонной, зимней работой, валом валила лапотная деревенская беднота — без отхожих промыслов ей было не дотянуть до нового урожая,— идти на костокальню соглашались только самые забитые, самые нищие и бесправные мужики.

По варварской технологии тогдашнего времени сахар-ра-

финад, чтобы достичь кипенной — «сахарной»! — белизны, должен был пройти через стадию очистки с помощью раскаленных костей животных. Их вываливали на огнедышащую открытую плиту, и тут они «доходили».

Зловоние, удушавшее Студенецкую, могло сойти за аромат райских садов по сравнению с запахом, издаваемым раскаленными костями...

Костокальщики-рабочие, обязанностью которых было беспрестанно помешивать эту чадящую массу, то и дело метались на лестницу, к выбитым окнам лестничной клетки — вдохнуть хоть глоток студеного зимнего воздуха. И глотали его с такой жадностью, что тут же заходились от вырывавшего все внутренности кашля...

Кто помнит сейчас, даже из старых рабочих завода имени Мантулина, как сушились сахарные головы? Как вручную вгоняли тележки с ними в вакуумные сушилки, в которых температура поддерживалась на уровне не ниже девяноста — ста градусов жары? У рабочего, вбегавшего туда с тележкой, моментально вставали дыбом волосы, и не в фигуральном смысле слова, а буквально, причем каждый волос отдельно. Одет же рабочий был на манер новогвинейского дикаря — только лишь в набедренную повязку, которой служил кусок мешковины. Подпояску заменяла скрученная мочала...

Я узнал об этом от Степаниды Григорьевны Холостовой, пришедшей на завод в 1914 году, тоже, как все, от ворот. В восемнадцатом она здесь вступила в партию и до сих пор ведет посильную партийную работу.

— Нынешней молодежи, я считаю, надо почаще про все это рассказывать. И не потому, что они белоручки или мыслями ленивые, как кое-кто про них ворчит. Это вздор. Молодежь у нас добрая, надежная. А то, что она всей этой каторги нашей старой не знает, так ей только завидовать можно, а не корить ее за это. И не для того нам надо почаще про все старое, горькое, что мы уже вправ изничтожили, молодежи рассказывать, чтоб они себя, извините, щенками чувствовали, а нас бы побольше уважали. Бог с ним, с почетом! А для того, чтобы бережней относились к какой-никакой льготе, которую уже готовой получили,— вот для чего! И если какой-нибудь дурень молодой на все сверху поплевывает, что ему без его затрат дадено — и на образование, и на отпуск и профсоюзную путевку, и на бесплатную больницу, и на парк культуры, и на новенькую квартиру, что государ-

ство его отцу с матерью безденежно предоставило,— то, я считаю, это наша промашка, наша недоделка! Может, скажете: нет? А я вам скажу: да!.. Вот, к примеру, вышла я на Ленинский субботник — в честь дня рождения Владимира Ильича, его столетия. Что с того, что мне семьдесят восемь? Работать я еще могу? Могу! Как же я в такой праздник от людей отстану? И чтобы молодежь видела!

У Степаниды Григорьевны уже и зрение пошаливает, и в руках не та сила, что прежде, но все равно, где бы она ни появилась с неизменной хозяйственной сумкой в руках — что поделаешь, дом до сих пор на ней! — всюду вокруг нее жизнь начинает клокотать ключом.

На Ленинском субботнике — на который она вышла, конечно, едва ли не раньше всех — она сразу стала вожаком молодежной бригады девушек, убиравших двор завода. Как будто никого моложе и разворотливее ее во всей бригаде не нашлось!

Первым делом затянула залихватски, хотя и изрядно надтреснутым от годов голосом:

— А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поет о нас страна...

И девушки, смеясь и улыбаясь,— экая бабуся неугомонная! — с радостью принялись «вкалывать» вслед за таким бригадиром.

— Им, дорогой мой товарищ, только душевное слово скажи,— просвещает она меня,— они за тобой тогда в огонь и в воду! Молодежь — она всегда такая. И хотите знать, почему они меня, старуху, так слушают? Не по той причине, что я больно образованная или какой соловей-оратор. И не соловей я, и образование мое — горе, а не образование. До революции я о нем и думать не могла. В гражданскую тоже не до того было. После гражданской — семья, дети, и опять же задача была — из разрухи вылезть. Ну, а потом как оглянулась — поздно: старуха. Правда, кое-какие курсы, конечно, прошла — не без того. Но чтобы что позначительней — не вышло... И когда мне какой-нибудь несмышленыш иной раз скажет: «Ах, Степанида Григорьевна, какая вы счастливая — и Октябрьскую революцию производили, и в гражданской войне участвовали...»,— то я только думаю: ах ты, птенчик желторотенький, это ты, голубок, счастливец, что у тебя жизнь такая складная да красивая! А мне что завидовать?! Что я темная, как ночь, с самого издетства была? Что меня эксплуататоры-хозяева как липку обирали, а я еще со спа-

сибом им поначалу кланялась, что они, мол, меня, благодетели, работой не обделили!

Посудите сами: я пришла на завод в четырнадцатом году. Ничего, кроме крестьянства, не знала, не ведала. Взяли меня от ворот и поставили на колку. А что это — колка? Это только слово просто сказать — сахар колоть. А попробуйка двадцать пять ящиков за смену, по полпуда каждый, на мелкие кусочки раздробить, когда сахарная голова — их теперь и не увидишь нигде! — не сахар, а камень-гранит! Пиленый рафинад ведь мало шел — только для состоятельной публики. А простой народ — и то как лакомство — возьмет колотого четвертку — по-нынешнему, значит, сто граммов — и со всей семьей неделю цельную, как с конфетой, с той четверткой чай пьет... Вот оно, какое потребление было! Кто себе позволял тогда чай внакладку пить, как говорилось? Чтобы, значит, сахар в стакан кусками класть — ну, как мы сейчас пьем? Одни буржуи! А народ пил вприкуску. И вот, колешь сахар меленько-меленько. И слезами умываешься! Пальцы-то от него все в кровь! Его ж не машинкой дробишь, не щипцами. А положишь кусок на ладонь, и железным прутом по нему — раз! раз! А чуть кусок от твоей крови покраснеет — брак! И с тебя вычет. Сахарочку до твоей крови дела нет, он все равно белее снега должен оставаться. На ладонях у тебя мозоль — куда до нее подошве! Пальцы — успевай лишь тряпицами обертывать да кровь высасывать, чтоб сквозь тряпицу не просочилась... А после смены еще пойди к директору или к другому начальству, пол у него на квартире вымой, окна протри. А как же! Иначе — в два счета за ворота выставят, а там и без тебя на работу сотни просятся...

Да, жизнь прожита долгая. Есть что Степаниде Григорьевне рассказать молодым. И про то, как в восемнадцатом году задержала, не побоявшись, на темной вечерней улице заводского охранника, унесшего с завода под полою шинели целую голову сахара, и отнесла ее в партячейку, а когда вернулась домой, в заводское общежитие, и вышла с кастрюлькой на кухню, то увидела, как за окном наставляет на нее кто-то винтовку. Шарахнулась в сторону... Но палец убийцы уже лежал на спусковом крючке. На пол упала застреленная вместо нее девушка Таня, упаковщица...

И про то, как вскоре после того ездила с продотрядом на Тамбовщину — отбирать хлеб у кулачья, и как в селе Бобулевка их взяли в плен и одного продотрядника на их глазах изрезали на куски живого...

И как, уже в Отечественную войну, стала начальником пожарной команды жилого массива — учила женщин и ребят обезвреживать «зажигалки» и сама первая не слезала с крыши... Немцы бомбят, по небу шастают лучи прожекторов, вниз с крыши посмотришь — как в пропасть! А тут еще осколки от своих зениток свистят... Кто говорит: не страшно! Страшно! Ого, как страшно! А уходить нельзя...

И самое дорогое, чем ее наградила жизнь: как слушала Ленина на «Трехгорке». Он у них другой раз даже и в субботнике участвовал, и тут, на сахарном заводе, выступал. Но ей не повезло: она в то время по поручению партийной ячейки в Ленинград ездила. То есть, в Петроград еще...

— Погодите, Степанида Григорьевна,— извиняясь, останавливаю я ее.— Владимир Ильич на вашем заводе не только никогда не выступал, но и не был. И в субботнике на «Трехгорке» тоже не участвовал. Это вам кто-то напутал.

Сердится. Никто не напутал. Это я сам путаю, а не она. То есть, как это — не выступал? Как это — не участвовал? Да это вся Пресня скажет: было!

— Я вам, дорогой товарищ, официально заявляю: и у нас выступал, и на «Трехгорке» субботник отработал!

...В задушевных воспоминаниях таких людей, как Степанида Григорьевна, главное — дух героического времени, который живет в них, не старея. И именно это, наверно, так привлекает к ней молодежь, к которой и она сама изо всех сил тянется...

— Да, безусловно, революционные традиции, дух — это величайшая сила. Они способны дать такой добавочный коэффициент полезного действия, что любой план перекроют! — говорит мне нынешний заместитель директора завода Михаил Никифорович Тарасов, представитель следующего за Степанидой Григорьевной Холостовой заводского поколения. Он пришел сюда в тридцатом году, с биржи труда. Хоть у ворот заводов и фабрик уже не толпилась, как до революции, бесправная голытьба, готовая на любую работу и любые условия, однако еще не всем работы доставало. Завод имени Мантулина вступал в строй после длительной консервации.

Михаил Никифорович начал со сверловщика в механической мастерской. Впрочем, мастерская было чересчур громким названием для одного токарного станка и одного кузнечного горна. И сверловщику пришлось стать вдобавок сле-

сарем, затем монтажником, потом мастером прессово-сушкового цеха. Едва ли не сразу после того, как завод вышел из стадии консервации, его надо было основательно реконструировать. Ведь Россия была уже не той, что раньше, нормы прежнего нищенского потребления такого продукта первой необходимости, как сахар, не могли ее удовлетворять. Задание заводу увеличили сразу вдвое по сравнению с дореволюционным. Нельзя было больше мириться и с адовыми вакуумными сушилками, с костокальней, со старыми казарменными спальнями...

Михаил Никифорович Тарасов пришел на завод комсомольцем.

— Ого, как мы вкалывали! Уверен, что ничуть не уступали ребятам на Магнитке или в Комсомольске-на-Амуре. Неважно, что наш завод не шел с ними в сравнение по масштабу. Важно — дух у нас был такой же. Штурм? Штурм! Аврал? Аврал! Неделю некогда выйти из цеха на монтаже? О чем разговор! И неделю не выйдем, пусть только обеспечат хлебом и чем-нибудь к хлебу!.. Вы вот, знаю, познакомились уже со всем нашим заводом. И обратили, конечно, внимание на то, что подавляющее большинство у нас — женщины. Это понятно: чтобы управлять технологическим процессом с помощью тумблера, или рукоятки, или поворота регулятора, мужская сила не требуется. Надела в начале смены беленький халат и сняла его после работы таким же чистеньким. Это не двадцатипудовую вагонетку гонять с нижнего этажа на верхний, да все бегом! А ведь прежде женщины тут только на колке стояли. Ну, начиная с первой мировой войны, стали их брать еще на упаковку. А теперь,— Михаил Никифорович смеется, и становятся видны морщинки у глаз на его все еще моложавом лице,— теперь у нас полный переворот: женский монастырь и только! Как Холостова вам сказала: теперь не работа — гулянье! Но это не с неба свалилось... Вот они — плоды наших авральных ночей тридцатых годов!

Он продолжает:

— Трудно было. Очень трудно. Но сейчас-то еще труднее. Парадокс? Нет. Потому что можно ведь и так к делу подойти: что, мол, говорить об особых трудностях первых пятилеток? В гражданскую войну, дескать, было еще труднее. Но как только вы поставите вопрос так, истина сразу и начнет приоткрываться. В том-то и фокус, что любое последующее дело хотя в чем-то и легче предыдущего, но во многом

значительно сложнее. А каждое предыдущее хотя в чем-то было безусловно труднее, но зато во многом было проще. Да, это диалектика. Федор Мантулин был выдающимся героем рабочего класса, и недаром мы воздаем ему почести даже спустя шестьдесят пять лет после его гибели. Но то, что сделал он, было с определенной точки зрения — подчеркиваю: с определенной, чисто практической — менее сложным делом, чем то, что приходится делать нам сегодня. Научить стрелять человека из трехлинейной винтовки, например, проще, чем обучить его искусству управления механизированным цехом. Согласны? И это вовсе не снижает цены подвига Мантулина и героев пятого года, как бы возвышая наше дело. Это просто жизнь такова. Я помню, в годы моей молодости прозвучала песня, на которую сердца наши откликались, как эхо: «Я землю покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать!» Но все-таки Гренада в ту пору была для нас только символом. А помоги-ка сегодня да, как говорится, «по науке», то есть без промаха, чтобы все советы твои только в десятку ложились,— алжирскому крестьянину, или египетскому, или кубинскому, как ему обработать свою землю, чтобы он с нее два урожая вместо прежнего одного снял,— пожалуй, эта задача посложнее. А ведь она уже не символическая — практическая!

И во всем так!.. Вы спрашиваете: какой я вуз кончил? К сожалению, не кончил. Ведь как складывалась жизнь? После того как мы собственными руками провели к середине тридцатых годов реконструкцию завода, я оказался готовым мастером. А как такого отпустить, кто его заменит? Стал я сменным инженером. Практиком, конечно, но — тянул. Потом война — опять не до учебы. Потом выбрали секретарем парторганизации — снова не уйдешь. А теперь уже — пенсионный возраст... Не сейчас же мне в вуз собираться!

Между тем управлять становится трудней и трудней. Чем больше предприятие механизировано, тем больше каждый участок зависит один от другого, тем четче, значит, должно быть своевременное снабжение каждого участка абсолютно всем необходимым, тем пунктуальней должна быть ритмическая разгрузка каждого участка от выработанного им полуфабриката, а всего завода — от готовой продукции... Тем справедливей с тебя требует подчиненный: раз ты взялся быть руководителем, значит, обеспечь все условия, чтобы я мог отдать свои силы Родине с максимальным эффектом! Законное требование. И значит, не остается у тебя ника-

кого права, если что-то где-то заело, ни к авралу призвать, ни к штурмовщине, ни, тем более, на «традиции» сослаться: «мы, мол, в тридцатых по неделе из цеха не вылезали!». Тебе ответят: то были тридцатые, дорогой товарищ заместитель директора, а ты нами руководишь в семидесятых. Пора б кое-чему и научиться...

Да, традиции — не памятник из не поддающегося времени материала. Если они не наполняются постоянно новым содержанием, то превращаются в пустой звук. Больше того: в путы, мешающие разгонистей идти вперед! Но здоровым организмам это не грозит...

При входе на заводскую территорию — стенд с объявлениями. Самое крупное: «На заводе открыты курсы по подготовке в вуз. Запись там-то». Я поинтересовался: от подавших заявления отбоя нет. И ведь не в том дело, что человек, получив у нас высшее образование, работает меньше и легче или больше получает. Это ж не так. А в чем же дело? Только в том, что он получает больше удовлетворения, принося максимальную пользу обществу, народу. И это существеннейшая черта характера человека социалистического общества.

Кто сегодня вступает в партию на заводе Мантулина? Кто приходит в ряды этой партийной организации на смену самому Мантулину, Холостовой, Тарасову?

Вот имена, взятые без выбора.

Игорь Савин, столяр. Молодой человек, комсомолец. Командир добровольной народной дружины. Степанида Григорьевна может не сомневаться: если попадется ему навстречу какой-нибудь негодяй, вроде того, какого она в свое время задержала в восемнадцатом году с уворованным народным добром, он не уйдет из рук Игоря так же, как давнишний не ушел из ее рук.

Учится? Конечно! В девятом классе школы рабочей молодежи. А по окончании собирается продолжить образование в вузе.

Александра Юдакова. На заводе с 1966 года. Была упаковщицей — работа невысокой квалификации. Теперь уже машинистка заклеечной машины. Член бюро «комсомольского прожектора».

Учится? Конечно! Уже на втором курсе Всесоюзного заочного института пищевой промышленности.

Михаил Никифорович Тарасов прав: такими рабочими управлять сложней и труднее!

Каждый декабрь, девятнадцатого числа, в годовщину того дня, когда в 1905 году палачи залили кровью героев пресненского восстания снег возле сахаро-рафинадного завода братьев Берг, к памятному камню, еще в пятилетие Октября водруженному рабочими завода на месте расстрела, выходят с цветами мантулинцы: старые большевики и комсомольцы, средних лет коммунисты, рабочие, работницы. Кладут прямо в снег свежие алые розы. Как будто снова сгустки пламенной крови героев обагряют его... Постоят в молчании...

Сплошной стеной стоят Холостова и Тарасов, Юдакова и Савин, Софья и Саша Шкураты. Нет, не однофамильцы: тетка и племянник, и оба — комсомольские секретари. Только тетка была вожаком заводских комсомольцев больше десятка лет назад, а племянник — нынешний секретарь. Но завод вырастил обоих, обоих передал в партию. Саша лелеет мечту: создать на заводе, пусть хоть небольшой поначалу, собственный музей. Чтоб знали люди, где работают. Чтобы больше ценили завод, где трудятся, где проходит их жизнь, чтоб знали, как складывался коллектив. Уже начал подбирать материалы, вовлекает в это дело других.

А впереди всех по праву и в знак уважения к нему народа стоит Илья Филиппович Бабаев, последний, единственный оставшийся сегодня в живых защитник мантулинской баррикады пятого года. Рядом с ним — Александра Федоровна Мантулина — та самая Шурочка, с которой на руках примчалась к палачам-жандармам в пятом году вдова Федора Михайловича требовать хотя бы тело убитого мужа. Дочь вся в отца — такая же статная, такая же красавица, с таким же ясным и полным гордого достоинства взглядом.

Она не торовата на рассказы о своей жизни, а жаль: ее жизнь — сплошной пример того, какие благородные всходы дали наши революции.

Царские сатрапы не только не отдали Татьяне Кирилловне праха мужа, они и ее самое вышвырнули из Москвы в 24 часа. Не дали ей житья и местные власти в Гапонове, когда узнали о роли Мантулина в пресненском восстании. Пришлось Татьяне Кирилловне идти мыкать горе куда глаза глядят.

В конце концов ее прибило к днепровским берегам — в Екатеринослав. Едва-едва упросила там одних хозяев смилостивиться — взять ее за харчи в домработницы. Ведь с ма-

лым ребенком была, а кому нужна домработница с таким грузом на руках?

Но верна и крепка рабочая память. Сразу после Октябрьской революции, точнее, сразу после гражданской войны, когда вернулись с фронтов на завод старые рабочие, они забеспокоились: а где же вдова Федора? Где его дочь Шурочка? Что с ними? Решили: во что бы то ни стало разыскать их, помочь!

Послали специального человека в Гапоново, старого рабочего Чечета. Следы повели его дальше в Екатеринослав. Там он и нашел Татьяну Кирилловну и ставшую уже семнадцатилетней девушкой Шурочку. Передал им наказ и просьбу всех рабочих: перебраться в Москву, на завод, которому они не то что родные, а даже дороже родных.

...Когда Александра Федоровна рассказывала мне, с какой заботливостью вез их прежде незнакомый им Чечет в Москву, слеза невольно тронула уголок ее глаза.

— Ну кто мы ему были, скажите? Или всем, кто, когда мы приехали в Москву, уже и комнату для нас нашел на заводе, и обставил ее заранее. Все, все готовым стояло: стол и кровати, стулья и шифоньер, даже о простынях подумали и подушках, даже примус на кухню не забыли поставить и керосин в него налить! На специальном митинге решили: отопление и освещение в нашей комнате тоже взять на счет завода! Маме тут же работу дали, меня — на рабфак отправили: учись! Хватит тебе в помощницах домработницы ходить!

После рабфака Александра Федоровна, понятно, вернулась на родной завод. Была тут электромонтером, затем чертежником. В войну ее выдвинули заведовать карточным бюро района,— а это надо себе представить, чем были тогда для людей продовольственные карточки! И каким доверием наградили человека, поручив ему такое дело... Потом избрали секретарем исполкома райсовета...

Теперь Александра Федоровна уже на пенсии. Но династия Мантулиных по-прежнему продолжает трудиться на благо рабочего народа: работает в одном из научно-исследовательских институтов ее единственный сын Валя и одновременно заочно учится в вузе, занята общественной работой сама Александра Федоровна...

Она останавливает меня:

— Вы записали, что Валя — внук Федора Михайловича? Валерий не кровный мне. Я его взяла трехмесячным во вре-

мя войны. Дом, где он родился, разбомбило, мать там в пожаре сгорела, а отец погиб на фронте. Не могла ж я оставить младенца одного! Но, конечно, я ему никогда об этом не рассказывала. Пока, спустя больше двадцати лет, не сыскалась какая-то «сердобольная» тетушка его, чтобы раскрыть ему, как говорится, глаза на его происхождение и на то, что я ему чужая и посторонняя...

Александра Федоровна на минуту умолкает. Потом снова собирается с силами.

— Но Валя заявил ей наотрез: «Вас я не знаю,— понятно? А я как был Александры Федоровны сын, так и остаюсь им. Это вам тоже понятно?» И дочку свою он тоже учит: «Видишь, Виточка, портрет на стене? — А у меня в комнате висит единственный сохранившийся снимок Федора Михайловича. Я его увеличила, конечно.— Так ты знай, Витуся, это — твой деда Федя. Понимаешь?» А Виточка у нас умница! «Понимаю,— говорит,— папа. Это наш деда Федя. И он был очень, очень, очень хороший. И хотел, чтобы всем рабочим было только хорошо. Да?»

Самое верное родство — не по крови в жилах, а такое, которое сделало и крошку Виту, и Валерия, и Александру Федоровну одной семьей, по праву носящей славную фамилию Мантулина. Это родство еще более дорогое, чем по крови,— по духу. И нет надежней его на свете и крепче.

Виктор СТАРИКОВ

Ровесники

1

В пору моего самого раннего детства — а оно пришлось на первые годы после Октябрьской революции — у взрослых все еще свежи были воспоминания о грозных событиях Московского восстания 1905 года, о баррикадах Красной Пресни.

Среди друзей отца, навещавших по праздникам наш дом в Сокольниках, я особенно хорошо помню Петра Ефимовича — дядю Петю. Он бывал у нас чаще других, не только в праздники, но и по субботам, когда они с отцом ездили париться в знаменитой бане в Богородске возле калошного завода «Богатырь». Подружились они на военной службе, где прослужили в отдельной автороте вместе почти три года, ели, как говорится, из одного котелка и укрывались одной шинелью. После революции мой отец — шофер легковой машины — работал сначала в ВЧК, а позже в Моссовете. А Петр Ефимович слесарил в Брестских железнодорожных мастерских, что на Красной Пресне, и проживал на Малой Грузинской.

Вернувшись из бани, напаренные, довольные, они садились за стол, с обязательной бутылочкой, двумя маленькими рюмочками, а потом появлялся сердито кипящий самовар, и тут начинались такие рассказы, что никакие ребячьи занятия не могли выманить меня на улицу.

Вот они сидят за столом. Отец — крупный, ширококостный. Взгляд у него добрый, смотрит он сердечно, но нет-нет да и вспыхнут в зрачках насмешливые искорки. Он обладал чувством юмора и любил житейскую шутку. Петр Ефимович — небольшого роста, этакий увалень, с очень густыми на бледном лице нависающими черными бровями, с тихим голосом. Брови его мне особенно запомнились, может, потому, что я впервые такие видел.

В ту пору я услышал рассказы отца, как рабочие отряды в Москве подавляли эсеровское восстание. Сутками прихо-

дилось тогда ему не вылезать из машины. По темному городу отец возил чекистов, проводивших обыски и аресты тех, кто решился поднять руку на революцию и ее вождей. А теперь он смешно изображал суетливых меньшевистских вожаков, растерянных и злых эсеров. От него, еще не зная по портретам, я представлял себе суровую фигуру Феликса Дзержинского, которого отец не раз видел очень близко. И хорошо помню самый дорогой ему рассказ, как он однажды из Моссовета вез куда-то на митинг Ленина. Машина из Кремля запоздала. Поэтому отцу и поручили отвезти Владимира Ильича.

За короткий путь Владимир Ильич задал отцу несколько вопросов о службе, о жизни, о настроении рабочих, а выходя из машины, пожал ему руку и сказал:

— Благодарю вас, товарищ!

Как же гордился отец этим рукопожатием и словами Ленина, обращенными к нему — случайному шоферу.

— Иного везешь, особенно из молодых,— говорил отец,— а он тебя словно и не видит, только погоняет: побыстрее. А Ленин благодарил! Не считал меня за извозчика.

Рассказы Петра Ефимовича были об ином времени.

Захмелев уже после первой рюмочки, он начинал говорить медленно, растянуто, делая паузы чуть ли не через каждое слово, принахмуривая при этом брови.

Он вспоминал баррикады Пресни 1905 года. Я во все глаза смотрел на этого человека, на его небольшие аккуратные руки слесаря, которые когда-то выворачивали булыжник мостовых, тащили дворовые двери, катили бочки, возводили поперек узких улиц баррикады, опутывали их колючей проволокой. И что там книги, которые я уже читал, о всяких подвигах, когда передо мной сидел живой герой — участник революционных событий.

Все семь дней, когда сражалась на баррикадах рабочая Пресня, когда дружно отбивали атаки боевые дружины завода Грачева, «Прохоровки», Брестских вагонных мастерских, фабрики Шмита вставали передо мной в ярких рассказах очевидца и участника восстания. В моем раскаленном воображении они, те события, люди, совмещались с коммунарами Парижа, тоже сражавшимися на баррикадах и не сдававшимися кровавым палачам.

— Никогда не прощу им нашей рабочей крови. Хороших ребят мы тогда потеряли. Ах каких хороших... Ну, теперь сквитались за них...— И Петр Ефимович надолго замолкал.

Особенно меня потрясали рассказы о последних боевых часах на баррикадах Малой Грузинской, когда царская артиллерия била по рабочим в упор из тяжелых орудий, разметывая все на своем пути, когда пылали дома по всей Пресне и дружинники, раненные, опаленные порохом, помогая друг другу, уходили проходными дворами, в ярости от своего бессилия и с горькой болью от поражения.

Петр Ефимович тогда уехал к родителям в деревеньку под Можайском и вернулся в Москву на завод лишь через три месяца.

Со своим отцом я бывал у Петра Ефимовича — дяди Пети. Он жил в каменном двухэтажном доме, занимая с семьей крохотную комнатку. А став постарше, я самостоятельно, принаряженный, добирался из Сокольников на Пресню, чтобы поздравить дядю Петю с днем рождения. (Был тогда в рабочих семьях хороший обычай, когда мы, ребятишки, первыми с утра поздравляли с праздниками близких знакомых.) Меня сажали за стол, угощали сладкими пирогами, обливными пряниками, карамелями, да еще на дорогу давали бумажный кулечек подарков. Далекие путешествия из Сокольников на Пресню меня всегда манили, и я ни разу не упустил этой возможности.

Когда я теперь, особенно в утренние часы, попадаю на улицу Заморенова, звенящую трамваями, спускаюсь по крутой улице от площади Восстания к Зоологическому, прохожу Баррикадной на Малую Грузинскую, где еще сохранились каменные двух- и трехэтажные дома того времени, я словно дышу воздухом детства. И меня, как и тогда, при рассказах Петра Ефимовича, охватывает знобящий холодок восторга перед тенями тех, кто сложил свои головы на этих самых камнях мостовой, на этой вот брусчатке, впитавшей в себя кровь героев.

2

Среди старых заводов Москвы, рабочие которых составляли когда-то пролетарское ядро столицы, живет и действует на Пресненском валу завод-ветеран «Красная Пресня», принадлежавший в те далекие времена «Грачеву и К^0», а попросту, по-обиходному, «Грачевка», выставлявший в 1905 году боевые дружины на баррикады. Да, это не просто завод-предприятие, выпускающее сейчас опытное литейное оборудо-

вание, это место, где начиналось революционное будущее Москвы.

Нет семей, похожих одна на другую; нет и похожих рабочих коллективов. Но на старых заводах всегда есть люди, как бы несущие в себе традиции рабочего костяка, ветераны, которым особенно близки и дороги честь и слава коллектива.

А возле них густо поднимается молодая поросль, растущая на почве, созданной отцами. Молодые подхватывают утвердившиеся традиции и сами умножают их, как бы увеличивая культурный слой этих традиций.

Василий Михайлович Катников — человек в летах. Внешне он кажется грузен, но в движениях легок, я даже сказал бы — изящен. Интересно наблюдать его деловые разговоры. Главное в них прежде всего доброжелательность. Может, это от возраста, от опыта большой жизни.

С Василием Михайловичем мы говорили как бы на равных. Почти одногодки, мы вспоминали с ним Москву далекого 1925 года, когда оба были подростками, так непохожую на нынешнюю. Частная торговля, биржи труда, первые автобусы... А потом самые начальные годы индустриализации страны, вышки московского метрополитена, строительство шарикоподшипникового завода, автомобильного, реконструкция старых предприятий...

Вот выдержки из записей наших бесед.

Вопрос. С какого года вы на заводе «Красная Пресня»?

В. М. Катников. С 1935-го — следовательно, больше тридцати пяти лет. Ветеран... Есть еще на заводе рабочие, которые тут начали работать раньше. Старая гвардия! Вот контрольному мастеру Митрофану Григорьевичу Лисову идет восьмой десяток, на заводе он пятьдесят лет. Таких теперь, конечно, единицы. Но и с моим стажем тоже единицы. Сюда я пришел уже профессионально подготовленным — слесарь-жестянщик высокого разряда, с опытом.

Вопрос. Как началась ваша рабочая жизнь?

В. М. Катников. Нужда в 1925 году погнала в город. В семье, а жили мы в Костромской области, было семь душ. Я — старший. Летом все работали в поле, а на зиму мы с отцом уходили на лесозаготовки. Но зарабатывали плохо, бедность душила. Каждый рот был обузой. Вот и решили отец с матерью отправить меня в город, может, там найдется мне работа. Надеялись, что хоть немного, но смогу подсылать деньжат.

В Москве я поселился у брата, и он помог поступить в

ФЗУ. Через год я получил квалификацию слесаря-жестянщика и остался работать в мастерских. Гнали мы тогда железнодорожные рожки, свистульки. А потом оказался в... Большом театре. В бутафорском цехе готовили оформление для спектаклей. В «Руслане и Людмиле» в одной из картин на сцене стоит гробница. На ней тиснения из металла. Моя была работа.

Но она казалась несерьезной. Скоро меня другие захватили дела. Началось в стране широкое строительство, и я очутился в тресте Сантехмонтаж. Многое я тогда повидал. Работал на строительстве завода СК в Воронеже. За этой стройкой следила вся страна. Еще бы! Начинали получать свой каучук, освобождались от иностранной зависимости. Вообще-то я на многих стройках побывал: авиационный завод, оптический, ГРЭС.

Потом военная школа. Отличная! Получил новую специальность — связист, помкомвзвода.

Из армии вернулся в 1935 году. Вот тогда и пришел на «Красную Пресню», влился в большой коллектив. Начал работать слесарем-жестянщиком, дошел до бригадира. Завод стал самым дорогим для меня местом. Тут шла моя, как говорится, рабочая закалка. Строил планы учиться, набираться технических знаний. Но все оборвала война...

Вопрос. Как сложилась ваша военная судьба?

В. М. Катников. Довольно неожиданно... Впрочем, как и для всего нашего поколения. От каждого она потребовала полной отдачи сил. Благодарен я заводу и товарищам. Они меня многому научили. Я был бригадиром, появились навыки общения с людьми. Ведь самому малому командиру надо учитывать характер каждого человека, его возможности, так сказать, его силовой диапазон. Надо установить такой контакт с людьми, когда все члены бригады становятся коллективом; каждый ощущает себя личностью, но свои поступки мерит по пользе их рабочему содружеству. Создается ритм отношений. Вот это искусство рабочей дружбы мне очень пригодилось на войне.

А моя военная судьба... Началась она на второй день войны. В понедельник, 23 июня. В клубе «Трехгорной мануфактуры». Там был призывной пункт. Завершилась в конце 1945 года, в знаменитом пятом форте Бреста. Там демобилизовали.

Что было неожиданного? Сразу стал командиром отдельной роты связи, лейтенантом.

Война — школа для всех суровая. На уроки тороватая. Немало выпало их и на мою долю.

Вот, например, формировал я свою отдельную роту в степях оренбургских. Зима стояла страшенная. В роте 127 человек в возрасте от семнадцати до пятидесяти пяти лет. Представляете? Были из госпиталей, с опытом, были перепуганные войной Семнадцать разных специальностей, порой неожиданных. Самый пожилой, пятидесяти пяти лет, Шарафудинов — директор треста Нарпит. А надо всех сделать связистами. Этот директор тогда попортил мне крови: все жалобы писал — ночными ненужными тревогами мучаю, по-пластунски ползать заставляю, пайки урезываю... Приезжали поверяющие, расследовали...

А тут и другие неприятности — поважнее. Эшелон с лошадьми на станцию пришел ночью. Отшагали в буран при тридцатиградусном морозе, подошли к составу, отодвинули двери и ужаснулись. Не лошади, а скелеты. Отощали так, что почти всех держат на подвязках, на некоторых даже шерсти нет. Ставить их нам некуда, кормить нечем. Позвонил я в Оренбург начальнику связи, доложил все и сказал, что такой конский состав принять не могу. Он поддержал.

Только вернулись к себе, как меня снова к телеграфу. На проводе генерал-майор. Разговор у него со мной, лейтенантом, краткий:

— Принять конский состав... Освободить вагоны через два часа... За невыполнение приказа — в трибунал!..

Рассовали мы кое-как лошадей по дворам пристанционного поселка, разослали людей по окрестным деревням корма искать.

В мае 1943 года нашу роту направили в Острогожск в распоряжение 5-й танковой армии. Как раз готовилось знаменитое сражение на Курской дуге.

Явился к начальнику связи армии полковнику Миничу.

— На какой тяге рота?

— На конской.

— Шутишь, лейтенант?

— Никак нет.

— Голова садовая... Мы же танкисты! Где же вам на конях за танками ускакать?

Но приказ есть приказ: остались. Танковые сражения в районе Прохоровки хорошо известны всем. Три недели непрерывных тяжелых боев. И тут все мои связисты стали настоящими солдатами. Даже Шарафудинов.

С этой армией наша рота входила в освобожденный Белгород. Тогда в Москве прогремел первый победный салют. Прошли мы с танкистами, не отставая, по Украине, добивали окруженных под Корсунь-Шевченковским гитлеровцев.

Тут я здорово влип. Наши одры к тому времени подтянулись. Они оказались киргизской породы — лошади эти выносливые, неприхотливые, но низкорослые, много груза тянуть не могут. Танкисты передали нам трофеи: тяжеловесов першеронов. Крупных, гладких... Я и пересадил роту с киргизок на першеронов.

Ну и намучились...

Лошади сильные, но с прихотью. Пройдут столько-то километров, норму свою, и ложатся. И тут все — не поднимешь. Как же мы тогда своих кровных киргизок жалели...

А потом пересели на автомашины, и дело пошло.

Рота стала отличным воинским коллективом, а дружба соединила нас на всю жизнь. Ста километров не дошли до Берлина.

Был дважды контужен, имею несколько правительственных наград. Первый орден — Красную Звезду — получил под Наро-Фоминском.

А в 1946 году вернулся в свой заводской коллектив капитаном запаса, членом партии.

Вопрос. Этот опыт как-то сказался на вашей послевоенной жизни?

В. М. Катников. Разумеется... Завод меня сделал рабочим, война — коммунистом. Это самое главное.

Почти пятьсот человек с завода «Красная Пресня» ушли на фронт. Нет, не все вернулись, но среди тех, кто пришел назад, почти все стали коммунистами. С возросшим чувством партийной и гражданской ответственности за всё, за все дела. Как на фронте мы всегда помнили, что коммунисты должны быть в боях впереди, увлекая за собой других, так и на заводе мы понимали, что должны быть вожаками.

Тем, кто оставался в Москве, выпали свои испытания. Тяжелый труд, скудные пайки, холодные зимы, недостаток одежды. Но люди делали все ради нашей победы. Завод «Красная Пресня» не эвакуировался. В цехи тогда пришло много жен фронтовиков, наших сынов и дочерей. Они заняли места ушедших на фронт. На них, пожалуй, и держалось производство.

К тому времени, когда я вернулся домой, заводчане уже делали литейные машины для восстанавливаемых заводов.

Одновременно на «Красной Пресне» готовились выпускать и новые машины. И тут возникла дополнительная трудность. В июле 1941 года на завод упала немецкая бомба и при пожаре погибли почти все чертежи новой машины. Наши конструкторы и технологи по обрывкам кàлек пытались восстановить ее облик.

Помню особое чувство радости труда. Ведь это был мирный труд!

Я стал активным участником всей заводской партийной жизни. Вот, пожалуй, то новое, главное и большое, что вошло в мою послевоенную жизнь.

Вопрос. Что вас увлекало в партийной жизни?

В. М. Катников. Причастность коммуниста ко всему самому главному. Чувство увлеченности жизнью, возможности активного действия. Ведь мы, коммунисты, смотрим на все события пристальным глазом хозяина. Во что-то можем вмешаться, что-то быстро поправить, кого-то поддержать. А главное — это когда можно поднять тонус жизни. Ведь если коллектив увлечен чем-то большим, то ведут его коммунисты.

Это я особенно сильно почувствовал, когда, пройдя через такие ступени заводской жизни, как бригадир, мастер, начальник цеха, вдруг оказался на партийной работе. В 1949 году меня избрали секретарем заводского партийного бюро.

Вопрос. Что вы считаете для себя главным в партийной работе?

В. М. Катников. Она делится на две части. Одну можно назвать общей — это многообразные дела, связанные с ходом производства; вторую можно назвать конкретнее — воспитание людей.

В производственных делах позиции ясны — надо находить коллективные решения всех возникающих проблем заводской жизни.

Воспитательная работа разнообразнее и бесконечно сложнее. Партийное влияние должно охватить всех людей. Мы заинтересованы в правильной жизни каждого человека, в его производственном и духовном росте. А это означает, что партийная работа включает заботу и о юнце, кто только перешагнул порог заводской проходной, еще не имеет жизненного опыта, подвержен самым различным влияниям, и, скажем, об инженере со стажем, опыт которого, производственный и жизненный, должен максимально служить заводским интересам.

За то время, что я на партийной работе, в члены КПСС вступило 130 человек. 130 разных судеб! Коммунистами они стали в нашем коллективе. Я мог бы подробно рассказать, как формировались их характеры.

Вопрос. Что отличает современную рабочую семью?

В. М. Катников. Прежде всего я бы отметил рост интеллигентности. Я знаю много таких семей, где отцы начинали рабочими самой низкой квалификации, знания добывали только усиленным самообразованием, или, как мы говорим, собственным горбом. Их дети шли к образованию нормальным путем: школа, техникум, институт. В более короткие сроки они формируются в своей специальности и раньше становятся квалифицированными мастерами.

Вот, к примеру, моя семья. У меня двое — дочь и сын. Дети кончили техникум, дочь работает на заводе технологом, зять — конструктором, сын — техником в Институте тепловых приборов. Сыну — двадцать четыре года. В его возрасте я был только жестянщиком, общее образование — сельская школа.

Так и во многих рабочих семьях.

Вопрос. К какой же социальной группе вы себя относите?

В. М. Катников. Рабочий! Прежде всего рабочий. И горжусь своей принадлежностью к армии людей труда.

3

Детство Юрия Сергеевича Дронова пришлось на трудные годы войны. Отец уехал с эвакуированным заводом на Урал. На руках матери осталось трое мальчишек. Может, потому не слишком хорошо у него шли школьные дела. На заводе «Красная Пресня» Юрий Сергеевич с 1949 года.

Вопрос. Вы помните начало своей рабочей жизни?

Ю. С. Дронов. Для меня оно памятно. Совершился крутой поворот в моей судьбе.

Я был «мальчишкой с улицы». Война. Мать целый день на работе. А я сам по себе. Улица разболтала основательно. Старший брат поступил в ремесленное училище. Хорошая форма, рабочая карточка. И мне захотелось попасть туда же. Хотел стать токарем или электромонтером. Да образование-то у меня только четырехклассное. И я оказался в группе слесарей. Практику проходил на заводе «Красная Пресня». Кончил училище, и меня направили сюда же.

Вопрос. И как сложилась ваша рабочая жизнь?

Ю. С. Дронов. Мне повезло, попал в добрые руки. Сначала в бригаду слесаря Андрея Васильевича Шишкина. Теперь он на пенсии. Позже — к бригадиру на сборке Владимиру Александровичу Марсакову. Они следили за каждым моим шагом, приучали к труду, научили любить его.

Эти представители старой рабочей гвардии вложили в меня, подростка, чувство гордости заводом с его славными революционными традициями. Да, я с гордостью говорил дружкам, что работаю на Красной Пресне, что наш завод называется «Красная Пресня». В то время мы жили у Курского вокзала. Сообщение было неважное, порой пешком приходилось топать. Времени уходило на дорогу много. Но это не смущало. Завод становился родным домом. Я приобрел много хороших друзей. Нас всех увлекала возможность развернуть свои силы, показать свои способности. Так возникло у нас желание создать свою молодежную бригаду. Только сомневались — позволят ли нам, доверят?

Вопрос. Удалось?

Ю. С. Дронов. Не подумайте, что это такая уж большая бригада. Она состояла из двоих — меня и моего самого большого друга Виктора Ветрова. Но важным оказалось доверие к нам. Мы ведь вставали на самостоятельную работу. В цехе нас тогда собралось семеро бывших ремесленников, ребята тоже стали по нашему примеру создавать бригады.

А дела у нас пошли хорошо. Доверие — великое дело. Оно нас и воодушевляло.

Бывало, шагаешь на завод. Настроение преотличное, все тебя радует. Знаешь, что ты нужный человек, твоя работа замечена. И хочется сегодня опять что-то сделать лучше, еще рвануться на шаг-два. Завод осваивает новые машины, докладывает о перевыполнении плана, и ты помнишь, что во всех этих успехах большого коллектива есть и твоя доля.

Потом вступил в комсомол. Вступали мы «всей» бригадой — вместе с другом Виктором. При приеме в комсомол вместе отчитывались перед товарищами в трудовых делах. Ну, а уж как стали комсомольцами, так еще посерьезнели. Раз комсомолец — с тебя и спрос больше.

Заводскими комсомольцами мы вместе и в армию ушли.

Вопрос. Как служили в армии?

Ю. С. Дронов. У нас с Виктором были отличные производственные и комсомольские характеристики. Поэтому и попали в самые главные войска нашего времени — в ракетные.

Уважили нашу просьбу, не разлучили с Виктором. Мы поехали в один полк, все три года службы были рядом.

Из армии вернулись в 1955 году. Виктор ушел на завод, где работала его мать. А я вернулся на «Красную Пресню». Другого места работы себе даже не представлял. Завод, ребята — все мне было близко, знакомо. Понял, что вся моя жизнь отныне только здесь.

Вопрос. Не раскаялись?

Ю. С. Дронов. Раскаялся? Знаете, как меня встретили? Словно вернулся в родную семью. Соскучился по заводской жизни.

А вскоре мы, недавние солдаты, решили создать свою бригаду, показать армейскую хватку. Сначала в ней были трое — Евгений Гужиков, Владимир Кабанов и я. Потом присоединились Леонид Кабанов, Сергей Рыжиков, Владимир Сизов. На сборке нас так и называли: «солдатская бригада». О некоторых ребятах я еще скажу. Их судьба на моих глазах складывалась.

В моем домашнем альбоме сохранилась фотография этой нашей бригады. Сбившись в кучу, мы рассматриваем чертеж. Какие же мы на ней молодые, веселые, энергичные. Рубашки нараспашку, грудь колесом, у всех задорные чубы.

Забегая вперед, скажу о судьбе некоторых товарищей той поры. Владимир Сизов теперь старший инженер на Электрозаводе. Институт он закончил без отрыва от производства. Кабанов, уже не Ленька, а Леонид Павлович, учился в Высшей партийной школе и теперь работает инструктором райкома партии.

Это теперь. А тогда мы еще не знали, как сложатся наши судьбы. Тогда мы просто работали, старались.

Пятнадцать — тридцать машин разных марок проходили через руки слесарей-сборщиков. Мы наращивали темпы, занимались рационализацией, упрощали операции, совмещали их, вносили всякие усовершенствования. И почти каждый месяц первыми в цехе перевыполняли задания.

Так мы заняли в соревновании первое место и добились почетного звания бригады коммунистического труда. Она считалась передовой и в нашем Краснопресненском районе.

Очень внимательно следил за нашими делами старший мастер на сборке старый большевик Иосиф Моисеевич Винокур. Как-то собрал он бригаду и говорит:

— Хорошо работаете. Но разве это все? У всех образование аховое. Учиться надо.

— А зачем? — спрашивают его ребята.

Не раз с нами беседовал, объяснял. Убедил.

Все мы, отбросив свое мальчишеское «зачем», пошли в среднюю вечернюю школу. Закончив школу, я решил учиться в техникуме. В своем, заводском. Другие ребята тоже продолжали учиться — кто в техникуме, кто в институте.

Так, не отрываясь от производства, мы получили техническое образование.

Постепенно наша бригада разбрелась, я остался бригадиром, но уже с другими ребятами. Началась новая полоса моей жизни.

Вопрос. Чем она интересна?

Ю. С. Дронов. Я стал членом партии. Меня приняли в партию в 1958 году. А спустя три года я оказался в Большом Кремлевском дворце на XXII съезде КПСС. Был избран делегатом. Чувствовал себя представителем всего нашего заводского коллектива, куда пришел когда-то шалым мальчишкой. И в эти минуты вся жизнь прошла перед моими глазами...

В 1963 году расстался с бригадой, меня выдвинули в заместители начальника цеха. Того самого, где начинал трудовой путь. В 1965 году пошел учиться в Высшую партийную школу. Недавно ее закончил.

Так вот сложилась моя рабочая судьба. В ней вроде все обычно. У десятков моих товарищей такой же путь. Приходили школьниками, а здесь взрослели, учились. Росло производство, ширилась техническая революция, поднимались люди. И это правильно. Станешь рабочим — хочется идти дальше. А на твое место встают другие. Завод не терпит застоя.

На нашем старом заводе много кадровых рабочих. Со стажем больше пятнадцати лет — две трети. Это хороший костяк коллектива. А как изменился образовательный ценз! Среди рабочих до сорока лет только трое не имеют среднего образования.

Вопрос. Как проходит сейчас ваша жизнь?

Ю. С. Дронов. Последние двенадцать лет я, не делая перерывов, учился. Без отрыва от производства, выполняя самые различные поручения партийной организации. Приучил себя к самому строгому режиму труда. На отдых, на семью почти не оставалось времени. А сейчас у меня — чувство свободы.

Вдруг появились резервы времени. Тут же возникает мысль — как лучше использовать их.

Еще меня занимает профсоюзная работа. Заботы о жизни всего коллектива — об отдыхе, летних лагерях для детишек, жилищных делах. Когда вхожу в цех, вижу молодежь, я всегда думаю: надо, чтобы трудовой ее путь был похож на мой, чтобы никто не пожалел, что стал рабочим.

4

Токарь Сережа Грушин входит в самую молодую возрастную группу рабочих завода «Красная Пресня». Ему двадцать один год. О нем по-доброму отзываются в цехе, в комитете комсомола. Мы встретились после работы. Он сбросил спецовку, переоделся в хороший костюм, в руках тугой портфель: сегодня занятия в вечернем институте.

Вопрос. Вы определили свой жизненный путь?

С. Грушин. Почти... Пора колебаний вроде бы прошла. Буду заканчивать институт. А потом, может, и дальше буду учиться.

Вопрос. А как оказались на заводе «Красная Пресня»?

С. Грушин. Сама жизнь сюда привела. Окончил десятилетку и мечтал попасть в Московский авиационный институт. Мне бы к экзаменам посерьезнее готовиться, а я: дескать, ладно, сумею. И на рыбалку. Увлекся дальними походами, свободой. Ну и, конечно, срезался на первых же экзаменах.

Мать посоветовала пойти на ее завод, а не болтаться на улице. Она тут работает шестнадцать лет. Начинала работницей, потом кончила вечерний техникум и стала экономистом.

С этим заводом я связан с самого детства, потому что и живем мы рядом. Каждое лето ездил в заводской пионерский лагерь. Ходил в заводской клуб. Дружил со многими ребятами из цехов. Узнав, как я «сел» на экзаменах, и они потянули на завод. Так я и очутился на «Красной Пресне».

Вопрос. Заводской жизнью довольны?

С. Грушин. Не испытывал колебаний: идти — не идти? И не жалею, что стал рабочим. Не понимаю тех ребят, которые боятся заводской обстановки, рабочих профессий. Меня наше дело увлекает. Молодежи тут много, живем дружно. Комсомольская организация большая и сильная.

Расскажу только про одно дело, которое мы начали и закончили.

Наш завод, помогая сельскому хозяйству, выпускает вакуумные насосы для доильных установок. Однажды к нам в комитет комсомола приехал секретарь Липецкого обкома ВЛКСМ, рассказал, как тяжело работать сельским девчатам на фермах. Попросил помочь. И мы договорились, что в сверхурочное время сделаем для липецких животноводов сто таких насосов. Работали безвозмездно, по гражданскому долгу. И свое слово сдержали. Не так давно отгрузили им последний насос.

Вопрос. Человек живет не только работой. Есть у вас какие-нибудь увлечения?

С. Грушин. Хобби? Можно ли мое увлечение так назвать? Люблю туризм. Издавна. Еще со школьных лет. Теперь, когда работаю, появилось больше возможностей и границы увлечения расширились. В секции я стал инструктором по зимнему туризму. Устраиваем дальние походы, разрабатываем новые маршруты.

Два года назад я женился. Мы и с женой познакомились в туристическом походе. Там началась наша любовь. А теперь у нас и дочка растет. Ее тоже приучим к путешествиям.

Есть и еще одно увлечение — водные лыжи. Но это летом.

Видите, как складывается? И по хорошему снегу хочется пойти в дальний поход, и институт требует много времени (я на третьем курсе), и общественная работа, и семья. Трудно бывает, но все нужно, все важно, одно другое дополняет.

Вопрос. Какая у вас общественная работа?

С. Грушин. Возглавляю «комсомольский прожектор». Как работается? Не буду хвастать, что все уже налажено. Но стараемся. Вроде что-то и получается.

Вопрос. Что вы думаете про тех ребят, которые страшатся заводских профессий?

С. Грушин. Такое настроение есть. Приходилось читать, что молодежь, ребята и девчата, бегут из деревни в города. Там население начинает «стареть». Нам тоже не хватает рабочих. Что ж, и заводам «стареть»?! А молодежь, оканчивающая школы, расходится в разные места, избегая заводских проходных. Почему? Мы все же плохо рассказываем о рабочих профессиях, как-то без должного уважения к ним. Бытует представление, что если попадешь на завод — отрезаешь себе все пути. А так ли это?

У нас молодых ребят больше двухсот. Почти все учатся.

Значит, в росте они не останавливаются. И командный состав завода в большинстве вышел из рабочих. Приведу такой случай. Мы выполняли важный заказ для Болгарии — автоматическую литейную линию. Нам не хватало восьмидесяти станочников. Что делать? Откуда их взять? Тогда партийная организация и дирекция обратились к инженерам и техникам, владеющим профессиями станочников, попросили временно поработать в цехах. И что же? Нашлись эти восемьдесят станочников. Видите, как теперь идет сближение рядового рабочего с инженером...

У нас почти нет ребят, не имеющих среднего образования. А как это важно! Как это помогает в труде!

Ежегодно приходят ребята из профтехучилища. Иногда такие шпанистые, что кажется, никакого и толка из них не будет. А смотришь, через короткое время стал человеком. Коллектив сильный, умеет воздействовать. И постепенно ребята «входят в берега».

Вопрос. Иногда можно услышать такое рассуждение: надо ли рабочему кончать десятилетку?

С. Грушин. Так может говорить тот, кто не знает заводской жизни. Современный рабочий должен быть грамотным. Ведь у культурного человека иной взгляд на свой труд, у него и иные возможности. Он может лучше себя проявить на производстве. Мы говорим о творческом подходе к труду. У кого же он выше — у грамотного или необразованного человека? Это же очевидные истины!

Да и общий кругозор шире, жизнь содержательнее, богаче, интереснее.

Нет, я нисколько не сожалею, что, не попав в институт, пришел на завод. Эти годы дали мне много — почувствовал себя увереннее и тверже на земле.

5

С молодым рабочим Анатолием Тюльневым мы ехали электричкой по Белорусской дороге домой; я — в Рабочий поселок, он — в сторону, в Усово.

— Семья наша рабочая,— рассказывал Анатолий.— Детей пятеро. И все мы как бы приписаны к заводу «Красная Пресня». Отец работает тут больше двадцати лет, братья тоже краснопресненцы.

В пятнадцать лет, когда я окончил семь классов, отец при-

вел меня на завод, познакомил с мастером Петром Матвеевичем Савельевым, сказал:

— Учись!.. Слушайся Петра Матвеевича.

Было это восемь лет назад.

Ученические годы вспоминаю с благодарностью. Петр Матвеевич Савельев выучил не одного подростка. Я сказал бы, что у него дар настоящего педагога. А ведь с нами было ему порой трудновато. Мальчишки не всегда серьезно относились к делу.

Вы заметили, как коллектив «Красной Пресни» гордится своими давними революционными традициями? Такое чувство уважения к заводу возникает у каждого, кто приходит сюда. Я это на себе испытал. Слушал рассказы отца о заводе «Красная Пресня», узнавал его историю... Помню, спросят, бывало, где работаешь, а я с гордостью отвечаю: «На «Красной Пресне»!»

За четыре года получил хороший разряд по слесарному делу. И тут меня призвали в армию.

Провожали на службу торжественно, в клубе, давали наказ оправдать доверие коллектива. Попал на Кавказ. В армии был механиком по вооружению. Заводская школа здорово пригодилась. Бахвалиться не стану, но служилось мне легко и хорошо. Всего я за службу в армии получил восемнадцать благодарностей; был отличником боевой и политической подготовки; мать получила от командования благодарственное письмо. Бакинский городской комитет комсомола наградил Почетной грамотой.

Вернулся домой в 1969 году. Знакомые ребята, служившие со мной на Кавказе, звали к себе на завод. Там вроде и условия получше, чем на «Красной Пресне», и зарабатывают слесаря побольше. Признаюсь, колебался. И все же не пошел. Почему? Не смог бросить своего завода, привязался к нему. Все привычно, знакомо. Словом, «Красная Пресня» стала мне родной.

До чего же было хорошо в те первые дни, когда после армейской службы я опять вошел в свою проходную, увидел знакомый заводской двор, свой цех, свое рабочее место!

В армии понял, что с образованием у меня не особенно ладно, надо учиться. Потому сразу, как вернулся домой, поступил в вечернюю школу. Сейчас учусь в девятом классе, думаю о техникуме. Никто меня не понуждал идти учиться, можно было бы прожить и без этого. Но, если серьезно думать о будущем, останавливаться нельзя.

Чем увлекаюсь? Вот лыжи люблю. Живу в Усове, ну и лыжи у меня были с самого раннего детства. Читать люблю, слежу за военной литературой, стараюсь не пропускать ни одной хорошей книги о войне. Еще и про любовь...

Вся наша семья, кроме старшего брата, живет в Усове. Далековато от завода, много времени уходит на дорогу. Иной раз хочется задержаться в цеху, в клубе побывать, да вспомнишь про расписание поездов, да про то, что от станции еще топать три километра, да если осенью, в дождь, или зимой, в метель, и охота пропадает.

И дом у нас старый, все больше ветшает, ремонта требует. Этим летом в отпуск никуда не ездил, всей семьей капитальный ремонт дому делали. А что толку?

Иногда мелькнет мысль: неужели уходить с завода? А ведь, может, и придется. Надо о своем жилье думать, глядишь — и семья появится. Где же мы вдвоем, а потом и втроем будем ютиться? И если уйду, то, наверное, долго буду вспоминать свою «Красную Пресню», Пресненский вал, на котором завод стоит, свой цех, ребят, с которыми начинал, всех своих мастеров. Даже подумать страшно, что может такой день наступить...

6

Михаил Бобошин, по профессии слесарь, тоже из молодого поколения заводчан. Ему двадцать два года, а трудовой стаж — семь лет. Он — комсомольский активист.

Вопрос. Вы семь лет на заводе. Как они сказались на вашей жизни?

М. Бобошин. Просто и не заметил, как они промелькнули. Внешне: семь лет назад — подросток, которому все в заводской жизни было в новинку, чувство какой-то неуверенности в себе, в своих силах, возможностях; сейчас — наладчик оборудования, студент четвертого курса института. Тогда — новичок-комсомолец, только-только начинавший понимать свое место в организации; сейчас — член партии, член бюро райкома комсомола.

Вопрос. Такой быстрый производственный и общественный рост характерен для молодежи?

М. Бобошин. Мой пример — не исключение. Если у кого-то из молодых рабочих не клеится дело, если срывается учеба, то это для нас чрезвычайное происшествие. Стараемся прийти на помощь. Заботимся, чтобы у каждого парня шел произ-

водственный рост, сочетаемый с повышением образования. На заводе не учатся считанные единицы. Это дух нашего времени. Явление всеобщее.

Вопрос. Вы сознательно выбрали рабочую профессию или какие-то жизненные обстоятельства понудили вас пойти на завод?

М. Бобошин. В выборе жизненного пути я был свободен. Семья наша рабочая, материально хорошо обеспеченная, и меня ни к чему не принуждали, моих побуждений не ограничивали. Сам рвался на завод, почему-то тянули именно заводские корпуса.

Жили мы тут же, возле Ваганьковского кладбища, дядя и тетка работали на этом заводе. Закончив восемь классов, я пристал к ним, просил устроить к себе. Кем угодно, только бы на завод...

Но мне еще не было шестнадцати лет. Дяде с трудом удалось оформить меня на работу.

17 августа 1963 года наконец приняли учеником слесаря в ремонтный цех. Видите, помню это число. Так помнят день своего рождения. Таким этот день был и для меня — торжественным и радостным.

А с чего начинал! Мыл станки, всякое оборудование. Соскребал масло, ржавчину. На иной станок смотреть было страшно. Пол в ремонтном цехе в ту пору был земляной, плотно утрамбованный, весь пропитан грязью, скользкий. Сквозняки... Да и работа не только грязная, но и физически тяжелая. Станки мы передвигали с помощью катков, ломиков да собственных спин. Вот и вся тогдашняя механизация.

Но ничто меня не смущало. Все мне было интересно, все занимало. Да и относились ко мне все хорошо. Особенно помню старшего мастера Бориса Николаевича Казаринова — моего лучшего учителя и наставника в ту пору.

Вопрос. Что побудило вас пойти учиться?

М. Бобошин. Как-то сразу меня захватили цеховые и заводские дела. В ремонтном цехе сложилась дружная комсомольская организация. Общественная жизнь била, как говорится, ключом. Меня втянули в редколлегию стенной газеты, избрали редактором. Начал выполнять и всякие другие поручения. Все кругом меня учились, толковали не только про заводские дела, но и про учебные. И не захотелось отставать от ребят. Тогда и пошел в вечернюю среднюю школу, а потом, почти автоматически, поступил в институт. Да и начи-

нал понимать, что без серьезной технической подготовки безнадежно отстану.

Вопрос. Возникало ли у вас чувство неудовлетворения своим трудом, желание сменить профессию, завод?

М. Бобошин. Кажется, таких настроений не было. Не та почва. На завод я пришел по своей воле. Завод же настоящему рабочему дает широкие возможности занять то место, которое его привлекает.

Как было со мной? Стало сильно тянуть на основное производство. Хотелось попасть в цех сборки литейного оборудования, стать ближе к создателям машин. И мне в этом желании не отказали. После трех лет работы в ремонтном цехе перешел на сборку. И попал на самый интересный участок — на сборку гидравлики-пневматики. Она дает жизнь машинам, дает им дыхание.

Потом меня перевели в цех наладки. Это еще более квалифицированная и увлекательная работа. С бригадами наладчиков приходилось ездить на многие заводы, где мы опробовывали и настраивали оборудование, видели наши автоматические линии в действии.

Возникали мысли о возможных усовершенствованиях, улучшении каких-то узлов. Садился за чертежи. Словом, увлекательно!

Вопрос. Какое место в жизни занимают общественные поручения?

М. Бобошин. Большое. Они увеличивались по мере производственного роста. В ремонтном цехе занимался стенгазетой. Когда пришел в сборочный цех, где коллектив во много раз больше, возглавил оперативный отряд по всяким производственным вопросам, потом меня выбрали секретарем цеховой комсомольской организации, вошел в состав заводского комитета комсомола.

Но дело не в самой нагрузке, а в том, что она дает. Мы все живем делами завода, нас касаются все стороны жизни коллектива. Это дает чувство близкой сопричастности ко всему.

Да и само слово «нагрузка» неточно выражает содержание того дела, которое тебе поручает коллектив. Это ведь форма личного участия человека в жизни своего участка общества. Приучаешься шире смотреть на все явления, искать такие решения, которые принесут наибольшую пользу твоему коллективу.

Сейчас меня избрали секретарем заводского комитета комсомола. Я был гостем XVI съезда комсомола. Ездил в

Краснодар на слет молодых специалистов машиностроения. Разве это нагрузки? Это — сама жизнь, активное участие во всех ее явлениях.

Пять человек... Пять бесед с рабочими людьми одного коллектива. С людьми разных поколений...

Мне кажется, что в этих беседах есть что-то сближающее их. Оно в том чувстве единства, которое связывает людей старшего поколения с младшим. Они как бы ровесники своего времени. Это очень важно — не отставать, не сбивать шага, не выбывать из строя.

...Звенит где-то за поворотом трамвай... И если прикрыть глаза, кажется, что тебя опять перенесло в детство, что стоит сделать несколько шагов, свернуть за угол, и снова откроется дверь, обитая клеенкой, и на пороге будет стоять улыбающийся Петр Ефимович — дядя Петя, за спиной которого опять увижу закопченные стены убогого жилища.

Но долго с закрытыми глазами здесь, на Пресне, не простоишь. Теперь это день и ночь бурлящая магистраль столицы. Здесь уже и сейчас много перемен. А скоро этот район станет и вовсе иным. Молодеет и хорошеет старая, когда-то окраинная Пресня. Придешь сюда через полгода и остановишься в растерянности!

Давно снесли домишко, в котором жил Петр Ефимович. Его дети и внуки живут в красивых многоэтажных зданиях с ослепительно белым кафелем кухонь, с модной мебелью и телефонами. Нет, дяде Пете и присниться не могла такая жизнь! Хотя, конечно, когда в него стреляли, когда лоскутом от рубахи он перетягивал рану, мог он понимать и думать, что борется за светлую жизнь рабочего человека... Да, об этом он думал, сражаясь на баррикадах. От тех сражений — прямой путь к великому взрыву 1917 года, когда рабочий человек пришел к власти...

Дети же и внуки Петра Ефимовича, потомки его, и сейчас ведут борьбу, пусть бескровную, но настойчивую и решительную, цель которой — коммунизм. Ведут борьбу за человека высокой нравственности, за человека, достойного того, чтобы жить в коммунизме. И нет ни малейшего сомнения в том, что они в этой борьбе будут победителями.

Абрам СТАРКОВ

Товарищи в борьбе

I

Мы ехали бульварами и авеню Парижа в его дальний левобережный 14-й аррондисман (округ), на rue Marie Rose, 4, к Ленину, на квартиру, в которой он прожил с Надеждой Константиновной и ее матерью Елизаветой Васильевной без месяца три года. А по пути мы должны были проехать улицей Бонье, где в доме № 24 «Ильичам», как их называли друзья, ужасно не повезло с консьержкой, сразу невзлюбившей и всячески третировавшей их, но они вскоре подыскали себе другое жилье — на близлежащей «глухой уличке Мари-Роз».

На рю Бонье нас поджидало маленькое приключение. Дорогу нашему автобусу преградила небольшая легковая машина, оставленная хозяином посередине мостовой. А по обеим сторонам тоже стояли автомобили почти впритык друг к другу и проехать было невозможно. Шофер гудел-гудел безответно, как в пустыне, и мы уже решили выходить, чтобы проделать оставшийся путь пешком. Но, оказывается, нас услышали и увидели. За забором строился дом. И из глубины этой стройки вышло пятеро каменщиков в одинаковых синих комбинезонах и разноцветных жокейских шапочках. Точнее сказать, они не вышли, а скатились откуда-то сверху, с лесов, и мигом, в два-три движения, подхватили мешавшую нам машину, не столкнули ее, а именно подхватили, подняли на руки и переставили, как стул, как стол, на другое место, в сторону, к тротуару, чтобы мы могли все-таки проехать. Они сделали это так быстро, исчезнув тут же в темных проемах строящегося дома, что мы даже не сразу как-то отреагировали на их поступок и начали благодарственно махать руками, уже отъехав метров на пятьдесят. И вряд ли они видели наши машущие руки сквозь запотевшие стекла автобуса. Я не знаю, догадывались ли эти парижские парни, открывая нам путь, что мы русские и едем к Ленину. Хочу думать, что догадывались.

От Бонье до Мари-Роз две минуты езды. Мелькает табличка: «Мари...» Нет, это другая Мари, это «Мари-Дави». А вот и наша. Совсем крошечная, даже не «уличка», как определила ее Крупская, а переулочек: дом № 4 второй от угла, а через номер уже другой угол, другая улица. Сам же дом довольно высокий, в семь этажей, да еще классическая для Парижа мансарда. И такие же традиционные балконы у каждого окна.

Но у нас нет пока времени в подробностях оглядеть с улицы жилище «Ильичей». Мы предупреждены: регламент посещения жесткий. Как и весь статус музея-квартиры Ленина на улице Мари-Роз. Вот я уже и нарушил этот статус, написав «музея-квартиры». Здесь официально не музей, только квартира.

До 1955 года она принадлежала частному лицу. Да и сейчас частному. А фактически — французской компартии, откупившей ее у прежнего владельца. Но так как это не музей, а квартира, она по французским законам не должна пустовать, и тут постоянно живет кто-нибудь из коммунистов. И мы не на экскурсию идем, а в гости. Мы знаем, что обязаны вести себя претихонечко. Не всем населяющим этот дом нравятся гости квартиры № 2. Так было, между прочим, и при Ленине... Вот и сейчас приоткрылась одна из дверей на первом этаже, показалось недоброе женское лицо, и дверь захлопнулась громче, чем ей полагалось бы захлопываться. Мы старались ступать как можно тише, мягче, но нас было все-таки двадцать и не дышать-то уж мы не могли. А старенькая деревянная, круто витая лестница раскачивалась и скрипела, казалось, от одного только нашего дыхания. Вера Николаевна, переводчица, из эмигрантов, прожившая в Париже полвека и утратившая в своем русском языке точные значения многих слов, сказала нам: «Очень прошу вас, не скребитесь, пожалуйста...» Мы «не скреблись», мы даже перил не касались руками, но перила все равно поскрипывали вместе со ступеньками, предательски выдавая наше продвижение вверх. Мы поднимались гуськом. И вдруг наверху что-то застопорилось и оттуда передали шепотом по цепочке:

— Товарищ Лежандр просит извинения. Он уже принимает гостей из Москвы. И ждет нашу группу через полчаса.

Вот так неожиданно у нас образовалось время для более короткого знакомства с рю Мари-Роз, которую мы стали на-

зывать между собой улицей Ленина. И не были в том особенно оригинальны, поскольку кто-то еще до нас совершил это переименование, зачеркнув на указательной зелено-синей табличке слова «Marie Rose» и вписав поверх «Lenine». Наискось толстым, жирным фламастером, надолго, хотя при желании можно и стереть, но не стирают, так и значится «Rue Lenine». (В Париже, вернее,— в предместье его Иври, породнившемся с Красной Пресней, есть и узаконенное авеню Ленина; мы еще там побываем...)

Всю левую, нечетную сторону улицы занимает какое-то странное, неопределенной архитектуры здание, выложенное из красного кирпича. Похоже скорее на фабричное, а оказалось собором, входящим в монастырский комплекс францисканцев. Постройка двадцатых годов. «Ильичи» видели из окна склад строительных материалов. И вот обосновались монахи. Говорят, что первый настоятель этого монастыря отец Корентин был расстрелян фашистами как боец Сопротивления. Имя его носит соседняя улица, на которую глядит фасадом другое угловое здание. Оно легких корабельных обводов, контур его выведен циркулем, изящное, все в стекле. Это Центр для обучения строителей. А через дорогу родильный дом. Вот какая нынче многообразная жизнь у когда-то «глухой улички»! Рожают, взывают к богу, учатся строить дома...

У нас еще оставалось с четверть часа, и мы забежали на рю Бонье. Напротив дома № 24 — стройка, та самая, с нашими каменщиками. Но их не видно, да и постукивания киянок не слыхать, час обеда, сидят, наверно, вон в том бистро на углу и винцо потягивают... На фасаде две мемориальные доски. Слева — ленинская, установленная еще в 1945 году, сразу после войны. Вторая доска говорит нам об академике Шарле ле Готье, президенте литературного общества, поселившемся здесь в июле 1909 года. То есть как раз в те дни, когда «Ильичи» покидали это жилье, где злобная консьержка беспрерывно жаловалась на них хозяину, полиции. И может быть, съезжая с квартиры, они повстречались с въезжавшим сюда академиком.

Но товарищ Лежандр, должно быть, освободился...

В подъезде сталкиваемся с гостями из Москвы. Это — зиловцы, завершающие туристскую поездку по Франции. Пока они выходят, а мы входим, успеваем обменяться информацией. Советуют: «Вы там потише на лестнице. Соседи...»

Не знают, что мы уже с опытом. Поднимаемся абсолютно бесшумно. Не скрипит лестничка, не выдает нас.

На пороге квартиры — Антуан Лежандр... Бывает, знаешь человека заочно, хорошо знаешь, по каким-то свидетельствам, по книгам, по фотографиям, и вот уже представляешь его себе, будто видел. А встретишься — не такой, совсем не такой. Между обликом умозрительным и обликом сущим — разночтение. В данном случае этого не произошло. Контуры совпали, живой Лежандр слился с воображаемым. И ощущение такое, что мы просто не виделись некоторое время с этим давно знакомым мне человеком в сером костюме в мелкую-мелкую клеточку, в голубой рубашке, отлично корреспондирующей (можно так сказать?) с его голубыми глазами, с его сединой, которая чуть тронута голубинкой, как только что выпавший снежок в ясную погоду. Да простится мне это голубое описание товарища Лежандра. Но нет ведь ничего труднее словесного изображения человеческого лица, внешности. И поэтому продолжу просто, как начал: на пороге квартиры нас приветствовал Антуан Лежандр, хранитель музея. Музея. Он не живет здесь, квартира не на его имя. Он хранитель экспозиции, фонда. Собиратель.

О, неистовое племя собирателей! Среди моих друзей в Москве несколько таких одержимых. Теперь будет еще один — в Париже... Мне рассказывали, как Лежандр искал кафе «О пюи руж», в котором бывал Ленин. Полгорода обегал, а Париж он знает, в годы оккупации отвечал в партии за распространение антифашистских листовок в столице, всю сеть улиц держал в голове. Так вот, обошел и объехал полгорода, по местам, где предполагал обнаружить «О пюи руж». Не нашел. Засел за хранящиеся в префектуре старые списки кафе и среди тысяч названий выловил все-таки нужное: «О пюи руж» на площади Виктора Баш. Но нет там сейчас такого кафе и никто о нем не помнит. Перебрал множество почтовых открыток начала века. С видами Парижа. На какой-то замызганной, с оторванным краешком — площадь. А название-то и оборвано. Но старики опознали: кажется, это площадь Баш. Кажется. Совершенно не похожа на нынешнюю, все снесено, перестроено, единственный домишко сохранился из старых. Вот он и на открытке! Значит, площадь та. Стал разглядывать в лупу и где-то в уголке на заднем плане выискал кусочек вывески: «...rouge» — «О пюи руж». Кафе, в котором бывал Ленин! И старенькая, валявшаяся у кого-то открытка уже бесценный музейный экспонат.

Ну конечно же это музей. С экспозицией, разработанной, как принято говорить, на строго научной основе. При участии и содействии Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Но тесно, ужасно тесно. Музею принадлежат, собственно, две небольшие комнаты и кухонька. Третья комнатушка жилая, она-то и есть «квартира», официально зарегистрированная в муниципалитете. В музее, как полагается, книги, документы, фотографии, репродукции. Нет вещей, которыми пользовались «Ильичи». Нет мебели, которая стояла тут при них. Сохранились камины. И газовый счетчик с того времени. А можно ведь восстановить, воссоздать все, как было. Лежандр уже приглядел, уже подобрал в комиссионных магазинах, в лавках старьевщиков, на квартирах у знакомых мебель, утварь, предметы домашнего обихода, похожие на те, что были у Ульяновых. Но вещи некуда ставить, негде располагать, не вытесняя нынешнюю экспозицию — стенды, витрины. Вот бы расшириться, распространиться, прихватив площади по соседству. Трепетная мечта Лежандра!.. А сегодня уже не мечта. На этих днях удалось наконец купить после длинных торгов квартиру на первом этаже. Лучше бы, удобней рядышком, на третьем. Здесь еще две квартиры. Владелец одной наотрез отказался сменить ее на нижнюю. Другой квартирохозяин мнется, финтит, набивает цену за обмен... Рассказывая об этом, Лежандр шутит:

— Это вам не в Москве, это в буржуйском Париже...

Странное, сложное у нас чувство! Да, мы в Париже. Коммунисты из Москвы. Слушаем французского коммуниста. О Ленине, о революции. А переводит бывшая русская, не ставшая француженкой, из семьи, которая бежала от революции. Старательно переводит, порой мучительно подбирая слова. И наверно, у нее тоже странное, сложное чувство при этом...

— Комната, в которой мы находимся, принадлежала супруге товарища Ленина Надежде Константиновне и ее матери Елизавете Васильевне. (Мы слышим, как Лежандр четко, совсем по-нашему произносит русские имена и отчества.) Товарищ Крупская работала в этой комнате. Вот тут стоял стол, за которым она разбирала текущую почту из России, расшифровывала поступающие письма и зашифровывала ответные письма своего мужа. Ей помогала в этом мать Елизавета Васильевна. Она очень уважала своего зятя, и он был чрезвычайно внимателен к ней. Возвращаясь из города, куда он часто ездил на велосипеде для занятий в библиотеке, он

всякий раз привозил старушке свежий букетик цветов. По вечерам он иногда занимал ее, играя в карты. Однажды, увлекшись, он выиграл несколько раз подряд, и Елизавета Васильевна, огорчившись, сказала: «Володя, в картах вы — разбойник...» Извините, я вынужден повторить это слово, но она так сказала, облекая свое маленькое огорчение в шутку. И тогда товарищ Ленин снова сел с ней за стол и, конечно, проиграл, и она сказала, что на этот раз игра была прекрасной... Елизавета Васильевна помогала дочери не только с почтой, они вместе снаряжали в дорогу уезжавших в Россию подпольщиков, зашивали им в одежду листовки, нелегальную литературу. Это было... это было (Вера Николаевна подыскивает слово, перебирая в воздухе пальцами)... взносом... вкладом старой женщины в дело революции, до которой она немного не дожила...

(У Крупской в «Воспоминаниях» об этом так: «В марте у меня умерла мать... Не раз заказывала она, чтобы, когда она умрет, ее сожгли. Домишко, где мы жили, был около самого бернского леса. И когда стало греть весеннее солнце, потянуло мать в лес. Пошли мы с ней, посидели на лавочке с полчаса, а потом еле дошла она домой, и на другой день началась у нее уже агония. Мы так и сделали, как она хотела, сожгли ее в бернском крематории. Сидели с Владимиром Ильичем на кладбище, часа через два принес нам сторож жестяную кружку с теплым еще пеплом и указал, где зарыть пепел в землю».

Продолжая в Швейцарии начатую в Париже поездку по ленинским местам, мы подъезжали к Берну. За окном автобуса — заснеженный лес, кладбище. «Бремгартенское кладбище,— сообщает гид.— Здесь была похоронена мать Крупской. На могильной плите всегда живые цветы, хотя сама урна с прахом перевезена недавно в Москву...»).

Я слушаю Лежандра, и хотя все, о чем он говорит, мне известно — и факты и имена,— я слышу это как бы впервые, как бы в изначальном качестве, еще не тронутом ничьим пером, еще никем не пересказанном. Наверное, это потому, что я в Париже, на улице Мари-Роз, у источника.

— ...Пришел как-то сюда на квартиру русский Пригарà. Не надо ударения на конце? Да-да, При-гà-ра. Он был рабочий из Москвы, его там искала полиция, как участника восстания на Пресне, и он бежал во Францию. Он пришел сюда и начал как-то странно говорить, за-го-вариваться. О каких-то девушках со снопами на золотых колесницах. Товарищ

Ленин старался его понять, потом незаметно подал знак Надежде Константиновне, и она, пока Пригара ел, побежала за врачом. Доктор сказал, что у господина психический сдвиг на почве голодания, который может перейти в тяжелую форму помешательства, в манию преследования. Товарищ Ленин попросил друзей проводить Пригару до дому. Но он по дороге сбежал и исчез, а через неделю в Сене нашли его труп — он утопился, привязав к ногам и шее камни. Товарищ Ленин очень переживал этот трагический случай, даже упрекал... корил себя за то, что сам не проводил Пригару, говорил: «Мы должны беречь людей...»

...Мы уже около часа гостим у «Ильичей». Уходить не хочется. Но мы знаем, что на очереди еще гости, сотрудники советского посольства. Вот уже и звонок в дверь... Маленькая церемония прощания. Мои товарищи по поездке, работники московских редакций, вручают Лежандру для музея два политиздатовских альбома, два уникальных факсимильных издания — газеты, основанные Лениным, и документы Октябрьской революции. Я смотрю на руки хранителя музея, руки собирателя, они чуть подрагивают, принимая альбомы, пальцы шевелятся, им уже не терпится начать листать. И еще подарок — самому Лежандру: часы. Кто-то из нас говорит, что у Москвы с Парижем разница в два часа, но мы, коммунисты, живем по единому времяисчислению. Хорошие, умные слова. Лежандр, слушая их, кивает головой, а дослушав до конца, говорит, что он безмерно благодарен, что это так ко времени, лишь сегодня утром он разбил свои старенькие часики, которые носил много лет, и вот такая неожиданная превосходная замена. И слова Лежандра никак не снижают пафоса слов предыдущих, пафоса всей этой сцены вручения подарка, только придают им еще больше человечности.

Хранитель музея просит нас расписаться в книге посетителей. Всех. Нагибаясь к столу, я вижу под стеклом треугольный кумачовый вымпел с надписью «Красная Пресня». Мне понятно, как он сюда попал. Но Лежандр, заметив, что я заинтересовался вымпелом, объясняет мне, что он оставлен здесь делегацией московского аррондисмана Красная Пресня, который породнился с городом Иври на Сене, входящим в «красный пояс» Парижа, в этот плотно сомкнувшийся круг городов с коммунистическими муниципалитетами. В Иври гордятся, что с ними по-бра-талась именно Красная Пресня, революционный округ, где рабочие дрались с цариз-

мом на баррикадах в первую русскую революцию. О Пресне, как и о Парижской коммуне, часто говорил товарищ Ленин, напоминая об их опыте борьбы и уроках поражения. А после Октября он любил бывать на Красной Пресне, любил выступать там с речами. В Иври всегда рады посланцам из породнившегося с ними района Москвы... Но нам уже действительно пора уходить, меня торопят, и я не успеваю сказать Лежандру, что имею поручение от краснопресненцев, что я везу письмо мэра Пресни Эдуарда Саркисова мэру Иври Жаку Лалоэ и его заместителю Мариусу Прюньеру — они приезжали в Москву,— везу словесные приветы и кое-что из сувениров. Что я завтра должен быть в Иври. И как это здорово, что перед поездкой туда я увидел в музее вымпел Красной Пресни!

II

От Сент-Лазарского вокзала, близ которого, на Московской улице, расположен наш маленький отель под гордым, сразу возвысившим нас в собственных глазах названием «Резиденция маршалов», до Иври приблизительно такое же расстояние, как от площади Свердлова до Бабушкина. Можно на метро без пересадки: Седьмая его линия, проходящая недалеко от вокзала, заканчивается как раз в этом предместье. Но милейшая мадам Мишель из общества «Франция — СССР», опекающая нашу группу, прислала машину.

На этот раз нас не двадцать, а двое. Со мной поехал писатель-переводчик Юрий Калугин, по-дружески вызвавшийся помогать мне в беседах. Маршрут почти такой же, как вчера, когда мы ездили в 14-й округ. А Иври примыкает к 13-му, соседнему с 14-м. Стоило немного свернуть в сторону, и мы бы снова повидались и с Мари-Роз, и с Бонье и проехали бы мимо парка Монсури, где любил прогуливаться на досуге Ильич и где мы тоже посидели вчера у пруда с царственными лебедями.

Старик-таксист, для парижских шоферов необычно молчаливый, чудом не увязая в густом, засасывающем автомобильном месиве, довольно быстро доставил нас к месту. Мы въехали в Иври проспектом Мориса Тореза, который многие годы, до самой смерти, был депутатом Национального собрания от этого города. Авеню Тореза, пролегающее вдоль парка Марселя Кашена, приводит к авеню Ленина, вливающемуся в центральную площадь. И тут здание мэрии,— типичная по-

стройка начала века, мрачноватое, с тяжелыми колоннами по фронтону; над входом флаг Франции. Надо пересечь площадь, пройти через сквер. Но площадь — в распродаже, что-то вроде ярмарки, товары на земле — на ковриках, на простынях, на клеенках — в несколько рядов, и, чтобы не делать круга, мы лавируем между горками тарелок, грудами кофт, штабелями коробок с обувью, разыскивая кратчайший путь к мэрии...

Мэр назначил нам встречу на одиннадцать, но непредвиденные дела заняли его, и нас принял заместитель мэра Мариус Прюньер. У него лицо и руки докера. Я почти не ошибся, угадывая его прежнюю профессию: он начинал и в самом деле грузчиком, но не в порту, а на железнодорожной станции. Потом он имел отношение и к реке, правда в канцелярии, в конторе пароходной компании, которая поддерживала в то время связи с республиканской Испанией. В контору он попал после того, как был уволен с железной дороги. За что увольняют во Франции? За забастовку... Не было у него хороших отметок по поведению и на военной службе, на которой он не скрывал своих антивоенных настроений. Пехота, солдат второго разряда. Служил дважды: по призыву и по мобилизации, когда началась вторая мировая. Провоевал недолго, как и вся французская армия, разгромленная Гитлером. Пленение под Верденом. Лагерь в Восточной Пруссии, город Шверин. Освободили советские солдаты... И опять канцелярия. Но какая! Парламентский секретарь у Мориса Тореза. А он не давал засиживаться за бумагами, у него канцелярия была на колесах, на митингах, среди людей... Прюньер — ветеран партии. Это официальное звание в ФКП. Вот карточка ветерана, она выдается коммунистам начиная с 35-летнего стажа. А у него — почти 40. Столько же, сколько лет Жаку Лалоэ, мэру.

Все эти сведения были почерпнуты мною не враз и не в самом начале разговора. Я вытягивал их полегонечку где-то уже в его середине. Не мог же я начинать с ходу с настырного биографического расспроса. Начал я с того, что передал письмо председателя Краснопресненского райисполкома и пакет, в котором лежали диск с речами В. И. Ленина, только что вышедшая книга «Памятники и памятные места Красной Пресни» и чудесного полиграфического исполнения Ленинский календарь на 1970 год. В письме Эдуард Саркисов вспоминал свой приезд в Иври с делегацией, приветствовал Лалоэ и Прюньера, членов муниципалитета, комитета породнения,

всех, с кем он здесь встречался, а также благодарил за недавно присланную из Иври серию фотографий «Ленин в Париже». Прюньер попросил Калугина перевести русский текст, позвал стенографистку, и Юрий Александрович надиктовал перевод, а минут через десять расшифрованный французский текст лежал уже на столе рядом с подлинником. Мне понравилась такая оперативность, практичность такая... На этом была завершена деловая, что ли, часть встречи и потекла, как говорится в таких случаях, непринужденная беседа, некоторые результаты которой я выше и изложил. Я хотел уже заодно подобраться и к биографии мэра, спросил о ней его заместителя, но Прюньер сказал:

— Он сам расскажет... Впрочем, это не доставит ему никакого удовольствия. Я знаю лишь единственный случай, когда он давал интервью по поводу своей биографии. Пять лет назад, перед избранием его в мэры. У меня сохранилась эта статья, могу, если хотите, презентовать.

И он протянул мне газетную вырезку. Я положил ее в папочку и вовремя это сделал, потому что в комнату вошел мэр...

(Приведу в выдержках корреспонденцию «Час с Жаком Лалоэ».

«Жак Лалоэ, который являлся помощником мэра Иври на протяжении последних шести лет, согласился дать нам интервью, в связи с приближающимся 40-летием коммунистической мэрии.

На наш вопрос: «Где и когда ты родился?» он отвечает: «Я родился 21 января 1931 года на территории 13-го округа Парижа, но сразу был перевезен родителями в Иври».

— Кто ты по профессии?

— Токарь. Я обучался три года на авиационном предприятии «Сенекма». Потом работал там же в экспериментальном цехе. В 1952 году уволили вместе с сотнями других забастовщиков... Вскоре меня выбрали в муниципалитет. Мне было 23 года. Я стал постоянным муниципальным советником, а затем помощником мэра.

— Что привело тебя в коммунистическую партию?

— Я стал коммунистом в 17 лет. Это был 1947 год, год плана Маршалла, изгнания коммунистов из правительства. Мною руководили ненависть к войне, к фашизму (гитлеровская оккупация наложила отпечаток на мои школьные годы), желание участвовать в борьбе коммунистов за свободную, независимую Францию.

— Ты женат? У тебя есть дети?

— Я женился в 24 года. У нас двое сыновей: Ги и Мишель.

— Твои увлечения, пристрастия?

— Обычные, как у многих. Кино... Но предпочитаю всетаки живой контакт с миром представлений. Театр! Хотя люблю слушать и диски, у меня большая коллекция... А увлечение, которое дает мне настоящий отдых,— рыбная ловля. И тут я опять «у власти», я президент клуба рыбаков...

— Ну и спорт?

— Футбол! А сейчас открыл для себя и гандбол.

— Много читаешь?

— Меньше, чем хотелось бы.

— Я слышал, что тебя собираются избрать мэром.

— После абсолютной победы на последних выборах в муниципалитет, одержанной коммунистами во главе с нашим Жоржем Марраном, который 40 лет был бессменным мэром Иври, он заявил, что пора выдвинуть на этот пост кого-то из молодых. Но ты же понимаешь, что заменить Жоржа Маррана как человека, с его авторитетом, партийным опытом, знанием жизни, невозможно. Можно только попытаться заместить в какой-то степени его функции как мэра. Кажется, это и придется сделать мне. Таково желание товарищей...»)

...в комнату вошел мэр.

Он легко и стремительно, как и подобает истинному французу, вступает в русло беседы и вот уже плывет вместе с нами по ее течению, будто и не отсутствовал. Спрашивает, где мы успели побывать за эти два дня.

— О-ля-ля! — восклицает, выслушав.— Вы увидели больше, чем я за всю жизнь в Париже. Но это ведь всегда так. Где живешь, там не видишь, что вокруг тебя. Я поднялся на Эйфелеву башню вот впервые лишь с Саркисовым, с делегацией. Но зато я уже пил кофе на «Седьмом небе» в Останкине, куда вы, наверное, еще не добрались.

— Не добрались,— подтверждаем мы дуэтом с Калугиным.— Ждем очереди.

— Хорошо быть гостем, туристом!

— Да еще когда тебя принимает Саркисов...— говорит Прюньер.

— Ты прав. Красная Пресня сама по себе затягивает, такой район! А еще и гостеприимство ее мэра... Правда, тут есть серьезная опасность. Можешь остальной Москвы не повидать. Саркисов не выпустит со своей территории, пока не со-

чтет, что все показал. А он этого никогда не сочтет. Я ему говорил: «Отомщу! Приедешь в Иври, не выпущу в Париж». Подействовало, повез по Москве. Вот тогда и поднялись на «Седьмое небо». А вообще-то несправедливо. Я был на Пресне дважды, а он в Иври один раз. Передайте, пожалуйста: ждем!

— И очень ждем школьников,— говорит Прюньер.— С ответным, так сказать, визитом. Наши ребята ездили в Москву. Жили там в пионерском лагере. Десять мальчиков и десять девочек. Учитель Андре Мэрк и учительница Жаклин дю Кастель из школы имени Тореза...

— Где директором мадам Лежандр? — спрашиваю я.

— Да-да, Жанна Лежандр. Вы с ней знакомы, виделись в Москве?

— Нет, к сожалению. Но везу ей поклон от Галины Шибановой, секретаря райкома партии, и Нины Чередник, заведующей роно.

— Ронò... Звучит, как французская фамилия,— шутит Лалоэ.— И Ши-ба-нова и Че-ред-ник приезжали в Иври с Саркисовым. И был еще четвертый член делегации. Шофер автобуса. Сейчас вспомню фамилию. Тоже трудная. Лю-ти-ков.

Телефонный звонок. Трубку берет Прюньер. Очень обрадовался голосу, который услышал. Говорит, поглядывая на нас с Калугиным. Догадываюсь, что кто-то нас приглашает.

— По-моему, это мадам Лежандр,— шепчет мне Калугин.

— Мадам Лежандр ждет вас,— говорит Прюньер, кладя трубку.

Школа имени Тореза — на авеню Тореза.

Директриса встречает нас у ворот. Она в темно-синем демисезонном пальто с узеньким меховым воротничком, с непокрытой головой, хотя холодно. Пересекаем большой двор, поднимаемся на крыльцо и сразу оказываемся в кабинете; тамбура — канцелярии нет. В окно виден весь двор, он пуст, но уже доносится откуда-то издалека все нарастающий ребячий гомон, и через минуту-две площадка набита разноцветной и разноголосой ребятней. Гвалт ужасный. Ну такой же, как и на наших школьных дворах в перемену.

— Кончилась первая смена. Это дети, матери которых работают в Париже и не оставляют им обеда. Кормим в школе. Они остаются здесь до вечера, до возвращения мам домой. То, что называется у вас продленным днем. Нам понравилось, и мы ввели у себя. Муниципалитет выделил средства, часть платят родители.

У мадам Лежандр южный тип: иссиня-черные волосы, темные-темные глаза... Но, потерпев уже однажды неудачу с описанием внешности хранителя музея на Мари-Роз (там у меня все было голубое), не буду продолжать и сейчас. Кстати, не родственники ли они, Антуан и Жанна Лежандры? (Такой вопрос возник, наверно, и у читающих эти строки.) Спрашиваю:

— Вы не родственники...

— С товарищем Антуаном? — подхватывает мадам Лежандр, не впервые, видно, слышащая этот вопрос.— К моему огорчению, только однофамильцы. Я хотела бы быть в родстве с таким человеком... Моя девичья фамилия Кросс.

Ну тут уж сам бог велит мне, не откладывая, потянуть биографическую ниточку.

— Вы давно преподаете? — спрашиваю я.

— Тридцать лет,— говорит она и вслед за этим восклицает шутливо: — О как я неосторожна! Теперь вы сможете определить мой возраст... Но я начинала совсем-совсем молоденькой. Семнадцати лет. У отца. Он тоже был директор школы, но в отличие от своей дочери, был очень богатый человек. Владел виноградными плантациями в департаменте Дордонь, на юго-западе. А фашистов не принял и оккупации не признал. Он проклял Петэна. И ушел в маки́. Я тоже была в маки. Нет, я не стреляла и не взрывала поездов. Я была связной между отрядами маки в районе Бордо — Лимож. В одном из таких отрядов я познакомилась с моим будущим мужем Пьером. Вот он и стрелял и взрывал поезда. У него в группе сражались русские, бежавшие из плена... Мой отец после войны писал книгу об участии русских во французском Сопротивлении. Он собирал факты, разыскивал документы, устанавливал фамилии сражавшихся. Писал в Россию и получал оттуда письма. Он закончил книгу перед самой смертью в прошлом году и отослал рукопись в Москву... Отец оставался всю жизнь буржуа, но он не отверг дочери, когда она стала коммунисткой. Он уважал мои убеждения, хотя они были ему чужды. Я вступила в партию в 1946 году. Мой партийный стаж равен моему стажу материнскому: в тот год у нас родился сын Жан-Жак. Он инженер-химик. Второй сын, Раймонд, студент-медик. Оба со мной... После двадцати пяти лет жизни мы разошлись с Пьером.

Я перестал записывать.

— Нет-нет, пожалуйста. Тут нет секрета. Мы остались товарищами по партии...

Мадам Лежандр пригласила нас пройти по школе. Но мы не прошли, а пробежали, потому что должны были уже возвращаться в Париж: в этот день по туристскому графику предстояло еще несколько встреч и посещений. Классы были пусты, вторая смена еще не началась. В одном из классов старенькая учительница ходила между рядами парт и раскладывала тетради, видимо проверенные ею. Очень мило раскланялась с нами. И я спросил мадам Лежандр:

— Эта учительница тоже коммунистка?

И вдруг, не дожидаясь перевода моих слов, одно из которых она сразу поняла, директриса приложила палец к губам: «Тс-с...» А когда мы вышли в коридор, сказала:

— До этого вот месяца я была единственной коммунисткой в школе. Сейчас появилась еще мадам Рабо, переехавшая из другого города. Мне будет легче. Правда, большинство учителей охотно сотрудничает со мной. Кое-кто лоялен. А кому-то и не по душе имя, которое носит школа. Не нравится партия, к которой принадлежит директор. Эта симпатичная старушка как раз из таких.

Во дворе, когда мы направлялись к выходу, к нам бросилась наперерез высокая девушка в плаще-накидке:

— Жаклин... Это наша Жаклин,— сказала мадам Лежандр.— Она ездила с девочками в Москву. Они все уже в лицее. И из «москвичей» вот только одна Жаклин у нас и осталась.

— У меня сегодня нет уроков,— сказала Жаклин.— Я случайно зашла в школу. И вот узнала... Вы уже уезжаете? О как жаль, как жаль, что нам не удалось поговорить. Я бы хотела и расспросить вас, и передать приветы... У меня ведь столько друзей на Красной Пресне! Всем, всем кланяйтесь...

Мадам Лежандр и Жаклин вышли на улицу проводить нас. Подъехало такси, мы сели. Авеню Тореза широкая, прямая, далеко просматривается. И мы еще долго-долго видели в заднее стекло две женские фигурки возле здания школы...

...А возвратившись в Москву, я почти тут же, но уже не покидая ее, съездил еще разок в Ივри. Но сначала я отправился в Новые Черемушки, в Первый автобусный парк, к Лютикову. Помните, Жак Лалоэ, мэр, говорил о нем? Владимир Николаевич Лютиков, шофер, Герой Социалистического Труда, приезжавший с делегацией Красной Пресни в Ივри, сейчас не краснопресненец; год назад вместе со своим пере-

базировавшимся автопарком он перебрался на Юго-запад, работает на новом маршруте: метро «Каховская» — Чертаново. Мне говорили, что у Лютикова имеются любопытные дневниковые записи, которые он вел во Франции. Я позвонил Владимиру Николаевичу, он согласился дать мне на вечер свой дневник. За ним-то я и поехал в Новые Черемушки. Чтение этих трех исписанных карандашом блокнотиков и стало для меня вторым путешествием в Иври. Кое-что я себе выписал...

«...Мы во Франции!

Завтракал в Рублеве, дома, обедал в Иври, близ Парижа.

...Торжественно передали в мэрии знамя Красной Пресни городу Иври.

Беседовали с мэром, его помощниками, членами муниципалитета.

В муниципалитете 35 человек: 33 коммуниста и 2 социалиста.

40 лет назад на выборах коммунисты добились превосходства над своими соперниками всего лишь в 30 голосов. На последних выборах за коммунистов было подано 70% голосов.

...Мы не чувствуем себя гостями. Мы как дома, как на Пресне. Вошли в жизнь города, в жизнь его муниципалитета, живем его заботами, его волнениями. Даже летали с Жаком Лалоэ, Мариусом Прюньером и другими товарищами на юг, в Ниццу, на матч футбольных команд Ниццы и Иври. Был полный стадион, 20 000 зрителей. Мы болели, естественно, за своих. Первый удар по мячу сделал Жорж Марран, почетный мэр Иври, депутат Национального собрания, очень популярный во Франции человек. Но его удар не оказался счастливым. Наши проиграли со счетом 0 : 3. Команда-победительница поедет в Советский Союз. Мы вручили ее капитану приз, большой самовар. Так что они поедут «в Тулу со своим самоваром»...

...В городах большая загазовка воздуха...

Мне нравятся дублирующие светофоры. На одном столбе с основным светофором, маленький. На уровне глаз шофера. И, проезжая близко, не надо высовываться, запрокидывать голову. Огни прямо перед тобой. Удобно.

Автобусу, трогающемуся с остановки, дается предпочтение перед остальным транспортом. По нашим же правилам я должен пропустить сначала машины, идущие в прямом направлении.

Здесь можно занимать под стоянку часть тротуара до желтой полосы.

...Сижу в ресторане на Эйфелевой башне, слушаю музыку, разглядываю публику, любуюсь Парижем, раскинувшимся внизу, и вдруг, безо всякой связи с окружающим, вспоминаю, что сегодня у нас в парке техосмотр. Как там моя машина? Козлову и Иванчикову все-таки трудновато вдвоем, без третьего сменщика...

...Еще в день приезда во Францию мы узнали, что на четверг 17 мая назначена общенациональная 24-часовая забастовка. В знак протеста против требования правительства предоставить ему особые полномочия в экономической и социальной областях. То есть, против нового нажима на трудящихся. Инициаторы забастовки — профсоюзы, поддержанные всеми левыми партиями... Когда в мэрии, в день приезда, нашей делегации показали программу пребывания ее в Иври, там было предусмотрено и участие в демонстрации забастовщиков, которая состоится в Париже. Программу мы с удовольствием приняли, кроме, конечно, этого пункта про демонстрацию. Мы — гости и вмешиваться во внутренние дела Франции не собираемся.

Сегодня, семнадцатого, совсем рано утром, за мной пришла в гостиницу наша переводчица Даниэль и сказала, что меня ждут в автобусном парке. Я знал, что я должен быть там в другой день. Но Даниэль сказала, что меня очень ждут, и мы отправились.

Ворота парка были закрыты, около них пикет забастовщиков. Чуть подальше сгруппировалось человек тридцать, по-праздничному одетых. Они издали громко приветствовали меня. Я подошел, мы поздоровались. И один из них, молодой, красивый, с вьющимися волосами, назвал себя: Гено̀. Я не знаю, имя это или фамилия. Уточнять было неудобно. Товарищ Гено сказал, что он секретарь ячейки коммунистов, что вся ячейка сейчас в сборе. И это редкий случай. Работа такая, что трудно собраться всем вместе... Он сказал, что хотелось бы побеседовать со мной, но у них всего лишь четверть часа в распоряжении. Они должны поспеть в Париж к месту сбора бастующих шоферов, а ехать-то не на чем, бастует весь транспорт и метро тоже. Ничего, как-нибудь доберутся. Может быть, и я с ними? Я сказал то, что мы уже говорили в мэрии. Что я только гость... И мы договорились, что я еще раз приеду к ним в парк для обстоятельного разговора. А пока мы обменялись значками. Вернее, я роздал им

значки с Лениным, а у них значков в обмен не было, и Гено прикрепил мне к лацкану рядом со звездочкой свой номерной шоферский знак. На длинной, узкой пластинке витые цифирьки: 50347.

В полдень мы с товарищами по делегации поехали на частной машине в Париж. Нам хотелось все же увидеть бастующую столицу, демонстрацию. Нас сопровождал Мариус Прюньер. Мэр был с демонстрантами... Мы разыскали где-то недалеко от площади Республики как раз на пути демонстрантов незакрывшееся кафе. Оно называлось «Эльзас». Хозяин-немец сказал, что не может ни накормить, ни напоить нас ничем горячим. Газ, электричество, горячая вода отключены. Пожалуйста, бутерброды, вино, холодное кофе. Мы сели на терраске так, чтобы видеть улицу. Она была запружена демонстрантами от берега до берега. Густая, шумная, выкрикивающая лозунги, поющая песни толпа. Плакаты, плакаты... Идут профессиональными кланами: машиностроители, учителя, железнодорожники, продавцы газет, парикмахеры, консьержки, шоферы... Я увидел Гено! Я увидел Гено с товарищами. И они увидели меня, замахали мне руками. Что я должен был сделать? Сделать вид, что я не вижу? Я замахал им в ответ. Конечно, это могло быть сочтено как мое вмешательство во внутреннюю жизнь Франции. Но ведь у меня на лацкане был прикреплен парижский номерной знак шофера и это могло послужить мне оправданием. И я еще вмешался. Когда я услышал пение «Интернационала», я тоже запел. Молча, про себя, даже не шевеля губами. И, взглянув на моих товарищей по делегации, увидев их глаза, я понял, что и они поют «Интернационал». Молча, про себя...»

Этой записью из дневника коммуниста Лютикова я позволю себе закончить и собственный рассказ о поездке во Францию по ленинским местам, к которым относится не только квартира на улице Мари-Роз, не только Национальная библиотека в Париже, где Ленин был читателем, не только сарай в Лонжюмо, где он вел большевистскую партийную школу, но и побратавшийся с Красной Пресней Иври на Сене, где Ленин никогда не был, но где решением коммунистического муниципалитета главная улица названа — авеню Ленина...

Сергей БОЛДЫРЕВ

Откровенный разговор

Перед началом совещания — оно почему-то задержалось — я остановился у входа в зал. И тут меня познакомили с молодой женщиной, тоже ожидавшей начала совещания.

— Папугина Валентина Михайловна, депутат Верховного Совета СССР, работница с «Трехгорки»,— сказал товарищ.

Он представил меня Папугиной и отошел, оставив нас вдвоем. Пауза затянулась.

Конечно, я слыхал о Папугиной, но тут, стремясь поддержать «светский» разговор, начал с банального вопроса: кто по специальности моя новая знакомая? Она сказала, что работает прядильщицей вот уже тринадцать лет и что коллектив у них на «Трехгорке» замечательный.

— Знаете, какой замечательный! — воскликнула она и почему-то смутилась.

Передо мной стояла красивая, молодая женщина с мягкими чертами лица. В певучих интонациях голоса, в словах, произнесенных искренне, в точной мысли, заключенной в них, угадывался цельный характер, интересная человеческая личность.

Я задал вопрос, от которого мне тотчас стало неловко:

— Почему вы все эти тринадцать лет остаетесь рабочей?

Валентина Михайловна сказала:

— Это очень сложно...

Таких слов я не ждал и, может быть, потому вдруг захотел узнать, в чем сложность, что на душе у этого человека.

Но тут позвали в зал, совещание началось. Так я ничего больше и не услышал от неожиданной и случайной собеседницы.

Лишь позднее, когда нам еще раз довелось встретиться, оборвавшийся разговор был продолжен. На этот раз встреча произошла по моей инициативе, и я опасался, что не будет той простоты и непринужденности, которая возникла, когда мы разговаривали «просто так». Сидели мы в опустевшей аудитории вечернего техникума, в котором Валентина Ми-

хайловна учится и куда пришла сдавать очередной зачет. Для начала я спросил, какого года она рождения, и тут же раскаялся: слишком уж прямолинеен был вопрос.

— Сорокового, родилась накануне войны,— сказала она довольно сухо,— скоро будет тридцать один год...— Как бы перебивая себя, воскликнула: — Очень, очень трудно говорить о себе...

А я с горечью подумал, что вот опять неуклюже начал беседу...

И тотчас сказал так, что хуже, кажется, и не придумаешь:

— Да, конечно, должен быть откровенный разговор...— И снова мысленно обругал себя.

— Открыть душу человеку?! — принужденно улыбнулась Валентина Михайловна.— Знаете, корреспонденты от меня просто отказываются.

— Может быть, не душу, а какие-то факты...

«Ну что за убожество! — проклинал я сам себя.— Можно ли так глупо вести разговор?»

— Корреспондентов почему-то всегда интересовало одно и то же: хотят услышать о чрезвычайном событии в моей жизни,— продолжала Валентина Михайловна.

— А мне хотелось бы просто узнать о жизни,— заметил я, радуясь тому, что наконец-то сказал то, что надо.— Просто о жизни...

— Да, все очень просто: если бы я не попала в хороший коллектив, путного из меня ничего бы не получилось. Замечательных людей встретила. Видите, как просто.

— А помните, вы сказали: «Это очень сложно»?

— Да, и просто и сложно. Передвижение у нас медленно идет. Окончив вечерний техникум — сейчас я на пятом курсе,— могла бы работать мастером. Но мастеров у нас хватает...

— Можно бы перейти на другую фабрику.

— Интересно! Меня «Трехгорка» воспитала, а я куда-то пойду. Привыкла, понимаете. И в этом еще одна сложность, хотя это в общем-то и просто, если видеть жизнь, как она есть в действительности, изо дня в день, а не представлять ее себе состоящей из одних чрезвычайных событий...

Моя собеседница разволновалась, лицо ее, как и во время первого разговора, потеплело, в глазах искорки. То ли я всетаки сумел разговорить ее, то ли такой у нее был характер: заметив, что мне трудно, она помогала мне своим участием.

Поддаваясь охватившему ее волнению, я спросил:

— Какой же была в действительности ваша жизнь — жизнь изо дня в день!

— В пятьдесят пятом пришла в это здание, где мы с вами сейчас находимся, в ФЗУ «Трехгорки». Девчонки собрались послевоенные, четырнадцать девчонок, и все без отцов. Понимаете, мы никогда не видели отцов, ведь родились как раз перед войной. Я совсем отца не помню. Говорят, что похожа на него. В начале войны он погиб, под Калинином...

Валентина Михайловна задумалась. Потом продолжала:

— И дед и отец были сапожниками. Дед жил в Москве, а мы на Волге...— Какая-то мысль не давала покоя Валентине Михайловне, она говорила, не глядя на меня, как бы по инерции подбирая нужные слова.—...А мы на Волге,— повторила она,— под Калинином, в деревне, где река Медведица впадает в Волгу. Красивые там места... Отец шил ботинки и кирзовые сапоги. Мне года не было, когда он погиб. У матери нас осталось четверо, все девчонки, я самая маленькая. Мама всегда болела. Когда кончилась война, была я совсем слабой, говорили, что не выживу. Ну, представляете, одна больная женщина и четыре девчонки!

А потом как получилось? Тетя, одна из маминых сестер, взяла в Москву самых маленьких: меня и сестренку. Другая тетя взяла среднюю. А старшая осталась с мамой. Хорошие у меня выросли сестры! Вторая после меня сейчас работает на заводе, у нее дочка. Средняя живет в Ленинграде, замужем за моряком. У нее тоже дочка. У старшей тоже дочка, у меня дочка. Одни дочки! А старшая сестра так там на Волге и живет. Это, по-моему, эталон настоящего человека — старшая моя сестра. Во время войны — ей было тринадцать лет — копала окопы, обхаживала всех нас, ведь мама совсем больной была, два инфаркта... А вы знаете, как хорошо сейчас работает сестра в деревне! Вот и я тоже приучилась.

Валентина Михайловна замолкла, опустила светлые глаза и вдруг, решительно вскинув голову, воскликнула:

— Нет, чувства любви к отцу я так и не испытала... Я ведь совсем не знала его.

И то ли удивление, то ли горечь были в ее возгласе. Не раз, наверное, думала об отце и не раз у самой себя допытывалась: любила бы его? Вот еще одно из многого, что отняла война у тех, кто родился в сороковом,— привязанность к отцу...

— У моего мужа,— вновь заговорила она,— отец тоже погиб на фронте. Работал на «Трехгорке» помощником мастера, славился умением налаживать ткацкие станки, у него была броня. Ушел на фронт добровольцем...— Валентина Михайловна взглянула на меня и энергично заговорила: — Вот у мужа действительно героическая семья. Прямо сказать, историю только писать с их семьи. Деда Папугина, ивановского ткача, уволили после забастовки в девятьсот пятом. Они с бабушкой переехали в Москву, начали работать на «Трехгорке» — оба ткачи. Бабуся видела Ленина, когда он выступал на «Трехгорке». В двадцать третьем году она вступила в партию, сейчас — персональная пенсионерка... А мать мужа строила метро. Вот какая семья! Но когда я пришла к ним, отца там тоже не было. Так я и не узнала, что такое отец...

А сейчас вижу мужа в роли отца. Дочке нашей десятый год. Олег для нее как товарищ, а то и друг хороший. Правда, недостаточно строг — ведь надо же и пристрожить.

— Так, может быть, хорошо соединение мягкости отца и строгости матери? — спросил я, не желая раньше времени возвращать собеседницу к истории четырнадцати послевоенных девчонок из ФЗУ. Прежде чем продолжить рассказ о своей юности, ей хотелось сравнить свое военное детство с детством дочери.

— Нет, не хорошо! Вижу, что характер у Ольги мой, а не отца, непокладистый. Задиристый. Сама командир, сама уходит в школу, сама готовит уроки, все делает сама. По-хорошему ей скажешь — послушается, попробуешь крикнуть — и с места не сдвинется. Характер мой, а мы все-таки не такими были... Пришли мы тогда в ФЗУ — четырнадцать послевоенных девчонок — трудная, но славная жизнь у нас началась. Около двух лет учились профессии, потом стали работать прядильщицами на «Трехгорке» и ходить в вечернюю школу с восьмого класса. Опять учиться!

В прядильном я попала в бригаду из пяти человек: мы, три подружки — Галя Арцишевская, Валя Погибелева и я, и еще Дарья Павловна Смирнова — веселая, хорошая женщина. А бригадиром у нас была Мария Алексеевна Мариненкова. Невысокая, широкая в спине, немного вперевалочку ходит. Глаза серые, добрые-добрые. Вся в работе. Орденом Ленина наградили ее за труд, ко дню стопятидесятилетия «Трехгорки», в сорок девятом. Лишнего слова никогда не скажет. Поглядит как-то не так, и я понимаю, что путаю, что иначе надо... Как мать родная. И тогда уже была болез-

ненной. У текстильщиц часто сердце сдает. Женщина устает от домашних дел, приходит в цех — не посидит. Постоянно в работе. Новый человек в цеху не сразу привыкает. У нас ведь тяжело. Нитки то и дело рвутся, и мы их без конца присучаем, присучаем, присучаем...

Так и со мной было. И задержалась я на «Трехгорке», может, оттого, что встретила Мариненкову. Когда нас, трех девчонок одного выпуска, прислали в прядильный цех, там поставили новые машины. Нам их доверили. Начали работать на уплотнение, то есть каждая стала обслуживать больше машин. Не знаю, может быть, девчонки подобрались сильные, может быть, оттого, что старались... Нет, все-таки способность какая-то должна быть у человека.

Мария Алексеевна и учила нас, и жалела, как мать. Трудно приходилось, особенно в ночную. Утром, не поспав после ночи, бежим в школу. Потом поспим часика два, а вечером — в кино или на свидание... И опять в ночь на фабрику. К четырем часам утра глаза слипались. Спим, спим... Мария Алексеевна подойдет: «Девчонки, скажет, опять весь вечер прогуляли? Ну ладно, пять минут постой у столба, я за тебя поработаю».

— У какого столба?

— В цехе, стальная колонна поддерживает перекрытия потолка. Ну вот так прислонишься к столбу, закроешь глаза на пять минут... Как она нас понимала! «Опять, скажет, прогуляла?» — «Опять!» — «Ну что мне с тобой делать!» Глаза Валентины Михайловны светились, приятно ей было вспоминать...— Дела шли хорошо,— продолжала моя собеседница,— ни брака, ни угаров. Я же говорю, если она даже поглядит как-то не так, мы уже чувствовали — не то что-то сделали. Уважали мы ее, все уважали.

Однажды знаете что раскрылось? Оказалось, что наша добрая Мария Алексеевна во время войны в разведке воевала. В тылу у немцев, в районе Можайска. Рельсы подрывала толовыми минами. Одна ее подружка, Соней звали, в лесу себя случайно подорвала. Заряжала на коленях мину. Там, в лесу, ее и похоронили. Из второго рейда возвращалась — днем переходила линию фронта. В феврале переплывала реку Нару. Лед был побит снарядами и минами. На нашем уже берегу недалеко разорвалась немецкая мина, ранило ее и контузило, ноги обморозила. Наши видели, вынесли ее с берега...

Палец у нее на левой руке был поврежден, осколок в нем

до сих пор сидит. А шпулю, чтобы нитку присучать, надо двумя пальцами останавливать — одним нельзя, обожжет, вращение быстрое. Потому-то и стала Мария Алексеевна бригадиром.

Сейчас она в лаборатории, проверяет обрывность. Как раз недавно мы встретились. Я теперь инструктор, учу девчонок на новых машинах работать. К нам опять новые машины поставили, три операции совмещают. Мария Алексеевна говорит: «Знаешь что, проверь вот таких-то и таких-то, у них приемы совсем никуда не годятся. Проверь, помоги, ведь они мучаются, только пришли к нам». Такой же доброй осталась Мария Алексеевна, не очерствела. У нее самой трудно жизнь сложилась. Хоть бы она кому пожаловалась, душу отвела. Молчит, молчит, молчит... Большая сила воли.

Она теперь, я говорила, в лаборатории работает, а девчонкам через меня продолжает помогать.

Да и я сама... Вся беда в том, что уж очень люблю этих девчонок, у Марии Алексеевны научилась. Да не беда это — так, к слову пришлось, просто хлопот с ними много. Говорят: «Ах, девчонки, да они такие, да они сякие!..» А на самом деле у каждой своя судьба, свой характер. Совсем плохих нет. Секреты свои они мне рассказывают. И ладить с жизнью еще не умеют, вот и задираются. Знаете, вот так поделится с кем-нибудь девчонка, а та передаст другой. Она и замкнулась. Непростая проблема отогреть, растопить ее...

Сама я немножко по-чудному вышла замуж... В десятом классе встретила, он пришел из армии.— Валентина Михайловна рассмеялась, раскраснелась.— Очень интересно! И не собирались, да вдруг взяли и поженились. Знаете, когда вместе занимаешься, привыкаешь друг к другу...

Она замолчала. Началось то сокровенное, чего всегда ждешь от разговора с интересным человеком. Началось и, казалось, тут же оборвалось. Я побоялся, что собеседница вдруг спохватится, уйдет в себя и мне не узнать чего-то важного.

— И вы быстро поняли друг друга? — спросил я, осторожно пытаясь побудить Валентину Михайловну продолжать.

Опасения были напрасны. Папугина легко заговорила:

— Не знаю... По характеру я без труда схожусь с людьми. Почему, не знаю. Кажется, вот встретила человека и увидела в нем что-то доброе, хорошее. Некоторые, наоборот, выискивают недостатки. А если я замечу в человеке плохое,

жалею, хочу как-то помочь. Не знаю, почему так. Мы с мужем десяток лет прожили и еще ни разу не ругались. У него недостаток единственный: слишком добрый. А тогда, в десятом классе, у него, по-моему, и вовсе не было недостатков, иначе я замуж за него не пошла бы...— Она рассмеялась.

— Но если бы и были недостатки, вы, наверное, помогли бы ему их устранить...— не то что спросил, а скорее вслух подумал я.

— Очень он уж хорошо ко мне отнесся. Знаете, чем он меня покорил? (Правда, не хотелось бы, чтобы Олег все это слышал...). Во время экзаменов у меня началась ангина, и, больная, я сдавала экзамены. Все сдала, а на выпускном вечере сломилась. В нашем Доме культуры был бал для десятиклассников, а я еле на ногах держалась. Он достал где-то машину, отвез меня домой, сбегал за врачом, моей бригаде дал знать. На машине скорой помощи отправили меня в больницу. После ангины было осложнение — ревмокардит. Два месяца пролежала в больнице. И два месяца он ходил ко мне, по два раза в день. Я с трудом вставала. Запрещено было двигаться, не давали ступить шага, даже тапочки отобрали... А он приходил к больнице и кричал мне в окошко. Вот чем он меня покорил: два раза в день приходил. И интересно я из больницы уходила! Восемнадцатого августа меня выписали, а это день его рождения. Приехал за мной в больницу и увез к себе, на день рождения. У нас тогда с Олегом никаких планов семейной жизни не было. Даже разговоров не было. Почему? Не знаю...

Давно мне нравился один парень. Совсем детская была любовь. Он меня очень обидел: знал, что лежу в больнице, и ни разу не зашел. С тех пор его больше не видела. Недавно от подружек услыхала, что он потом женился и вскоре развелся.

Ну вот, поженились мы с Олегом через четыре с половиной месяца после больницы, седьмого января...

— Так много времени прошло!..

— Олег только что вернулся из армии, отца у него не было, и ничего у нас не было. Откуда же у нас могли быть деньги, ну, скажите? Однажды пошла в театр в туфлях сестры. У меня тридцать седьмой размер, а у нее тридцать шестой. В театр дошла, а обратно возвращалась босиком. Костюм он купил в кредит, платье свадебное себе сама шила. Получила премию двадцать рублей, шестнадцать отдала за материал и сама сшила. Кольца мы купили за три теперещ-

них копейки — тогда тридцать копеек — медные. Диван в кредит взяли...

У нас на «Трехгорке» спорили. Он на ткацкой, а я на прядильной. Встречают ткачихи прядильщиц и говорят: «Вот наш хороший парень,— это мне потом рассказывали,— женился на какой-то вашей девчонке, ничего у нее нету». Тогда прядильщицы переходят в наступление: «Ваш-то парень и не стоит совсем нашей девушки...»

Начинали семейную жизнь мы дружно, но трудно. Куда легче живется двоюродным братьям Олега, у них отец есть. Женились — квартиру кооперативную им. И в долгах не ходят. Но нас не испортила нужда. Нет! Все своими руками нажили, знаем цену труду. Я Ольгу ругаю: взяла тетрадку, разорвала по листкам, один разрисовала — бросила, другой разрисовала — бросила... «Как,— говорю,— тебе не стыдно, люди работали, а ты тетрадку рвешь... Ты еще в жизни ничего сама не сделала». Не могу приучить ее к бережливости. Откуда у нее такое? Я не из-за копеек, потраченных на тетрадку. За небрежное отношение к труду человеческому обидно...

После свадьбы на следующей неделе мы поехали в гости. Олег знай рюмку за рюмкой... Ну, думаю, давай пей, пей... Вышли мы из гостей, он совсем осоловел. Проходил мимо автобус, даже не посмотрела какой, вскочила и уехала одна. Автобус оказался не тот, домой приехала нескоро. Олега нет. Оказывается, он уже приходил, узнал, что меня нет, и побежал искать. Мать его говорит: «Что это вы с ума посходили, бегаете, друг друга ночью ищете?» Утром я ему все сказала...

Нет, вы даже не представляете, какой у меня хороший муж! На фабрике бывает так, что муж какой-нибудь прядильщицы является в ночную смену проверять свою жену. Сам пьяница, скандалист, а ревнует. Бывают такие типы. У нас с Олегом совсем другая постановка. Он ходит в гости туда, куда его приглашают, я его собираю, наглаживаю — иди, ради бога, иди. У меня то собрание, то заседание, то прием какой-нибудь, ведь кроме депутатских обязанностей много других — избиралась членом райкома, членом горкома. Друзья приглашают — говорю ему: «Ты иди, а я подъеду, как только кончу...» Он в компании всех занимает, поет, голос такой приятный. Обаятельный он у меня мужик!

— Обижается, наверное, что у жены общественной работы невпроворот?

— Он и сам вот уж три года на все лето уезжает — начальник пионерского лагеря. А на субботу и воскресенье я туда приезжаю.

— Да, это нелегко для вас, понимаю...

— Сама же его и определила туда, когда была секретарем комитета комсомола. Теперь не знаю, что делать... Везет нам на общественную работу. Кто на нас крест такой наложил? Все мне бежать куда-то надо... С лагерем вот как получилось. Прежнего начальника райком не утвердил, образование подвело. Вот сегодня-завтра надо найти другого. Мы сидели в комитете, думали, думали. Ребята предложили: «Назначим Олега, мужа твоего...» Вначале он даже слушать не хотел. Уговаривала его в домашней обстановке, а потом на комитете.

— Как же вы его уговаривали? Методика какая? — спросил я в шутку.

— Трудно сказать,— Валентина Михайловна искренне рассмеялась.— Мы ему сказали: «Надо!»

— Как это «мы»? Разве не вы?

— Я-то его уговаривала, как обычно: подлижусь, попрошу ласково. А уж в комитете потом мы ему объяснили, что надо. Знаете, почему еще он согласился? Потому, чтобы Ольга все лето с ним была.

— Любит дочку?

— Ой, страшно! Он вообще добрый, без детей не может. Интересно, что в лагере Ольга его слушается, а дома нет. В лагере, где пятьсот детей, она понимает, что отца подводить нельзя.

— Он строг с ребятами?

— Нет, ребята его любят. Даже самые неподатливые всегда с ним дружат. Не знаю, за что дети любят взрослых. Что-то находят в человеке. Может быть... Нет, не знаю.

И мне он нравится. Придет утром с работы, сходит в магазин, приготовит что-нибудь. Ну как такого мужа не любить? — лукаво улыбаясь, воскликнула она.— Правда?

— В семье обязанностей у него больше?

— Почему это у него? Если приносит картошку, это еще не значит, что больше обязанностей. Нет, он много мне помогает. Но за любым мужчиной надо, если он что-то делает по дому, следить, подсказать, помочь...

— Ну, хорошо, вот вы запрятали его в пионерский лагерь...

— Думаете, не жалела потом? — живо перебила меня Валентина Михайловна.

— А после, так и пошло с этим лагерем?

— Каждый год его вызывают к директору, в партком. А там разговор крутой: или ты едешь или... Знаете, как бывает в таких случаях, он же коммунист. С шестьдесят первого. Один раз он заикнулся, что жена не пускает. Пригласили меня. «Жена, ты какое имеешь право не пускать? Ты член пленума горкома, член комитета комсомола, а в семье как это у тебя получается?» Вот так! И тогда я нажимаю, и он едет опять. Теперь мы твердо решили отказаться. С осени хожу в фабком, упрашиваю, чтобы нашли замену. Вот так и живем.

Нет, в самом деле, ему тоже трудно. Он и редактор стенгазеты, и агитатор. У мастера вообще нелегкая жизнь. Ведь вся организация работы в цехе на плечах мастера. Представляете, огромный цех, у него сто с лишним человек. Он и в дневной, и в вечерней, и в ночной. За все, что случается, в ответе мастер. Он недавно мастером, попал в трудные условия, дисциплина расшатана, не налажены отношения с помощниками мастеров. Приходил домой со смены аж черный. «Уйду,— говорит,— опять в помощники. И зарплата будет выше...» Твержу ему: «Ну надо, надо, надо... Ты коммунист, на тебя надеются...» Сегодня пришел и говорит, что его опять упрашивали не уходить из мастеров. А получку принес гораздо меньше, чем раньше. Не мне принес, мы деньги складываем вместе. Не могу так, как некоторые женщины: получат деньги, зажмут в кулак...

Но иногда и он начинает выговаривать мне. За пряжу. Ведь я пряду, а он ткет из пряжи материал. Теперь я стала инструктором, отвечаю за качество пряжи. Обучаю передовым приемам. Свое мастерство мы передаем потихоньку, незаметно, чтобы не обидеть человека. У каждого годами складываются свои рабочие приемы. Осторожно советуешь: «Попробуй вот так... Не лучше ли так-то?» Не уважаю тех, кто слишком настойчиво заставляет делать по-своему. Рабочий человек — это творец, он гордится тем, что нашел. Я о мастерстве говорю.

Девчонки приходят на «Трехгорку» со средним образованием. Попробуйте резко поговорить, тем более покричать. Сразу несут заявление на расчет. Нет, надо по-другому.

А рабочих на фабрике не хватает, машины простаивают. Неприятное чувство, когда станки молчат. Не могу к этому

спокойно относиться. Включаю их да и сама пряду. И другим помогаю. И качество на мне, и инструктаж, и работа дополнительных машин.

Но самое трудное помогать другим жизнь строить. Самой-то мне повезло, все складывалось удачно, встретила в цеху добрых, отзывчивых людей, человека хорошего полюбила... А знаете, как иногда девчонкам приходится!.. Пока молоденькая, хорошенькая, быстренько выходит замуж, а оказывается — неудача. Развод. Остается девчонка с ребенком...

Есть у нас такая Галя, сейчас ей двадцать три. Трудно ей было, мать вышла за другого, жить дома стало невмоготу. Кончила десятый класс. Смотрим, Галя наша что-то толстеет. «Галя, ты что?» — «Ничего. Ничего...» Когда хватились, было поздно. Родила. Лежит в родильном доме, и некуда ей идти с ребенком... Вмешалась Нина Дмитриевна Иванова, председатель цехового комитета. Очень хорошая женщина. Вся жизнь людей проходит на ее глазах. И в моей жизни она самую главную и важную нить провела. Да не только мне, она и другим помогала, любой из нас мать заменит. Мы у нее все были под контролем, никого в обиду не давала, ни одну девчонку, пусть самую отпетую. Стремилась вывести в люди. И вот мы с ней — к тому времени я стала секретарем комсомола — поехали в Голицыно, к матери Гали. Встретились. Женщина выслушала нас, как-то смешалась, обещает: «Возьму ее, помогу...» Ну, думаем, слава тебе господи! Отправились в больницу к Гале, рассказали ей. Галя лежит, качает головой: «Не верьте ей, она меня не возьмет...»

Выписали мы эту нашу Галю, сняла она комнатку, бабушку нашла за ребенком присматривать, коляску купили. Не оставляли ее. Потом кое-как выхлопотали ей комнатку. Она учиться решила пойти в вечерний техникум. Такая теперь радостная бегает!..

Приходят к нам новые люди, разные люди приходят, и у нас им становится хорошо. Сложились у нас традиции. Вот именно, традиции! Я привыкла к людям. Все делали для меня только доброе. Плохого-то я ничего не видела... Выходишь на работу и знаешь каждого, знаешь и недостатки и достоинства. Сама росла и воспитывалась среди них...

— Задал я вам тогда не очень тактичный вопрос. Когда встретились на совещании, помните? Отчего вы тринадцать лет остаетесь рабочей? Спросил, и неловко как-то стало. Но ответили вы мне рассказом о своей жизни. И даже стыдно теперь, что я такого вопроса испугался. От души отлегло...

— А я вовсе и не отвечала на вопрос, просто забыла о нем. Жизнь свою рассказывала — вот и все.

— Ну, тогда задам еще один вопрос, может быть и неудачный... Но он давно уже вертится на языке... Пять лет вы после работы ходите в техникум, столько трудностей, так устаете... Зачем? Что будет, когда вы получите диплом?

— Я же говорила: когда какой-нибудь уважаемый мастер уйдет на пенсию...

— И ради этого?

— Нет, я ради себя занимаюсь...

— Как это понимать? Зачем при такой ситуации нужен диплом? — с настойчивостью переспросил я, по правде говоря немного хитря.

— И вовсе я не думаю, что должность мастера потолок. Знаете, почему нам сейчас трудно приходится? Потому, что есть мастера с институтским образованием, но они авторитетом у рабочих не пользуются. Диплом имеют, а от жизни отстают. Не ходят в театры, не читают газеты, книги... Интересы мелочные, узкий кругозор. Образование мне нужно не для того, чтобы обязательно мастером стать. Всю жизнь учусь и все-таки ощущаю недостаток знаний, культуры.

Особенно ясно это поняла, когда начала ездить по другим странам. Разные города, разные люди и разная жизнь... В Польше была с поездом дружбы. От «Трехгорки» нас двое ездило. Побывали в Познани, Кракове, Вроцлаве, Варшаве, Посещали заводы. Варшава меня поразила: новая, чистая. Поразило, что все свои памятники архитектуры они восстановили. В Освенциме наши женщины наплакались... Была в Финляндии с делегацией советских женщин, чувствовали мы себя там несколько натянуто — в гостях, а не дома; в Польше было иначе. В Швецию ездила. До чего же они экономны: вся жизнь в кредит... В поездках этих что-то мне нравилось, что-то не нравилось, но дело даже не в этом. Поняла, что не хватает знаний, нет широты кругозора. Виновата война — трудное детство, юность. Восполнить упущенное, конечно, можно, если иметь четкую программу...

— Для чего же вам нужен широкий кругозор? — перебил я. Не стремясь возражать, я хотел в ее ответах добиться точности, глубины, ясности для самого себя. Возникла потребность понять до конца.— Ну, для чего?

— Как для чего? — Валентина Михайловна даже чуть растерялась.

— А вот так. Неужели вам не хватает знания людей,

чтобы уметь разговаривать с современными рабочими? Не хватает эрудиции, кругозора, чтобы вести за собой девчонок?

— Нет, с ними я умею... Но когда речь зайдет об архитектурном стиле или какой-нибудь вопрос по истории искусства... Поймите, все это нужно не для кого-то, а для самой. И вовсе не для того, чтобы лежало мертвым кладом. Надо, чтобы не стать такой, как иные, чтобы не жить так, как иногда живут: тихо, спокойно, знай свой дом, работу — и все. С мужем поругалась, поговорила с подругами о тряпках, о полированной мебели, о норковой шубе, и на этом закончились интересы... Не хочу такой жизни, понимаете, не хочу. Да, сейчас умею разговаривать с девчонками, а что будет через несколько лет? Не хочу! Не хочу! Потому и пять лет в техникум ходила, потому и в институт поступлю, и Олег поступит. Конечно, в текстильный. Институт не даст мне, к сожалению, знаний по истории искусства или понимания музыки, а должен был бы давать... Зато буду глубоко разбираться в технологии нашего производства. Ну, а что вы хотите? На что я иначе буду способна? Да, еще пять-шесть лет вечерней работы. Не кастрюлями же мне заниматься? Сейчас, ладно, я в среду и в субботу вытру пыль... Ведь женщин съедает эта пыль, забота о доме. Убирать квартиру, конечно, надо. Но не обязательно каждый день эту пыль лизать, правда? А если я буду сидеть дома — возьму тряпку. Вместо книги.

Хотите пример? Вот живут в одной квартире две молодые женщины. Год они друг с другом не разговаривают. Пять месяцев не платят за свет, никак не могут поделить показания счетчика. Друг друга все время задирают: одна хлопнула дверью, другая поставила кастрюлю не на ту конфорку... Я так не могу. Если на меня кто-то обиделся, пойду к человеку, объяснюсь. Так и с Олежкой, отругаю его, а он надуется. Повинюсь перед ним, и у нас опять хорошо... Этих двоих никак не рассудишь. Устали от них... Одна ко мне подошла сегодня, требует: «Ты депутат, ты нас разбери». Отвечаю: «Вас обеих даже суд не разберет. Ну будь ты поумней, уступи...» Ко мне на депутатский прием однажды пришел кандидат математических наук. Культурный человек. А про житейское дело свое не умеет толком рассказать. Пришлось каждое слово из него вытягивать, объяснять ему, на что имеет право. Но зато как много знает, разговариваешь с таким человеком и душой отдыхаешь. И думаешь: «Буду учиться! Буду! Буду! Буду! Не хочу, как те двое. Не хочу!»

И еще был случай. Женщина одна наша, мастер, пришла ко мне, попросила помочь с квартирой. Два часа на работу ездит, а у нее муж болен. Хронически. Квартиру дать тогда могли, но площадь великовата на эту семью, лишних три метра. Нуждающихся в жилье у нас до сих пор много. Прохоров, фабрикант бывший, в наследство нам оставил спальни с койками в два яруса. Вот от чего мы идем, с нуля начали, как говорится. Думала я, думала, как мне быть. Ночами не спала, сердце опять заболело. Лишних три метра! Имею ли право за нее на райисполкоме заступиться? Все-таки решила: должна! Уж очень ей тяжко. На райисполкоме поспорили со мной, но просьбу депутата уважили. До сих пор все думаю: имела ли право?.. Мучаюсь вот так, мучаюсь, а потом и говорю себе: «Хуже, если бы равнодушной стала. Учись, переживай за других, оставайся человеком».

Вы меня спрашивали, для чего кругозор...— Валентина Михайловна вдруг взглянула на электрические часы, висевшие на стене аудитории, и, прерывая себя, сокрушенно воскликнула: — Ой! Два часа мы с вами проболтали... Ну, ладно, пропало... Зачет сегодня хотела сдать. Теперь нет смысла идти, поздно.— И негромко, как бы про себя, добавила: — Вот так всегда. Вот так всегда...— Глаза ее блеснули, лицо оживилось: — А все-таки хорошо, когда откровенный разговор получается.

Анатолий МЕДНИКОВ

Человек на высоте

1. Бригадир

Я пришел к нему на площадку и увидел, что «нуль» уже готов, то есть возведен фундамент, проложены рельсы и смонтирован кран серии КБ-1602М, подключен ток и буквально с минуты на минуту, по графику, вывешенному для всеобщего обозрения на доске у дороги, должен начаться монтаж здания.

Я сразу заметил, что Копелев зол и нервничает.

— Начинаете?

— Черта с два! Надо принять башенный кран. А вот этот пузатый не дает разрешения.

— Кто такой?

— Техник из треста механизации.

Копелев сплюнул в пыль.

Я посмотрел на мужчину в белой рубашке с закатанными рукавами и с портфелем в руке, который почти бегал по кромке верхних граней фундамента, о чем-то спорил с рабочими и выглядел суматошным и взвинченным. Он мне не показался пузатым, тут уж сквозило явное преувеличение бригадира.

— Это ваши ругаются с техником? — спросил я.

— Да, трое. Те, что в касках, все мои.

Меня удивило, что сам Копелев не ругался с приемщиком и стоял в стороне.

На нем были грубые башмаки, серые, из плотной материи джинсы, удобные на стройке хотя бы потому, что подходили под цвет той пыли, которую клубами вздымали в воздух часто вкатывающиеся на площадку машины-панелевозы. Под брюки, в жаркие дни, Копелев заправлял темную рубашку с открытым воротом, на темноволосой голове его плотно сидела белая каска со свободно болтающимися ремешками.

В такой рабочей одежде, высокий, спортивно-подтянутый, худощавый, он двигался по строительной площадке с

некоторым даже изяществом и благодаря своему широкому, плавному шагу довольно быстро. В солнечные дни Копелев надевал темные, защитные очки, которые шли к его строго-спокойному, с высоким лбом, чуть-чуть хмуроватому лицу.

Ему тридцать пять — самый возраст для бригадира-монтажника, есть и сила и опыт.

Копелев выглядит моложе, возможно, потому, что от постоянного пребывания на воздухе лицо его пышет свежестью, а кожа приобрела здоровый и приятный загар, как, впрочем, и у всех монтажников.

Я сразу обратил внимание на две черты характера Копелева, внешне совершенно очевидные. Он динамичен и одновременно сдержан. И первое впечатление относится к тому, как он ведет себя на строительной площадке, ни минуты не сидя без дела, отдавая распоряжения или сам частенько берясь за лом, лопату, все время пребывая в органичном для него состоянии озабоченного действия. Второе же характеризует малоречивость, отсутствие всякой позы, быть может, некую эмоциональную приглушенность занятого человека, у которого к тому же все переживания замыкаются внутри его души, мало чем проявляя себя во внешних выражениях.

— Ну, если я вам не нужен, то пойду,— он говорил мне это часто после или даже во время короткой беседы и порою даже не уходил вовсе, а начинал что-либо делать тут же на площадке или же просто думать о своих делах.

Да и когда мы разговаривали в переносной будке, которая вместе с монтажниками поднималась краном с этажа на этаж, или же стоя на краю какой-либо панели, Копелев все равно куда-то посматривал, за чем-то следил, и я все время ощущал, что беседа наша в любом случае все же менее интересна моему собеседнику, чем то, что происходит на монтажной площадке. Таким образом, его динамизм можно было бы, пожалуй, образно определить как постоянное пребывание под неким напряжением, словно бы под током деловой увлеченности и, не побоюсь сказать, сердитой страсти к работе.

Правда, на этот раз сердитость реплик Копелева не слишком была оправдана, ибо «пузатый» техник минут через двадцать все же дал разрешение на пуск башенного крана. К тому времени из-за часового простоя на площадке накопились машины-панелевозы с наружными стенами, с шахтами для лифтов, с готовыми и опломбированными санитарными кабинами.

И перед тем как начать работу, дать команду на установку первой панели на первом этаже дома, Копелев, стоящий около башенного крана, как командир перед началом боя, внимательно оглядел свою площадку.

Мне показалось, что Копелев критически осмотрел и другие здания, расположенные рядом, в том числе и тот девятиэтажный дом, монтаж которого он только что закончил.

На мой вопрос, нравятся ли ему эти здания с архитектурной, с эстетической стороны, Копелев поначалу ответил кратко и неопределенно:

— Ничего.

Потом добавил:

— Все познается в сравнении. Девятиэтажный рядом с домами К-7 системы Лагутенко хорош даже. Но!..

И тут он удивил меня сердитым замечанием:

— Нас с этим домом в Москву не пускают.

Было, пожалуй, многовато противоречий в этой оценке.

— Разве здесь не Москва? — спросил я.

— Москва, конечно. Вся земля до Окружной дороги — Москва. Вот, боюсь, скоро нас с этим домом выгонят и за Окружную. Но, может быть, этого и не случится. Это как решат в верхах.

Он все осматривался вокруг, и критическое начало, видно, по инерции, все больше овладевало его мыслями.

— Не очень-то мы дорожим землей, каждым ее метром. Я не говорю, что все плохо. Говорою, что могло быть лучше. Вот мы по одной схеме трубим пять лет. Этот домик можем собирать уже с закрытыми глазами. Мы все на этом деле стали профессора.

— Надоедает?

— А сколько же можно? Это одно, а с другой стороны,— говорил он так же сердито,— хочется, чтобы нам на поток дали что-то новое, пусть даже более сложное, но красивое. Всякой живой душе хочется и красоты, и...

— Разнообразия,— подсказал я.

— Точно. И повыше чтобы стали кубики. И качество. Надо бы монтировать чище, аккуратнее, а это и от проектов зависит, чтобы домик выходил как игрушка, как, простите за мечту, произведение искусства. Вот так!

Копелев затем махнул рукой звеньевому Валерию Максимову, такелажнику Василию Кобзеву, ходившему с красной, отличительной повязкой на рукаве, кивнул машинисту крана Алексею Боброву: мол, давайте начнем!

— Поехали, поехали, ребята! — громко произнес Копелев, следя за тем, как кран, подхватив с панелевоза, поднял в воздух и понес на первый этаж первые сборные части здания.

— Тронулись,— сказал он и при этом весело присвистнул. Свист этот как сигнал предназначался и Максимову, и Кобзеву, и сидевшему высоко в своей металлической, со стеклянным открытым окном кабине машинисту Боброву, который снял с себя даже рубаху, и с земли была видна его широкая, загорелая грудь.

Но все они едва ли слышали команду бригадира, а скорее интуитивно угадывали ее значение по взмахам рук, по движению губ, а более всего по знакомому, привычному, изученному в деталях ходу работ.

Так началась сборка деталей типового девятиэтажного дома прямо «с колес», то есть с подъезжающих на площадку машин, и стрелка почасового графика, единого для транспортников и строителей, для четырех заводов — поставщиков железобетонных изделий, для отдела комплектации, для главной диспетчерской, стрелка эта тронулась по циферблату времени и труда, строго рассчитанного на тридцатипятидневный цикл возведения дома.

...Копелев работает в домостроительном ордена Трудового Красного Знамени комбинате № 1 Главмосстроя. Сокращенно — ДСК-1. Монтажная бригада Владимира Ефимовича входит в 5-е, комсомольско-молодежное управление, по начальным буквам — КМУ-5. Таких управлений в комбинате несколько.

ДСК-1 — крупнейшая в столице да и во всей стране организация, осуществляющая индустриальное, массовое крупнопанельное строительство. Примерно каждый четвертый дом в Москве выстроен людьми этого комбината. Если в столице ежедневно появляется около 450 новых квартир, то 95 из них делает ДСК-1. Каждые сутки комбинат сдает по шесть этажей типового девятиэтажного дома, который сейчас находится на конвейере поточного производства.

Многих строителей я знал и раньше, о многих писал. Но то были монтажники-высотники, и дело они имели со сборкой металлических конструкций и создавали уникальные, высотные сооружения.

Копелев же монтирует не металлические балки, ригели и колонны, а складывает дома из железобетонных деталей на потоке жилого строительства.

Мы живем в век все более углубляющейся специализации во всех областях человеческой деятельности. Вот и рабочие-монтажники, создающие железный или железобетонный костяк нашей цивилизации, ныне тоже основательно отличаются друг от друга. И не только по комплексу профессиональных навыков, что естественно, но и по некоторым психологическим чертам, которые прививаются характером, темпами, культурой, организацией и связанной с этим нравственной атмосферой производства. А тут уж двух полных аналогов не найдешь даже в работающих рядом управлениях одного треста.

К тому же всякий инициативный, заметный на производстве человек — это всегда личность со всей ее неповторимостью. Имя Копелева известно в среде московских строителей. Таким образом, я шел на его площадку, так сказать подогреваемый соединенными интересами и к характеру индустриального жилого строительства в Москве, и к личности одного из ярких представителей этой, пожалуй, наиболее массовой в столице рабочей профессии.

Как раз в эти дни имя Копелева часто звучало со страниц газет. Он был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР.

В центре квартала, среди машин, панелей, бульдозеров, мы не нашли местечка, где бы можно было уединиться, и ушли поодаль, на зеленую лужайку перед белыми фронтонами других домов, еще не заполненных жильцами.

Копелев сел прямо на траву и прилег, опершись на локоть, чтобы дать отдых ногам.

— Знаете, когда раз сорок за смену сбегаешь на девятый этаж и вниз, это дает себя знать!

Копелев улыбнулся, не напрашиваясь на сочувствие. Скорее это было напоминанием о его занятости, о том, что после маленького, вынужденного для него отдыха он снова устремится по своим этажам.

Признаться, я ожидал увидеть человека, который в эти дни если не весь погружен в предвыборные заботы, то хотя бы полон волнения, озабоченности в преддверии больших перемен в своей судьбе.

Но, во всяком случае, внешне этого не было заметно. Копелев сказал мне, что выдвижение — большая честь для него, простого рабочего, что в двух округах ему предстоят предвыборные заседания, встречи с избирателями, они уже

начались и надо произносить речи, что для него труднее, чем собрать за месяц дом.

И сказано это все было просто, кратко, безо всякого желания произвести впечатление, с той естественностью, которая не оставляла сомнения в искренности ощущений Копелева. Он и новое свое положение воспринимал, главным образом, как новую и нелегкую работу.

Незадолго перед выборами к Копелеву на строительную площадку приехали кинооператоры и режиссер делать коротенький фильм о кандидате в депутаты Верховного Совета СССР. Снимали общий план кварталов нового района, здание, которое монтировала бригада, собирая секции последнего этажа. Естественно, снимали крупным планом и самого бригадира, и его помощников, звено Валерия Максимова.

Копелев на экране энергичными взмахами рук показывал, куда ставить панели, хотя обычно он только посвистывает, а машинист уже сам знает куда нести деталь; коренастый Валерий Максимов тоже зачем-то взмахивал ломом, хотя он, находясь в непрерывном движении, старается экономить свои физические усилия, иначе его не хватит на всю смену.

И все кричали больше, чем обычно: Максимов требовал у такелажника: «Гони сюда семерку!» (Детали дома обозначены номерами.) Монтажник Вячеслав Шаламов, молодой и стройный, с приятным, открытым лицом, тоже командовал машинисту крана: «Давай, давай ее сюда, родную! Вира! Майна!»

Одним словом, как это часто бывает на экране, люди жили не в том естественном ритме, который диктовался прежде всего экономией сил, привычкой и целесообразностью, а так, как будто бы не работали, а лишь картинно изображали рабочий процесс.

Вот в этом фильме Копелев перед микрофоном коротко рассказал о себе, о том, что родился под Житомиром, в шестилетнем возрасте потерял отца, офицера, воевавшего в пехоте и погибшего на фронте. В шестнадцать лет он уже пошел работать монтажником, но еще не на строительство домов, а на возведение высоковольтных линий. А с 1951 года Копелев — строительный рабочий в Москве, трудился в разных трестах, пока не ушел в армию.

Вернулся Владимир Ефимович снова к строительной специальности, что раньше, во всяком случае, бывало не так

часто: тяжелая работа под открытым небом в любую погоду, и в дождь и в мороз, не очень-то привлекала молодежь. Но Копелева притянуло строительство. И сначала это был трест с мудреным названием Центроэнергомонтаж, потом Мосстрой-1 и в нем СУ-150, возводившее уникальные дома — московские гостиницы. Здесь Копелев руководил бригадой, создающей фундаменты сооружений.

От фундаментов он потом поднялся на монтаж самих домов. «Перерос фундаментстрой» — так он выразился, желая, верно, подчеркнуть ту мысль, что его потянуло не только наверх, от земли в небо, но и к делу, более богатому разнообразием, более динамичному.

Фильм назывался: «Семнадцатая весна». Семнадцать лет работы на стройках — вот с каким рабочим багажом выходил Копелев к своим избирателям, имея за плечами внешне неброскую биографию с переменами, главным образом, географического свойства при устойчивости главных жизненных интересов и занятий.

Мне же в этом видятся типические черты многих строителей. Ибо, когда монтажник прочно станет на свое дело, этапные вехи его биографии будут составляться из перечня зданий и жилых массивов, возведенных в том или ином месте. А разве этот вещный, зримый, добрый след человека на земле не может стать украшением любой, самой яркой судьбы рабочего и депутата?..

Есть люди — подарок для писателя. Они охотно рассказывают о себе, быстро идут на духовный контакт, более того, порою даже сами предугадывают то, что писатель хотел бы от них услышать, рассказывая, словно бы диктуют тезисы своей судьбы.

Но в Копелеве я сразу почувствовал «твердый орешек». Он туго поддавался на расспросы, все время ссылаясь на свою занятость, и стремился отвести мое внимание от себя к успехам товарищей, всего монтажного управления в целом. Одним словом, он совершенно откровенно показывал, что не стремится к популярности, что не хотел бы привлекать к себе излишнего внимания.

Впрочем, за многие годы моего знакомства с заводчанами, бывая на стройках и промыслах, я почти не встречал настоящих людей труда, которые бы рассказывали о себе «с придыханием», оценивали бы свои дела словами в превосходной степени. Честолюбие во всех его формах, как правило, чуждо рабочему классу.

Тогда, в мае, я подвел итоги своим первым наблюдениям. Копелев показался мне простым, естественным, но не простоватым, с жестким характером. Впрочем, говорят, что если у мужчины есть характер, то он всегда нелегкий. Скромность Копелева вырастала из его рабочей уверенности в себе, и одно другого не исключает. Что же касается его эмоциональной сдержанности, то она ведь могла явиться не только чертой натуры, но и своего рода следствием опыта человека наблюдательного, сознающего прочность своей жизненной позиции.

...Прошло немного времени. 14 июля 1970 года состоялись выборы. И в первый день монтажа дома номер двадцать четыре рядом со мною на строительной площадке стоял уже не кандидат в депутаты, а избранный депутат Верховного Совета СССР, облеченный и новой своей общественной должностью, и новыми ответственными обязанностями.

Конечно, наивно было бы полагать, что Копелев как-то изменится за это время, во всяком случае, внешне. Вернее было бы сказать, что он тогда еще и не успел привыкнуть к своему новому положению в той же мере, как и его товарищи ни в чем не изменили своего привычного отношения к бригадиру.

«Каким ты был, таким ты и остался» — как поется в песне. И если поднялся нравственный авторитет бригадира, что естественно и несомненно, если выросло у него чувство самоуважения, а у бригады — гордость за своего руководителя, то все это никак не проявляло себя ни во внешних формах работы, ни в простоте обращения между собой монтажников, ни в привычках самого Копелева.

И, когда один из инженеров перед гостями назвал Копелева «нашей гордостью — депутатом», я видел, как Копелев нахмурился и опустил голову.

— Зовите меня на «ты» и просто Володя,— попросил он меня, может быть, потому, что успел заметить разницу между своими темными и моими седыми висками.

Скромность — всегда украшение человека. Но за этой личной чертой Копелева вставало нечто большее, что относилось, на мой взгляд, к некоторым чертам классовой нравственности, простоты и демократичности в рабочей среде.

Владимир Копелев — депутат, парламентарий — встает каждый день в половине пятого утра. От своего дома Копелев едет на первом утреннем поезде метро с пересадками ровно час двадцать минут. Потом еще идет пешком

до площадки, где работа начинается в половине восьмого.

Иногда же Копелев приходит и раньше, ведь надо все приготовить к началу монтажа. Бывает, что приезжает на работу и ночью: сборка домов идет в три смены.

Но все же обычно он работает с монтажным звеном в утреннюю смену, когда начинается суточный цикл, подходят с вечера заказанные машины с деталями домов и материалами.

С утра фигура Копелева мелькает то на этажах монтируемого дома, то в отделываемом и подготавливаемом к окончательной сдаче здании. И в одном и в другом он сам часто подключается к какой-нибудь операции, берет в руки лопату, лом, шланг или же большие, висящие на стропах панели, с тем чтобы точно поставить их на монтажные отметки. И в том, что делает за смену организатор монтажа — бригадир, немалая толика и чисто физического труда.

А после смены его ждут почти каждый день разнообразные общественные обязанности. Надо снять рабочую одежду, помыться, переодеться и шагать от площадки в город, километра за полтора, к метро.

— Я белую рубашку не могу надеть, вы видели, какая тут пылища. Что с нею станет, пока я до метро дойду! — сказал он мне.

Своего автомобиля у Копелева нет, а казенную машину ему как депутату не прислали даже на первый прием избирателей. Ехать же к ним надо было долго: на метро и автобусе.

Первый такой прием пришелся у Копелева на вторые сутки монтажа дома номер 24. Поехал он туда усталый: уж больно жаркий и душный выдался день в Москве. После рассказывал:

— Сидел на приеме с двух дня до десяти вечера. Принял тридцать семь человек. Всё шли и шли. Основные просьбы: квартирные, прописка, хлопоты по судебным делам. Дико устал! Домой добрался к двенадцати, а утром снова подъем в половине пятого.

Всю первую неделю монтажа, совпавшую с первыми приемами избирателей, я ходил на площадку к Копелеву. И могу засвидетельствовать, что условия работы для Копелева ничем не отличались от тех, в каких жила вся стройка на этом участке.

Если бригады мучил «недовоз», вовремя не подходили машины, кара сия не обходила и Копелева. Если простой

длился хотя бы минут десять — Копелев уже ходил мрачный, отвечал резковато, явно нервничая.

Вот в такую недобрую минуту я спросил у него, как дела.

— Вы разве не видите? Детали не подвозят, люди простаивают!

Но долго о простоях он говорить тоже не мог, его энергичная натура, как видно, требовала все время какой-то физической разрядки. Он бегал звонить в диспетчерскую, или начинал что-либо делать на площадке, наводя порядок в хозяйстве такелажника, или уходил на соседние участки, например за дефицитными закладными деталями.

— Вот так и начинаем вылетать из графика, а кому пожаловаться? — задал он мне риторический вопрос.

— Разве некому пожаловаться?

— Звонить напрямую в Главмосстрой? Скажут — зазнался! Пользуется депутатскими правами. Да и не хочется своих комбинатовских подводить. Сейчас вот летом нехватка деталей, а зимой, в тяжелое время, начнем прихватывать выходные, гнать годовой план.

Когда Копелев сердится, он все беспорядки определяет одним, смачно и надрывно произносимым словом — «хаос». Иногда добавляет: «Какая это работа, прямо нервы не выдерживают! Хаос!»

Я видел, как Копелев был обеспокоен ходом монтажа на первых же «захватках», хотя на этих первых двух этажах в целом цикл выдерживался: три дня — этаж, три дня — этаж!

Поддавшись немного его ворчливому настроению, я как-то спросил, будет ли выполнен график монтажа по всему зданию.

— Конечно! Да еще и раньше выгоним домик! Я, если надо, все переверну в комбинате, а детали выбью. Просто мне сейчас некогда, а с понедельника начну шуровать!

Он впервые так взорвался, не сдержав себя, и пригрозил кому-то, одновременно, должно быть, не в меньшей степени подбадривая и самого себя. У него, конечно, в руках было право и даже власть депутата. Но мне было совершенно ясно, что «шуровать» таким образом Копелев начнет только в силу крайней необходимости. Нет, ему вовсе не хотелось пользоваться своими преимуществами. Соревноваться на равных правах, при равных возможностях — вот что было Копелеву по душе.

2. Дом на Пресне

Он стоит рядом с метро «Краснопресненская», двухэтажный, почти квадратный серый особняк, облицованный крупной бетонной крошкой. Перед домом скверик — зеленая скатерть газона, ряды небольших елочек, подводящих к подъезду с широкими стеклянными дверями.

Те, кто часто бывает на шумном перекрестке у метро и главных ворот зоопарка, где потоки транспорта скрещиваются с четырех сторон, может быть, помнят ту развалюху, которая торчала здесь раньше, рядом со зданием кинотеатра. Ее хотели «брать» бульдозером, но потом, выселив жильцов, отдали монтажникам.

Новый штаб КММУ-5, предприятие коммунистического труда, выстроен с любовью и вкусом: и красивые интерьеры, и коридоры, и кабинеты с обилием стекла, света и простора — все здесь эстетически привлекательно. Попав в это здание впервые, я понял, почему Копелев и другие строители не раз говорили мне с гордостью: «А вы были в нашем управлении? Посмотрите! Его сделали наши ребята бесплатно, за счет свободного времени и выходных дней».

Один из строителей как-то заметил, что «от этого домика и пошла у нас культура в управлении, пошла на потоки, в бытовки», имея, должно быть, в виду добрую силу примера, так сказать, инерцию эстетического воспитания. Уж если так хорош и наряден штаб управления, то и бытовки, которые кочуют со строителями от одной площадки к другой, должны находиться в том же ряду требований к чистоте, культуре, удобствам.

Когда поднимешься на второй этаж управления, то, минуя ряд стеклянных дверей, попадешь в обширную приемную начальника и главного инженера с отделанными деревом панелями стен, с низкой, современной мебелью и столом секретаря. Ожидающий приема в мягком кресле может взять с журналого столика свежие газеты, просмотреть толстую книгу отзывов — там немало записей и зарубежных гостей. А при желании попросит у Елены Константиновны, секретаря начальника, подшивку статей, заметок, газетной информации о делах и успехах управления за все пять лет его существования.

Первым начальником управления, сформировавшим его, был известный строитель, Герой Социалистического Труда Геннадий Владимирович Масленников. Людей к нему соби-

рали из разных потоков, а когда отдают работников в другие руки, то, как правило, не лучших. Но были такие, которых Масленников добывал со свойственным ему упорством, мастера, на которых можно было положиться: Игорь Логачев, Анатолий Суровцев, Петр Иванов, Юрий Юдин, братья Павлюк, Владимир и Олег, составившие потом костяк коллектива, его энергичное ядро.

И вот первая девятиэтажка — этапная стройка. Этапная потому, что содержала больше элементов новизны, чем привычного, освоенного. Поточное создание домов имеет много общего с конвейерами машиностроительных заводов. Поэтому и переход от пятиэтажных к девятиэтажным зданиям принципиально мало чем отличался от перенастройки конвейеров тракторов или автомобилей.

Тогдашний проект организации работ был рассчитан на два потока, ведущих одновременно монтаж. Сейчас дом создается одним потоком. Срок монтажа тогда был два месяца. И все же график казался очень жестким, требовавшим предельного напряжения сил.

Один из этих потоков возглавил Игорь Логачев, бригады монтажников вели Александр Гусев и Владимир Копелев. Вряд ли кому, даже строителям, высоко ценящим свой труд, участвующим в создании нового облика Москвы, придет в голову записывать в деталях историю возведения отдельных зданий или даже первенцев новых серий домов, которые потом десятками сотен вписываются в архитектонику нашей столицы. Но то, что, быть может, не так уж интересно широкому читателю, оказывается порою весьма важно для самих творцов новых зданий с точки зрения этапных переходов от серии к серии, творческих находок, роста культуры работы и мастерства.

И я теперь понимаю, почему и у Масленникова, и у Копелева, и у Гусева, и у Логачева оказалась такая острая память на подробности той пионерской стройки, почему они выделяют это здание в ряду множества других. Да потому, что именно в Новых Черемушках, в 10-м квартале, все они коллективно внедряли немало тех технических новинок, которые не устарели и ныне, через пять лет. А это был и переносный растворный узел для подачи бетонной смеси, ранее находившийся на земле, а потом кочевавший вместе с монтажниками с этажа на этаж, и переносная установка для металлизации сварных изделий, чтобы защитить металл от коррозии, и конструкция крыши высокой заводской готов-

ности, и комплект оборудования передвижных фургонов бытового и административного назначения, и многое другое.

А время и для скоростного монтажа первенца, и для внедрения технологических новшеств было тогда малоблагоприятное. Стояла угрюмая пора поздней осени. Шли дожди, их сменяли морозы. Надо самому хоть раз в жизни побывать на высоте, под открытым небом, в жгучий мороз, чтобы почувствовать, как работается монтажникам, когда свирепый ветер не только обжигает лицо и руки, но и раскачивает тросы подъемного крана и вместе с ними и тяжелые плиты, плавающие в воздухе над головами рабочих.

По инструкции, все работы прекращаются, если ветер достигает силы шесть баллов. Но это по инструкции. А если дорог каждый час, и жмет график, и люди не укладываются в сроки, и простаивают панелевозы, груженные деталями домов? Как быть тогда?

— У нас такое правило: пока машину не разгрузим, никто не уйдет обедать,— сказал мне Копелев, когда на его площадке однажды летом монтажное звено Максимова задержалось с обедом на полчаса.

Мелочь?! Нет, мера совести советского рабочего, который болеет за график, за темпы, за общее дело, но и, конечно, за свой заработок, ибо у Копелева заработки идут в общий котел и платят всей бригаде за сданный полностью дом в определенные сроки.

Но каковы бы ни были трудности в ту осень и суровую зиму 1965 года, Гусев и Копелев во главе своих бригад точно по графику, в канун Нового года, предъявили к сдаче первый крупнопанельный девятиэтажный дом.

В небольшой брошюре, которая называется «5 лет на стройках Москвы», в этом деловом отчете молодежного управления, вслед за сообщением о первенце девятиэтажной серии сказано:

«...Сейчас для комплексных бригад МУ-5 стало нормой при монтаже 4-секционного корпуса воздвигать этаж дома за три дня, а при монтаже 3-секционного корпуса — всего за два дня».

Сказано кратко. Но в этот абзац спрессован в несколько строчек такой объем работы, который позволил увеличить производительность труда не более не менее как в два раза! Инициатива в этом деле принадлежала самим рабочим. Копелев вспоминал об этом так:

— Мы собирались тогда в конструкторском бюро комби-

ната. Конечно, после работы, вечерами. Сидели подолгу. Было нас человек пятнадцать. Из бригадиров — Логачев, Суровцев, из планового отдела Наумов, от нормативно-исследовательской станции — Мерзон, из отдела труда и зарплаты — Ценин, другие инженеры.

Если бы мы собрались принять волевое решение, как бывало раньше, ужать графики — и все, то и одного вечера хватило бы. А вот разработать все по научной организации труда — это надо думать! И технологию, и нормы, и расценки, и все чтобы не на волевом — давай, давай! — а на реальном расчете. Это работа!..

Новые графики, объединявшие заводы, транспорт и стройки в единый поток, были оформлены потом как коллективное рацпредложение монтажников. Оно было отмечено премией. А научное Общество строителей индустрии присудило Копелеву и другим Почетные грамоты за внедрение скоростного монтажа. Владимир Ефимович по занятости, а больше, должно быть, по редкому отсутствию суетности и тщеславия несколько лет все никак не мог собраться, чтобы съездить в Общество и грамоту эту получить.

В юбилейной брошюре один перечень наград — дипломов, грамот и почетных знамен, полученных молодежным управлением, занимает целую страницу. Сами же награды можно увидеть в доме на Пресне, в конференц-зале, в коридорах, рядом со стендами, где вывешены портреты передовиков, списки на получение квартир, фотографии двух домов отдыха (под Москвой — «Отрадное» и в Крыму — «Солнечный»). На отдых, как туристы и в составе делегаций, рабочие часто ездят по городам Союза и в другие социалистические страны, в том числе и на Кубу, бывали также в Канаде, Финляндии, Италии, Франции и Швеции.

Дома отдыха были выстроены еще при Масленникове за первые три года существования управления. Фамилия Масленникова обозначена еще и в той колонке, которая начинается словами: «Из нашего управления ушли на руководящую работу: тов. Сигал Р. Г., бывший начальник потока, нынче работает начальником СУ Мосстроя № 1; тт. Чалый В. Ф., Богомолов Ю. А., прорабы управления, сейчас возглавляют потоки в монтажном управлении № 4; Беликовецкий Г. И., работник управления, ныне заместитель управляющего трестом Мосстрой № 1, и бывший бригадир, Герой Социалистического Труда, нынешний начальник управления Герман Иннокентьевич Ламочкин»...

3. Семья

Владимир Ефимович еще недавно жил на четвертом этаже блочного дома серии К-7, которые он когда-то монтировал, и его собственное жилье напоминало ему о пройденном этапе строительной биографии: и бригады, и всего комбината. Из окон квартиры была видна часть нового района, раскинувшегося вблизи конечной станции Арбатско-Филевской линии метрополитена. Рядом со станцией «Молодежная» — монументальное здание нового кинотеатра «Брест», кварталы из пяти-, девятиэтажных и более высоких домов.

Вряд ли я удивлю кого-нибудь, заметив, что квартиры столичных рабочих мало чем отличаются от квартир других моих приятелей, будь они даже представителями исконных интеллигентных профессий.

Я бы мог еще добавить, что резкие внешние различия в убранстве квартир людей труда физического и умственного стираются так же быстро, как и различия в самом существе того и другого труда. И если дòма у педагога, ученого или писателя, скажем, немного больше книг, чем у Копелева, то и у него их немало. А поскольку жена Владимира Ефимовича знает английский и китайский языки, то на полках семьи Копелевых книги на иностранных языках соседствуют с беллетристикой, классической и современной, и с нотной библиотечкой Зинаиды Петровны, тещи Копелева, много лет проработавшей преподавателем музыки, а затем, после двух инфарктов, ушедшей на пенсию.

Не у каждого моего знакомого стоит в комнате большой рояль, занимая много места в тесноватой двухкомнатной квартире, но рояль был необходим Зинаиде Петровне для работы. В квартире Копелевых современная мебель, радио, телевизор — эти теперь уже почти обязательные атрибуты любой московской квартиры.

Бывая в семье Владимира Ефимовича, я познакомился с Зинаидой Петровной. Несмотря на тяжелую болезнь сердца, она сохраняла живой интерес и к музыкальной жизни, и к литературе. Мы беседовали с ней о новинках исторической и документальной прозы, посвященных минувшей войне.

Но вот, вернувшись однажды из поездки, я позвонил Копелевым и был поражен вестью о внезапной кончине Зинаиды Петровны. Римма Михайловна сказала мне, что мама хорошо себя чувствовала, ни на что не жаловалась, и вдруг...

Я слышал, как дрожал, приглушенный горем, обычно спокойный и звонкий голос Риммы Михайловны.

Владимира Ефимовича я не видел тогда, он не был несколько дней на стройке. Но я знал, что он глубоко потрясен семейной трагедией, ибо любил и уважал Зинаиду Петровну: бабу Зину, которая, имея в последние годы больше времени, чем родители, воспитывала внука — Мишу.

Живой и любознательный мальчик, он однажды заявил мне, что «часто смотрит папу на телевизоре», и тут же перечислил передачи, которые видел. Это был и предвыборный фильм, и выступление отца на празднике День строителя в парке «Сокольники», и кадры из журнала «Новости дня», и просто те случаи, когда хмуроватое лицо папы, сидящего в президиумах различных торжественных и деловых совещаний, мелькало на голубом экране.

Пожалуй, учитывая семейный симбиоз двух разных профессий: рабочей — главы семьи и научно-дипломатической — Риммы Михайловны (она, в 1958 году закончив восточный факультет Института международных отношений, работает сейчас экспертом в Комитете по науке и технике), а также заботясь об интересах первоклассника Миши, которому надо бы не так увлекаться телевизором и раньше ложиться спать, я думал, что хорошо бы Копелевым иметь квартиру и побольше и попросторнее.

У Владимира Ефимовича среди книг лежит в шкафу — в альбоме и в конвертах — много фотографий, скопившихся в последние годы после поездок за рубеж. Любой семейный альбом всегда примечателен, в какой-то мере рассказывает о сложившихся в семье традициях, привычках, круге интересов.

Кстати говоря, увидев Копелева на фотографии перед зданием Московского строительного заочного института, я только тогда и узнал, что Копелев еще сравнительно недавно был студентом. Но, как он выразился, «не потянул». Стало трудно сочетать работу, такую напряженную, множество общественных обязанностей и учебу. Копелев ушел из института. Может быть, поэтому он и не хотел мне говорить об этом.

Однако в последние месяцы все чаще Владимир Ефимович ругал себя за то, что поддался настроению, не преодолел временной душевной слабости. Недавно он поступил учиться на заочное отделение Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

— Заставлю его закончить институт,— как-то сказала мне Римма Михайловна.— Я ведь познакомилась с Володей, когда он работал еще в Фундаментстрое обыкновенным рабочим, бригадиром. А я уже училась в институте. Если бы я в нашем МИМО вышла замуж за дипломата, то, наверно, жила бы сейчас где-нибудь за границей. Но вот стала женой рабочего. И знаете — хорошо! Жизнь интересная, насыщенная. И за рубежом бываем...

Я вспомнил об этом коротеньком разговоре, за которым уже угадывалась иная история — любви рабочего парня и студентки единственного в своем роде института, готовящего дипломатов. Это уже повесть о воспитании чувств, интимная область отношений, выходящая за рамки очеркового повествования.

Но естественно, что я не мог не подумать об этом, держа в руках альбом Копелевых, который можно назвать международным. Он хранится в семье как память о поездках, как своего рода дневник путешествий. Еще до того, как Копелев стал депутатом, он не раз выезжал за рубеж в составе рабочих и профсоюзных делегаций.

Конечно, ему еще куда как далеко до опыта своего товарища Масленникова, объездившего в буквальном смысле слова полмира. Владимир же Ефимович пока был несколько раз в Польше, Венгрии, Франции.

В Польшу Копелев ездил и на отдых, жил в Закопане, где многое нравилось, однако признался и в том, что на этом знаменитом курорте он иногда скучал. Объяснялось же это не какой-либо избалованностью или снобизмом, чуждым ему, а только тем, что Копелев привык к несколько иным условиям активного отдыха.

— Купаться там негде,— вспоминал он.— Мы привыкли к волейболу, теннису, шахматам. Там этим мало занимаются. Днем я ходил в горы, а вечером куда? В бар? Но не так уж много было у меня злотых. Вот если бы попасть в Закопане зимой! Какое там зимой прекрасное катание на лыжах!

За два года до своей первой польской поездки Копелев провел месяц во Франции как член профсоюзной делегации, приглашенной ВКТ — Всефранцузской конфедерацией труда. Делегация на машинах объездила всю страну. Владимир Ефимович побывал на севере и на юге, у итальянской, у испанской границ, на катере выходил в Атлантический океан. Были деловые встречи, связанные с посещением французских строек, заводов, профсоюзных, рабочих организаций.

И радость приобщения к памятникам культуры, искусства, истории, к сокровищам Лувра, Версаля, множества музеев.

— Ох и город! — вздохнул Копелев, вспомнив о Париже. Привыкший находиться каждый день на ногах всю смену на своих стройках, Копелев во Франции испытал в полной мере тренированность своих мускулов, обойдя пешком чуть ли не весь Париж.

— Спал не более трех часов. Все на ногах, и не чувствовал усталости. Мы были тогда во Франции в ноябре шестьдесят седьмого, как раз в дни пятидесятилетия Советской власти,— сказал Копелев,— и можете себе представить, с каким чувством мы осматривали ленинские места и как тепло встречали нас французские товарищи!

Он все больше «глазел на город», как выразился сам, «дышал Парижем», присматривался к рабочему люду Франции. Товарищи из ВКТ устраивали встречи главным образом по профессиональному признаку. И, бывая на стройках, на заводах, Копелев вглядывался в знакомое и незнакомое, в то чисто национальное даже в характере труда, которое проявляется всюду не менее рельефно, чем уровень технической культуры или организации производства.

Я вовсе не склонен умиляться тем, что простой бригадир монтажников бывал за рубежом, провел свой отпуск в Закопане, сможет и впредь, если захочет, выезжать для отдыха в другие социалистические страны.

Меня больше удивило другое, а именно то, как Копелев рассказывал о своих заграничных путешествиях, что говорил он о них как о событиях, для него совершенно обычных, естественных, ибо многие из его товарищей-бригадиров, не раз уже ездили за рубеж по делам службы и как туристы.

И в этом тоже есть несомненные приметы новизны, их принесло в рабочую жизнь время шестидесятых, семидесятых годов, время все расширяющихся международных связей и контактов.

Я перебирал фотографии, на которых был снят Копелев то в Версале, то на фоне огромных серых заводских корпусов «Рено», то на стройке в Варшаве и Кракове. Карточки чередовались в альбоме с теми, на которых была запечатлена Римма Михайловна то в Москве, то в Торонто, то в Монреале.

Если чем Копелев и гордится искренне, открыто и непосредственно, так это успехами своей бригады и успехами жены.

— Она у меня закончила МИМО,— сообщил мне Владимир Ефимович, когда я еще не был знаком с Риммой Михайловной.

— Во, жену оторвал! — повторил он шутя в другой раз. И при этом в его улыбке мне почудилось многое: и уважение к жене, ее образованности, ее работе, и некая толика иронии над собой — «не каждому-де работяге выпадает такая жена», и вместе с тем прочная уверенность в своем семейном счастье.

4. «Зимний» Копелев

...Много месяцев подряд ездил я на строительную площадку как на один из участков «передовой» и, бывая в других местах: на заводах, в проектном институте,— все же мысленно возвращался к делам монтажной бригады Копелева.

Я так привык бывать здесь, что, когда случалось пропустить две-три недели, меня вновь тянуло посмотреть, как идут дела у Владимира Ефимовича на площадке, словно в звене той цепи, которая соединяла в конечном счете воедино все мои наблюдения.

Мне всегда кажется, что в ряду самого интересного, того, что не приедается, пребывают, я бы сказал вечно, наши впечатления от труда, изменяющего землю, от того, как растут города, как подымаются в небо новые кварталы.

Однажды шел я знакомой дорогой, теперь уже белой, на которой ветер крутил клубы снежной пыли, и сравнивал осенний строительный пейзаж с зимним, видел, что кое-что изменилось. Стало меньше машин — ушли дорожники, но экскаваторы по-прежнему рыли уже слегка подмерзшую землю и сливающиеся со снежным полотном поля, все так же густо торчали там и сям плиты фундаментов под новые здания.

Весь же центр строительства с группой служебных деревянных домиков сместился несколько правее. Ближе к железной дороге переехали Копелев, Логачев и Суровцев со своими бригадами.

Дом номер 86 был уже четвертым зданием и семнадцатой секцией, которые Копелев успел возвести с середины июня.

Не признавая никаких скидок на зимние условия, холод, метели, неумолимо действовал график, требующий возведения этажа за три дня.

Признаться, я был удивлен тем, что на площадке у Копелева скопилось сразу пять панелевозов, ожидавших разгрузки. Такое редко можно было увидеть даже в летние дни, когда то и дело случались перебои с доставкой деталей.

— Идут машины, идут! Вы знаете наше правило: люди не уходят на обед, пока не разгружены машины. Так вот сейчас проблема — вырвать время и пообедать. Желудки свои тоже надо беречь!

Это сказал мне Копелев. Я увидел его около подъемного крана — в меховой шапке, в сапогах, в сером рабочем костюме с большими карманами, под которым был ватник и воротник свитера пушистым комом выбивался из-за отворотов куртки.

«Зимний» Копелев казался крупнее и осанистее, в чем-то утеряв свою летнюю легкость в движениях и изящество.

Я уже знал, что у Владимира Ефимовича дела по-прежнему идут хорошо. Бригада вновь впереди всех в управлении.

Октябрь был для Копелева трудным месяцем: он болел гриппом, потом было осложнение на уши. Так сложился год, что он еще и не отдыхал. Были выезды с делегациями в другие города, много депутатских забот.

В начале же ноября, в самый канун праздника, Копелев особенно много выступал как депутат на различных торжественных собраниях и совещаниях. Так, 2 ноября он произнес приветственное слово от трудящихся Москвы на приеме участников парада в Москве, 6-го присутствовал на торжественном заседании во Дворце съездов, посвященном 53-й годовщине Октября, на следующий день присутствовал на праздничном приеме в Кремле, в числе депутатов Верховного Совета.

Увидев в дни праздника на снимках во всех газетах Копелева в первом ряду Президиума торжественного заседания, рядом с руководителями партии и правительства, ветеранами революции, я искренне порадовался за Владимира Ефимовича, за то высокое общественное признание, которое бригадир-монтажник заслужил на строительных площадках.

Да, Копелев часто бывает занят своими общественными делами, но на работе и производительности бригады это не отражается. Как хорошо отлаженный механизм, бригада не сбивается с ритма и в отсутствие руководителя; его стиль неукоснительно поддерживает Николай Васильевич Большаков — заместитель, да и сами монтажники уже не могут работать по-иному, втянулись в ритмичный, темпированный

монтаж, а привычки, как известно, становятся частью нашей натуры.

В обеденный перерыв я зашел с Владимиром Ефимовичем в теплую, уютную прорабскую, где у трубки радиосвязи сидела девушка-диспетчер, куда заходили прорабы, начальники потоков, на несколько минут заскочил и сосед — бригадир Игорь Иванович Логачев: он монтировал дом метрах в ста правее Копелева.

Одетый в такой же серый рабочий костюм, Логачев положил на стол свою пыжиковую шапку и охотно включился в беседу, которую начал Копелев, расспрашивавший меня о стройках Будапешта, откуда я недавно приехал. Так разговор наш принял «зарубежное» направление, ибо сам Логачев только две недели назад как вернулся из Польши, а ранее посещал стройки ГДР и Югославии, изучал работу белградской строительной организации «Бетон».

И пока оба бригадира предавались воспоминаниям, оценивая опыт, тенденции, быстроту и качество строительства в разных странах, в прорабскую то и дело входили монтажники, слесари, пришел сердитый инспектор кранового хозяйства, обнаруживший неполадки. Копелев, признав оплошность своего машиниста крана, тут же распорядился об исправлении ошибки.

Потом вбежал шофер панелевоза с требованием немедленно разгрузить его машину.

— Ездить надо по графику, а не всем «хором»,— отрезал Копелев.— Людей я отправил обедать.

Шофер все же грозил составить акт на простой.

— По-своему он прав,— сказал Копелев, когда водитель вышел.— У него свой план, и он не может отвечать за весь график... Вот трудности потока,— усмехнулся Владимир Ефимович,— плохо, и когда деталей не хватает, и когда их слишком много.

— А в Польше еще порядком строят из кирпича и литого бетона,— заметил Логачев, возвращая нашу беседу к зарубежным впечатлениям.— Почему-то сборный железобетон там меньше внедряется.

— Временно, я думаю,— сказал Копелев,— и в Польше к этому придут. Вот в ГДР — там это дело широко шагает. Много крупнопанельных домов.

— И в Венгрии, это вы знаете,— вставил я.

Потом спросил, понравилась ли Логачеву белградская строительная организация «Бетон».

— Да, большой комбинат. Мощный. Строит по всей Югославии. Жилые дома они делают аккуратно, мне понравилось,— ответил Игорь Иванович.— Еще бы туда съездил. У нас ведь с ними есть договор на сотрудничество.

— Ты, Игорь, знаешь, как бывает: начальство съездит, обменяется опытом, и на этом ставят точку или многоточие. А там то денег нет, то одно, то другое, это ведь правда,— Копелев коротко вздохнул, посмотрел на меня, как бы призывая ему верить, и зачем-то поправил шапку.

— А надо больше посылать монтажников, бригадиров, чтобы, если увидел где-нибудь стоящее, мог бы внедрить у себя на площадке.

— Меня да тебя в первую очередь,— подмигнул Копелеву Логачев.

— Чего ты улыбаешься? — спросил Владимир Ефимович, но и сам при этом слегка усмехнулся.— Нет, Игорь, я вполне серьезно,— сказал он. Польза от этого прямая, и возможности есть. Сейчас я думаю, надо всем нам смотреть на нашу работу широко, с загадом на будущее. Лет на десять вперед. Крупнопанельное строительство — самое перспективное.

С особым чувством волнения и горечи я вспоминаю этот разговор двух прославленных бригадиров, ибо один из них — Игорь Логачев — уже ушел от нас, погиб в случайной дорожной катастрофе. Добрую память о нем хранят все комбинатовцы.

А тогда будничные дела, детали обычной производственной текучки переплетались в беседе двух бригадиров с их впечатлениями от зарубежных поездок. И все время как бы подспудно, но, мне кажется, еще и символично, и примечательно переплетались в разговоре, который возник случайно и так же внезапно оборвался, два плана, две меры дел и свершений, два масштаба: вот этой строительной площадки и той громадной стройки, чей созидательный фронт развернулся ныне по всем странам социалистического содружества.

Вскоре оба бригадира, взглянув на часы, ушли на свои площадки. Копелев проследил за разгрузкой панелевозов, потом с присущей ему легкостью и сноровкой быстро вбежал на девятый этаж, где уже подводили новый дом под крышу...

Лев КОКИН

«Дежурю по декабрю»

1

Представляю себе Васюкова, как каждое утро, придя на работу, он хватает сводку вчерашней погоды, чтобы сверить с прогнозом: идет погода или не идет?

В сентябре точно так же поступал Бабкин. А Васюков, выглядывая из-за горы синоптических карт, извинялся, что в комнате сесть негде. Толстые атласы не умещались у него на столе и громоздились на стульях окрест наподобие сползающих с материка ледников.

— Дежурю,— объяснял, извиняясь, Васюков.— Дежурю по декабрю.

Еще не сдал вахты дежурный по сентябрю Бабкин, за окном в скверах Пресни еще не отгорела листва, а всеми помыслами Васюкова уже владела зима или, точнее, предзимье. В календаре у метеорологов не четыре, как у всех прочих смертных, а шесть времен года. Декабрь — последний месяц предзимья.

Васюков и Бабкин сидят в комнате у окна — друг против друга, почти так же, как лет двенадцать назад, если не считать того, что в той комнате окон не было, а за стеной сползал с материка отнюдь не метафорический ледник и с грохотом обрывался в океан айсбергами. Грохот этот доносился до синоптиков Васюкова и Бабкина, когда его не заглушала пурга. Год, который они провели вместе, знал одно только время — зиму, а через стол дежурного метеоролога проходил Южный полярный круг. Так, во всяком случае, утверждал местный фольклор, изустно передаваемый зимовщиками от смены к смене.

Сохранились, впрочем, и письменные свидетельства той зимы длиною в год.

«...17 октября. Ветер достигает порывами 40 метров в секунду. К ветру прибавляется еще сплошной и сильный снег. Буквально рядом человека не видно. Однако надо идти на метеоплощадку для проведения наблюдений. В руках палка,

чтобы при скольжении затормозить, да еще веревка — леер. Держась за него, двигаюсь до площадки — 200 метров. В голове в это время мысль одна — не заблудиться и добраться до метеоплощадки. Здесь домик с приборами и можно, наконец, перевести дух...»

2

— До меня поработали люди! — говорит Васюков в светлой комнате Гидрометцентра, перелистывая синоптические карты чуть ли не за весь предшествующий «его» декабрю год.

«Качали» холод северные обвалы воздуха; встречаясь, его холодные и теплые языки создавали ложбины атмосферных фронтов; закручивались кольца циклонов: вся жизнь атмосферы была запечатлена в этих картах день за днем. В каждой карте — труд сотен людей, коллег синоптика Васюкова. Каждая вместила сведения с метеостанций в пустынях, в горах, в городах и лесах, на полярных зимовках и в океане. Когда синоптик антарктического поселка Мирный составлял прогноз по «заказу» летчиков или моряков, вчерашняя погода казалась ему далеким прошлым, а позавчерашняя была прочно забыта. Прогнозист-долгосрочник извлекает давно прошедшую погоду из архива. Смена процессов в атмосфере происходит резко, однако подготовка к ней совершается постепенно, исподволь. Содержание карт еще не исчерпано. Долгосрочник ищет в них признаки будущей погоды.

Атмосферная деятельность разворачивается на фоне так называемого «западного переноса» — характерного для средних широт движения воздуха с запада на восток. Но полярный или тропический воздух нередко нарушает это одностороннее движение. Профессору Мультановскому и его ученикам удалось подметить некий порядок в таких нарушениях: как правило, они повторяются через три — пять месяцев. И повторяются лишь однажды.

Иными словами, если в сентябре, в «бабкинском» сентябре, Васюков обнаружит характерное «нарушение» и ничего подобного не заметит в предыдущем июне,— то, по трехмесячному ритму, он вправе ожидать нечто схожее в декабре.

Точно так же — по пятимесячному ритму — предвестником декабрьской погоды может оказаться «нарушение» в июле (если само оно не было повторением февраля).

По этим предвестникам возводят синоптики каркас слож-

ного своего сооружения — будущей погоды. А материал для заполнения каркаса черпают опять из архива. Гидрометеорологический архив хранит сведения о погоде чуть ли не за сотню лет. Почти сотню декабрей придется перелистать Васюкову. И снова атласы синоптических карт, точно айсберги, окружат его со всех сторон.

От синоптика требуется искусство, чтобы выбрать месяц-«близнец». Если бы атмосферные процессы повторялись в точности! К сожалению, это не копии, а только подобия. Синоптик сличает температуру, давление на разных высотах, ветер, облачность... Схожесть в одном вовсе не влечет за собой схожести в другом. Как оценить расхождения? Какие из них предпочесть? На помощь синоптику пришла вычислительная машина. После ряда проверок и уточнений совместными — человека с машиной — усилиями подобранный аналог становится «проектом» погоды, ее прогнозом.

У бригады синоптиков (Васюков в ней — «первый номер») составление прогноза на месяц занимает два месяца. Прибавьте к этому труд наблюдателей на метеостанциях, связистов, составителей карт... Прибавьте к этому труд ученых, исследовательский поиск, цель которого совершенствовать сами методы составления прогнозов...

— До меня поработали люди! — говорит Васюков.

Дежурная бригада синоптиков как бы завершает работу метеорологического «конвейера».

3

«Предложил такую задачу: возьмите синоптические карты за 24, 25, 26 марта... и скажите, какая была погода близ м. Финистере 27 марта... Часа через три приносят ответ: была ясная погода и почти полный штиль.

— Желал бы я вам быть в этот штиль в этом месте; я как раз здесь был при плавании на «Метеоре» — после двух часов дня начался жесточайший шторм 11—12 баллов ураганного характера, продолжавшийся более суток...»

Так писал в своих воспоминаниях академик Крылов, «адмирал корабельных наук».

Синоптики связывают успехи своей науки с успехами техники. Чтобы появились первые прогнозы погоды, должен был заработать телеграф: возникла возможность с помощью телеграфа быстро обмениваться данными о состоянии воздушного океана. Но полвека с лишком назад метеорологи

располагали сведениями лишь о приземном его слое — не удивительно, что они опростоволосились тогда с крыловской задачкой. Изобретение радиозонда дало возможность проникнуть в стратосферу. Запуски ракет еще выше подняли потолок.

У главного прогнозиста по Москве А. Д. Чистякова, говорят, нюх на циклоны; еще циклон не успел народиться, а он его уже выискал — как гриб из-под земли... График над столом Чистякова показывает, как росло число оправдавшихся прогнозов. Но не только одно это. Без малого три десятка лет назад пришел Чистяков в Гидрометцентр (тогда Институт прогнозов), и с тех пор вся его жизнь связана с институтом: здесь он стал членом партии, защитил диссертацию. В сущности, на графике виден рост самого Чистякова. И его товарищей тоже...

До войны удавалось правильно предсказать завтрашнюю погоду в Москве едва в шести случаях из десяти. Теперь удается почти в девяти случаях. Это, так сказать, границы. В середине графика ползущая вверх кривая взрывается двумя скачками. Первый пришелся на конец сороковых — начало пятидесятых годов и обязан «высоте» — радиозондам, ракетам. Второй, в середине шестидесятых годов, знаменует вторжение вычислительных машин. Наметился и третий скачок — это спутники подняли потолок метеорологии. Но главное — широчайший «кругозор» спутника.

Течения воздушного океана одолевают за сутки по тысяче и более километров. Чтобы составить даже суточный прогноз по Москве, синоптику необходимы сведения со всей Европы, с большей части Азии, с Атлантического и Ледовитого океанов — с половины Северного полушария. И со всего полушария — для прогноза на трое суток, не говоря уже о более длительном.

Через каждые три часа на десяти тысячах метеостанций всего мира наступает единый срок наблюдений, а спустя часдва (или даже раньше — в зависимости от дальности станций) их результаты известны в Гидрометцентре — одном из трех мировых метеорологических центров в системе всемирной службы погоды. Сюда, на Большевистскую улицу Красной Пресни, радируют, телеграфируют, сообщают по телетайпу из Арктики и с экватора, с Курил и с Кордильер (как Васюков с Бабкиным сообщали когда-то из антарктического поселка Мирный): состояние атмосферы такое-то. Сотни синоптических карт каждый день составляются на основе приня-

тых данных — как диагноз всемирной погоды. Лишь из точного диагноза может родиться надежный прогноз. Радио и телеграф разнесут его с Большевистской улицы Красной Пресни по всему миру.

...Только проанализировав карты прошедшей погоды, начинают синоптики «строить будущее». Они напоминают художников: рисуют, стирают, рисуют снова. Московским синоптикам, правда, легче, чем, например, лондонским или магаданским. Москва — в глубине обжитого материка. Метеостанции же рассыпаны по планете неравномерно. В пустынях, в горах и в особенности в океанах их совсем мало. Сколько упреков в свой адрес приходилось выслушивать синоптикам антарктической зимовки из-за того только, что слишком скудны были сведения о погоде ледового материка! Васюков с Бабкиным хорошо это помнят... Но не могли же они, ссылаясь на эту нехватку, отказать летчикам в прогнозе! И они рисковали лишний раз проглотить насмешку: а не надо ли вам кофейной гущи, эх вы, мол, не слушается вас атмосфера!.. Так врач не вправе отложить лечение больного, даже если шансы на успех невелики.

На долю необжитых мест приходится четыре пятых нашей планеты. Незаменимым помощником синоптиков оказывается вездесущая метеостанция — спутник.

И все же, как ни важна роль техники, едва ли устарели слова великого физика о том, что «из всех услуг, которые могут быть оказаны науке, введение новых идей является самой важной...».

4

«Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь свои воротники и шарфы:

— Просто удивительно, до чего холодно!

— Что ж тут удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцева моря.

— Вот спасибо. Как это они все тонко подмечают! А я, дурак, думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха...»

Это уже не из физиков цитата, а из сатириков. Из Ильфа и Петрова. Ничего нет легче, чем смеяться над синоптиками. Изо дня в день подставляют они свои головы публичному суду.

Да, холод «сваливается» на нас из Арктики, это точно. Синоптик Васюков, например, крепко прочувствовал все эти полярные центры действия и эти ультраполярные оси, подмеченные еще Мультановским: до Антарктиды он много лет проработал на северных аэродромах. Но почему происходят «обвалы» полярного холода? На этот вопрос синоптики затруднялись ответить. Так уж принято было считать, что кухня погоды расположена близ полюсов Земли — у ее холодильников...

Земная атмосфера, эта, по известному выражению, «машина планеты», находится между тем в непрестанном движении. Где же все-таки ее «мотор», потребляющий энергию Солнца, ее топка, ее котел? Неужели над полюсами? «Над экватором»,— подсказывает элементарная физика. Не отсюда ли раскручивается вся машина циркуляции атмосферы — приводные ремни пассатов, шестерни циклонов и антициклонов?!

У ученых появились резоны задуматься над этим, в особенности после того, как десяток лет назад были поколеблены представления об экваториальной атмосфере как о зоне постоянства, утомительного однообразия погоды. До тех пор в высокие слои воздуха над экватором удалось проникнуть считанное число раз. Казалось, там господствуют постоянные ветры — разные в разных районах. Западные «ветры Берсона» над Африкой (этот ученый открыл их полвека назад над Кенией), восточные «ветры Кракатау» (обнаруженные при извержении вулкана) над Индонезией. Лишь регулярные наблюдения в конце пятидесятых годов показали, что эти ветры господствуют над экваториальной зоной попеременно и сменяют друг друга в размеренном ритме, приблизительно через год. В числе первых заинтересовался этой надтропической «квазидвухлетней» (как бы двухлетней) цикличностью доктор географических наук А. Л. Кац, научный сотрудник Гидрометцентра.

В умеренных широтах давно подмечались двухлетние ритмы — помимо трех- и пятимесячных ритмов Мультановского. Отмечали их, например, еще в конце прошлого и начале нынешнего века русские ученые Воейков и Лесгафт. «Нельзя ли нащупать связь между отдаленными явлениями?» — вот какой идеей заболел исследователь.

Вскоре ему удалось обнаружить «квазидвухлетний» цикл и в стратосфере умеренных широт. Там зимой дуют западные, а летом восточные ветры. Смена же ветра, его весенняя

перестройка иногда происходит в марте, иногда в мае. Оказалось, это «иногда» не случайно и подчиняется квазидвухлетнему циклу (в тот год, когда над экватором западный ветер — перестройка ранняя, когда восточный — поздняя). От этого зависит не только таинственная перестройка стратосферного ветра, но и вполне ощутимая нами весна... Она, однако, поступает наоборот: при ранней перестройке запаздывает, при поздней — спешит... На возникшие тут «как», «почему», «каким образом» ученые пока еще ищут ответы.

Однако нащупанные связи позволили предложить новую схему глобальной циркуляции атмосферы, новый «чертеж» атмосферной машины. «Доводку» этого чертежа, проверку идеи, которая обещает важный успех советской метеорологической науки, ведут на просторах Мирового океана научные экспедиции под руководством профессоров Бугаева и Каца.

5

...Красный овал солнца закатился уже за «край» океана, и на какой-то миг на том месте, где оно только что было, появился зеленый кружок — луч, наведенный на вас, точно глаз светофора... Есть морская примета: зеленый луч — знак удачи. О человеке, искавшем его по всему белу свету, Жюль Верн даже написал роман, так и названный «Зеленый луч». Экспедиционный корабль «Академик Ширшов» повстречался с редким лучом в Атлантике, в начале маршрута.

Экспедиционный корабль — институт на плаву. Но, как ни хорошо оборудован он для занятий наукой, надо было в новой обстановке обвыкнуться, прикачаться.

«...Третий день плывем, уже почти чистое море, кое-где льдины,— записывала одна из участниц экспедиции.— Волнение чувствуется, тошнит. В перерывах между приступами строю зоны радиовидимости. Надо послать радиограмму домой, но состояние скверное, а обманывать не хочется.

...Сильно качает. В 8 час. вышла на работу, а делать что-либо из-за качки трудно. Хочется на землю, мы мало ее ценим...»

Мировой океан отличался от привычной Пресни... Это особенно ощутили в первой экспедиции (на «Профессоре Визе»): не успели выйти из Ленинграда, как застряли во льдах.

Капитан хотел вызывать ледокол на помощь. Удержал капитана фотоснимок, принятый с метеоспутника. На снимке

ясно просматривалась кромка льдов в Финском заливе — в каких-то десятках миль от корабля. И корабль услышал команду «вперед». Вероятно, это был первый случай в морской практике, когда курс кораблю указал спутник Земли...

В Атлантике штормило. Двенадцать баллов — сильное испытание не для одних новичков. «Облака буквально цеплялись за антенны, мокрая палуба ускользала из-под ног»,— вспоминают участники рейса. Но в положенный срок с кормы исправно улетали радиозонды, а через каждые сто двадцать миль — на всем пути от Гренландии до Антарктиды — трос с приборами уходил за борт в глубину...

Запустить радиозонд в шторм совсем не простая задача. Ветер, взвихриваясь за кораблем, подхватывал легкий шар и частенько швырял его в волны. Правда, шар, даже намокнув, взлетал и, если не разбивало приборы, делал свое дело. Но быстро обледенев, не мог высоко подняться. Удачный запуск оказывался ненамного полезней. На ветру шар быстро сносило, бортовой локатор терял его из виду. Тогда явилась необычная мысль: а что, если преследовать «беглеца»?! Корабль шел за ним на полном ходу, невзирая на бурю. Высота зондирования увеличилась вдвое...

Много было неожиданного в том рейсе. И сплошной лед в Финском заливе, и двенадцать баллов в Северной Атлантике, и небывало холодная в ней вода, и, напротив, чересчур теплая в тропиках, штиль в «ревущих сороковых» и бесследное исчезновение «конских широт»... Так когда-то называли матросы зону мертвого штиля у Азорских островов. В этих водах постоянно плавали конские трупы. Старые парусники из-за безветрия надолго здесь застревали и, застряв, выбрасывали за борт груз — лошадей. Метеорологи называют эту зону азорским антициклоном. Здесь один из центров действия атмосферы, наряду с полярными определяющий — по Мультановскому — погоду европейской России.

Впрочем, год 1969-й отличался «причудами» не только по пути экспедиции. Почти тридцатиградусные февральские морозы в Ташкенте и пыльные бури на юге Украины и на Кубани, необычные июльские холода и снегопады в Бразилии, засуха в Вашингтоне, сильнейшая за сотню лет, и августовские ливни вместо привычной в эту пору жары в Алжире — природа капризничала в планетном масштабе.

В том году стратосферой над экватором владели западные ветры, вызывая (в отличие от восточных) усиленное

движение воздуха в направлении меридианов. При этом ослабли пассатные ветры и «подгоняемые» ими теплые океанские течения. И вот результат: Северная Атлантика похолодала, сместив маршруты циклонов и антициклонов... Все это, в общем-то, укладывалось в «чертеж» атмосферной машины, составленный с учетом «квазидвухлетнего» цикла.

Через год надо было проверить «чертеж». Это сделали на «Академике Ширшове». Зеленый луч повстречался ему не зря: доброе предзнаменование оправдалось. Идея, над проверкой и уточнением которой работала экспедиция,— вот что оказалось для нее настоящим зеленым лучом. Любое дело: запуск ли радиозонда, промер ли воды в океане,— выполнялось не само по себе, а с точным прицелом: подтвердит идею или отвергнет, принесет ей плюс или минус, скажет «да» или «нет». Появился в работе азарт, увлеченность, и никто не жаловался на жизнь, добираясь до койки к полночи.

«...Монтаж закончили к 11 час. вечера,— записывала участница экспедиции.— С привязкой не ладится. Целыми днями в лаборатории, изредка на 10 мин. выбегаем постоять на палубе. Океан очень красив...»

Как и ожидали ученые, прошлогодние «причуды» океана исчезли. Вне тропиков океан потеплел, а в тропиках стал холоднее. Природа возвратилась к обычной норме.

Уже составлены — на пробу — первые сверхдолгосрочные прогнозы по новому «чертежу». На стол дежурного прогнозиста они, правда, пока не попали. Нужны еще долгие исследования и проверки.

Перед дежурным синоптиком лежит другой — в прошлом пробный — прогноз. Предвычисленный по Блиновой. С ним обязательно сверит свой синоптический —по Мультановскому— прогноз дежурный по декабрю Васюков.

6

В Антарктиду с Васюковым в одной каюте плыл эстонский писатель Юхан Смуул. В известной «Ледовой книге» есть такой разговор между ними:

«— Вот ты, Юрьевич,— говорит Васюков,— не любишь высшую математику. И в плохую погоду поносишь метеорологию. А ведь только в науке и есть настоящая поэзия. Знаешь, кто величайший поэт двадцатого века?

— Так сразу не скажешь.

— Альберт Эйнштейн...»

Если суждение Васюкова приложить к метеорологии, в числе ее лучших поэтов оказались бы математики Блинова и Кибель. Они никогда не были в Антарктиде и ни разу не пересекали экватор. Они в своей стихии за письменным столом. Но рожденная под кончиком пера на бумаге стихия математических уравнений отражает жизнь природной стихии и на экваторе, и у полюса, и здесь, на 55-м градусе северной широты и 37-м градусе восточной долготы, где из окон рабочих кабинетов открывается вид на Красную Пресню.

Впрочем, математик, который в двадцатых годах первым решился предвычислить завтрашнюю погоду, потратил на вычисления год. А когда сравнил свой прогноз с действительной, к тому времени уже прошлогодней, погодой, вполне мог бы воскликнуть вслед за академиком Крыловым: «Желал бы я вам быть в этот штиль в этом месте!..» Отражение в математическом зеркале поначалу получалось кривым. Отчасти выправить «зеркало» удалось лишь почти через двадцать лет молодому ученику академика Кочина.

Спросите метеоролога: отчего переменчива погода? Он ответит: непосредственная причина — движение воздуха. Потеряй воздух способность двигаться, само понятие «погода» начисто лишилось бы смысла. Если уж браться за физическую задачу об изменении погоды, то для этого надо решать математические уравнения, описывающие движения воздуха. А движений этих несметное множество и разнообразие: от атмосферных вихрей — циклонов на тысячекилометровых пространствах до дуновений ветерка в холодке в жаркий день или даже при взмахе платочком. Систему уравнений, которая бы все это вместила, решить немыслимо, скажет жрец чистой математики. И будет прав.

Хотите знать, что такое на языке математики ветер? Это двумерный вектор, проекция трехмерного вектора скорости движения воздуха на горизонтальную плоскость... Как перевести на такой язык сложнейшие природные процессы?

Студенты-физики поют песню:

Полюшко-поле, дважды квантованное поле,
Нет теории единой, есть лишь только куча приближений...

Применив методы гидродинамики — науки о движении жидкости — к задачам метеорологии, молодой тогда математик Кибель (и в этом заключалась «безумность» идеи) отважился опереться на, казалось бы, зыбкий фундамент — на

«кучу приближений», упрощений, осреднений, огрублений. Но он сумел выделить главное из атмосферного «хаоса» и смело исключил, или, еще говорят, отфильтровал, мелкомасштабные процессы (не только дуновение при взмахе платочком, но и те, что захватывают по нескольку километров, к примеру грозы); пренебрег трением между слоями воздуха и их нагреванием; рискнул подняться подальше от неровной земной поверхности в тропосферу, представил ее как бы заключенной между гладкими стенками... И только все эти (и еще многие) «квази» позволили ученому осилить задачу... осилить в принципе.

Чтобы осилить ее не в принципе, а на деле, надо было еще справиться с огромнейшим количеством вычислений. И справиться быстро: прогноз погоды на завтра не то что через год, даже завтра к вечеру уже ни к чему. Спасение пришло со стороны. Создатели первых электронных вычислительных машин с интересом стали практиковаться именно на метеорологических задачах. Интерес получился взаимным: гидродинамическая метеорология оказалась областью, которая словно ждала появления «думающих» машин, была готова к нему.

Разумеется, это была относительная готовность. Метеорология опередила многие науки, но это не избавило ее от трудностей. Приспособиться к машинам и приспособить машины оказалось не просто. Поначалу машинный счет хоть и не отставал от погоды, но и не обгонял ее. Прогноз на сутки вычислялся в двадцать четыре приема, час за часом. Такой «шаговый» способ давал выигрыш в точности предсказаний, но в то же время неимоверно возрастал объем вычислений. Когда же появились быстродействующие — намного быстрее действующие — машины и время счета сократилось до минут, ученые столкнулись с нехваткой машинной памяти... Но так или иначе, численный прогноз по схеме Белоусова (ученика и давнего сотрудника Кибеля) уже много лет используется при составлении суточных предсказаний погоды.

А самому Белоусову на всю жизнь запомнился первый оперативный прогноз — его вычислили к 1 мая, вычислили задолго до появления его, Белоусова, схемы.

...Не только схемы, даже своих вычислительных машин у метеорологов тогда еще не было, и накануне, схватив на Пресне такси, Белоусов со всеми расчетами и программой для машины мчался через весь город к ее владельцам...

7

В те годы, когда вычислительных машин еще не было, а ученые в поисках «ручных» средств для быстрого решения «уравнений погоды» возводили новую систему приближений, естественно было подумать о задачах, которые не требовали такой спешки. На вычисление долгосрочных прогнозов вроде бы имелось довольно времени. Зато вставали свои проблемы. Преодолев время, не мудрено было спасовать перед пространством... Екатерина Никитична Блинова, аспирантка Ильи Афанасьевича Кибеля, его соратник и единомышленник, первой из математиков попыталась охватить связанные с погодой явления в масштабах планеты.

Она пришла к этим планетным масштабам дорогой не простой и не торной, начало которой — в кубанской станице. С малых лет помнила, как отец с матерью тревожно всматривались в небо: пошлет бог дождичка или нет... Не случайно пришла к профессии, ставшей делом всей жизни! Но, настойчиво размышляя о явлениях планетных масштабов, не утратила и обычных человеческих мерок. Много лет член-корреспондент Академии наук СССР Блинова была в Моссовете посланцем Красной Пресни и главное в депутатской работе формулирует математически четко: помогала людям.

...Отталкиваясь от работ академика Кочина, Блинова занялась расчетами по теории климата. Климат какой-то местности, вполне определенный, складывается из ее погоды, какой бы изменчивой она ни была. В Туркмении всегда теплее и суше, чем в Прибалтике, Магадан, как известно, не Сочи. Климат складывается из погоды, а погода, в свою очередь, зависит от климата. Это как бы стержень, вокруг которого она резвится, ось ее колебаний. Расчеты по теории климата послужили некоей тренировкой перед тем, как взяться за более трудную задачу — за погоду.

Схема численного долгосрочного прогноза сложилась у Блиновой при тусклом свете коптилки, в эвакуации, на Урале, в суровом 1943 году. Первые сосчитанные по этой схеме прогнозы оставляли желать лучшего, несмотря на то что никто не требовал от них детальности суточных предсказаний. Ведь и у синоптиков долгосрочный прогноз куда неопределеннее краткосрочного. Да не только у синоптиков. Простой здравый смысл издавна с этим свыкся. Когда каждый из нас пытается распорядиться своим временем, то неделю представляет себе куда туманнее, чем завтрашний день.

...Уравнения Блиновой, хоть и были выведены с классической, на взгляд специалистов, четкостью (это вообще ее стиль), подобно уравнениям Кибеля, опирались на многие «квази». Скульптор едва ли добьется сходства портрета с оригиналом, пользуясь в качестве инструмента топором. Линейная теория описывала нелинейные процессы. Полтора десятка лет ушло на совершенствование «инструмента», пока численный прогноз по схеме Блиновой превратился в подспорье дежурному синоптику-прогнозисту.

...В тот год, когда ученые одержали наконец эту победу, синоптик Константин Васюков зимовал в Антарктиде. Но в совершенствовании численного прогноза был и его скромный вклад. Над улучшением уравнений погоды бились, понятно, математики. Однако синоптикам не пришлось остаться от этого в стороне. Стандартные метеосводки не во всем удовлетворяли математиков. К примеру, не хватало сведений о ветре на высоте. Получить их было не просто. Локаторов тогда еще не было. За полетом радиозонда следили в теодолит. Нетрудно было рассмотреть ветер на высоте в ясную погоду. В облаках зонд быстро терялся из виду. Васюков (это стало его кандидатской диссертацией) нашел связь между ветром на высоте и внизу, у земли, связь, зависящую от температуры воздуха, о которой зонд исправно радировал в любую погоду.

8

Юхан Смуул в «Ледовой книге» писал:

«В доме, где разместилась метеорологическая служба, управляемая Виктором Антоновичем Бугаевым... раздаются довольно странные вопросы.

Бугаев спрашивает у Васюкова:

— Куда вы погоните этот циклон?

И Васюков, смерив по карте продвижение циклона, отвечает... таким тоном, будто циклон — это ездовая собака:

— На материк...»

Третья антарктическая экспедиция — в ней участвовали Васюков и Смуул — последней привезла с собой в Антарктиду собачьи упряжки. Четвертая экспедиция от них отказалась. Легендарный транспорт Амундсена и Седова проиграл соревнование с вездеходами и тракторами. Водители вытеснили каюров окончательно и бесповоротно.

Не эту ли участь готовят «каюрам» циклонов «водители» вычислительных машин? Несмотря на явные успехи динамической — вычислительной — метеорологии, для синоптика численные прогнозы пока еще только подспорье. Но мало кто сомневается в их будущем. От прогнозов в осредненной атмосфере математики возвратились на уровень моря. От линейных численных ее моделей постепенно стали переходить к более точным (и сложным) нелинейным моделям. От пренебрежения обменом тепла и влаги — к его учету. От множества приближений — к лозунгу «Долой «квази»!»

«Куча приближений» сделала свое дело. На этой опоре математики-метеорологи, а точнее, специалисты по динамической метеорологии, всесторонне испытали уравнения погоды, узнали сильные и слабые их стороны, научились с ними обращаться. Однако со временем введенные в них упрощения превратились из палочки-выручалочки в тормоз, в причину ошибок и искажений. Настала пора отказаться от «квази». В новых моделях Кибеля, Блиновой и их учеников прежние ограничения постепенно отбрасываются.

Прогнозы становятся подробнее, все более мелкомасштабнее, местные явления погоды удается предсказывать, и в то же время делаются понятнее явления планетного масштаба. Уравнения погоды все усложняются, зато определяемое ими поведение численной стихии все точнее копирует поведение стихии природной.

Насколько правдоподобной получается вычисленная картина, можно судить, например, по тому, что расчетным путем удалось «получить» центры действия атмосферы в тех самых местах земного шара, где они существуют в действительности: полярный максимум, исландскую депрессию, азорские «конские широты»...

В математическом зеркале атмосфера узнается с каждым годом вернее.

Многие «каюры» циклонов — не один Васюков — приложили к этому руку. И результаты морских экспедиций на «Академике Ширшове» и «Профессоре Визе», нет сомнений, сослужат математикам службу. Гигантская совместная работа по проекту ПИГАП — Программы исследований глобальных атмосферных процессов, к которой готовятся метеорологи всего мира, задумана в первую очередь для того, чтобы добыть данные, необходимые для численных экспериментов.

Исследователи атмосферы лишены возможности поставить в масштабе планеты натурный опыт. Сбить на деле

циклон с пути и посмотреть, что из этого выйдет,— свыше сил «каюра» циклонов. Со стихией, бушующей в недрах вычислительных машин, управиться много проще.

...Меняя различные параметры, различные члены в исходных уравнениях, можно выяснить, как это скажется на результатах, и определить таким образом «чувствительность» модели — а стало быть, и самой природы — к различным факторам, ее реакцию на их изменения. А это помогает понять, как влияет то или иное событие в природе на протекание атмосферных процессов и, стало быть, на будущую погоду.

Отсюда (ведь климат — совокупность погод) Екатерине Никитичне Блиновой видится мост к одной из величайших научных проблем — искусственному изменению климата. Подступиться к этой проблеме она рассчитывает, предварительно поэкспериментировав на машинах с климатом далекого прошлого — эпох великих оледенений и потеплений... Овладев подобными математическими схемами, можно будет приступить к задачам будущего. Перегородить, скажем (мысленно), плотиной Берингов пролив и предвычислить, как это отразится на климате Земли!..

9

Представляю себе, как морозным ветреным вечером выходят после работы из Гидрометцентра коллеги Бабкин и Васюков. О чем думает, выйдя на улицу, «дежурный по декабрю»? Идет погода по прогнозу или не идет. В зависимости от этого его, по определению Смуула, лицо крестьянина светлеет или мрачнеет.

В будничной толчее Пресни Бабкин не без труда поспевает за широко шагающим кряжистым Васюковым. Вырываясь из-за высоких домов, колючий ветер режет лица, затевает перепляс снежинок на освещенных экранах витрин. В Антарктиде в такую погоду шапки снимали — считалась штилем.

Со стороны не увидишь, что связало этих двух непохожих друг на друга людей.

...Как всегда в Антарктиде, пурга началась внезапно. Один из зимовщиков не вернулся домой. Тревога! На поиски Бабкин отправился в паре с Васюковым. Ледяною крупою секло лицо, как из пескоструйного аппарата. Чтобы не сбило с ног ветром, сухонькому, легкому Бабкину приходилось крепко

держаться за рукав друга. В какой-то момент его все-таки оттащило в сторону и швырнуло в глубокую снежную воронку. Кричи не кричи, никто не услышит. Каким-то образом Васюков заметил, точнее — почувствовал, исчезновение друга. И вытащил его из воронки.

В другой раз над Мирным стоял полный штиль, по-весеннему пригревало солнышко, когда в километре от поселка со стороны материка поднялась стена тумана и заискрилась в солнечном свете. Явление показалось настолько необычным, что «метеорологическая наука» бросилась к вездеходу — посмотреть вблизи, что за чудо. На поверку туман оказался стеной снежной пыли: ее поднимало с земли и крутило, но поняли это поздно, заехав в снежную круговерть и потеряв ориентировку. Не один час прошел, пока выбрались. А поехали кто в чем был, налегке. Только Бабкин, помня закон Антарктиды: «Выходишь из дома — бери запас на неделю»,— кинул в кабину шубу. Его спутники Васюков и начальник метеоотряда Бугаев (нынешний директор Гидрометцентра) эту бабкинскую шубу едва ли забудут.

— В Москве человека за всю жизнь так не узнаешь, как в Антарктиде за год.— В подтверждение Васюков проводит математическую параллель: — Чтобы проявил себя закон больших чисел, нужно тысячу раз подбрасывать монету. Или вместо этого разом подбросить тысячу монет...

Именно это предлагает тебе зимовка: не растягивая, не откладывая, тысячу задач, тысячу испытаний сразу, чтобы, выверенный по закону больших чисел, без проволочек получился ответ, а что ты за человек. Вот к чему параллель синоптика Васюкова из высокоценимой им математики.

10

Наука лишь тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться математикой. Так считал Маркс. В сущности, наука об атмосфере повторяет путь многих наук. Так на груде опытных фактов пустили корни теория относительности и квантовая механика, так от проб и ошибок случайных соединений к заранее рассчитанному ходу реакций пришла химия. На наших глазах происходит математизация таких традиционно описательных наук, как биология, геология...

Пускай для синоптика численные прогнозы пока еще не более чем подспорье. Но мало кто сомневается в их будущем. Так растят ребенка в семье, сердито мучаясь с его двойками

и с его завихрениями, но не отступаются, ставят на ноги, хоть и знают: наступит день, когда он проводит «предков» на пенсию.

Жаль, конечно, что вместе с «каюрами» циклонов уйдет в прошлое их романтика, провожать ее будет грустно. Но на смену этой, ушедшей, неизбежно заступит новая: никогда не иссякнут «белые пятна» на карте науки.

— Диалектика развития,— убежденно говорит Васюков.

...Он, «дежурный по декабрю», очень, очень спешит домой. Жена недовольна: со своим дежурством муж вроде как в экспедиции. День и ночь только мысли что о работе. По полгода в году словно нет его дома.

Валерия ПЕРУАНСКАЯ

Учитель

В десятом классе идет урок физики. Обычный урок перед концом четверти. Я сижу за самым последним, в крайнем ряду, столом, передо мной ребячьи затылки, девчоночьи головки — с косичками, или распущенными по плечам волосами, или с задорными «лошадиными хвостиками». В профиль я вижу и лица — то смеющиеся, то сосредоточенные, то немного растерянные.

Учитель физики Борис Васильевич Воздвиженский рассказывает классу о рентгеновских лучах. О том, как Рентген открыл эти лучи, как не мог потом сам определить природу своего открытия и как это сделали после его смерти другие. Рассказывает о свойствах этих лучей, об их практическом применении. Речь свою он ведет неторопливо, по ходу дела чертит и пишет на доске, а класс — нет, класс не просто, как подобало бы, внимательно слушает, а, вовлеченный в поиски Рентгена, как бы размышляет вместе с ним: а почему с этими лучами произошло то и не произошло этого? А что было бы, если бы?.. Класс следит за исследовательской мыслью ученого и, вооруженный позднейшими — после Рентгена — открытиями XX века, довольно легко находит ответы на вопросы, которые не под силу было решить ученому.

Сорок пять минут ребята жили напряженной, сосредоточенной жизнью. Тянулись вверх руки. Быстрые, четкие ответы; кто-то ошибся, другой поправил. Если что-то показалось смешным — улыбается учитель, смеются ребята, и снова за дело, снова негромкий, привыкший к вниманию голос Бориса Васильевича, чуть-чуть по-волжски окающий. И очень часто повторяющееся слово «интересно». «Интересно вот что»,— говорит он. И, действительно, все, что за этим следует, интересно. Даже мне, у которой с физикой всегда были весьма натянутые отношения. Сорок пять минут пробегают незаметно — я тоже вовлеклась в процесс думания, исследования, хотя, в отличие от ребят, не могла бы дать ответа и на половину тех вопросов, что задавались им. Вопросы были

не на отметку, однако имели очевидную цель проверить, насколько закрепился пройденный раньше материал, умеют ли учащиеся сопоставить его с новым, применить к новому.

После переменки в кабинет физики пришли девятиклассники. Двое вызваны к доске решать задачки, третий отвечает теорию, весь класс при этом участвует в работе. Мальчик чертит на доске график, но не может ответить, по какому закону пошла кривая, кто-то подсказывает, он повторяет, чистосердечно уточнив: «Мне подсказали».

И опять тянутся вверх руки, беглые вопросы учителя и, я бы сказала, охотные, даже с элементом соревнования, ответы. Иногда смех, иногда шумок — они угасают сами собой, без окрика, даже голоса учитель не повышает.

Простая, рабочая обстановка. Налаженные контакты. Никакой строгости. Однако и я уже знаю, и ученики знают, и родители учеников знают: требовательность Бориса Васильевича бескомпромиссна. Его тройка — это уж твердая тройка, его пятерка имеет полный вес.

— На меня одно время сетовали родители,— рассказывает Борис Васильевич,— дескать, строг излишне Воздвиженский, двойки ставит. Даже жалобы писали. А я считал себя правым, и коллектив родной школы считал меня правым, и не отступил я от своих требований ни на йоту.

А ученики спустя годы будут ему писать: «Помню, как мы страшно Вас боялись и плакали из-за двоек и троек. Зато в институтах вспоминали о Вас с большой благодарностью».

Что ж, истина старая: строгого учителя частенько оценивают по достоинству с некоторым опозданием. Но рано или поздно оценивают.

А как же быть с отстающими, с теми, кто на тройку не тянут? Таких, что не потянут на твердую тройку, у Бориса Васильевича нет. Он останется после уроков, он снова и снова объяснит, не теряя терпения. И своего добьется.

...Тусклый, расплывшийся мартовский день. Серый ноздреватый снег растекается лужами, бежит ручейками по асфальту улиц. С крыш уже не капель, а частый холодный дождь.

Я выхожу за ограду школы на Большой Бронной улице. Рядом Никитские ворота, бывшие Малая и Большая Никитские улицы, идущие к Пресне,— район баррикадных боев 1905 и 1917 годов. Так случилось, что с этими местами, с этими улицами накрепко связалась жизнь Бориса Васильевича

Воздвиженского, заслуженного учителя республики, Героя Социалистического Труда.

Сюда совсем еще молодым человеком на улицу Красная Пресня, дом номер 36, приехал он к сестре из Зауралья, поступать в педагогический институт. Отсюда 7 июля 1941 года уходил в народное ополчение. Сюда вернулся после войны — в 124-ю школу Краснопресненского района, где уже двадцать пять лет учит детей.

Известно, что человек принадлежит своему времени. Себе человек принадлежит лишь постольку, поскольку в пределах этого времени и в соответствии с его тенденциями он сам выбирает себе жизненный путь. Одно время делает человека строителем Магнитки, другое — солдатом, третье уносит в космос.

Для семнадцатилетнего выпускника школы-девятилетки в городе Галиче Костромской губернии Бориса Воздвиженского выбор в 1929 году не составлял большого труда: начинались стройки первой пятилетки, и он вместе с товарищем сел в поезд и поехал на Урал, в Свердловск. Осуществлять индустриализацию страны. Имея перед собой в виду задачу номер один. Однако, когда по прибытии на место юноши явились к местному начальству, выяснилось, что у времени есть другая, не менее актуальная задача: просвещение. Кроме строителей стране нужны были учителя. Образованные люди. А девятилетка в Галиче, по случайности, имела педагогический уклон.

Так Борис Воздвиженский вместо строительного котлована попал в школу. В начальную школу в деревне с забавным названием Пиджаки, что в Ярковском районе Тюменской области. Он стал в ней одним во всех лицах: учителем, директором, завхозом.

Школа располагалась в двухэтажном доме, на втором этаже. Внизу жили хозяева и «на харчах» у них молодой учитель. В школе было три класса и одно помещение на всех. Самые маленькие рисовали палочки, те, что постарше, учили таблицу умножения, в то время как третьи читали вслух стихи Пушкина и Некрасова. Интересы не пересекались, коэффициент полезного действия учительских усилий в таких условиях был невысок. Борис Николаевич преодолел этот хаос. Как часто бывает, способ был прост, он не потребовал ни дополнительных кадров, ни строительства новой школы. Но ведь и самые простые решения приходят, когда их ищут, когда заботятся о том, чтобы дело делалось лучше.

Три класса были разделены — территориально, в пределах единственной комнаты, и организационно — учителем. Третий класс получал самостоятельное задание и сидел тихо, шелестя страницами учебников и шевеля губами, а занятия в это время проводились с первыми двумя. Потом самостоятельные задания получали малыши, а учитель переходил к старшим. Через некоторое время первые два класса отпускались домой, третий оставался еще на один урок, на котором уже без всяких помех и отвлечений можно было заняться самым ответственным и трудным. А после занятий в школе собирались все опять: готовил постановки драмкружок; ребятишки тащили собранный по деревне утиль; все вместе украшали скромные бревенчатые стены наглядными пособиями, которые мастерили под руководством учителя.

Об этом времени Борис Васильевич говорит:

— Мне понравилось. У меня получалось.

Понравилось учить ребят. Получалось их учить. Получается тогда, когда интересно, увлекательно обеим сторонам. Получается тогда, когда человек становится учителем по зову, по склонности своей души.

Так время и выбор определили судьбу Бориса Васильевича Воздвиженского.

Кроме малых ребят, которых надо было обучать письму и счету, требовало внимания и взрослое население деревни Пиджаки, в массе своей неграмотное. Борис Васильевич организовал кружки ликбеза. Устроил избу-читальню. Учил, как говорится, и старого и малого, всю свою энергию, увлеченность, время отдавая скромному и великому делу просветительства. Не думая о больших городах и электрическом сиянии улиц, но думая, однако, о другом: о продолжении образования, о совершенствовании знаний. Выписал из Ленинграда учебники — стал готовиться к поступлению в педагогический институт, изучил немецкий язык. Размышлял. Много читал. Искал — рядом не было старших, более опытных и знающих, у кого можно было бы перенять приемы, методику.

Так прошел год, а в конце его приехал из области в деревенскую школу с проверкой инспектор Степан Васильевич Чемагин. Поглядел, послушал, и все это ему очень понравилось: школа, учитель, его скромные нововведения, образованность и чистая, честная преданность делу. Вскоре в журнале «Народное образование» С. В. Чемагин опубликовал статью, в которой рассказывал об опыте восемнадцатилетнего

учителя. Дивиться этому нет нужды: в те годы почти еще не было новых, советских учителей. Те, что достались от старого времени деревне, по большей части были малообразованны; к тому же сплошь и рядом под влиянием разных причин учительство стало для них делом второстепенным, а первостепенным было хозяйство, с которым они срастались всеми корнями. На таком фоне особенно значительной и примечательной была деятельность молодого учителя. Школа в Пиджаках считалась образцовой.

Вскоре его выдвинули на должность инспектора роно. Кстати сказать, это было его единственное и последнее продвижение по административной лестнице. Не потому, разумеется, что не выдвигали, не предлагали должностей в системе народного образования. А единственно потому, что сам он раз и навсегда выбрал себе должность по сердцу — должность учителя.

А тогда работал инспектором, весной и осенью месил сапогами грязь, промерзал до костей в зимнюю стужу, но неустанно ходил и ездил по деревням, из школы в школу — проверял, учил, делился небольшим собственным опытом. А в положенное время ездил в Пермь сдавать экзамены на физико-математическом факультете пединститута, куда поступил на заочное отделение.

Минуло с той поры более тридцати лет, когда однажды пришло к нему в Москву письмо. «Борис Васильевич, здравствуйте! Я ваш бывший ученик,— писал Леонид Иванович Конышев,— и прекрасно помню все хорошее, что Вы дали мне и всем нам, Вашим ученикам. Вспомните 1930 год, деревня Пиджаки... Я часто вспоминаю, как мне иногда приходилось заменять Вас на уроках, когда Вы уезжали в район, я очень гордился, что Вы доверяете мне такое важное дело, и старался быть похожим на Вас. Сейчас я главный инженер проектного института. Мне 42 года, почему-то наполовину стал седой. А Вас, Борис Васильевич, никогда не забуду... Спасибо и еще раз спасибо Вам, учителю».

Когда Борис Васильевич рассказывает о тех далеких годах, глаза его улыбаются, будто переглядывается он с прошлым: вот, брат, какое ты ни далекое, а с тебя началось — и хорошо началось, и правильно пошло, теперь одно удовольствие тебя вспоминать, потому что про то, какое ты было скудное, неустроенное, холодное, на расстоянии думается уже легко, а вот о первых радостях труда, о самых первых учениках, которые уж тоже поседели, обо всем, что, в сущ-

ности, определило жизнь,— как не вспомнить с благодарностью!..

На минутку наш разговор прервался — пришел сын, шестиклассник Витя. Пришел со стадиона, с занятий по самбо. Поздоровался, ушел в другую комнату с книгой. Они сейчас остались вдвоем — двое мужчин в доме. Женщины в отъезде. Жена, инженер-проектировщик, в командировке, дочка Таня защитила диплом в менделеевском институте, получила отпуск, поехала поглядеть Таллин. От того, что отсутствует половина семьи, просторная квартира кажется немного пустоватой. Никто не хлопочет на кухне, не слышно шагов, голосов за дверью, за стенкой.

Вещи, которые окружают человека, могут много о нем рассказать. Они расскажут о его скромности или о его тщеславии, о суетности или основательности, трудолюбии или лености. Даже об уме и глупости могут рассказать вещи.

В этой квартире вещи тоже говорят. Лестно отзываются о хозяевах. Ничего лишнего — может быть, самим обитателям чего-то и не хватает, но лишнего нет. Только то, что необходимо для удобной жизни, отдыха, работы. Каждая вещь на месте, легко отыскивается. Ничего броского — вещи для людей, а не наоборот, как нынче нередко можно встретить. Опрятность — не то, что называется «вылизано», а именно естественная, привычная опрятность, не для гостей или авралов по субботам.

В общем, в этом доме лично мне нравится. И у меня нет никаких сомнений, что вещи не обманывают: люди здесь живут простые, работящие, интеллигентные. И опять я слышу то же самое слово: «интересно». Оказывается, интересная работа у жены, проектирующей предприятия пищевой промышленности для нашей страны и некоторых зарубежных; интересная специальность у Тани, которая уже получила назначение в научно-исследовательский институт. Ну а что касается Вити, то ему сейчас многое интересно: и смастерить с помощью отца прибор для кабинета физики своей школы, и овладеть приемами самбо, и каждая новая книга для него — открытие мира. А между прочим, это в первую очередь зависит от человека, интересно или неинтересно ему жить на свете. Вот этим людям — интересно. Наверное, не всегда им легко, не всегда все складывается, как надо бы и хотелось. Они тоже устают, и нервничают, и огорчаются. Но не секрет, что когда люди живут интересно, то и огорчения переносятся легче, и усталость приятней, а в семье — дружба да лад.

Ни о чем таком мы с Борисом Васильевичем не говорим. Мы говорим о жизни, о школе, о фронтовой дружбе («Это ведь не красное словцо, фронтовая дружба,— замечает Борис Васильевич,— в ней очень все... порядочно»), о новом учебнике физики, который еще не вполне удался уважаемому академику, книгу надо совершенствовать, и в этой работе принимают участие учителя-практики, в том числе Борис Васильевич: он, к слову сказать, член программной комиссии при Академии педагогических наук и Академии наук СССР. Еще мы рассуждаем о том, что признание, почести — это приятно и радостно, но ведь и хлопотно, и ко многому обязывает...

Вспоминает об «издержках славы». Приехали в школу работники то ли кинохроники, то ли телевидения снимать сюжет — ребята поздравляют учителя с присвоением ему звания Героя Социалистического Труда. Все поначалу шло хорошо, естественно: сияющие мальчишки и девчонки, букеты цветов, общий праздник. Но что-то у режиссера не получилось или не понравилось ему: цветы перешли обратно из рук учителя ребятам. Все уже пошло не натурально и, прямо скажем, тягостно.

— Если откровенно,— признается Борис Васильевич,— я не люблю разных чествований. Как-то неловко. Вот когда дома — жена, Таня, Витя, вот это я люблю.— И опять засветились глаза. То, о чем не говорили, о чем лишь мелькнула догадка, сказано. Не обмануло ощущение простоты, естественности, ладности в семье.

Вообще меня не покидает это ощущение естественности. Говорят, что одному журналисту из какой-то газеты никак не давалась статья о Борисе Васильевиче. Жаловался: как-то очень прост, нет артистизма. Зачем-то ему понадобился для корреспонденции артистизм.

Но об этом я скажу после.

Сейчас я размышляю о другом. Человек в своем труде, в жизни многого достиг — Золотая Звезда Героя Социалистического Труда, высшая награда мирного времени, признание, признательность. Как он к этому шел?.. Ответ единственно возможный: к этому он не шел никак. Просто работал. Отдавал любимому делу жар души. Любил детей, любил науку физику, старался, чтобы ее полюбили ученики. Умел это сделать. Не отставал от науки и думал о педагогике, стремился сеять разумное, доброе. Конечно, ему помогал талант. В общем, труд и талант.

После уроков, на которых я была, мне подумалось, что ничего уж такого, дотоле невиданного, я не увидела. Нет слов, уроки были хороши. Безусловно, хороших, а тем более первоклассных учителей не на каждом шагу встретишь. Но их, хороших, превосходных учителей, не так уж и мало.

И я, и любой человек, несомненно, сможет назвать имя учителя, и не одного, который навсегда вошел в жизнь. У меня, например, было, по меньшей мере, таких двое. Учитель литературы Владимир Иванович Маштаков, в московской школе, и Роза Абрамовна Каменецкая, математичка, у нее я училась до девятого класса в Ленинграде. Он — видный мужчина, немножко франт, но вот уж кому не занимать стать было артистизма!.. Как он читал Маяковского, Блока!.. А ее, маленькую, полненькую, с сединой в черных кудрявых волосах, даже самые верзилы за глаза ласково звали Розочкой и соревновались, кто лучше, красивей решит трудную задачу. На их уроках приходилось шевелить мозгами, на их уроках всегда было увлекательно, серьезно, весело. Вместе с ними в класс входил новый мир — понятий, знаний, чувств. А уж требовательны были!.. Другие учителя забылись или помнятся смутно, а эти — ни того, ни другого нет в живых — оставили зарубку в сердцах, кем бы мы ни стали — инженерами, литераторами, летчиками...

Вот Борис Васильевич — один из таких учителей. Может быть, еще талантливее, еще вдумчивее. Недаром к нему на уроки ходят методисты — изучать его опыт, чтобы передать другим; учителя приходят — поучиться, посмотреть, как он достигает «больших успехов в обучении и воспитании учащихся», как сказано в указе о награждении.

А успех, признание пришли сами по себе. За ними не гнались, их не искали. Тем более заслуженно это признание.

Из Зауралья в Москву Борис Васильевич приехал в 1932 году. Профессию для себя уже твердо определил, знал, чего хочет. Значит, надо было серьезно учиться.

В Москве на Красной Пресне жила сестра, тоже учительница. Снимала комнату. Временно поселился у нее. Поступил в педагогический институт имени Потемкина, на вечернее отделение, на второй курс. На вечернее потому, что надо было зарабатывать на жизнь. Роно направило его в ФЗС № 23 Краснопресненского района (ФЗС — это фабрично-заводская семилетка, так в те годы именовались неполные средние школы, ни к фабрикам, ни к заводам не имевшие, впрочем, сколько-нибудь серьезного отношения) учителем

физики и математики в пятых — седьмых классах. Школа находилась в Серебряном бору, позже рядом с ней построили новую школу-десятилетку. Борис Васильевич к тому времени весьма успешно окончил институт и перешел преподавать в старшие классы. Там и работал до самой войны.

Вот еще одно письмо (а их у него великое множество, особенно увеличился поток в связи с награждением, когда из газет о нем узнали ученики всех выпусков, в разных концах страны и даже за рубежом).

«Уважаемый Борис Васильевич! Я Вас часто вспоминаю и хотела бы быть на Вас похожей. Ведь я стала учительницей физики. Преподаю физику уже двадцатый год в томилинской школе № 14. Пятый год являюсь секретарем партийной организации. Награждена грамотой Министерства просвещения РСФСР. В том, что я стала уважаемым человеком, есть и Ваша заслуга. Я даже сейчас хорошо Вас помню, хотя училась у Вас с 1935 по 1938 год, еще в Серебряном бору. У меня даже сохранилась тетрадь по физике... Огромное спасибо Вам за все, что Вы сделали для меня...»

Примечательно совпадение в обоих письмах. Не только память и благодарность. Его бывшие ученики очень хотели бы быть похожими на своего учителя. Это дорого стоит.

Ребята часто награждают учителей прозвищами. В Томилинской школе молодого физика учащиеся между собой звали Боря-Вася. Не прозвище, конечно, а упрощение имени-отчества, и в этом упрощении так явственно слышится теплота ребячьих сердец.

...И был еще один выпускной вечер. Танцы, цветы, сердечные признания Боре-Васе, музыка, шутки... До утра прогулка по Москве в тесном кольце усталых, счастливых ребят. Когда дорога — вот она, вся перед тобой. Когда все еще можно совершить, все еще может сбыться. День счастливый, но и немного грустный для всех — и для выпускников, и для их учителей, потому что как ни говори, а расставанье...

Выпускной вечер сорок первого года. Когда для одних не сбылось ничего. Для многих — с большим опозданием.

Борис Васильевич вступил в народное ополчение. Рвался на фронт. Но сначала пришлось пройти обучение в истребительном батальоне и снова ждать.

Боевое крещение старшина технической службы Б. В. Воздвиженский получил позже, уже в декабре, под Холмецом Калининской области, в составе 5-й стрелковой дивизии. Потом Ржев, Прибалтика, Польша, Германия. Бои, на-

грады, ранения. Обычный путь солдата. Из трех учителей, ушедших из школы вместе с ним в ополчение, вернулся после войны домой он один. Пощадила его пуля.

В конце 1945 года демобилизовался — прошел войну в офицерской должности, но не в офицерском звании: опять не в звании было для него дело; воевал, а думал о возвращении в школу, звание могло и помешать, задержать в армии.

По приезде в 1946 году в Москву получил направление в специальную школу ВВС. Но скоро потянуло обратно в обычную, не специальную школу. Перешел — в эту самую, 124-ю, в которой работает и поныне. Каждый день входит все в тот же физический кабинет, уставленный шкафами с аппаратурой, приборами, и начинает урок.

Он высказал мысль, что постоянство, приверженность к одному и тому же месту работы помогают человеку с особой полнотой выполнить долг перед обществом, принести наибольшую пользу делу. Мысль, полагаю, не бесспорная, во всяком случае, требует уточнения. Если же говорить конкретно — о школе, об учителе, то, конечно, Борис Васильевич прав. Он не мыслит себя без школы, которой отдал двадцать пять лет жизни, где осуществил великое множество начинаний, замыслов. Приобретены авторитет, доверие, достигнуто взаимопонимание, и в делах всегда рядом родной коллектив, который и поддержит, и поможет в случае нужды, и прислушается к твоему голосу.

И 124-я школа уже не может представить существования без своего учителя физики — так там прямо и говорят; без образцово поставленного им физического кабинета, где все сделано усилиями учителя и учеников; без тематических физических вечеров, кружков, физических викторин, факультативов для тех, кому стало тесно в рамках учебной программы. А физические олимпиады? Это каждый раз общешкольное событие. Комитет комсомола создает для их проведения специальную комиссию. Старшеклассники становятся ее организаторами в младших классах, а в старшие классы приходят студенты, выпускники школы. И душой всех этих дел неизменно является Борис Васильевич. Отрадно бывает ему потом узнать, что победители школьных олимпиад оказываются нередко среди первых и на районных и на городских. А его ученики, задумавшие поступать в технические вузы, на физические факультеты, сдают предмет на четверки и пятерки.

И все же олимпиады, викторины, тематические вечера — это производное от главного — каждодневного учебного процесса, обычных уроков, лабораторных занятий.

Когда-то, еще делая первые свои шаги в учительстве, Борис Васильевич перенимал опыт у старших. Бесценным наставником стал, в частности, для него Георгий Павлович Европин, заслуженный учитель, ныне покойный, бывший в первые послевоенные годы районным методистом по физике.

Учась у других, Борис Васильевич искал свои приемы, разрабатывал свои методы. И теперь люди ходят учиться к нему. Например, послушать и посмотреть, как он проводит урок по теме «Плавление», где ребята сами плавят олово, отливают в небольшие формы, получают готовые изделия и имеют возможность наглядно увидеть связь науки и техники. На уроке по теме «Тепловое действие тока» демонстрируется настоящая электрическая сварка металлов — этот урок по своей учебной программе показывало Всесоюзное телевидение, он был описан в журнале «Физика в школе».

Вниманием класса Борис Васильевич владеет с такой легкостью, непринужденностью, что, если и употребляет для этого какие-то усилия, заметить их невозможно. Не в этом ли тот самый учительский артистизм, которого не хватало корреспонденту?.. Это качество действительно не сразу угадаешь и различишь за обыденной простотой, я бы сказала, почти домашностью урока.

— В преподавании каждой дисциплины есть своя эстетика,— говорит Борис Васильевич.— Есть она в точно решенном математическом уравнении, в уверенно поставленном физическом опыте...

Казалось бы, за столько-то лет учитель может довести себя почти до автоматизма — в словах, приемах, мыслях. Однако нет. Никакой заученности. Сформулирует мысль, покажется, что можно сказать еще точнее, яснее,— повернет ее другой гранью, по глазам ребят определит: поняли ли, хорошо ли поняли?

В кабинете висит стенд «Физика — наука века» с разделами: «Новости науки и техники», «Проблемы науки», «Советуем прочесть», «Интересные задачи».

Действительно, наука века. Невероятно бурно в нашем веке развивающаяся. И от ее развития не должен, не может отстать учитель, если он настоящий учитель, как бы ни был загружен уроками, проверкой контрольных работ, внеклассными занятиями, общественными обязанностями. Он посто-

янно должен «быть в курсе», и, говоря словами Бориса Васильевича, постоянно повышать научность образования. При этом не выходя за рамки программы или количества часов, не перегружая ребят, которые одновременно изучают другие науки, а они в XX веке тоже не стоят на месте, и другие учителя, по другим дисциплинам, тоже хотят повышать научность образования. Значит, нужна не только любовь к «своей» науке, забота о своих уроках, но и чувство меры, определенный такт и то самое искусство вести урок — давая курс как можно глубже, не выходя за рамки часов и программы. И, кстати сказать, не настаивать на том, чтобы все учащиеся, независимо от способностей и дальнейших, после школы, жизненных намерений, одинаково углублялись в подробности и тонкости. Дифференцированный подход к ученикам по принципу: все без исключения должны выйти из школы с твердым, предусмотренным системой образования объемом знаний, а те, кто по склонностям, выбору профессии нуждается в более основательном постижении науки, должны такую возможность получить. Факультативы, кружки — способов для этого много. Люди знающие, педагоги, отзываются о таком подходе с большим одобрением.

Я рассказала Борису Васильевичу об одной знакомой девочке — десятикласснице из специальной, английской, школы. Девочка никак не справляется с физикой — и дается она ей с трудом, и очень сложно ведет предмет физик. Вернее, усложненно, как если бы все его ученики собирались на физфак или на физтех. Частенько заданные на дом задачки из всего класса могут решить лишь несколько человек, а был случай, когда не смог решить никто. С решением пришла только моя знакомая девочка, но, как нетрудно догадаться, не стала этим хвастаться, потому что ей бы все равно не поверили, бедной троечнице. Накануне вечером над этой задачкой поломали голову дипломированные инженеры и математики (справедливости ради надо сказать, что ни одного дипломированного физика не удалось по телефону поймать), пока наконец ее решил — и то не с ходу — кандидат-математик.

— Зря это,— выслушав меня, сказал Борис Васильевич.— Ни к чему. А вы фамилию этого физика не знаете? Не такой-то? На него похоже.

Фамилию я не знала и номера школы в другом конце Москвы — тоже, но пообещала узнать. Вечером позвонила:

— Борис Васильевич! Вы угадали. Тот самый.

И услышала в трубке веселый, довольный смех:

— Я его почерк знаю! Сразу подумал, что он. А задачку вы не помните? Вы мне ее принесите, пожалуйста. Интересно...

Задачку я принесла. Борису Васильевичу она, кажется, показалась занятной. Наверно, он даст ее на очередном факультативе.

— Я часто думаю,— говорит он,— чему я научил своих учеников, все ли сделал, чтобы моя любимая наука стала неотъемлемой частью их интересов, их интеллектуальной жизни? Хочу верить, что, кем бы они ни стали, они с интересом станут читать книги о Ландау, о Курчатове, не пропустят сообщения о новом открытии в физике.

Так он учит, так понимает свою цель. Уже в одном этом — научить детей широко мыслить, пробудить в них любознательность, заложены элементы нравственного воспитания. Они, эти элементы, заложены и в самом облике учителя — в его образованности, интеллигентности, неподкупности, справедливости. Ученики хотят быть похожими на него — это уже вклад не в умы, а в души. Не менее бесценный вклад, а может быть, еще более значительный. Человек может не стать доктором наук, знаменитым физиком или конструктором, но с высоким нравственным зарядом он всегда и везде будет Человеком.

Как-то Бориса Васильевича спросили:

— Что, на ваш взгляд, формирует мировоззрение молодого человека, его гражданский потенциал — школа, семья или улица?

— Все в совокупности,— ответил он.— Быть может, это странно звучит в устах учителя, отдавшего школе сорок лет, но выделить здесь что-либо невозможно. Улица — естественная среда формирования подростка, а о семье и говорить не приходится. Хуже, когда эти влияния неоднородны, противоречивы, когда из суждений, услышанных на улице, подросток выносит нечто противоположное тому, что ему говорят учителя. В этом случае школа должна занять главное место в жизни подростка.

Другого ответа от него и не следовало ждать.

Восемь, десять самых своих восприимчивых к добру и злу лет человек проводит в школе. Как же велика роль учителя! Борис Васильевич хорошо это понимает и остро сознает свою личную ответственность.

Однажды в редакцию «Вечерней Москвы» пришло письмо. Читательница высказывала озабоченность тем, что не-

достаточно ведется борьба со сквернословием, и требовала наложить на него «категорический запрет», сурово наказывать любителей грязной ругани.

Редакция попросила ответить на это письмо Бориса Васильевича. В одной из «Вечерних бесед» была опубликована его статья. Он поделился в ней своими наблюдениями, раздумьями, а заканчивал так: «Меня по-настоящему взволновало Ваше письмо... Я воспринимаю его и как упрек в наш, учительский адрес. Видимо, и мы, педагоги, не всегда еще умеем внушить своим ученикам ненависть к цинизму, грубости, пошлости. Значит, надо с большей энергией и настойчивостью браться за очистительную работу».

Очень для него характерно: читательница обращала в основном свои упреки к закону, к милиции, а он прежде всего подумал о том, чего не сделала школа, учительство, сам в том числе. При этом не напомнил, сколько у учителя и без этого дел, забот, хлопот. У него не меньше, а еще больше, чем у других,— бремя известности, бремя славы. А если серьезно, так и в самом деле в его опыте, в его знаниях, помощи большая нужда. В Институте усовершенствования учителей, в редакционной коллегии нового учебника физики, в горкоме профсоюза работников школы и научных учреждений, членом которого он является, в разных комиссиях. Просит написать статью «Вечерка», просит и специальный журнал... Незнакомая учительница из Грузии прислала письмо: не может ли достать необходимые ей книги? Достал, купил, отослал. А в школе, как обычно, уроки, контрольные, три раза в неделю факультатив. Педсоветы.

Он не жалуется — лишь слегка сетует. Есть дела необходимые, а есть и такие, которые обошлись бы и без него. В сутках, увы, не прибавляется часов. И ему уже не восемнадцать, как в Пиджаках. Трудновато. Трудновато, но хорошо.

— Люблю с ребятами, чувствую, что дело делаю... Если начать жизнь сначала? Так бы и начал. Я нашел себя. Работа приносит мне большое удовлетворение.— Сказал так же просто, как делает все. Так же, как легко, охотно смеется, если от чего-то смешно, так же, как отзывается на любое хорошее, доброе дело. И нельзя сомневаться в том, что ответил бы то же самое, если бы волею судьбы и обстоятельств его труд не был бы отмечен Звездой Героя.

Он нашел себя. Он любит и умеет учить и воспитывать детей.

Несколько лет назад — он был тогда депутатом Моссовета — старая учительница пожаловалась ему, что ей неправильно начислили пенсию. Что-то напутал собес. Борис Васильевич добился, чтобы разобрались. Ошибку исправили. Казалось бы, все, выполнил свою обязанность. Но он подумал еще о том, что учительница стара, одинока, больна. И еще он подумал о детях. Пришел к семиклассникам — вот, мол, какое дело, кто хочет помочь. И сразу поднялось больше десятка рук. И стали ребята носить старушке еду, лекарства. И приберут, и просто посидят, порасскажут. Отогнали от старого человека самое страшное — чувство одиночества, забытости. И в самих проклюнулось незаметно посеянное в их душах доброе семя отзывчивости, которое непременно даст ростки.

Вот «трудные» дети. Борис Васильевич убежден, что среди нормальных, здоровых ребят нет «трудных», а есть такие, к кому не найден подход, ключик. В его классах не бывает «трудных». То есть нет — бывают, появляются, но очень скоро становятся как все. Иногда и получше. Ключики у Бориса Васильевича всякий раз новые и в единственном экземпляре, как и все эти Алеши, Васи, Толи — тоже в единственном экземпляре каждый. А как уж он их подбирает, ключики, в этом и состоит секрет таланта, секрет любви.

В 1968 году в Большом Кремлевском дворце проходил Всесоюзный съезд учителей. Б. В. Воздвиженский, московский учитель с Красной Пресни, был одним из его четырех тысяч делегатов.

От имени съезда и по его поручению приветствие партии и правительству зачитывал высокий, худощавый, подтянутый человек. Седые волосы над высоким лбом, моложавое лицо, светлые, умные глаза. Да, это был он, беспартийный учитель Воздвиженский. Человек, который живет, трудится, мыслит, как коммунист.

В дни съезда газеты опубликовали указ о присвоении группе учителей звания Героя Социалистического Труда. Среди семи десятков имен — на всю страну — стояло и его имя.

В перерыве между заседаниями, в коридоре, он вдруг увидел со всех ног бегущую к нему молодую темноволосую, темноглазую женщину. Не успел опомниться — повисла у него на шее, поздравляла, радовалась за него: бывшая его ученица! Потащила к выходу:

— Скорей, скорей, сделаем съемку! — На съезде она оказалась по своим теле-журналистским делам. Он не раз видел ее на голубом экране, когда она вела передачи.

— Но я не готов...

— И я не готова! Поехали, скорее!.. Все получится!

И получилось — непосредственно, живо. Не так, как позже с цветами. Наверно, от того, что бывшая ученица, от того, что не только по обязанности, а в самом деле радостно было ей делать эту передачу.

— Куда ни приду, куда ни приеду — везде встречу своего ученика,— говорит Борис Васильевич.— Был банкет по случаю присвоения звания, я начал там говорить и между прочим сказал, что почти везде могу встретить своего ученика, вот, наверно, здесь только нет. И вдруг слышу: «Как же нет? Есть! Мой сын у вас учился». И тут нашелся! — И весело, как бы удивляясь такой оказии, рассмеялся.

Гляжу я на него, слушаю и неожиданно вспоминаю не так давно читанный роман современного японского писателя Кобо Абэ «Женщина в песках». Там есть место, где герой рассуждает о своей профессии учителя: «...Ведь учителя ведут своеобразную жизнь... Год за годом мимо них, как воды реки, текут ученики и уплывают, а учителя, подобно камням, вынуждены оставаться на дне этого потока. Они говорят о надеждах другим, но сами не смеют питать надежду, даже во сне. Они чувствуют себя ненужным хламом».

Когда я читала эти жестокие слова раньше, они поразили меня и запомнились своей неожиданностью, парадоксальностью. Сейчас они кажутся нелепыми, несуразными. Впрочем, я упустила из виду, что рассуждения принадлежат японскому писателю: наверно, Кобо Абэ имеет причины смотреть на вещи именно так. У его героя в уме чуждое нам: карьера, акции, какие-нибудь там виллы и мерседесы, с ними связаны «надежды», в них смысл, без этого человек — хлам. Естественный, видимо, для японского учителя угол зрения.

Процитирую другого учителя:

«...Трудна работа учителя. Она требует постоянного душевного напряжения, отдачи всего себя школе, детям. Но и радость, которую она дает, безмерна. Прежде всего, радость за доверие юных сердец и их благодарность. Радость чувствовать значение своего великого дела... И нет ничего прекраснее, как продолжать себя в своих учениках».

Это из выступления Б. В. Воздвиженского в Большом

театре, на торжественном заседании, посвященном Дню учителя.

Один из недавних выпусков 124-й школы преподнес своему классному воспитателю адрес: «Нашему строгому и нашему прекрасному, нашему последнему руководителю классному». Потом идут стихи, и в них такие строчки:

Вы — везде, Вы постоянно рядом,
Всем нам милый, добрый и родной.
И под Вашим дорогим отцовским взглядом
Стал другим наш школьный род людской...

Стихи ни на что не претендуют. Только на искренность.

Да, учитель продолжает себя в учениках. И кем бы они ни стали — Гагариным или Курчатовым, Зоей Космодемьянской или Надей Курченко, врачом или монтажником,— все они вышли из школы. От учителя. И доброе в людях от него, и, может случиться, недоброе тоже, если со школой, с учителем не повезло. Сумеют ли вовремя «найти себя», угадать призвание — тоже зависит от учителя. Очень много в жизни народа, общества определяет школа.

...Мы расстаемся с Борисом Васильевичем поздно вечером. Гаснут окна в многоэтажных домах. Завтра у учителя новый день: контрольные работы, опросы — подходит к концу третья четверть.

Новую четверть ученики Бориса Васильевича начнут без него — он в составе профсоюзной делегации уезжает в Болгарию. Знакомиться со страной, с ее школами, постановкой образования. Порасспросить, порассказать о себе, об опыте советской школы.

А потом вернется к своим ребятам. Через несколько месяцев — очередной выпуск. Разлетятся ученики, унося в себе частичку его сердца.

Борис ВОЛОДИН

Не в ранге суть

1

Опухоль была большая.

Потом, когда все обошлось и они уже занимались заключительной, совсем спокойной частью работы — зашивали операционную рану, Филипп Фадеевич не раз поглядывал на край инструментального столика: опухоль лежала там на марлевой салфеточке, на ней кокетливо торчали хвостики кетгутовой нити, перетягивавшей основание.

Операционное поле было узким — полость носа да гайморова пазуха, и опухоль заполняла их полностью и распирала стенки. А пациент-то был мальчишечка, к тому же, ох, не крупный для своих десяти лет.

Впрочем, Филиппу Фадеевичу Маломужу по должности — с тех пор, как после войны он стал работать в Институте уха, горла и носа, в детском его отделении при детской клинической больнице имени Дзержинского на Красной Пресне,— приходилось иметь дело с такими пациентами.

Так получилось, что отоларингология, в которой он работал уже много лет, разделилась на детскую и на взрослую (наступило время, когда все медицинские дисциплины упрямо делились). И доцент Маломуж ушел в область, посвященную именно особенностям болезней уха, горла и носа у детей,— ведь у них и анатомия-то отличная от анатомии взрослых, и физиология своя, особенная, детская. И почти любой недуг течет по-особому...

То, что опухоль большая и что она проросла в гайморову полость, он определил еще на консультативном осмотре, еще не задав ни одного вопроса,— как только мальчика ввели в кабинет. Определил по припухлости лица, по тому, как неестественно был выпячен у мальчика глаз. Что ж, надо снова оперировать, ничего другого не предложишь. Один раз мальчика оперировали в другой больнице. Второй раз Маломуж оперировал его сам. И вот, пожалуйста, опять рецидив.

Филипп Фадеевич тотчас подумал, что на операции — третий раз на том же месте — он может нарваться на сильное кровотечение, и, пожалуй, стóит все-таки прежде, чем заняться самой опухолью, перевязать наружную сонную артерию. Это рекомендовалось во многих статьях, и, хотя помогало мало — он знал по своему опыту,— все-таки надо попытаться, потому что ситуация наверняка будет скверной.

Так он и сделал. И все же, когда он принялся отделять опухоль, рану разом залило. Он впихивал новые и новые тампоны, приказывал переливать кровь... Потом в ране стало суше, а его движения сделались спокойнее: «обошлось»...

Осторожно раздвигая ткани, он провел сквозь них кривой зажим со сложенной вдвое кетгутовой нитью. В ране было топко, но он уже подхватил и подтянул к себе пинцетом нить, разрезал — получилось две петли. Одной из них Маломуж стянул основание опухоли, другой — ткани стенки, которые должны были закровоточить опять и опять, как только он примется отделять от них опухоль. В ране стало сухо, когда он затянул эти две петли. Никаких хитростей во всем этом не было — обычный прием хирургической техники. Да ведь, собственно, вся хирургия, и повседневная, незаметная, и та большая, о которой с восторгом пишут в газетах и научно-популярных книжках, состоит из обычных приемов. Все дело в том, как их исполнить...

Протягивая руку за инструментом, он еще и еще раз мерил взглядом опухоль на инструментальном столике: сантиметров восемь на шесть, не меньше. Этот случай стоило бы описать и обязательно упомянуть, что перевязка артерии, которую рекомендовали во многих статьях и которую он сегодня сделал предварительно, снова ничего не дала,— чтоб коллеги учитывали на будущее.

Он описал этот случай, правда, не сразу, а через несколько лет. Отвел ему страничку в большой статье, где суммировал результаты двухсот таких операций, сделанных им и его коллегами в больнице имени Дзержинского за восемь лет. (А за свою жизнь он удалил около тысячи опухолей!) Все описал, как было. И о кровотечении, угрожавшем жизни мальчика, тоже написал.

Впрочем, после операции и лечения рентгеном все текло гладко. Года четыре родители извещали Филиппа Фадеевича, что мальчик здоров, а потом это им уже, видимо, показалось лишним, и извещать они перестали.

2

Врачебный диплом Филипп Фадеевич получил сорок восемь лет назад. Он из той интеллигенции, которую республика принялась растить для себя в двадцатых годах. В Москву, в университет, его откомандировали из Красной Армии, как только закончилась гражданская война.

Приехав в 1921 году в столицу, он узнал, что университетов там стало уже два. Как раз в тот год открыли 2-й МГУ. (Факультеты его позднее превратились в самостоятельные институты: медфак стал 2-м Московским медицинским институтом имени Пирогова.) Разницы между университетами не было. Но Маломуж никак не мог одолеть некоторой провинциальной робости перед столичными заведениями и, решив почему-то, что новый, второй университет «поскромнее», поступил именно во второй.

Он поселился на Якиманке в холодном общежитии, где тепла доставалось, лишь пока горел в «буржуйках» паркет с полов. Под треск паркетин зубрил анатомию, гистологию и прочие науки, а на хлеб подрабатывал тем, что служил в Бабьегородском переулке дворником. Другой работы в Москве ему в то время не подвернулось, хоть он имел уже не только аттестат фельдшера, но и немалый стаж. Три года служил фельдшером пехотного полка на фронте — в Белоруссии и в Польше. Участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве и в последовавшем отступлении с Карпат. После Октября был военным фельдшером в отряде Красной гвардии, а потом — в Красной Армии всю гражданскую войну.

...Как ни трудно приходилось, университетский курс он все же окончил одним из первых. А так как социальное происхождение у него было крестьянское и бедняцкое — это в то время считалось особенно важным — и весь прошлый путь был боевой и трудовой, то Маломужу сразу предложили пойти в науку. Его направили в аспирантуру на кафедру кожных и венерических болезней — правда не спросив, по тогдашнему обычаю, нравится ли ему эта специальность. А она ему совсем не нравилась.

Если бы Филипп Фадеевич тогда себя пересилил и предлагавшуюся ему специальность освоил, жизнь его устроилась бы много раньше и, быть может, удобнее. Иные из его сокурсников считали полученное им назначение просто завидным. Одни — потому, что это было назначение в науку.

Другие — потому, что, закончив аспирантуру, он не только мог бы получить место на кафедре, но и начать совсем неплохую частную практику, поставив на вывеске «Ассистент клиники 2-го МГУ (или 1-го) имярек, КОЖНЫЕ И ВЕН. БОЛЕЗНИ». В годы нэпа — а все происходило именно в те годы — это была очень ходкая специальность. Но Филиппу Фадеевичу она не нравилась.

Как-то получилось, что к двадцати восьми годам, несмотря на уже некоторый медицинский опыт, он еще не облюбовал для себя узкой области медицины. Потомившись на кафедре кожных болезней что-то около двух месяцев, бросил аспирантуру, наплевав и на научную перспективу, и на возможность ходкой частной практики. Уехал поближе к родным местам — в Грозный. Сделался там участковым врачом на старых нефтяных промыслах. Работал он хорошо, и вскорости его назначили заведующим больницей, а в 1927 году — в год десятилетия революции — он вступил в партию.

Когда оказалось, что дела в больнице Филипп Фадеевич наладил отлично, его назначили еще и заведующим лечебным подотделом Грозненского горсовета. А когда стало ясно, что он справляется с делами города, выдвинули уже в заведующие лечпрофотделом всей тогдашней Чечено-Ингушской автономной области. При этом Маломуж продолжал заниматься и обычной врачебной работой. Но не заработки его привлекали. Кстати, тогда существовал «партмаксимум» — предел зарплаты, которую мог получать коммунист, сколько бы должностей он ни совмещал. Словом, у него появилась репутация хорошего организатора лечебного дела, и, вероятно, ему предстояло дальнейшее продвижение по административной медицинской линии, если бы не отоларингология.

Очень трудно объяснить, каким путем приходит медик к выбору узкой специальности и что именно заставляет его избрать делом жизни лечение именно глазных, или нервных, или кожных болезней. Иногда привлекает в узкой специальности ее определенность и кажущаяся при первом взгляде возможность быстро охватить все секреты этой «узкой» области. А иногда увлекает какая-то проблема, в которой хочется покопаться как следует. А иногда «приманивает» человек, виртуозно владеющий этой специальностью и приобщающий тебя к ней.

В свое время на медицинском факультете 2-го МГУ два-

дцатисемилетний тогда Филипп Маломуж спокойно прошел полагавшийся всякому студенту курс болезней уха, горла и носа, хорошо сдал причитавшиеся зачет и экзамен и при сем остался к этой области совершенно равнодушен. И так получилось, что имевший уже трехлетний врачебный стаж терапевт, заведующий больницей и лечебным подотделом горисполкома Филипп Фадеевич Маломуж вдруг увлекся отоларингологией; сначала добился, чтобы его послали на специализацию в Ленинград, а несколько лет спустя, уже в тридцатишестилетнем возрасте, ради отоларингологии оставил должность руководителя здравоохранения целой автономной области! Расставание с такой должностью сопряжено с волнениями и даже неприятностями: кто же легко отпустит хорошего завлечпрофотделом! Тем не менее Филипп Фадеевич упрямо твердил свое и своего добился — променял завидное и обеспеченное положение на полустуденческое положение аспиранта.

Первопричиною этого его увлечения был работавший в Грозном отоларинголог Arианд Арианович Емельянов, бывший флотский врач хорошей школы Военно-медицинской академии, занесенный бурными событиями гражданской войны из Питера в Грозный, где он в итоге и прижился.

«Искусителем» Ариaнд Арианович оказался великолепным. Надо сказать, что в своем врачебном кабинете почти любой отоларинголог даже на хорошо сведущего в медицине человека — на своего коллегу, врача другой специальности, приведшего к нему пациента на консультацию, способен произвести некое впечатление уже хотя бы только потому, что он особенным образом оснащен. (Рекомендую читателю вспомнить собственные посещения разных врачей и отдельно — посещение отоларинголога.) Одно лобное зеркало-рефлектор на черной ленте, охватывающей белый докторский колпак, само по себе делает отоларинголога как бы отрешенным, слегка похожим на жреца, который видит и знает больше других. И когда световой зайчик от этого лобного зеркальца направлен даже в обыкновенное, покрасневшее от банальной ангины горло, оснащенный им ларинголог действительно видит больше, чем его беззеркальный коллега. А тот, кто видит больше, всегда вызывает в нас некую легкую робость и уважение.

И если даже отбросить в сторону шутки насчет роли жреческого облика отоларинголога и его воздействия на пси-

хику пациентов и коллег, то все равно никуда не деть силы впечатления, которое всегда неминуемо производит человек, умеющий больше других. Филипп Фадеевич был совсем не мальчик (тридцать один год), когда он встретился с Емельяновым. За трехлетнюю участковую практику он уже набил себе руку во врачебном деле и, вероятно, считал себя не хуже многих. Но мастерство старшего коллеги — а на облике и поведении Арианда Ариановича был еще налет флотского «шика» — захватило его. К тому же Емельянову очень хотелось своим мастерством делиться, и стоило ему лишь заприметить у новоиспеченного завбольницей интерес к своему делу, как Арианд Арианович стал приманивать коллегу разными хитростями своего ремесла, предлагая убедиться собственными глазами то в одном, то в другом — с помощью рефлектора и инструментов, конечно. Дальше больше: появилось у Филиппа Фадеевича, видно, уже и заманчивое ощущение большей определенности, интерес к чисто ларингологическим проблемам и кажущаяся перспектива быстро овладеть мастерством. Пройдя в Ленинграде специализацию, Маломуж принялся сверх всех своих административных дел вести амбулаторный прием в качестве уже отоларинголога, а не терапевта. Был у него под боком и хороший учитель, но и учительские возможности оказались не бесконечными. Чтобы действительно овладеть делом в полном объеме, нужна была уже серьезная клиническая школа.

О последующем уже сказано: в тридцать шесть лет Филипп Фадеевич снова начал полустуденческое бытие — стал аспирантом на кафедре Московского научно-исследовательского клинического института у известного отоларинголога профессора А. И. Фельдмана.

Что было дальше? Целая жизнь. Учеба. Кандидатская диссертация. Доцентура и даже заведование кафедрой. Руководство отделением научно-исследовательского института. Семьдесят статей в научных журналах. Десятки тысяч больных. Тысячи операций — больших и малых. Сотни врачей, уже у него учившихся отоларингологии. Словом, еще тридцать семь лет трудной работы с удачами, неудачами, радостями, огорчениями.

Он приобрел имя, и коллеги говорили: «Покажите-ка вашего ребенка доктору Маломужу...» Днем и ночью его вызывали на консультации и на операции в другие больницы, и матери его пациентов говорили: «Витьку спас профессор

Маломуж». И в разговорах с ним они часто называли Филиппа Фадеевича профессором: «Скажите, пожалуйста, профессор...», «Нельзя ли, профессор...». А вот профессором-то он и не был. И поэтому, чтобы не очутиться перед коллегами в неловком положении, мягко поправлял собеседников и собеседниц: «Простите меня, но я не профессор». (А то вдруг начнут говорить, что он присваивает себе неполученный титул.) Ему самому отсутствие этого титула нисколько не мешало жить.

...Сейчас ему семьдесят пять. Работать он продолжает.

3

Впрочем, пять лет назад, когда Филиппу Фадеевичу исполнилось семьдесят, коллеги по Институту уха, горла и носа Минздрава РСФСР все-таки проводили его на пенсию, пожелали заслуженного отдыха и избрали на должность заведующего детским отделением института, которую прежде занимал доцент Маломуж, более молодого медика, полного свежих сил.

Обычай провожать на пенсию научных сотрудников, достигших такого приблизительно возраста, в научно-исследовательских институтах исполняется твердо. Обычай этот обоснован вескими суждениями и выкладками, свидетельствующими, что научная продуктивность сотрудников по мере достижения ими все более почтенного возраста снижается. Из этого обычая существует лишь одно исключение: профессора и доктора наук, выйдя на пенсию, получают должности консультантов в тех же самых институтах. Но Филипп Фадеевич, как было сказано, профессорского звания и докторской степени не имел. Он просто не удосужился написать и защитить докторскую диссертацию. И дело было не в том, что Маломужу недоставало в свое время исследовательской жилки или способностей.

Ученый врач, работающий в такой практической области, какую выбрал себе когда-то Маломуж, постоянно ощущает себя на распутье. Работа ежедневно подсовывает ему «недиссертабельные» проблемы. От них никуда не деться. Они по-своему интересны. Их надо решать. Надо тратить силы и время и потому поступаться честолюбивыми, а то и просто житейски важными замыслами!..

Из-под пера Филиппа Фадеевича вышло немало научных статей, и они свидетельствуют, что сделай он диссер-

тацию целью, то написал бы ее и защитил, как написали и защитили коллеги, работавшие с ним бок о бок и даже начинавшие свой путь под началом у Маломужа.

Вот, например, в конце сороковых годов, когда Филиппу Фадеевичу было еще пятьдесят с небольшим лет, он вел совместную работу с весьма известным нашим вирусологом, ныне медицинским академиком и лауреатом Ленинской премии А. А. Смородинцевым.

В те времена в диагностике вирусного гриппа и заболеваний, сходных с гриппом, было еще немало путаницы. За прошедшие затем годы ученые медики в этой путанице как следует разобрались. Некий вклад в эту «разборку» принадлежал и Филиппу Фадеевичу. Он исследовал, какие микроскопические изменения происходят в слизистых оболочках при истинном вирусном гриппе, а какие при различных простудных заболеваниях. Задержись Маломуж на этой теме лишний год или два, поднабери побольше статистического материала да потрать, за счет остальной работы, время на создание машинописного фолианта с развернутым литературным обзором, статистическими таблицами и прочими подобающими случаю разделами — чем не диссертация?.. Но Маломуж просто выполнил свою часть совместной с вирусологами работы, ответил на те вопросы, на которые он должен был ответить и мог ответить на уровне тех лет, опубликовал в специальных журналах и сборниках несколько статей и на сем успокоился. Точнее, не успокоился, не то слово: просто как раз подоспело другое дело. Большая группа сотрудников отделения, которым он заведовал в институте, развернула исследования о влиянии хронического тонзиллита (хронической ангины) на сердечно-сосудистую систему и на функцию желчных путей. Самое важное, что они тогда взяли и обследовали тысячи никогда не числившихся больными учеников из школ Красной Пресни и выявили немало детей с тонзиллитом, который протекал без явных симптомов, но конечно же был чреват последствиями. Выявили и вылечили.

Филипп Фадеевич как заведующий отделением, конечно, руководил организацией и обследований и исследований. Исследования дали очень интересные и важные результаты. По ним были написаны статьи и диссертации. Маломуж тоже кое-что написал: одну статью. Статья его напечатана в трудах института как вводная к целой серии статей сотрудни-

ков отделения, посвященных этой теме, которой они все вместе отдали несколько лет труда...

Впрочем, если не о гриппе, то Маломужу скорее всего стоило бы, наверно, писать в свое время докторскую диссертацию по одной из хирургических проблем детской отоларингологии.

Конечно, хирургические проблемы в его области далеко не все «диссертабельны» и выглядят не так эффектно, как в иных разделах современной медицины, на долю которых в последние два-три десятилетия выпали поистине великие свершения, просто-таки потрясшие умы,— например, в хирургии сердца или крупных кровеносных сосудов...

В отоларингологии научились тончайшей операции. Представьте себе: в глубокие недра уха хирурги-отоларингологи теперь вставляют искусственные микроскопические слуховые косточки — стремячко, молоточек — взамен изуродованных болезнью. И возвращают людям слух.

Иному человеку может прийти в голову: мол, вот только это и есть настоящая хирургия, настоящая медицина, а все остальное — «так себе». Мол, настоящие хирурги занимаются только операциями на сердце, настоящие отоларингологи только вставляют пластиковые стремячки и молоточки, а настоящие пациенты — только их пациенты...

Но если пересчитать всех хирургов и выяснить, чем они занимаются, то окажется, например, что прекрасной хирургией сердца занимается в стране меньше 1 процента хирургов, а 99 процентов лечат разные неэффектные и даже банальные недуги, которыми страдают 99 процентов пациентов: например, переломы ног, а то и просто пальцев, лечат грыжи, гнойные воспаления среднего уха, удаляют аппендициты, миндалины, которые в быту называют гландами, удаляют набитые камнями желчные пузыри, различные опухоли и гнойники и извлекают инородные тела, очутившиеся там, где им быть не полагается. И главное — очень серьезно лечат. И успешно. И увлеченно!..

Словом, и здесь все, как написал в «Теркине» Александр Трифонович Твардовский:

Пусть тот конник — на коне,
Летчик — в самолете,
И, однако, на войне
Первый ряд — пехоте.

Маломуж всю жизнь занимался именно «пехотными»

проблемами отоларингологии — лечил гаймориты, осложненные воспаления среднего уха и прочие повседневные недуги. Писал статьи об этом — впрочем, мягко говоря, тоже без особой поспешности. Учил оперировать молодых коллег. И все-таки, главное, с азартом оперировал сам — и сложное и простое. (Все настоящие хирурги страдают одним комплексом: они чувствуют себя полноценными людьми только тогда, когда оперируют сами и видят добрые результаты дела рук своих.)

Филипп Фадеевич скопил, например, препорядочное количество инородных тел, извлеченных у детишек. Чего только не достают малыши для игры, чего только они не запихивают себе, играючи, в нос, в ухо и чаще всего в рот! По врачебной привычке, которая постороннему может на первый взгляд показаться странной, все добытые им у детишек из пищевода или бронхов монеты, пуговицы — пластмассовые и форменные латунные, пионерские и юбилейные значки и звездочки от погон Маломуж тщательно снабдил ярлычками с указанием, когда и у какого маленького пациента они извлечены. А сами предметы и ярлычки тщательно разложил и закрепил на двух обтянутых тканью щитах. (В этом собрании есть такие, например, экспонаты, как ключ от будильника и кольцо от кроватной сетки.)

Пусть в ярлычках не привидится читателю одна лишь несколько наивная гордость умельца, которая мне не кажется такой уже незакономерной. Вам, вероятно, не приходилось вводить пациенту в пищевод металлическую трубку эзофагоскопа, ловить специальными миниатюрными щипчиками застрявший предмет, бояться упустить его из щипчиков при извлечении и, чуть ошиблась рука, все-таки упускать, ловить снова... И всякий раз непрерывно помнить, что «нежелательные последствия», скажем так, далеко не всегда зависят лишь от того, насколько ты сам умел, и ловок, и точен.

Маломужу приходилось извлекать из пищевода инородные тела, пролежавшие там не часы, не день, а месяцы. И даже более года.

...Картина недуга была неясной. Родители ребенка говорили, что монета, когда-то проглоченная, вышла. Врачам, которые лечили ребенка и которым родители это говорили, в свою очередь, казалось, что у ребенка то ли какой-то гастрит, то ли какой-то бронхит. И много воды утекло, прежде чем малыша поставили перед рентгеновским экраном и обнару-

жили монету, уже порядком повредившую стенку пищевода. Надо ли объяснять, что исход зависел не только от одного хирургического мастерства. А пока операция шла, у дверей отделения заливалась слезами мать человечка, вверенного рукам Филиппа Фадеевича...

Право, и гордость умельца, составившего «коллекцию», если она и есть, простительна.

Такое собирательство медиков — я не раз видел подобные «странные коллекции» — не имеет ничего общего с коллекционированием найденных в лесу корней и веток, напоминающих птиц, рыб, человечков, а тем более с нумизматикой или филателией. Это не простое увлечение, это — часть работы. Любому предмету, извлеченному из пищевода очередного малыша, соответствует еще запись в рабочей тетради или на специальной карточке. В ней без лишнего указано, какие особенности симптомов наблюдались у пациента, какие сложности встретились на операции.

«Коллекция» монет, пуговиц, значков и прочего была использована Филиппом Фадеевичем для статьи «Диагностика и методика удаления инородных тел из пищевода у детей» (равно как и хирург, мой товарищ, собиравший удаленные из желчных пузырей камни, тоже опубликовал в специальном журнале свои соображения насчет хирургической тактики при холециститах). В статье Маломужа великих открытий не было. Их нет в большинстве статей на такие темы, печатающихся в специальных журналах. Да их авторы и не претендуют на открытия. Они делятся с коллегами своим опытом, своими неудачами и удачами и высказывают некоторые «технические» соображения, уже проверенные в собственной работе. А коллеги эти соображения потом используют. К одним суждениям, к честно описанным удачам и неудачам прибавляют новые соображения, опасения и данные. И в итоге всего этого накапливается опыт медицины.

...Микробиологи открывают новые антибиотики. Инженеры конструируют новые модели сосудосшивающих аппаратов, новые «искусственные почки», «искусственные сердце-легкие», новые бронхоскопы, эзофагоскопы. Но все эти создания ничто без опыта работы с ними. В повседневной черной работе накапливался и накапливается тот самый опыт медицины, благодаря которому для нас, живущих в 1972 году взрослых и детей, не представляют опасности недуги, которые еще два-три десятка лет назад угрожали тогдашним взрослым людям и тем из нас, кто был тогда детьми.

Впрочем, не только «пехотными» делами занимался Филипп Фадеевич. Ведь в институт везли пациентов с редкими, необычными болезнями, и эти детишки попадали на операционный стол именно к Маломужу, и были у Маломужа очень большие удачи. Он заслужил среди коллег репутацию хорошего специалиста по пластическим операциям — по восстановлению у детей барабанной перепонки, разрушенной воспалительным процессом. Он много сделал в детской онкологии... Можно было отодвинуть текущую работу и сесть на многие месяцы за письменный стол. И Филипп Фадеевич не раз давал себе слово сесть за докторскую. Пересиливал себя, заставлял заново заняться тем, чем заниматься он уже кончил и об узнанном уже написал и напечатал. (Не в этом ли главная трудность?) Принимался собирать материал. И все-таки снова уходил в текущую работу.

Вот и получилось: сначала откладывал да откладывал. Потом годы стали уже не те, чтоб заниматься диссертацией. Так и проводили на пенсию в прежнем ранге кандидата наук и доцента. Ничего не поделаешь: суров закон, но он — закон.

И хотя все можно было предвидеть задолго, происшедшее было для Филиппа Фадеевича очень болезненным.

Его ничуть не радовала возможность заслуженного отдыха, этого совершенно нового и непонятного образа жизни, с утра до ночи наполненного тем, что он привык называть досугом. Погрузись в него — и можешь день-деньской играть на свежем воздухе в шахматы, смотреть на дневных сеансах все пропущенные за много лет фильмы и думать только или почти только о себе. Именно к этому-то он и не привык за те пятьдесят с лишним лет, что был медиком. Он привык к тому, что рядом с ним люди, которым нужна его помощь.

Когда он был фельдшером, то думал о раненых, которых надо было перевязывать, и о делах лазаретного хозяйства. А после того как окончил медфак 2-го МГУ, всю жизнь думал о больных — о рабочих с нефтяных промыслов, о жителях в чеченских аулах, в которых надо было создавать амбулатории и акушерские пункты. А после — об отоларингологических больных: с тех пор как занялся этой дисциплиной — о больных с гайморитами, с воспалением среднего уха, с опухолями, наконец.

Он привык обходить по утрам не скверики с судачащими пенсионерами, а больничные палаты и успокаивать дичившихся от непривычности обстановки малышей, по-взросло-

му беседовать с теми, очень серьезными и какими-то по-особенному мудрыми детишками, которые попадали к нему, уже перебывав в разных больницах, и строго его спрашивали: «А вы меня на операцию скоро возьмете?..»

Он привык к тому, что по ночам его поднимали с постели телефонные звонки, и надо было лететь в больницу и извлекать, глядя в оптическую систему эзофагоскопа, застрявшее в пищеводе инородное тело. Привык искать решение каждый раз новой и хитрой хирургической задачи — решение, от которого зависела чья-то жизнь, и не умел заставить себя возвращаться к тому, что уже решено...

Он уволился из института «в связи с переходом на пенсию», но ничего не изменил в своей жизни. И вот уже пять лет, как всегда, к девяти утра он приходит в ту же детскую больницу имени Дзержинского, что в Тестовском поселке. И идет в тот же самый корпус, где располагается детское отделение Института уха, горла и носа.

Только поднимается Филипп Фадеевич не на тот этаж, где институтское отделение, а на другой. Там почти все то же — палаты, больные дети, операционные, врачи. В кабинете на стене два щита — «коллекция» предметов, удаленных им из бронхов и пищевода. А в письменном столе лобное зеркало-рефлектор, без которого отоларинголог немыслим.

Пусть он перестал быть научным сотрудником, да сил и впрямь поубавилось — на все теперь не хватает. Он сделался «всего лишь» сотрудником больницы. Заведующий больничным отделением и заведующий отделением научно-исследовательского института — должности разного ранга. Но не в ранге суть. А в том, чтобы делать свое дело.

Павел ПОДЛЯШУК

На всю жизнь

Этот домик стоит на улице Заморенова, чуть отступя от красной линии. Не сразу, пожалуй, заметишь его в окружении высоких, современных зданий. Дощатый двухэтажный старикан, выкрашенный в блекло-зеленый цвет, с высоким крылечком. Как встарь.

Уже много лет — и по сей день — на это крыльцо взбегают ребята. Стремительно распахивают парадную дверь и, притушив скорость, по возможности чинно входят внутрь. Возвращаются обратным манером: шествуют важно, спокойно и — вдруг прыг через ступеньки... Иные тут же, не в силах сдержать нетерпение, погружают нос в книжку; другие, запихнув книги поглубже в сумку, сразу же начинают возню с приятелями.

Поколения пресненских ребят совершали этот путь, поднимались на это крыльцо. Становились читателями библиотеки «Памяти 1905 года».

«Отдельную квартиру» на улице Заморенова — зеленый домик казался тогда сказочно просторным — детская библиотека получила в январе 1925 года. Республика Советов праздновала двадцатилетие революции 1905 года. Естественно, что краснопресненские рабочие дали новому очагу культуры (как принято было тогда говорить) имя почетное, революционное. Звучало оно, как наказ.

Расскажу про двух библиотекарей. Про тех, кто выполнял наказ.

1

Было это в 1913 году.

— Швейцаром так швейцаром!..

Чин управы, ведавший учреждениями народного здравия и просвещения, взглянул на просительницу, не скрывая удивления:

— Но ведь вы, сударыня, образованный человек, педагог? А иных вакансий, кроме швейцарской, у нас нет. Вам ясно?

— Уразумела вполне. И готова вполне.

Так Лидия Михайловна Соснихина, учительница, которой пришлось отказаться от любимой педагогической работы — у нее «сел» голос,— и определилась на службу в библиотеку имени Гоголя. В одну из немногих тогда московских публичных библиотек, имевшую совсем крошечное детское отделение.

Не столько нужда — можно было, вероятно, приискать место по письменной части — обусловила столь решительный шаг бывшей учительницы. Лидия Михайловна педагог и по образованию и по призванию. Двадцативосьмилетняя дочь начальника железнодорожного полустанка давно уже не мыслила свою жизнь без ребятни. И без книги. А раз судьба сложилась так, что нельзя быть учителем, значит, в библиотеку: тут и книжки и ребятишки...

Поначалу числилась зимним швейцаром, на самом же деле была вторым библиотекарем. Да и вообще всего-то их было двое...

...После Октября собирала книги в брошенных барских квартирах, в разбитых складах. Пополняла скудные (ох, до чего скудные!) фонды детского отделения. Выдавала книги.

Был голод. Просто голод и голод на книгу, тем паче на книгу для детей. Был саботаж, раздуваемый контрреволюционерами, массовый саботаж чиновников против большевиков. Пустовали многие московские школы, а на дверях библиотек висели амбарные замки. Детское отделение библиотеки имени Гоголя не прекращало работы. То есть не прекращала работать Лидия Михайловна. По тогдашней терминологии: она стояла на платформе Советской власти. Стояла прочно, чем вызывала гнев иных своих бывших коллег.

Был голод и холод. Но в 1921 году детское отделение библиотеки стало самостоятельным. Выделилось, получило несколько комнатушек в домике на Большой Пресне. Одну из них смогли оборудовать под читальню. Оборудовать? Поставить стол, несколько табуреток.

«Мы не могли налюбоваться тем, как читали ребята, какая тишина в читальне. Часто мы, библиотекари, тихонько входили в читальню и стояли несколько минут, наблюдая детей за чтением и радуясь новому шагу в нашей работе». Эти строки заимствованы мною из толстой общей тетради

в бумажной обертке. «История библиотеки. 1913—1942 гг.»— озаглавлена тетрадь; она заполнена четким, учительским почерком Соснихиной. Лидия Михайловна постаралась восстановить для будущего хотя бы главные этапы развития ее любимого детища, некоторые новые шаги в работе библиотеки. Ну, например:

«...Стали получать из Государственного издательства рукописи, намеченные к изданию, обсуждали их, оценивали и давали свое мнение».

«...Ребята шли и шли к нам, в наш тесненький домик: в 1923 году читателей было 7442 человека».

А потом, в начале 1925 года, мы знаем, библиотека получила новое, по тем временам роскошное помещение — двухэтажный дом и новое почетное наименование — «Памяти 1905 года».

И еще новый шаг: навстречу читателю. Пусть об этом расскажет сама Соснихина:

«В 1926 году были открыты передвижки в спальнях громадной фабрики нашего района — «Трехгорной мануфактуры».

Сейчас спальни уничтожены (запись сделана Лидией Михайловной после войны.— *П. П.*), но тогда они представляли своеобразную картину. Спальни еще носили отпечаток старой жизни... Перенаселенные комнаты семейных, залы для холостых с множеством тесно поставленных коек; общие кухни с рядом печей, мрачные, еле освещенные, гулкие коридоры... Рабочие «Трехгорки» среди шума машин привыкли повышать голос и, перенося эту привычку домой, привили ее своим детям. Ребята в спальнях очень шумливы и отличаются своим удальством и озорством... Когда два библиотекаря пришли в 60-ю спальню, коридоры были наполнены ребятами всех возрастов. В кухне, куда мы прошли, было жарко, темновато, и множество голосов, сливаясь в один общий гул, оглушили нас... Дети окружили нас, рассматривая и выбирая книги. Брали их с жадностью. Некоторые родители приветствовали нашу работу, другие сомневались в ее целесообразности, суля нам пропажу книг...»

Прерву эту длинную запись. Добавлю только, что все книги, выданные передвижкой, остались целы и невредимы. Все до единой.

Факты, цифры, даты...

В 1924 году беспартийная библиотекарша Лидия Соснихина избрана депутатом Московского Совета.

1936 год. Она без отрыва от работы окончила библиотечный институт.

1937 год. Детская библиотека «Памяти 1905 года» насчитывала 13 тысяч читателей.

Шли годы. Росли фонды библиотеки. Росло число читателей. Менялись формы работы. Абонемент разделили на три отделения, по возрасту читателей. В библиотеку к Соснихиной приезжали за опытом не только коллеги из Москвы, но и из других городов. А она записала в свою общую тетрадь — дело было перед войной — такое наблюдение:

«Дети стали культурнее, самостоятельнее, сознательнее и смелее».

...Война. Налеты вражеской авиации... Бомбежки... На долю Пресни выпало фашистских фугасок и зажигалок, кажется, больше чем на территорию любого другого района столицы. Одна из зажигательных бомб угодила аккурат на крышу зеленого домика — не миновать бы пожара, не миновать бы гибели книг, но в ту бомбежку дежурным был Слава Русс, молодой библиотекарь. Он лихо справился с зажигалкой: сбросил ее с крыши, засыпал песком.

Владислав Петрович Русс вскоре после этого стал солдатом; погиб он под Юхновом, где и покоится в братской могиле... А в библиотеке чтут его память.

Воздушные тревоги в первый год войны объявлялись часто. Если это бывало днем, библиотекари быстро и организованно вели юных читателей в ближнее бомбоубежище, а сами бегом возвращались, каждый на свой пост: на дворе, на чердаке, у слухового окна и пожарного рукава...

Библиотека работала.

...Я не собираюсь здесь хотя бы коротко писать про саму эту работу — моя задача рассказать о людях, чья жизнь прошла среди книг. Что же касается «показателей», то поверьте на слово: росло и количество читателей, и число томов на полках, и многообразие форм работы с книгой; были передвижки и книгоноши, занимались кружки литературные и кружки переплетные, устраивались вечера и читательские конференции... Как и в других хороших детских библиотеках Советской страны. А многое и возникало раньше, чем в других, и результаты давало лучшие, чем у других. Об этом свидетельствуют знамена, грамоты и всякие иные знаки первенства и признания, завоеванные коллективом библиотеки «Памяти 1905 года».

Но самым радостным для Соснихиной (и для меня, кото-

рый пишет сейчас об этом!) было возникновение читательских династий. Пожалуй, «династия» — чересчур торжественное выражение, но как иначе обозначить формирование семейной традиции: давно ли отец или мать вприпрыжку прибегали сюда за книжками, а теперь, глядишь, за ручку ведут свое чадо к прилавку малышового абонемента.

Или... Стремглав несется по коридору веснушчатый читатель. Повстречается ему приземистая, полная, стареющая женщина. Остановит, возьмет за руку:

— Не спеши. Покажи, какие книжки взял.— Полистает книжки, спросит: —Ты чей? Ну, фамилия у тебя есть?

— Есть. Беляков Саня.

— Ах, Саня! Никак ты Сонин сын? Маму-то Соней зовут?

— Соней.

— Ну, кланяйся ей, Беляков Саня. Скажи, Лидия Михайловна поклон передает, велит зайти, когда время будет. Понял?

Читатель продолжает свой пробег... Лидия Михайловна постоит минутку и тоже пойдет куда шла, переваливаясь, утиной своей походкой. Сокрушается про себя: «Давно ли Соня эта так носилась? Теперь вот сынишка... Да, годы идут!»

Годы шли, бежали.

1947 год. Лидия Михайловна Соснихина награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Март 1952 года... Впрочем, об этой дате надо рассказать чуть подробнее.

...Жизнью своей и работой Лидия Михайловна доказала преданность партии. Она всегда, во всем ощущала себя коммунистом и вела себя, как настоящий коммунист. Несколько раз товарищи заговаривали с ней о приеме в партию, предлагали рекомендации. Соснихина откладывала решение. Нет, не колебалась, просто робела: «Чего я отвечу, если спросят — а где ты раньше была?..»

В марте 1952 года Лидию Михайловну приняли в ряды КПСС. Было ей тогда шестьдесят семь лет.

Когда пригласили на заседание бюро райкома, трусила отчаянно, даже губы побелели. На заседании же «ее вопрос» занял каких-нибудь минут пять, не больше. Прочли документы — секретарь райкома подытожил: «Тут, думаю, обсуждать нечего: товарища Соснихину мы знаем. Есть предложение: принять». Дружно проголосовали, накоротке поздравили. И все. Перешли к очередному вопросу.

По правде говоря, ей даже удивительной показалось этакая деловитая будничность.

...Теперь следует остановиться на двух горьких датах.

Отработав в этой библиотеке сорок три года, Лидия Михайловна (силы ее убывали, болезни одолевали) в 1955 году ушла на покой. Ее заявление предельно кратко: «Увольняюсь с работы, так как не имею больше физических сил».

Всего десяток слов. Однако не трудно представить себе, чего стоила эта фраза человеку, который и дня не мыслил себя без дела. Сорок три года! Но что поделать, если ноги отказываются ходить, а глаза видят все хуже...

Последние пять лет жизни — умерла она в 1960 году — Лидия Михайловна почти не выходила из дому. Радовалась, когда ее навещали товарищи по работе, жадно расспрашивала о библиотеке, но в дело не вмешивалась. Строгая подтянутость и такт не оставляли ее до смертного часа...

Мне не пришлось лично знать Лидию Михайловну. То, что о ней написано здесь, основывается на рассказах товарищей да на немногих сохранившихся документах. Я рад, что — пусть бегло — напомнил об этом светлом человеке, строителе нашей культуры.

2

Разговор, о котором я сейчас расскажу, произошел сразу после войны.

— Ну а книги вы любите?

Соснихина еще раз быстро оглядела свою собеседницу. Отметила: румянец во всю щеку, крепкая стать, сильные руки. Поверх платья ватник, платок. Деревенская? Сибирячка?..

Девушка оказалась здешней, коренной пресненской. Родилась на Большой Грузинской. При всем при том и «деревенская», и «сибирячка».

Маргарита Бессонова во второй декаде июня 1941 года получила диплом об окончании педагогического училища и направление на работу — в Красноярский край, учительницей начальных классов. Война не перечеркнула распределения; так Маргарита стала «учительшей» в деревне Тинской, в «глубинке», в отрогах Саянского хребта.

Школа в сибирской избе, три класса вместе занимаются в одном помещении. Морозы, сугробы, вода в кадушке в се-

нях покрывается хрустящей корочкой. Солдатские треугольники с фронта, «похоронки», все чаще «похоронки», да редкие газеты недельной давности.

— Что читали вы за последнее время? Из детской литературы?

Маргарита взглянула в глаза этой пожилой завбиблиотекой, которая так дотошно «допрашивала» ее в своем малюсеньком кабинетике, и ответила откровенно и подробно. К ним, в Тинскую, за последние годы попали всего две книжки. Про героинь-партизанок: «Чайка» Бирюкова да «Таня» Лидова. Взрослые они или детские, ей сказать трудно. Но прочитали их в колхозе все, от малого до старого. Ученики заучили наизусть, да и она помнит отлично, каждую страницу...

Потом ее спросили, любит ли она детей и почему бросила учительство. Сказала, что «сел» голос; хотела было объяснить, что это означает, но Соснихина прервала:

— Знаю, знаю! Штука такая и со мной приключилась. — Она задумалась: — Ровно тридцать три года назад! — улыбнулась ласково: — Что, многовато?..

Ледок официальности вроде бы подтаял, но тотчас последовал новый колючий вопрос:

— Надолго ль собрались к нам?

В этих словах звучала тревога за дело и обида на тех, кто бездумно подходит к выбору работы.

Маргарита отшутилась:

— Пока не выгоните.

«Не выгнали».

Ее не сразу поставили на выдачу. Сперва писала открытки тем, кто долго не сдавал книги. Посещала семьи. И читала, читала, наверстывая упущенное. Соснихина строго контролировала круг ее чтения — требовала отчета, просматривала конспекты. И после, когда Маргарита Николаевна работала уже на абонементе, все продолжала присматриваться к новому библиотекарю. Однажды Маргарита Николаевна обнаружила Соснихину в коридорчике, что ведет к абонементу: Лидия Михайловна остановилась, чтобы послушать разговор библиотекаря с юными читателями...

Первая заповедь Соснихиной: будь честным с ребятами! Не только относиться к детям с любовью — быть с ними честным всегда. Собственно говоря, это закон педагогики. А детский библиотекарь, кто же он, если не педагог!

— Если сама не читала — не говори, что прочла...

— Если есть основания отказать в выдаче книги — выскажи их, объясни...

— Если считаешь книгу плохой — так прямо и скажи...

Так библиотекарь заслужит авторитет, станет первым советчиком юного читателя, «лоцманом в книжном море» (как любят выражаться газетчики).

Лидия Михайловна не без труда сагитировала Маргариту Бессонову пойти учиться в библиотечный институт (не так-то просто все-таки совмещать работу с учебой), следила, чтобы не было «хвостов», помогала. Давно, видать, наметила Маргариту Николаевну себе в преемники — быть может, с того «допроса» в послевоенном сорок шестом году, когда при первом знакомстве спросила: «Надолго ли?»

Готовила и, уходя на пенсию, ей, Бессоновой, передала бразды правления.

...Много раз бывал я в зеленом этом домике на улице Заморенова. Удивительная там обстановка — уютная и, если хотите, деловая.

«Ты пришел за книжкой? Молодец. Не торопись, выбирай. А вот эту ты читал? Конечно, интересная... И эта...»

Не только советы библиотекаря, но и самодельные плакаты, и картотеки (для младших — с картинками), и всевозможные рекомендательные списки — все-все приближает книгу к читателю. Доступ к полкам открыт. Да, разумеется, ты сам выбрал эту вот книжку: библиотекарь тебе ее не навязывал — может быть, только вовремя и тактично посоветовал, обратил внимание... «А про зверей посмотри-ка в этой картотеке... Время есть, уроки готовы? Тогда посиди в читальном зале: там тихо, удобно. Все располагает к чтению».

...Однажды я попал на урок чтения. Тема «Осень». Урок довольно своеобразный, скорее, ребячий семинар, если можно так сказать. Руководитель — библиотекарь Клавдия Ивановна. А «слушателей», учеников четвертого класса 86-й школы, организованно, построив в пары, привела учительница Дина Григорьевна.

Разговор начинается с описания времен года. Потом вопрос: какие изменения в природе бывают осенью? Ответы. Из разных концов зальца тянутся вверх ребячьи руки: я скажу! Библиотекарь показывает цветную репродукцию с картины Поленова «Золотая осень». Репродукцию пускают по рядам, обсуждают. Потом звучат строфы Пушкина,

Тютчева. Слушают внимательно. Девочка читает вслух отрывок из книги природоведа Зуева — про задумчивое осеннее Подмосковье. Потом опять стихи...

Слушают, сидят тихо. Вдруг в углу возникает круговорот: толкаются мальчишки, смешки, возня. Учительница быстро восстанавливает порядок: «Четвертый «А» ведет себя плохо. Куликов, Лебедев, я вам говорю!..» И снова в читальном зале царит тишина. Царит осень.

Включен проигрыватель: ребята вслушиваются в музыку. «Это произведение Чайковского»,— объясняет библиотекарь. (Рядом со мной мальчишка шепотом переспрашивает друга: «Кого? Чуковского?») Начинается разбор музыки; сообща, дополняя друг друга, споря, пытаются вникнуть в замысел композитора...

Я взглянул на Маргариту Николаевну. Она молча сидела в уголке, стараясь быть незаметной, не мешать ни ребятам, ни руководителю. Глаза ее сияли, а губы непроизвольно что-то шептали. Мне показалось, что она ведет спор с этим вот бойким мальчишкой, который вопреки фактам упрямо утверждает, что осенью у березы листья красные...

Я не собираюсь преувеличивать значение «урока чтения», про который сейчас рассказал. Такие уроки — лишь звено в цепи взаимоотношений библиотеки «Памяти 1905 года» со школой. М. Н. Бессонова и ее помощницы стремятся всячески укреплять контакты с педагогами и родителями. Действуя вместе, стараются пробудить в ребятах интерес к книге, приохотить к чтению.

В прежние годы этой проблемы в детской библиотеке не существовало; во всяком случае, она занимала второстепенное место. Тогда задачей номер один было удовлетворение спроса на книгу — разумеется, на хорошую книгу, и руководство чтением. Эта задача не снята, конечно, и ныне. Но все чаще библиотекари сталкиваются со школьниками, которые читают только «по программе». К чему детям браться за книгу, когда кино, радио и, главное, «телик» до краев заполняют их досуг?! Да и свободного времени остается все меньше, а тут стоит только щелкнуть переключателем — и голубой экран приковывает тебя как цепями... Ребята смотрят все подряд — это и легче и вольготней, что ли, и общедоступнее. Но как втолковать им, этим всезнающим несмышленышам, что, отказываясь от книги, они обворовывают сами себя, лишают себя наслаждения, которого ничем не компенсируешь в жизни?!

Коммунистка Бессонова, человек, влюбленный в книгу, все чаще задумывается над этим.

«Борьба за читателя», насколько мне известно,— общее дело детских библиотек страны. У Маргариты Николаевны есть вдобавок своя, локальная забота, связанная с реконструкцией улиц Красной Пресни.

Кругом ломают старые жилые дома. Пресненские старожилы покидают насиженные места. Папы, мамы, бабушки и дедушки увозят вихрастых читателей библиотеки «Памяти 1905 года» на новые квартиры, в новые, благоустроенные районы. Маргарите Николаевне душой бы радоваться: люди лучше стали жить, да щемит тоска: жалко расставаться со «своими» читателями.

Правда, расставание с подрастающим читателем для детского библиотекаря — явление привычное, как и для школьного учителя прощание с учениками. Даже самые любимые, прирожденные книголюбы и «запойные» книгочеи и те вырастают, переходят из младшего в средний абонемент, в старший. И потом, время от времени, собираются в библиотеке. Предаются воспоминаниям: «А помните, Маргарита Николаевна?..»

Она, конечно, помнит.

Скоро, наверно, пойдет на слом и старый зеленый домик. Библиотека получит новое помещение.

А пока... Пока, беседуя о библиотечных делах, мы заходим на минутку в читальню для старших ребят. Стоим в дверях, молчим, стараемся не отвлечь юных читателей от книги. Стоим тихонько.

В моей памяти всплывают читанные когда-то прекрасные слова Льва Кассиля: «Шуршат страницы в тишине библиотек, это самый замечательный звук из всех, которые я слышал».

Георгий АЙДИНОВ

Счастливое число

Редко в начале весны случаются в Москве такие мягкие, ясные дни, какой выдался 13 апреля. В аккуратном квадратном скверике, уютно прикорнувшем у подножия гигантского дома на площади Восстания, было, как всегда, людно.

В тот еще не поздний час над городом только-только начинали сгущаться сумерки. Я вдоволь надышался бодрящим воздухом и направился было к выходу из сквера.

И тут мне явственно послышались отдаленные выстрелы: один, второй, третий... Я подумал, что это двигатель какого-то крупного грузовика пошаливает, вот и все.

Однако некоторое время спустя я узнал, что на одной из ближних к площади Восстания улиц действительно в тот вечер стреляли.

Я узнал об этом не случайно. Много дней провел я, собирая материал для книги, на Петровке, 38. Не раз и не два заходил в отделение милиции, расположенное напротив нашего дома. Однажды я услышал, как в отделении толковали о старшем сержанте Алексее Васильевиче Ежове. Говорили, что награжден орденом Красной Звезды. За подвиг. Опасных преступников задержал.

— Если уж о ком писать, так это о нем,— сказали мне в отделении.— Знаете, какая история с ним приключилась?..

Так я познакомился с Лешей Ежовым. Мы с ним вдосталь наездились на его мотоцикле по участку, где он вот уже шесть лет патрулирует через день — с шести часов вечера до шести часов утра. Сидел я не в коляске — это место для нарушителей,— а в седле, позади старшего сержанта. Так было удобнее и по другой причине: мощный мотор мотоцикла грохотал в полную силу и мешал слушать то, что говорил Алексей.

Мотоцикл спешил по преображенным улицам новой Пре-

сни с гладким асфальтом мостовых и высокими домами-башнями, которые быстро мелькали по обеим сторонам, оставляя в памяти свои приметы: то разноцветные фасонные балкончики, то зигзаги стен, облицованные узорными плитками, то большие модные козырьки у парадных подъездов. Да и в кривых, вздымавшихся холмом или летевших под горку узких переулках старой Пресни, среди утонувших в чащобах черных еще садов маленьких деревянных домишек, нет-нет да и попадались либо еще блестевшие свежей «одежкой» многоэтажные здания, либо высоченные краны новых строек, либо огороженные заборами огромные пустыри, где среди гнилушек снесенных хибар уже деловито попыхивали бульдозеры, расчищая плацдармы для будущих жилых массивов. В самых захолустных переулочках под колеса мотоцикла непременно ложился асфальт; неровный серо-черный плиточный камень, немой свидетель первой революции, остался лишь на двух главных здешних улицах: Баррикадной и ее продолжении — Красной Пресне.

Многое я узнал и увидел, разъезжая с Алексеем Ежовым на патрульном мотоцикле. Побывали мы, само собой разумеется, и на том месте, где произошла схватка с грабителями. Я беседовал с очевидцами того, что произошло, с Лешиными товарищами и начальниками. Знакомился и с официальными документами. И вот что я могу рассказать о случившемся, ничего не приукрашивая, сухим языком милицейских протоколов.

Они выехали в тот день, как обычно, в восемнадцать ноль-ноль. Мотоциклист — старший сержант комсомолец Алексей Ежов. Роста он поменьше среднего, но коренастый, крепкий, быстрый в движениях. Широкая белозубая улыбка, добродушное, очень милое, с ямочками, совсем круглое лицо, которому никак не подходит строгость, старательно напускаемая во время службы. Напарник Алексея колясочник Петр Ляпунов высок, худощав, несколько медлителен и в разговоре и в действиях. Петр тоже комсомолец и тоже пришел на службу в милицию из армии. Но милицейского стажа у него не наберется и трех месяцев. Так что ему, не прошедшему нужной подготовки, еще и не давали оружия.

Ехали, по-хозяйски оглядывая все, что происходило вокруг. Вмешались в конфликт на трамвайной остановке, где контролер стыдил сконфуженного пассажира, никак не находившего в кармане куда-то запропавший билет. Заглянули во двор большого дома, где в клубе местной ЖЭК дол-

жен был идти товарищеский суд над дебоширом. Все было тут как надо, помощи не требовалось. Двинулись дальше.

И только выбрались снова на свою основную магистраль — по рации приказ: немедленно к дому номер 12; в сберкассе, уже перед самым ее закрытием, вдруг сработала сигнализация. Надо разобраться, в чем дело.

Приказ был получен в девятнадцать сорок пять. Ровно через минуту мотоэкипаж Ежова оказался около сберкассы. Старший сержант подбежал к двери. Хотел было рвануть ее на себя. Но дверь не поддалась. И тут через стекло в верхней части двери старший сержант увидел, как двое мужчин в масках, полностью закрывавших их лица, перекладывали в большой желтый портфель деньги из сейфа.

— Ляпунов,— скомандовал старший сержант,— срочно звони по автомату — вон он, рядом. Вызывай помощь!

Старший сержант вынул пистолет, передернул затвор. Что предпринять? Постучать в дверь и потребовать, чтобы открыли? Разбить стекло и скомандовать преступникам: «Руки вверх»? Нельзя. А вдруг грабители начнут отстреливаться и пострадают сотрудницы сберкассы? Нет, бандиты, кажется, не слыхали шума подъехавшего мотоцикла. Пусть считают, что кругом все спокойно, и выйдут на улицу. Может, подоспеет подмога и удастся их скрутить, прежде чем они смогут пустить в ход оружие. Отойдя на несколько шагов за растущие около подъезда сберкассы густые кусты, милиционер приготовился действовать.

Вера Алексеевна Графова, старший контролер сберкассы, рассказывала мне, что и она, и ее сослуживцы — Вера Тимофеевна Майорова и Анна Васильевна Соколова (все три женщины были награждены правительством за свой мужественный поступок) — боялись не грабителей, не пистолетов и ножа, которыми преступники им угрожали, а только одного — что их сигнал не сразу услышат и милиция не успеет схватить грабителей. Майорова даже смахнула на пол, будто нечаянно, деньги, которые она пересчитывала перед тем как положить их в сейф. И долго ползала возле своего стола, собирая под злобную ругань преступников разлетевшиеся в разные стороны кредитки...

Прошла еще минута. Один из бандитов вытащил толстую палку, которой они предусмотрительно заложили дверь, сдернул с лица маску и выглянул на улицу. Посмотрел на-

право, налево — как будто все благополучно — и появился на крылечке. В одной руке он держал портфель, а другую, с пистолетом, заложил в карман плаща. И тут из-за спины первого преступника неожиданно выскочил второй, тоже успевший снять маску. Он кинулся бежать по асфальтовой тропке, отделявшей стену дома от газона.

— Стой! Руки вверх! Стрелять буду! — крикнул старший сержант, выходя навстречу первому грабителю. Алексей знал, что и второй преступник далеко не убежит. Там Ляпунов. Да и уже взвизгнула тормозами возле тротуара чья-то машина. Первый преступник выхватил пистолет. Он дважды выстрелил в стоявшего перед ним милиционера и тоже повернулся, пытаясь спрыгнуть с крыльца, чтобы скрыться за углом дома. И тогда старший сержант выстрелил в грабителя и бросился вперед, прямо на дуло направленного на него пистолета...

Со вторым отчаянно сопротивлявшимся преступником вступили в схватку Петр Ляпунов, подоспевший на зов рации командир отделения старшина милиции Анатолий Николаевич Пашинин и водитель грузовика, который случайно оказался поблизости, Виктор Иванович Давыдов. Отвага этих людей, принудивших сдаться вступившего с ними в перестрелку остервенелого преступника, тоже была отмечена указом Президиума Верховного Совета СССР.

Но чем закончилось преследование второго грабителя, Алексей Ежов уже не знал. В полубессознательном состоянии старшего сержанта, потерявшего много крови после ранения, с трудом оторвали от преступника, которого он сбил на землю и придавил всей тяжестью своего тела. «Скорая помощь» увезла Алексея в больницу.

Не знал Алексей и того, что лишь две минуты заняла вся эта история. Две минуты единоборства. Две минуты мужества. Ему казалось, что он прожил за эти мгновения целую жизнь. А прошло всего две минуты...

Случилось это все тринадцатого числа. И Алексей Васильевич говорил мне, посмеиваясь, что никак не может определить: считать этот день для себя счастливым или нет.

— С одной стороны, какой же он счастливый, если чуть не погиб. Но не погиб же! Трижды по мне грабитель стрелял почти в упор. Одна пуля — мимо, вторая — в шинели дырку проделала и только третья пробила руку. Нет, все же счастливое число. Потому что и ранение, хоть и сквозное, хоть

и сухожилие задето, но зато не в правую, а в левую руку.

Счастливое число...

Я спросил старшего сержанта, может ли он припомнить, о чем думалось ему в те мгновения. Алексей Ежов ответил:

— Когда в госпитале лежал, не раз возвращался к этому мысленно. Хотелось разобраться что к чему. Опасался я тогда только одного: чтобы гад этот не успел выстрелить еще раз. Я уже убедился, что он стреляет плохо, а значит, мог попасть куда угодно и в кого угодно. Хотел быстрее его обезвредить, выбить оружие.

«...Из крестьян-бедняков»,— пишет о себе Алексей Ежов в анкете. Родился в деревне Горбово, что неподалеку от Углича. Двое братьев и три сестры Алексея, как только закончили семилетку, потянулись из деревни в столицу, где всегда можно найти и работу интересную, и дальше учиться, если захочешь. Но Алеша после школы родителей не оставил. Вместе с ними работал в колхозе. Пас сначала лошадей, потом прицепщиком определили на ХТЗ, а там сел за тракториста. В армии взяли сразу в ракетные войска, да еще и командиром отделения стал вскоре, отличником боевой и политической подготовки.

А дальше избрал такой же путь, что и старший брат. Демобилизовавшись, тот, не раздумывая, подался в Москву и — прямо в горвоенкомат: так, мол, и так, желаю служить в милиции. Пошлете? Послали. И Николай сразу же отписал младшему брату: «Приезжай, не пожалеешь. С твоим знанием техники найдется, где силы у нас приложить».

И верно. Осваивая милицейское дело, Алексей совсем немного поработал постовым, а потом, после специальных курсов, получил права мотоциклиста и был назначен командиром мотоэкипажа...

...В отделении милиции, в обыкновенном городском отделении милиции, где служит старший сержант Алексей Ежов, я встретил по-настоящему интересных, ярких людей. Людей образованных. Находчивых. Самоотверженных. И человечных.

Вместе с Петром Андреевичем Мешковым, заместителем начальника отделения по политико-воспитательной работе, мы подсчитали, что больше половины сотрудников отделения имеют среднее образование, четверо — высшее, еще четверо учатся в вузах, а двенадцать человек — в вечерней средней школе.

— И того, кто не очень охоч до учебы, все равно жизнь заставляет,— резонно замечает Петр Андреевич.— Знаете, какой теперь грамотный народ в милицию пошел! Куда там! Так что сейчас, если школу среднюю кончил, все равно мало. Дальше иди. Правильно Алексей Ежов решил.

— Насчет чего?

— Одиннадцать классов в свое время осилил. У нас же. И вот в юридический институт задумал готовиться. А то ему даже перед женой неловко.

— Она тоже юрист?

— Нет, на пятом курсе финансово-экономического. На заочном. И работает экономистом. Толковая.

Мы говорим о товарищах Алексея, о нем самом.

— Выдержанный, тактичный. Очень скромный. Его и сослуживцы любят, и на участке, где патрулирует, уважают. Умеет к людям подойти...

Я побывал и дома у Ежовых. Он живет неподалеку от метро «Сокол». Квартирка небольшая: две комнаты скромных размеров. Но есть все необходимое. А главное — очень чисто, тщательно все кругом прибрано. Видно, молодая хозяйка не жалеет рук, наводя дома порядок. Надя тоже с Ярославщины, из тех же краев, что и Алексей; на родине они и познакомились, когда Алеша приезжал из армии в отпуск навестить родителей.

Алексея дома пока нет. Он отправился встречать меня, и мы как-то разминулись.

— Ранение было у него тяжелое. Больше месяца в госпитале пролежал. И сейчас пальцы плохо двигаются... А мы тогда с его товарищем Юрой Емельяновым приехали в шесть утра в Боткинскую больницу, куда сначала Алексея доставили. И он к нам вышел из операционной. Весь потный, шатается. И еще утешает меня: «Пустяки,— говорит.— Завтра буду дома». Это он, чтобы я не беспокоилась. Я тогда Олежку носила, пятый месяц уже пошел...

Надя замолкает. Она очень славная. Гладкие русые волосы на пробор. Хорошая улыбка. Ясные серые глаза.

В соседней комнате требовательно вскрикивает со сна сын. И Надя говорит:

— Сиротой ведь мог Олежка родиться...

Возвращается Алексей. Мы смотрим вместе по телевизору сражение наших футболистов со швейцарцами. Раду-

емся победе наших. И ничего больше о себе Алексей так и не сообщает.

А Надя на прощание тихонько говорит мне о том, как тревожно бывает ей, когда Алексей на службе. Особенно ночью. Как трудно бывает уснуть. И все время кажется, что вот сейчас, в этот момент, он опять вступает в схватку с преступником, опять рискует жизнью...

Инна КАШЕЖЕВА

Музей вечной молодости

Красная Пресня —
прекрасная песня.
Сергей Чекмарев.

Как пишутся такие очерки? Я не знаю. Я вхожу в свой, как под крышу этого дома на Большой Грузинской. Мой материал — мемориал. Но не холодная бронза — символ вчерашнего героизма, а тепло непрерывной жизни буден, похожих на праздники, потому что это будни молодости.

«Музей истории комсомола и молодежи Красной Пресни» — гласит доска у подъезда. Но это совсем особый музей: без традиционной тишины, без навощенного паркета, ведущего в века... Это музей, которому тесно в четырех стенах, и он выходит из скромного особнячка, он торопится по улицам Пресни... Трудится в цехах «Трехгорки» и завода «Памяти 1905 года», шумит в аудиториях вузов, спорит и мечтает на бюро райкома комсомола... Ведь это не музей памяти Прошлого, а музей имени Будущего. Но его сердце, его мозг — здесь, на Большой Грузинской, 32. Наш музей очень молод — ему четвертый год. А был он всегда, с тех самых пор, как впервые восстала Пресня. И все-таки он родился недавно. И родился необычно, как все, рожденное революцией, которая всегда — сама молодость.

Мой Комсомол! Москвич, земляк, ровесник,
и новобранец ты, и ветеран.
Не старятся дела твои и песни,
как город наш от Кунцева до Пресни,
где ты рожден был, где ты вырастал.
Давай, как это есть и как бывало,
как это будет у тебя всегда,
мой комиссар, трубач и запевала,
споем про наши главные года.
По улицам, историю хранящим,
пройдем с тобою шагом строевым,
и будущее свяжем с настоящим,
и прошлое свое воссоздадим.

Я вхожу сюда не впервые. И дверь с надписью «Директор» мне хорошо знакома. И человек, поднимающийся навстречу,— Александр Николаевич Грамп. Крепкое пожатие немолодой руки. Знакомое рукопожатие. Так здороваются ребята в райкоме. Это не совпадение. Это закономерность. В двадцатые годы Александр Николаевич был секретарем райкома комсомола. Его жизнь неразрывно связана с Красной Пресней. Его путь, его судьбу проходят каждый день многочисленные экскурсии по залам музея. Только этот путь не был прерван в первом зале — Гражданская война, его не остановила свинцовой точкой пуля в четвертом — Отечественная... Может быть, поэтому все те, кто остался портретами, письмами, дневниками, орденами на стендах, живут и сегодня вместе с Александром Николаевичем и его ровесниками, основавшими музей.

Зимний субботний вечер. Мы сидим вчетвером: Александр Николаевич Грамп, Александр Васильевич Крылов — заместитель директора по административной части, экскурсовод Юлия Владимировна Иванова и я. Только что закончилось еженедельное занятие методистов. Как внушительно это звучит: директор, заместитель, экскурсовод? Что же меня так удивляет в этом? Все. Но начну по порядку.

Три человека, которые сидят передо мною, в полном смысле слова ровесники века. Но как естественно в их устах звучат «Саша!», поочередно относящиеся к двум моим собеседникам, «Юленька!», адресованное подруге их возрожденной юности. Трудно поверить, что эти люди, энергично, молодо, заинтересованно говорящие о сегодня и завтра Красной Пресни, прожили такую большую жизнь и были непосредственными участниками ее легендарного прошлого! Ю. В. Иванова — делегат II съезда комсомола, участница III съезда... А. Н. Грамп — член ВЛКСМ с 1918 года, с 20-го — коммунист, делегат VI съезда комсомола... А. В. Крылов полвека проработал токарем на заводе «Красная Пресня»...

Об этом я узнала не от них — они говорят о другом: о своем детище, об этом музее — живом памятнике доблести отцов и дедов, школе воспитания боевых, революционных и трудовых традиций сегодняшнего поколения. А начался он с передвижной выставки в канун 50-летия ВЛКСМ. Эта выставка, посвященная ветеранам комсомола и партии, была создана по инициативе совета ветеранов Краснопресненского РК КПСС. Материал собирался восемь лет. Квартира А. Н. Грампа, как в далекие двадцатые, утратила на время

свой уют обычного московского жилища. Она стала как бы штабом будущего музея. Здесь собирали и день за днем кропотливо складывали суровую и вдохновенную мозаику прошлого Пресни комсомольцы, о которых никогда и никто не сможет сказать «бывшие»: Я. Ф. Каминер, П. Т. Артемьев, Н. И. Киселева, Т. Я. Рабинович, А. И. Хлюпшева, Е. А. Шувалова, А. А. Слободкина, М. М. Пугач, Е. А. Штерн, В. Н. Любимов, А. И. Литвейко и другие. Вначале их было не так уж много, а теперь актив музея — 59 ветеранов. Но и 310 человек совета ветеранов принимают участие в жизни музея. Ибо девиз этих людей: «Ты отвечаешь за молодое поколение!»

1967 год... Вечерняя школа рабочей молодежи № 54 на Черногрязской улице... Четыре шкафа и два сейфа, выделенные райкомом партии,— вот и все хозяйство музея.

1968 год... Принято решение на бюро райкома — дать здание на Большой Грузинской. Место выбрано не случайно: в двадцатые годы здесь же по соседству размещался райком комсомола.

Вот я и подошла, кажется, к ответу на вопрос: чем меня так удивили здесь в первые минуты слова «директор», «заместитель», «экскурсовод»? А тем, что все эти годы люди, отдающие музею каждую минуту своей жизни, работали и работают на общественных началах. За два с половиной года через его скромные залы прошло 46 600 экскурсантов. В их числе — представители 69 стран мира. Музей работает ежедневно. И ежедневно неутомимые экскурсоводы знакомят посетителей всех возрастов с историей комсомола, партии Советского Союза на простом и великом примере Красной Пресни.

Работа в музее поставлена так же серьезно и четко, как в любом государственном музее страны. Экспозиция музея — это только 10% материала. 90% — фонды, которые не только хранятся, но и изучаются. Методисты и экскурсоводы проходят специальную подготовку, к ним предъявляются высшие требования, что диктуется характером и объемом их работы.

А какова эта работа, можно судить хотя бы по некоторым записям в книге отзывов:

«Посещение музея оставило во мне незабываемое впечатление Мы и у нас будем воспитывать молодежь с таким же энтузиазмом. Если кто-либо из врагов посмеет выступить против СССР, всегда буду стоять на стороне СССР.

23 мая 1970 г. **Мария Мазаник** — Прага».

«Я восхищен всем, что мне пришлось увидеть в молодежном музее в Москве. Здесь хорошо выполнена планировка отделов музея, содержание каждого отдела и в целом всего музея. Хорошо объясняют содержание стендов экскурсоводы, тем более, что сами экскурсоводы ветераны и являются живыми свидетелями событий 50-летней истории комсомола.

Музей является большим фактором воспитания молодежи на идеях Ленина, традициях истории и творчества комсомола. 24 мая 1970 г. Член КПСС с 1920 г. **В. Ладыка** (Ленинград)».

«Это же здорово! Слушать человека, который видел и слушал Ленина. В нашем Ленинском зачете это очень, очень пригодится.

10 октября 1970 г. **Студенты медучилища № 13 им. проф. Филатова».**

«Благодарим за ясное изложение истории комсомола, которая нам во многом поможет в будущем — в освоении теории марксизма-ленинизма.

11 мая 1971 г. **Молодежь Гвинеи — Бисау, Островов Зеленого мыса, Анголы, Конго (Браззавиль), Бурунди».**

Эти записи открывают нам один из важнейших аспектов работы музея: в музее всегда можно встретиться с живыми участниками самых значительных событий современности. Поэтому желающих посетить музей больше, чем он может их принять. К тому же надо учесть, что по сложившейся традиции зачастую посещение музея заканчивается не у его порога словами прощания, а долгой дискуссией за столом с самоваром, откровенным разговором.

Вот, например, 12 июля 1971 года ветераны партии и комсомола встретились с группой американских туристов. Один из гостей в процессе дружеской беседы сказал:

— Мне кажется, что молодежь Советского Союза теперь менее революционна, чем их деды и отцы...

— Как же вы ему ответили?— поинтересовалась я.

— А отвечали ему не мы, а те, о ком он спрашивал...— Да, нам есть что ответить, комсомольцам семидесятых. Каждый день на этот вопрос своими делами отвечает штаб «Поиск», которым руководит А. В. Володина. Ребята-школьники разыскивают необычных людей, чья жизнь связана с Красной Пресней, героев гражданской и Великой Отечественной войн. Они в тесном творческом контакте с отделом кадров Министерства обороны, и любопытно, что нередко именно их находки оказываются ценными для официальных учреждений. Для многих из этих ребят мировоззрение, жизнь, судьба начинались здесь. Много раз подряд приходил в музей Федя Девятов из 594-й школы. Сначала простым экскурсантом. Потом после настойчивых просьб его включили в семинары, готовящие экскурсоводов. С девятого

класса он уже работал самостоятельно. И никто не удивился, когда Федя поступил на истфак пединститута, а все свое свободное время попрежнему посвящает музею... А разве не продолжает революционные и трудовые традиции поколения своего отца А. В. Крылова его сын, Игорь Александрович Крылов, который в 14 лет был награжден медалью «За оборону Москвы», а сейчас — мастер литейного цеха того завода, которому его отец отдал полвека жизни? И сколько можно привести таких примеров! Преемственность поколений не теория, а ежедневная практика нашей повседневной жизни. Поэтому музею, экспозиции которого далеко не ограничиваются стендами, тесно в этих стенах.

А. Н. Грамп с радостью говорит о решении построить новое здание музея. Уже есть его проект, сделанный по традиции пресненцев на общественных началах. В недалеком будущем мы будем иметь возможность увидеть все, что собрано энтузиастами и друзьями музея за эти годы.

— А пока посмотрим наш музей,— предлагает мне Юлия Владимировна, хотя сегодня у нее уже было три экскурсии.

Где же исток комсомольского рода?
Как ты начинался?
А так начинался:
Гневом народа, прозреньем народа
снаряд революции начинялся.
Было твое рождение близким:
рабочей закалки московские парни
по прокламациям большевистским
первую грамоту постигали.
Первая практика — это стачки,
первые строчки в твоем прологе.
Первая плавка корчагинской стали —
деды-подростки, которые встали
по пролетарской первой тревоге.
Встали, когда позвала революция,
на баррикады под красное знамя.
Улицы эти потом назовутся
их именами.

...1905 год. Декабрьское восстание. Вот они, вожаки революционной молодежи: девятнадцатилетний Фрунзе, двадцатишестилетний Литвин-Седой, двадцатитрехлетний Шмит... Их лица — на стендах первого зала музея, на бронзовых мемориалах улиц, названных в их честь...

Насмерть стояли, не отступали
под шквалами пуль, под лавиной штыков
рабочей закалки московские парни —
младшие братья большевиков.

...1917 год. Новые молодые имена возмужавшей юности Красной Пресни: Литвейко Анна, Попов Анатолий, Дугачев Михаил, Попов Игорь...

Именно Игорь Александрович Попов был сегодня гостем музея на очередном занятии методистов...

Выигран последний и решительный,—
свергнуты престол и произвол:
Родилась Республика. Родишься ты
вслед за ней, московский комсомол.
День рожденья твоего запомнится:
жди гостей из самых дальних мест,—
в этот день в Москве откроется
самый первый комсомольский Съезд!

VI съезд партии был съездом рождения комсомола. И естественно, что на I съезде новорожденного Коммунистического Союза Молодежи было много делегатов от Красной Пресни. Двое пресненцев стали членами его президиума. Того президиума, который в полном составе был в гостях у Ленина. Это Михаил Дугачев и Александр Безыменский. Помните запись: «Это же здорово слушать человека, который видел Ленина!» Старейший советский поэт Александр Ильич Безыменский — частый гость музея. И, наверное, каждый приход его сюда — это свидание с юностью, вчерашней и сегодняшней. С юностью Пресни, которой не будет конца.

...Нет пока еще устава.
Дым по небу разметав,
мчат поющие составы...
Разве это не устав?!
Он делами создается,
он поставил цель одну:
«уходили комсомольцы
на гражданскую войну»...

Уходили они и с Красной Пресни. Уходили по-разному: одни призывниками, другие добровольцами, а третьи... «дезертирами»! В тылу тоже был свой фронт. И руки квалифи-

цированного рабочего были равноценны рукам, сжимавшим винтовку на передовой. И все-таки многие горячие головы бежали на фронт. Их возвращали и строго судили, ибо комсомольская дисциплина была равна военной. И среди осужденных нередко оказывались те, кто уже имел боевые награды. Вот какая она, Красная Пресня... Николай Данилов в восемнадцать лет был комиссаром полка у Щорса, а на его родной «Трехгорке» в это время рождалась первая комсомольская ячейка. Когда мы произносим «Трехгорка», перед нами встают улыбающиеся девичьи лица. Такова специфика комбината, тогда — фабрики. А с фотографии первых комсомольцев фабричной ячейки смотрят на нас одни... мальчишки. И только в центре мы видим черно-белую красную косынку. Это первая комсомолка Паша Петрушева. Каждый понедельник возле этого стенда можно встретить теперешних мальчишек и девчонок подчас с той же «Трехгорки», пришедших специально, чтобы встретиться с Прасковьей Васильевной, рассказывающей о том времени, про которое Николай Асеев писал: «В обиход слова входили КОМСОМОЛ, АВРАЛ, РАЙКОМ...» Потому что, несмотря на далекую канонаду, жизнь продолжалась, диктуя свои трудности, требуя полной отдачи и вербуя лучших на самые ответственные дела.

Вместе с партией комсомол участвовал в создании Советского государства. Частица его родилась на Пресне. 600 детей из Бухары были привезены на Красную Пресню. И, наверное, воспитанники детского дома на Пресне, где бы они ни были, с благодарностью вспоминают ее гостеприимство. А юные пресненцы из штаба «Поиск» интересуются сейчас ими: где они, кем стали, как сложилась их судьба? Вспоминают Пресню в Узбекистане и за... чаем. Дело в том, что в 22-м году потомки Левши из Тулы подарили М. И. Калинину гигантский самовар. Всесоюзный староста преподнес его красногвардейцам Пресни, а те, в свою очередь, передали его в дар Бухарской Народной Республике. В 1935 году этот тульско-пресненский сувенир попал в первый узбекский колхоз, который теперь миллионер. Там он находится и поныне...

Где только не оставила Пресня свой неизгладимый след! На своем V съезде комсомол взял шефство над флотом. Это тоже было пятьдесят лет назад. Комсомольцы по заданию райкома надели бескозырки. Сейчас с ними рядом под музейным стеклом — регалии и награды двух контр-адмира-

лов, А. Я. Юровского, С. В. Кудряшева, и вице-адмирала В. Л. Богденко.

Летом 1971 года комсомольцы района побывали у своих друзей, моряков Балтики.

Пресня — не только родина первой революции. Многое начиналось здесь. Например — пионерия. Первый пионерский отряд, первый пионер — Борис Федосеевич Кудинов. К юбилею пионерской организации имени Ленина музей подготовил большую выставку. В ее создании, конечно, принимали участие и первые пионеры первого отряда — пионера пионеров.

Пионерами были пресненцы во многих начинаниях молодого Советского государства. Так, например, Лев Шейнин по рекомендации райкома пошел работать в прокуратуру. Владимир Богданов — в Наркомат финансов. А «комсомольский прожектор» тех лет, который называли «легкой кавалерией»? Эти ребята не просто контролировали ведение хозяйства на предприятиях, они во все вносили свои творческие коррективы, иногда — с категоричностью молодости. Хотя бы незабываемый эпизод, забавный и поучительный — с «арестованным паровозом». Пресненские «буденновцы» угнали его ночью из депо. Не гайку вынесли и даже не рельсу. Целый паровоз угнали! И наложили на него арест. А наутро вышел «боевой листок» о «знаменитом» паровозе, где виновники угона совершенно справедливо осуждали пострадавших ротозеев.

Да, работали ребята с выдумкой... В бывшей Пименовской церкви провели Краснопресненскую конференцию беспартийной молодежи, где присутствовало 750 человек. После отчета райкома начались прения. Но прения необычные. Прения-действия. Кто-то рвал зеленый мандат конференции с твердым желанием вместо него заслужить членский билет ВЛКСМ... Кто-то прислал в президиум нательный крест с запиской: «Это последнее, что осталось у меня от старого мира». Эта многочасовая конференция была блистательной победой агитационной работы пресненского комсомола.

Комсомол Пресни всегда был таким действенным помощником и резервом партии именно потому, что он был комсомолом Пресни.

Театр Мейерхольда... Пименовская церковь, ставшая комсомольской аудиторией... Диспуты... Выступления Маяковского. Первая в Москве обсерватория... Все это было на Пресне. На Пресне, которая сама провозглашала задорное

«Даешь!» или с готовностью подхватывала этот клич соседей.

Даешь метро — подземный город!
Даешь! — взывают кумачи.
И мрамор станций вечно молод,
как те ребята-москвичи —
передовая Комсомола.

Строительство метрополитена. Шахта 9-бис. Бригадир Алексей Яремчук. Награжден двумя орденами Ленина. Первые ФЗУ. Кузница нового рабочего племени. Это все — Пресня.

...Приколотая наспех,
как проколотая штыком,
короткая надпись:
«Все ушли на фронт» —
закрыт райком.

И снова, как в семнадцатом, два фронта: передовая и тыл. Но за два десятилетия комсомол возмужал, обрел политический и трудовой опыт. С первых дней войны девять тысяч комсомольцев Красной Пресни надели солдатские шинели. Это свыше половины комсомольцев района. Многочисленные высокие правительственные награды, очерки и книги об этих людях, их дневники и письма с фронта — живое свидетельство традиционной храбрости и самоотверженности пресненцев. А младшие сестры и братья фронтовиков достойно заменяли их у станков. Они тоже становились фронтовиками: бригада, выполняющая норму на 150%, получила звание фронтовой. Пресня сражалась.

Это были все
бойцы решительные,
делу верные,
ребята свойские;
пулями к телам их пришитые,
кровью смочены
билеты комсомольские.

Николай Асеев.

Многие не вернулись на Пресню, чтобы остаться с ней навсегда. Многих мы узнаем на портретах. Их имена навечно вписаны в историю комсомола. Наташа Качуевская. Будущая актриса. Юное, милое лицо... Санинструктор. Девушка с Пресни, погибшая в битве за Волгу... Анатолий Живов. Семнадцать лет. Краснопресненский Александр Матро-

сов... Длинный ряд портретов. Незабываемых лиц. И за каждым — судьба, Пресня, героика, бессмертие...

Юные пресненцы отдавали свою жизнь за Родину не только на передовой. Они погибали, защищая ее непосредственно: на крышах ее домов, предприятий, на ее мостовых. И если о героях фронта написано немало, если мы знаем о них все или почти все, то о ребятах, павших на Пресне, материал только еще собирается. И очень правильно, что на стендах музея их лица в одном ряду с лицами прославленных бойцов. Они действительно в одном ряду, вернее, в рядах — в рядах комсомола. Пока старший брат Ильи Гормана защищал свою Родину, свою Пресню, с оружием в руках, шестнадцатилетний подросток работал на заводе «Красная Пресня». Здесь на заводе он и погиб во время дежурства. Осколок фашистской бомбы оборвал не только юную жизнь, но и талант. Именно он мог бы сегодня писать этот очерк: в шестнадцать лет им были написаны две повести, несколько рассказов. Он был лауреатом Всесоюзного литературного детского конкурса. Вот несколько строк Корнея Чуковского, председателя жюри: «...одна из наиболее почетных премий была присуждена Илюше Горману, автору талантливых произведений. Илюша подавал большие надежды, поэтому я с таким огорчением узнал... что его талант не успел развиться, так как Илюша погиб смертью храбрых». Илья Горман посмертно награжден медалью «За оборону Москвы».

Вот так, не жалея себя, своего будущего и во имя его молодежь Красной Пресни трудилась и сражалась. Ее устами, о ней и для нее повествует о днях войны, о дне победы Константин Яковлевич Самсонов, командир батальона, водрузившего наше знамя над рейхстагом. Ребята, которые его окружают, очень похожи на тех, о ком он рассказывает. А зал со стендами, посвященными их повседневной жизни,— как бы рапорт поколению, защитившему их счастье.

На белом свете лучше парня нет,
чем комсомол шестидесятых лет!

Михаил Светлов.

...А Красная Пресня все молодеет. Может быть, потому, что чем богаче история, тем богаче и моложе душа тех, кто наследует и продолжает эту историю. Все тот же задор, все та же выдумка, все тот же энтузиазм. И не случайно мои радушные хозяева так же приподнято и заинтересованно говорят о моих ровесниках, как о соратниках своей юности.

Говорят о пресненцах, уехавших на целину по путевкам комсомола и основавших в Кустанайской области совхоз «Краснопресненский». О том, как помогали пионерам района, собравшим семьсот тонн металлолома, превратить его в семь вагонов поезда «Красная Пресня», и о многих других славных делах и молодежи, и ветеранов Красной Пресни. Этот зал бесконечен, его экспозицию создает ежедневно сама жизнь. И недаром у выхода — стенд, который знакомит с ежемесячной хроникой комсомольских дел. Я долго читала ее, хотя знала и до прихода сюда. Я просто пыталась скрыть волнение, мешавшее мне найти слова благодарности. И все-таки в конце концов я сказала простое «спасибо» и «до скорой встречи», потому что люди, создавшие музей вечной молодости, люди дела, а не слов. И благодарить их надо делами. Так же увлеченно и бескорыстно, как делают это они.

Снова крепкие рукопожатия немолодых рук... И долгий путь по улицам Пресни — продолжение экскурсии. Нет, не экскурсии: жизни, молодости. И где-то возле площади Восстания— сердца Пресни рождается мысленный ответ незнакомому американскому юноше, упрекнувшему нас в отличии от отцов и дедов. Сама Пресня отвечает ему, диктуя мне строки стихов:

Из обломков рассказа встает
эта площадь в кровавых пятнах...
Деду шел двадцать первый год,
а двадцатому веку — пятый.
Я ищу на полотнах карт,
на раскрашенной ярко плоскости
города боевых баррикад
на одной неширокой площади.
Преклоненье встает во мне
и хорошая зависть тайная
к легендарной этой стране
по названию — площадь Восстания.
Вражьих пушек звериный рев,
пролетают снаряды низко...
Командиры кричали: «Вперед!»
Или так: «Вперед, коммунисты!»
...Постарел мой высокий дед,
оставлял себя в деле каждом.
И седым стал от дум и дел,
но он верен своим баррикадам.

Жизнерадостный и простой,
очень старый и очень мудрый,
заразил он меня мечтой,
заразил он меня Коммуной...
И я знаю, не требуя льгот,
не прося поблажек и выгод,
на призыв: «Коммунисты, вперед!» —
все мое поколение выйдет.

Борис ФИЛИППОВ

В нашем доме

Центральный Дом литераторов имени А. А. Фадеева в Москве занимает два смежных здания. Их возраст разделяет столетие. Старинный барский особняк, принадлежавший когда-то графу Олсуфьеву, соединен с новым строением современной архитектуры.

Роскошный Дубовый зал олсуфьевской половины, с ложами и антресолями, украшенный художественной резьбой по дереву, до сих пор поражает выдумкой и мастерством русских умельцев.

По дошедшему до нас преданию, Александр III, почтивший однажды своим посещением Олсуфьева, поднимаясь из этого зала по узенькой лесенке в интимные покои графа, споткнулся и сломал ногу, а десять лет спустя после его смерти здесь же, в районе олсуфьевского особняка, на баррикадах мятежной Пресни, споткнулся на обе ноги и весь царский строй.

Мог ли предположить сиятельный граф, что его знаменитый особняк, предназначенный для собраний масонской ложи, превратится со временем в клуб самых отъявленных «смутьянов», пролетарских «сочинителей», и в Дубовом зале будут происходить жаркие литературные дискуссии, а рядом с ним, в уютной «каминной», разместится партийный комитет коммунистов-писателей Москвы?

Есть нечто символическое в том, что Центральный Дом литераторов расположен как бы меж двух улиц, названных именами выдающихся русских писателей-публицистов: революционного демократа Герцена и пламенного большевика Воровского. Эти имена всегда будут напоминать о преемственности традиций русской литературы в деле благородного служения своей Родине.

ЦДЛ, как сокращенно называют москвичи наш Дом,— место коллективного творчества и отдыха писателей, укрепления их взаимоотношений. Здесь они завязывают живые кон-

такты с читателями, а подчас и с героями своих будущих произведений. Видные деятели советского государства, ученые, передовики производства выступают в стенах клуба. На этих встречах с литераторами квалифицированно обсуждаются проблемы науки, культуры, промышленности, сельского хозяйства, бытового обслуживания и т. д.

Министры, часто и охотно выступающие в ЦДЛ, признают, что жизненные наблюдения писателей нередко приносят большую пользу и государственному аппарату.

Не так давно мне довелось присутствовать на собеседовании писателей с председателем Моссовета В. Ф. Промысловым. «Мэр города» подробно рассказывал о планах реконструкции Москвы, о службах быта, о гигантском размахе жилищного строительства. Писатели говорили о превращении столицы в образцовый коммунистический город, о благоустройстве, о необходимости борьбы не только с излишествами, но и с упрощенчеством в архитектуре, о культуре городской рекламы, о транспорте, торговле, о здравоохранении и просвещении. Активное вторжение в жизнь — основной лозунг советской литературы. Эти слова стали девизом и нашего клуба.

Кто только не побывал в Центральном Доме литераторов! Надолго останутся в памяти встречи с нашими героями-космонавтами во главе с легендарным Юрием Гагариным. Гостями писателей были крупнейшие зарубежные деятели науки и культуры и выдающиеся советские ученые. В стенах нашего Дома мы встречались с всемирно известным датским физиком Нильсом Бором и прогрессивным художником и общественным деятелем США Рокуэллом Кентом.

Иностранных гостей обычно поражает не только масштаб работы Дома, многогранность писательских интересов, но и сам факт существования такого литературного клуба, деятельность которого не ограничена узкоцеховыми вопросами.

Мы пригласили как-то в клуб приехавшую на гастроли в СССР известную киноактрису Марлен Дитрих.

— А смогу ли я увидеть Паустовского? — спросила она.— Я считаю его одним из самых выдающихся писателей!

К. Г. Паустовский незадолго до этого болел, но мы обещали все же передать ему просьбу Дитрих.

Концерт нашей гостьи был тепло принят писательской аудиторией, но Паустовского не было видно. Мы решили, что

состояние здоровья не дало ему возможности откликнуться на приглашение.

Когда же кончился концерт и Дитрих появилась вновь, отвечая поклонами на шумные аплодисменты, через зал быстро прошел Паустовский, неся в подарок артистке свои книги. Он поднялся по ступенькам на сцену, и Дитрих сказали, что это и есть любимый ею советский писатель. Оказывается, немного запоздав к началу концерта, он просидел весь вечер где-то в конце зала.

Артисты — экспансивные люди. Марлен Дитрих реагировала восторженно: опустилась на колени перед растерявшимся писателем и начала целовать его руки...

В нашем Доме — каждый день премьера, каждый день что-либо новое.

Размышляя о прошлом, я, как опытный «домовой», отдавший свыше сорока лет своей жизни Домам творческой интеллигенции, думаю о том, как отличаются наши клубы от дореволюционных и существующих ныне в капиталистических странах.

Энциклопедия Брокгауза и Ефрона сообщает, что организатором первого клуба в Москве еще в XVIII веке был некий предприимчивый гробовых дел мастер Уленгут и что клуб этот «прославился громкими скандалами».

В минувшем веке в Москве существовал аристократический Английский клуб, о котором Пушкин писал в одном из писем жене:

«В клубе я не был, — чуть ли не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. Надо будет заплатить 300 рублей штрафа, а я весь Английский клуб готов продать за двести».

Давно уже кончилось время «благородных собраний», объединявших дворянство, и сословных купеческих клубов. У нас нет и не может быть процветающих на Западе и в Америке «клубов холостяков», «клубов любителей бараньих паштетов» и «клубов вралей». И такой существовал в США, сплачивая, по-видимому, под своей кровлей представителей американской «желтой прессы».

Я часто сравниваю работу ЦДЛ в наши дни с работой клубов творческой интеллигенции в начале тридцатых годов. Какая огромная разница, как изменились масштабы и как выросли запросы писателей и наших читателей!

Восемь пятилеток преобразили лицо страны. С каждым годом растут жизненный уровень и культура советских людей. Возникли новые жилые районы, равные по своему на-

селению большим городам. Миллионы семей обеспечены телевизорами — современными «клубами на дому» — и могут без всяких хлопот бесплатно смотреть спектакли, фильмы и слушать лекции.

И все же, хотя современная техника и способствует просвещению и отдыху, ничто и никогда не заменит потребности людей в живом непосредственном общении друг с другом.

Мы имеем дело с весьма сложным контингентом. Каждый писатель — индивидуальность, со своей манерой писать, со своим видением жизни. Но писатель не имеет права отставать от жизни. Информация необходима писателю, как воздух.

Дом литераторов стремится помочь писателям в расширении кругозора.

Можно сказать, что деятельность нашего клуба в какой-то степени напоминает работу редакции периодического издания — газеты, журнала. Успех нашей работы определяется умением своевременно откликнуться на актуальные события общественной жизни, улавливать интересы аудитории. В то же время очень важно, в какие формы облекается тот или иной вечер. Если перефразировать старое изречение, имеющее отношение к искусству, можно сказать, что «все виды клубной работы хороши, кроме скучных». У нас высококвалифицированная, интеллектуальная аудитория. Важны не только массовые собрания, а так называемые «малые формы»: беседы за «круглым столом», семинары, творческие дискуссии, различного рода встречи с интересными людьми.

Большой симпатией у писательской аудитории пользуется устный «Журнал журналов». Каждый выпуск формируется при участии настоящих журналов — политических, литературно-художественных и научных. Редакции печатных органов обеспечивают в этом устном альманахе свои «страницы».

В Доме проводятся вечера «В кругу друзей», начатые по инициативе Льва Кассиля. В старом олсуфьевском зале звучат новые стихи, музыка, песни, воспоминания, экспонируются и обсуждаются новые работы художников. Здесь собираются мастера смежных творческих профессий: писатели, художники, композиторы, актеры и режиссеры.

Сама жизнь объединила, например, в серьезном творческом разговоре писательницу Галину Серебрякову, поэтов

Семена Кирсанова и Павла Антокольского, художника Николая Жукова, кинорежиссера Григория Рошаля и актера Льва Свердлина. Все они средствами своего искусства пытались воплотить в художественной форме образ Маркса. И было интересно послушать, какими же путями шел каждый из них к решению этой задачи.

...Уже восемь лет при ЦДЛ существует уникальный народный университет литературы. С его трибуны выступали виднейшие писатели: К. Федин, Н. Тихонов, К. Симонов, Б. Полевой, А. Безыменский, С. С. Смирнов, Л. Соболев, Н. Грибачев и многие другие.

Ученый совет университета пять лет возглавлял редактор журнала «Вопросы литературы» В. М. Озеров, а последние годы им руководит литературовед С. И. Машинский.

В отличие от многих народных университетов, ориентирующихся просто на «население», университет ЦДЛ создан целенаправленно. Его слушатели — преподаватели литературы в школе, библиотечные работники, общественные пропагандисты книги, работники книжной торговли. Это подлинно заинтересованная аудитория, для которой знание литературы нужно, как хлеб насущный. Вот записка, полученная на одном из занятий университета членами ученого совета: «Милые наши учителя! Знайте, что из-за города — ст. Мамонтовская по Ярославской ж. д. — приезжают на занятия 12 учителей литературы, а пять лет назад приезжал только один».

Да, университет литературы ЦДЛ не случайно удостоен первой премии на всесоюзном смотре народных университетов, проведенном обществом «Знание». И этим мы обязаны главным образом общественному активу писателей.

В славную годовщину пятидесятилетия Советской власти прозаики и поэты, очеркисты и драматурги встречались со старыми коммунистами, виднейшими историками, с организаторами первых колхозов, со знаменитыми строителями, с героическими участниками гражданской и Великой Отечественной войн. В дни празднования 100-летия со дня рождения В. И. Ленина в планах Дома широко отражалась литературная Лениниана. Почетными гостями ЦДЛ были делегаты XXIV съезда партии.

Значительное место в жизни нашего Дома занимает военно-патриотическая тема.

В память о товарищах по перу, отдавших жизнь в боях

за Родину, в вестибюле установлена мраморная мемориальная доска.

Традиционными стали встречи писателей-фронтовиков в День Победы. Каждое 9 мая боевые товарищи собираются в Доме на воинскую перекличку, выстраиваясь линейкой в клубном фойе. И когда по списку называются дорогие имена писателей, погибших на фронтах, правофланговый отвечает:

— Пал в боях за Родину!

Смотр писателей-фронтовиков принимают обычно почетные гости — маршалы Советского Союза, генералы и адмиралы.

Во время войны на средства писателей В. Гусева, С. Маршака, С. Михалкова, Н. Тихонова и художников М. Куприянова, Н. Крылова, Н. Соколова (Кукрыниксы) был построен танк «Беспощадный». Макет танка, искусно изготовленный танкистами, установлен в здании ЦДЛ в день 25-летия праздника Победы.

За время боев экипаж «Беспощадного» уничтожил 14 фашистских танков, 4 танкетки, 6 броневиков, 5 автомашин, 3 ПТО и 17 других орудий противника, 17 пулеметов, 3 миномета, несколько дзотов и складов с боеприпасами и около батальона гитлеровцев. Командир танка П. М. Хорошилов и командир орудия А. И. Фатеев погибли в боях с фашистами.

Оставшиеся в живых механик-водитель «Беспощадного» Е. С. Царапин и его помощник Г. И. Филиппов были среди нас в дни праздника Победы. И оба вспоминали стихи Самуила Маршака, начертанные на башне танка:

Штурмовой огонь веди,
Наш тяжелый танк.
В тыл фашисту заходи,
Бей его во фланг.
Экипаж бесстрашный твой,
Не смыкая глаз,
Выполняет боевой
Родины приказ!

К нам приходят выдающиеся полководцы. В их числе маршалы Советского Союза Г. К. Жуков, И. Х. Баграмян, И. С. Конев, В. И. Чуйков.

Центральный Дом литераторов стремится помочь писателям в их творчестве, в реалистическом изображении нашей действительности. Этому способствуют не только встречи в самом ЦДЛ, но и выезды писателей на предприя-

тия, в колхозы и совхозы, ознакомление с производством, условиями труда и быта, беседы с рабочими, с партийным и хозяйственным активом.

Незадолго до XXIV съезда партии Центральный Дом литераторов подписал договор о социалистическом содружестве с мельничным комбинатом № 4, расположенным в Краснопресненском районе. На комбинат, оборудованный по последнему слову техники, выехала бригада ЦДЛ во главе с председателем правления К. М. Симоновым. В конференц-зале комбината часто проводятся литературные вечера, выступают лекторы, происходят встречи с интересными людьми. А работники комбината, в свою очередь, приглашаются на многие вечера в Дом литераторов.

Писатели рады дорогим гостям. Нам есть чем гордиться. У нас побывали не только выдающиеся представители науки и культуры, но и борцы международного коммунистического и национально-освободительного движения. Среди них Пальмиро Тольятти, Альваро Куньял, Генри Уинстон. Надолго останется в памяти писателей встреча с нашим венгерским другом Яношем Кадаром.

Мы всегда помним, что клуб должен быть местом непринужденного отдыха. Вот почему мы стремимся на многих наших вечерах вызвать добрую улыбку у своих гостей. Какой бурный смех и оживление зрительного зала достались на долю первоапрельской шуточной лотереи — по гардеробным номеркам. Выигравший по своему номеру единственный «Гран при», ринулся на сцену. А когда распаковали большой сверток, оказалось, что обладатель «счастливого» номера «выиграл» свое собственное пальто, сданное им на хранение в гардероб...

...Центральный Дом литераторов призван прежде всего служить делу идейно-политического воспитания, пропаганды марксизма-ленинизма, непримиримой борьбы с враждебной идеологией, обмену творческим опытом писателей и укреплению их связи с жизнью.

Но именно правильное сочетание задач идейного воспитания и отдыха позволило нашему Дому завоевать признание писателей столицы.

Мы говорим писателям и гостям, приходящим в наш Дом: «Будьте, как дома!»

Олег ВОЛКОВ

Прогулка в прошлое

«Солдатушки, бравы ребятушки...» Конь с места понесся вскачь, офицер выхватил шашку и, увлекая за собой строй драгун, устремился на чернеющую поперек улицы цепочку рабочих. Те стоят плечом к плечу, чтобы не отступить перед натиском. Над домами словно повисла зловещая тишина, и чудятся багровые отсветы вспыхнувших вокруг пожаров... Пылает подожженная снарядами Пресня.

Эта картина Валентина Серова всегда встает перед глазами, когда слышишь о Пресне или попадаешь в этот район, бывший некогда ареной ожесточенной схватки пролетариата Москвы с самодержавием. Громкие отзвуки декабрьского восстания прокатились по всей России, предвещая близкое крушение старых порядков... Бродя по улицам и переулкам старой Пресни, вглядываясь в фасады домов, уцелевших от начала века, вновь склоняешь голову перед мужеством рабочих, которые отважились на единоборство с царизмом.

История этого старинного и своеобразного района Москвы начинается, однако, не с революции 1905 года, представляющей славнейшую страницу Пресни, а насчитывает несколько веков. Она, эта история, заслуживает того, чтобы мы, не останавливаясь подробно на сравнительно близких от нас событиях, шагнули в давно отошедшие эпохи и попытались воспроизвести их отдельные штрихи и черточки.

Итак, до 1918 года нынешняя улица Красная Пресня называлась Большой Пресненской. Еще в XII—XV веках она составляла часть Волоцкой дороги в Москву из Новгорода через Волоколамск. Ее начало пересекала река Пресня; в XVII—XIX веках по обеим сторонам улицы располагались пруды. Из них сохранились только два, находящихся за оградой зоопарка.

История этих прудов уводит нас в седую древность. Уже в XIV веке реку Пресню перегораживала у устья плотина и тут стояла деревянная мельница, принадлежавшая вла-

дельцу обширных угодий села Кудрина князю Владимиру Андреевичу, прозванному Храбрым, герою Куликовской битвы. Эта мельница позднее перешла во владение великокняжеского, а затем царского двора. Она просуществовала более четырехсот лет: не стало ее лишь на исходе XIX века. В 1682 году царь подарил мельничный пруд патриарху, и тот распорядился выкопать еще три пруда и завести в них рыбное хозяйство.

Река пересекала улицу Большую Пресню в самом начале, где-то против нынешней станции метро, проходя под мостом — ранее деревянным, а с 1805 года каменным. К югу от улицы тянулся «государев сад», ставший с конца XVII века патриаршим, а с северной стороны к ней примыкало дворцовое село Воскресенское. Отмечу, что уже тогда на месте нынешнего зоопарка размещался небольшой царский зверинец. Не знаю, тесно ли было его питомцам — вероятно, их держали, по тогдашнему обычаю, в глубоких ямах,— а вот про нынешний Московский зоопарк можно положительно сказать, что он, по малым своим размерам, скученности обитателей давно перестал отвечать масштабам столицы.

Пресненские пруды некогда пользовались большой известностью: с 1806 года здесь устраивались гуляния. Самые пруды и земли вокруг были скуплены для города начальником Кремлевской экспедиции Валуевым, топкие берега укреплены, по ним насажены деревья и разбиты аллеи. Дважды в неделю на прудах играла музыка. Средний пресненский пруд, занимавший всю площадь от нынешней Красной Пресни до моста 1905 года, был отведен для катания на лодках.

Такой взыскательный человек, как поэт Константин Батюшков, писал о Пресненских прудах языком хвалебным.

«Пруды украшают город,— читаем в его записках,— и делают прелестное гуляние. Там собираются те, которые не имеют подмосковных, и гуляют до ночи. Посмотри, как эти мосты и решетки красивы. Жаль, что берега, украшенные столь миловидными домами и зеленым лугом, не довольно широки. Большое стечение экипажей со всех сторон обширного города, певчие и роговая музыка делают сие гульбище из приятнейших».

Автор известных воспоминаний Филипп Вигель скуп на похвалы, но и он посвятил Пресненским прудам восторженные строки:

«...Я жил поблизости, и случалось мне с товарищами проходить по топким и смрадным берегам запруженного ручья Пресни. Искусство умело здесь из безобразия сотворить красоту. Не совсем прямая, но широкая аллея, обсаженная густыми купами дерев, обвилась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов; подлые гати заменены каменными плотинами, через них прорвались кипящие шумные водопады; цветники, беседки украсили сие место, которое обнеслось хорошей железной решеткой. Два раза в неделю музыка раздавалась над сими прудами. С великим удовольствием был я на этом гуляньи»...

С Пресненскими прудами связан любопытный обычай: еще в середине прошлого века московское купечество устраивало тут на духов день смотр невест. На скамейках чинно сидели насурмленные и расфранченные купеческие дочки, по аллее прохаживались кавалеры в длиннополых сюртуках с низкой талией, поглядывая на выставленный «товар» и уж, разумеется, справляясь у юрких, сновавших в толпе свах о приданом, на какое может рассчитывать посватавшийся к приглянувшейся девице молодец...

Впрочем, и в более поздние годы, но уже не в начале лета, а зимой, Пресненские пруды привлекали молодежь. Правда, барышни и кавалеры обходились без свах — знакомились, катаясь на коньках.

О катке на Пресне рассказал в «Анне Карениной» Толстой. Помните, с каким волнением Левин подъезжал к зоологическому саду и потом пошел дорожкой к горам и катку? Вокруг стояли старые кудрявые березы, опушенные инеем, у подъезда дожидались «кареты, сани, ваньки, жандармы...». Левин ничего не видел, не узнал окликнувшего его знакомого, а на льду катка сразу угадал, где Кити, «по радости и страху, охватившим его сердце».

...Неузнаваемо меняется на протяжении веков облик городских урочищ, и нам сейчас куда как трудно представить на месте той же станции метро «Краснопресненская» лоно «вод озеровидного пруда», бесследно исчезнувшую с лица земли речушку Пресню, ныне текущую где-то в трубах, проложенных глубоко под покровом улиц Красная Пресня и Дружинниковская. Там, где тянулись нескончаемые царские сады, лениво вились тишайшие улочки с деревянными домиками и длинными заборами да ставились первые фабричонки, там ныне шумно, в напряженном ритме вершится современная городская жизнь и выросли на асфальтовом разливе

плоские башни многоэтажных зданий. Следы прошлой Москвы стираются... Тем интереснее нынешнему горожанину, зачастую спешащему по своим делам мимо примелькавшихся «анонимных» домов, вдруг обнаружить, что ходит он по любопытнейшим местам. Как часто за немым фасадом заурядного здания оказывается исторический уголок старой Москвы! Для тех, кто любознателен и пытлив, московские улицы берегут неожиданные находки...

...Мчатся по Садовому кольцу потоки машин, скапливаются у светофоров возле площади Восстания группы прохожих. Если стоять у выхода улицы Герцена на площадь, лицом к высотному зданию, за спиной окажется двухэтажный дом, в котором жил Чайковский. Но не густо-зеленый сквер, разбитый ныне у подножья высотного здания, открывался композитору из его окон. Перед ним привычно белел непритязательный силуэт церкви Покрова на Кудрине, прихожанином которой был в свое время Грибоедов. (Его дом в сильно перестроенном виде сохранился и поныне.) Небоскреб возведен как раз на месте этой церкви. Но незыблемо, как и ныне, тянулся вдоль площади массивный фасад дома с грузным дорическим портиком, где расположился Институт усовершенствования врачей. Это здание в XVIII веке принадлежало генералу Глебову, затем перешло в казну, и с 1811 года вплоть до Октябрьской революции было занято Вдовьим домом — богадельней для вдов и сирот военных и чиновников. Постройку дома приписывают Казакову. После пожара 1812 года дом восстанавливал Жилярди. Вскоре после того был надстроен второй этаж.

За институтом, если спускаться от площади по Красной Пресне, минуешь старинные здания пожарной части, потом идешь мимо большого доходного дома типичной для начала XX века архитектуры и выходишь к небольшой площади перед входом в зоопарк. Вправо уходит Большая Грузинская улица... Словно и нет вокруг ничего примечательного: фасады современных многоэтажных домов, и в разрывах между ними — уходящие в глубь квартала застроенные дворы. В ряду этих зданий — Министерство геологии СССР. Можно пройти за решетчатые ворота во двор и заглянуть в «тыл» министерства. Слева за оградой добротный двухэтажный особняк музыкального училища с громадными окнами; за ними просторные комнаты и залы с высоченными потолками, в которых отлично разносятся музыка и голоса. За этим особняком — длинный фасад приземистого барского

дома, выстроенного по всем канонам. Классический фронтон, фриз благородного и скромного рисунка, по стенам — остатки руста и простейшего геометрического декора. Окна заколочены, три ветхих крылечка, каким бы лепиться к загороженному сиренью и акацией флигельку или службам скромной усадьбы, а никак не к этому внушительному, несмотря на обветшалость, дому. На всем следы убогой старости. Штукатурка отвалилась — крупные куски ее, твердые, как камень, лежат в траве. Обнажились почерневшая драны и стены, рубленные из толстых бревен. Нижние венцы сильно подгнили, но дом не покосился, даже не просел, держится прямо, как в лучшую свою пору. Несмотря на печальные приметы, дом сохранил в своих пропорциях и во всем облике печать талантливости архитектора. Слепой и немой, наглухо заколоченный, он все же привлекает внимание: что-то не позволяет скользнуть по нему равнодушным взглядом.

Еще в XVIII веке, 200 лет назад, этот дом выстроил для себя князь М. М. Щербатов, известный историк, деятель первоначального периода царствования Екатерины II. Щербатов участвовал в составлении знаменитого наказа, каким объявлялось о предстоящем пересмотре и изменении основных законов империи. Это было в то время, когда вольнодумцы и просветители были в моде при русском дворе...

После Щербатова домом владели Толстые, Аксаковы, Бутлеровы. А в погожий осенний день 1859 года к нему подъезжал Владимир Иванович Даль, переселившийся с многочисленной семьей из Оренбурга в Москву. Тогда со стороны Пресни открывался вид на щербатовский дом, колонны которого выглядывали из-за деревьев старых садов.

Даль прожил большую, насыщенную событиями жизнь: искусный хирург, учившийся со знаменитым Пироговым и до конца дней сохранивший с ним тесную дружбу, офицер русского флота, друг адмирала Нахимова, человек, коротко знавший Пушкина. К Далю были обращены последние слова смертельно раненного поэта...

В свое время Даль был широко известным писателем: если мы теперь знаем лишь составителя «Толкового словаря живого великорусского языка», то современники зачитывались высоко оцененными Белинским рассказами Казака Луганского — псевдоним Даля (Даль родился в Луганске; его отец был врачом).

Дом Даля сейчас заколочен, внутрь войти нельзя.

В щели ставен еле видны очертания покоев. Но не нужно обладать пылким воображением, чтобы представить себе залы этого дома, наполненного голосами, движением, музыкой.

Две дочери Даля, Ольга и Мария, прекрасные пианистки, обучались у Николая Рубинштейна, основателя Московской консерватории. В этом доме у Даля долгое время жил писатель Мельников-Печерский, написавший здесь роман «В лесах». Бывали тут и друзья хозяина — актер Щепкин, историк Михаил Погодин, профессоры Московского университета, многочисленные почитатели, участливо и ревниво следившие за завершением труда всей жизни Даля — знаменитого толкового словаря. В этом доме была сосредоточена картотека, которую он начал собирать юношей...

Огромная ценность словаря Даля очерчивается все яснее по мере того, как отступает от нас его время: теперь только «у Даля» удается установить значение и корни иного вышедшего из употребления слова, верно понять происхождение забытых выражений, особенно местного характера или связанных с прежним крестьянским обиходом, промыслами и обычаями деревни. Кто не обращался к «Толковому словарю» в минуту сомнения, ведомую каждому, в ком последовательные реформы, которым русское правописание подверглось на протяжении нынешнего века, пошатнули уверенность в знании правильного словонаписания и падежных окончаний? Да, с годами все глубже обнаруживается непреходящая значимость труда Даля — призванного служить маяком многовековому пути развития русской речи.

Во дворе перед домом, в котором Даль прожил свои последние четырнадцать лет, растет лиственница, посаженная знаменитым лексикографом. Ей наш взгляд, прежде чем покинуть двор и снова выйти на улицу. И мысль: авось да будет осуществлена реставрация дома Даля, за которую взялось Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры, и в нем разместится музей русской словесности...

...Почти бесшумно проносится трамвай, по узкой улице в один ряд бегут машины, с двух сторон — решетки зоопарка: это современная Большая Грузинская улица. Есть еще Малая Грузинская; да и всю округу еще продолжают по старой памяти называть Грузинами. Название восходит к началу XVIII века.

Вот несколько штрихов к истории этих мест. Как сказано выше, в XIV веке они принадлежали князю Владимиру

Храброму, из великокняжеских рук перешли в царские, и старший брат Петра, Федор Алексеевич, облюбовавший себе здешнее село Воскресенское для проживания летом, важивал сюда будущего императора. Резиденция утопала в садах. По сохранившейся описи несколько более позднего времени — от 1700 года — было в царском саду 65 десятин. «А в том саду садового строения: 2400 яблоней, по местам на грядах, 560 прививок, 34 гряды кочен, 2500 кустов вишнягу, 112 гряд смородины красной... Садовники садят в том саду капусту, огурцы и иной летний овощ про себя и на продажу».

В 1711 году село Воскресенское без сада было пожаловано рязанскому епископу, а в 1729-м перешло к грузинскому царю Вахтангу Левоновичу, отъехавшему в Россию с двумя сыновьями и свитой в три с лишним тысячи человек. Петр II велел отпустить царю строительные материалы и пожаловал на обзаведение огромную по тому времени сумму в 10 тысяч рублей. И вскоре возникли в Москве грузинские слободы. Дворец грузинского царя находился на Георгиевской площади, названной так по выстроенной тут в 1788—1800 годах церкви, целой поныне. На месте дворца стоит богатый особняк, в котором помещается посольство ФРГ.

С годами в грузинских слободах стали селиться посторонние, и были понемногу отменены льготы, пожалованные первоначально грузинам... Сейчас, как напоминание о давних временах, сохранились названия улиц. Да памятник Шота Руставели, поставленный в сквере имени великого поэта Грузии, напоминает о наших исконных вековых связях с ней.

В одном из Тишинских переулков в Грузинах Пушкин навещал душевнобольного поэта Батюшкова — тот жил в уединенном домике под присмотром врача. Пушкин очень любил Батюшкова, считал своим учителем, в лицейских стихотворениях нередко подражал ему, называя «харит изнеженным любимцем... с венком из роз душистых, меж кудрей вьющихся златых...» Больной Батюшков, однако, тогда уже не узнавал своего друга.

Не раз бывал Пушкин у цыган, которые издавна селились в Грузинах. Тогда было принято ездить слушать их пение веселыми компаниями. В одном письме Пушкин шутливо упоминает «старого хрыча Илью» — это был известный в то время глава хора Илья Соколов. Когда Пушкин наведывался к цыганам, цыганка Таня — знаменитая Татьяна Демьяновна, которую приезжала слушать гастролировавшая

в Москве итальянская певица Каталани, подарившая ей на память шаль,— эта Таня пела поэту любимые романсы, учила говорить по-цыгански, читала строки из поэмы «Цыганы»... Она описала, как Пушкин однажды «послал в харчевню за блинами, потом ел сам и угощал ими сбежавшихся подруг: на лежанке сидит, на коленях — тарелка с блинами, смешной такой, ест и похваливает: нигде, говорит, таких вкусных блинов не едал!»

То были последние дни холостой жизни поэта.

Но привлекали Пушкина на Пресне не только цыгане. Любил он ездить на бывшую Среднюю Пресню (ныне улица Заморенова, названная так в честь рано погибшего большевика, председателя фабкома Трехгорной мануфактуры). Это была тихая малолюдная улица, застроенная скромными одноэтажными домами, стоявшими в зелени садов и огородов, в полудеревенской обстановке: тут кричали петухи и по утрам мычали коровы, выгоняемые по рожку пастуха, а по чердакам ворковали голуби... Пусть эта сельская картинка не покажется маловероятной нынешним москвичам. Сын художника В. Д. Поленова, скончавшийся в 1965 году в восьмидесятилетнем возрасте, рассказывал автору этих строк, что в школьные свои годы, шагая из гимназии домой, в Кисловский переулок, он обычно встречал коров, возвращавшихся с пастбища из-за заставы. То было на заре нашего века...

Средняя Пресня была и впрямь захолустной улицей. Местоположение стоявшей там церкви Рождества Иоанна Предтечи значилось в документах 1685 года: «За рекою Пресней на горе меж дворов новоселенных, из оброка живущих всяких чинов людей». В первой трети XVIII века тут стали селиться небогатые дворяне, отставные мелкие чиновники.

Еще несколько лет назад был цел дом под номером 16, который в пушкинские времена принадлежал вдове Ушаковой, матери двух дочерей — Екатерины и Елизаветы. Пушкина представил Ушаковым его друг Киселев на балу в Благородном собрании; поэт стал у них бывать, а потом и вовсе коротко сблизился с семьей.

Известен «Ушаковский альбом» со стихами и рисунками Пушкина; поэт посвятил обеим сестрам несколько стихотворных посланий. Он писал Екатерине из Петербурга:

Здесь нет ни ветренности милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.

В 1829 году Пушкин напоминал о себе Елизавете Ушаковой:

Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал,
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.

Поле, о котором вспоминал Пушкин, лежало в конце Средней Пресни, за Большим Трехгорным переулком. Его в те годы начинали застраивать и, очевидно, оградили забором, упоминаемым в стихотворении.

По нынешней улице Заморенова громыхают трамваи и бегут машины, нет и в помине прежней тишины, и все же, если не торопясь пройти по ней, внимательно присматриваясь кругом, кое-где обнаруживаются следы времени. Особенно в конце ее, выходящем на Дружинниковскую улицу. Это деревянные особнячки со скромными притязаниями на принадлежность московскому ампиру — стилю, как известно, сделавшемуся едва ли не обязательным для всей дворянской Москвы первой трети прошлого века и настолько ей полюбившемуся, что тогда можно было увидеть во дворе... собачью конуру, украшенную колоннами с ионической капителью!..

Вот облупившийся домик с колоннами миниатюрного портика, дальше эффектные полуциркульные проемы окон, симметрично расположенные по фасаду, кое-где сохранились остатки гипсовых украшений на обшитых тесом стенах, мезонины — все говорит о более чем вековой давности этих построек. Мне они видятся новенькими и нарядными, со сверкающими свежим тесом крышами, веселыми красками оштукатуренных стен, белыми колоннами... Хозяйка в чепце с лентами и в платье с оборками поглядывает с балкона на улицу. Вот проехали по ней извозчичьи дрожки. Чего это зачастил к соседкам заезжий петербургский франт? Говорят — сочинитель какой-то...

Улица Заморенова упирается в Дружинниковскую улицу, названную так в память боевых рабочих дружин, оборонявших в 1905 году Пресню от семеновцев. Стоит напомнить, что в 1810 году на ней жил выдающийся врач М. Я. Мудров (1776—1831), которого называют отцом русской терапевтической школы. В свое время его знала вся Москва, он был близок с Карамзиным, Жуковским, Александром Тургеневым, дружил с Чаадаевым. Мудров умер в холерную эпидемию,

заразившись от больного; на могиле его высечены слова: «Пал от оной жертвой своего усердия».

Обширный район Пресни занимали издавна владения «Трехгорной мануфактуры», история которой тесно связана с развитием Москвы. Ее основал в конце XVIII века купец Василий Прохоров. В компании с красковаром Федором Резановым они затеяли построить ситценабивную фабрику и купили для этого березовую рощу на Нижней Пресне, «у Трех Гор»; потом стали округлять свои приобретения. В дальнейшем мануфактура неуклонно разрасталась, и если в 1842 году на ней работало 500 человек, то к 1914 году она нанимала более восьми тысяч рабочих. Выдающаяся роль пролетариата «Прохоровки» широко известна.

...Рассказ о временах, когда улицы Пресни и Грузин видели Пушкина, звучит сейчас как старая легенда. Обратимся к воспоминаниям об именах и годах более близких. В начале нынешнего века на Большой Пресне находилась мастерская знаменитого скульптора Коненкова. Сохранились снимки этой мастерской, откуда вышли прославленные произведения; хозяина ее навещали многие интересные люди. Вот несколько строк из воспоминаний маститого скульптора:

«Глубокая осень 1917 года. Москва. Умолкают последние залпы орудий с Ходынского поля по юнкерскому училищу на Арбатской площади. Я слышу характерный шелестящий звук снарядов, перелетающих через мою студию на Б. Пресне.

А повсюду — музыка и пение: народ празднует победу. В мастерской на Пресне я открываю выставку своих скульптурных работ: их около пятидесяти. У входа в студию большое красное знамя. Народ идет...

В первый же день на выставке появился Есенин. Голубые глаза, живой вид, волосы цвета спелой ржи, сам стройный, походка легкая. Я стою и любуюсь им, и мне кажется, что мы знакомы давным-давно.

А народ валит в студию. Народ новый: взволнованный, интересующийся. Вся Пресня здесь. Целые фабрики пришли. Рассматривают, высказывают свои суждения, спрашивают.

Растроганный Сережа встает на стул; высоко подняв руку, он читает новые стихи:

Звени, звени, златая Русь,
Волнуйся, неуемный ветер!

Блажен, кто радостью отметил
Твою пастушескую грусть.
Звени, звени, златая Русь!..

Но вот и над этим эпизодом пронеслось полстолетия, и оно стало достоянием истории, живет в письменных источниках, и мы благодарны мемуаристу, запечатлевшему какие-то грани облика любимого поэта.

На той же Большой Пресне прожил два года в квартире сестры на втором этаже многоэтажного доходного дома молодой Маяковский. Это было в 1913—1915 годах. Именно здесь он написал «Я и Наполеон», как бы торопясь заявить о том, что у него нет и не будет никогда «почтения к мандатам» — к установившимся канонам и условностям... В этих стихах Маяковский очень прозаически указывает на свое место жительства:

Я живу на Большой Пресне,
36, 24.
Место спокойненькое.
Тихонькое.

Ныне в квартире поэта на общественных началах устроен мемориальный музей и туда проторена «народная тропа». Реконструкция улицы едва ли заденет этот дом, и еще многие поколения москвичей и приезжих почитателей поэзии Маяковского увидят обстановку, в которой начиналась его яркая жизнь.

...Краснопресненский район быстро застраивается и модернизируется. Пресня все быстрее утрачивает свой прежний облик. Наша короткая прогулка позволила приподнять завесу лишь над некоторыми домами и улицами, свидетелями исторических событий, вспомнить лишь немногие имена, дорогие народной памяти.

Иосиф ОСИПОВ

У карты Красной Пресни

В этот весенний вечер мы увидели будущее Красной Пресни.

К нам в гости, в Центральный Дом литераторов имени А. А. Фадеева, пришли наши друзья: первый секретарь Краснопресненского РК КПСС Илья Дмитриевич Писарев, председатель исполкома районного Совета депутатов трудящихся Эдуард Акопович Саркисов, работники райкома партии и райисполкома.

Пишу отчет о встрече с завтрашним днем Красной Пресни, чтобы читатель этой книги тоже мог окинуть взглядом картину социалистической реконструкции прославленной Пресни.

...С трибуны XXIV съезда КПСС прозвучал призыв — превратить Москву, столицу нашей родины, в образцовый коммунистический город. Призыв нашел конкретное отражение в постановлении партии и правительства о генеральном плане развития Москвы.

То, что задумано и выполняется в Краснопресненском районе столицы, подчинено этой высокой цели. Все здесь совершается во имя человека, в интересах повышения жизненного уровня трудящихся.

Вот как это выглядит, если обратиться к цифрам.

На Пресне живут 213 тысяч человек. В ближайшие пять лет двадцать тысяч из них получат новые квартиры. Еще двадцать тысяч въедут в новые дома других районов Москвы.

Таким образом, почти пятая часть жителей района — накануне новоселья.

Недавно рабочие и работницы комбината «Трехгорная мануфактура» заселили 14-этажный дом. Вскоре такие же благоустроенные дома получат заводы «Пролетарский труд», «Памяти революции 1905 года», сахаро-рафинадный завод имени Мантулина и другие предприятия. Только

в 1971 году на улицах Красной Пресни загорелся свет в двух тысячах новых квартир.

Рядом с этими жилыми корпусами будут построены здания Совета Министров РСФСР, Министерства геологии СССР, Союза кинематографистов и Венгерского торгового представительства.

На карте района обозначен просторный новый проспект от Манежной площади до Звенигородского шоссе. Краснопресненский проспект уже возникает на глазах у каждого, кто пройдет по улице Герцена и дальше — по булыжнику за площадью Восстания, сохранившемуся как бы в память о тех декабрьских днях 1905 года, когда рабочие дружины выворачивали из мостовой эти камни и сооружали из них баррикады.

Главная магистраль Красной Пресни протянется на девять километров, связывая центральные районы Москвы с аллеями Серебряного бора.

По обе стороны проспекта встают многоэтажные здания. Дощатые ограждения тянутся вдоль улиц, над которыми вымахнули во весь рост строительные краны.

— Вот часто спрашивают,— сказал председатель райисполкома Эдуард Акопович Саркисов,— что это в нашем районе так много роют землю, затрудняя движение транспорта, мешая пешеходам. Ничего не поделаешь. Копаем и будем еще копать. Строительство в самом разгаре...

Отправимся по главным этапам стройки, которая преобразит старую Пресню с ее узкими переулками, тупиками и сделает ее районом привлекательной архитектуры, благоустроенным в полном, всеобъемлющем смысле этого слова.

Никитские ворота. Хорошо знакомый москвичам невзрачный кинотеатр повторного фильма уступит место большому зданию, где предусмотрены все современные удобства для восьмисот зрителей. По соседству, на углу Суворовского бульвара, отведена площадка для двенадцатиэтажного здания ТАСС, а напротив, на Тверском бульваре, зазвучат голоса молодых певцов в здании оперной студии Московской консерватории. Шестой театр получит Красная Пресня.

Сразу за Никитскими воротами, где пересекаются оживленные улицы Москвы, можно увидеть траншеи, о которых упомянул председатель райисполкома: в этом месте проекты генеральной реконструкции уже одеваются в бетон и сталь.

На большом участке главного проспекта Красной Пресни — от Никитских ворот до площади Восстания — немало памятников архитектуры. Между улицами Качалова и Герцена возникнет широкий бульвар, где сохранятся дом Бобринского, построенный в конце XVII века, ансамбль городской усадьбы начала XIX века, церковь Большое Вознесение (1827 год), Дом-музей А. М. Горького.

Строители ограничились пока лишь нечетной стороной улицы Герцена. Здесь поставят дома в девять — двенадцать этажей, а на противоположной стороне будут значительно расширены уцелевшие зеленые островки между зданиями.

Приятно отметить, что краснопресненцы придают большое значение такому «заселению» своего района. Кого не порадуют деревья и цветы в царстве асфальта...

В плане реконструкции Красной Пресни намечено значительно расширить нынешние скверы и парки. Архитекторы стремятся к тому, чтобы в жилых микрорайонах было больше солнца и чистого воздуха.

Сквер на улице 1905 года, зеленый островок возле станции метро «Краснопресненская», пруды и клены зоопарка соединяют берега Москвы-реки с Краснопресненским проспектом. Чистому речному воздуху открывается «зеленая улица» в квартиры. Добавят зелени во дворах новых кварталов, проложат новые аллеи в районном парке культуры и отдыха. Из Сокольников сюда перенесут павильоны международных выставок. Сохранятся и войдут органично в новую застройку Тверской и Суворовский бульвары.

Одна из важных задач реконструкции Красной Пресни — уменьшить уличный шум, вывести хотя бы частично за пределы жилых кварталов грузовой транспорт. Для этого проложат новую дорогу вдоль набережной Москвы-реки. Грузовики, которые везут конструкции, строительные материалы из промышленной зоны в районы массового жилищного строительства в южной части Москвы, не пойдут по краснопресненским улицам. Благодаря этому и воздух здесь будет чище, и уличного шума станет меньше.

Площадь Восстания. Отовсюду, со всех концов Москвы виден шпиль ее высотного дома. Эта площадь в какой-то степени определяет будущий архитектурный рисунок Красной Пресни, удобную планировку кварталов, широкие магистрали.

Сегодня по краям площади доживают свой век старенькие дома, и вскоре здесь тоже будут копать землю под фун-

даменты зданий Союза писателей, планетария, выставочного зала Союза художников. Площадь Восстания становится одним из культурных центров столицы.

Улица Красная Пресня выглядит как растянувшаяся на много кварталов строительная площадка. Если идти от зоопарка к заставе, то справа светлеют фасады больших домов, зеркальные витрины магазинов, ателье, кафе. Старые дома противоположной стороны улицы снесены, здесь началось строительство таких же многоэтажных зданий.

Среди самых важных объектов реконструкции района — новая подземная магистраль. Она свяжет Красную Пресню с другими районами Москвы.

Эта линия метрополитена имеет особое значение. Многие предприятия, научно-исследовательские институты, проектные мастерские начинают рабочий день на полчаса и даже на час позже, потому что слишком перегружены линии метро, ведущие к центру города. Новый радиус метро разгрузит Горьковскую линию, позволит всем предприятиям и учреждениям начинать работу без вынужденного опоздания. Жители соседних районов тоже получат хорошую связь с центром и с заводами Красной Пресни.

Рельсы нового радиуса метро протянутся от нынешней станции «Краснопресненская» до железнодорожной платформы Беговая, а затем по Хорошевскому шоссе к улице Куусинена и дальше — к Октябрьскому полю. На этой трассе появятся станции «Баррикадная», «Улица 1905 года», «Беговая», «Хорошевская», «Улица Народного ополчения». Краснопресненский радиус соединится с Ждановским через площадь Пушкина и площадь Дзержинского. Те, кто живет в Хорошево — Мневниках, Тушине, Щукине, смогут быстрее добраться от места работы до своих квартир.

Выйдя из станции метро «Краснопресненская застава», можно будет подняться на тридцать второй этаж Дома угля и увидеть отсюда рядом с кирпичными корпусами «Трехгорки» памятник подвигу рабочих Пресни в декабре 1905 года.

Широкие аллеи парка сольются с мрамором и гранитом скульптур, посвященных героическому прошлому Пресни.

На монументе, который поднимется на заставе, будут алеть слова В. И. Ленина: «Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их жертвы были не напрасны».

На Большевистской улице, где рабочие в декабре 1905 и в октябре 1917 года вели жаркие бои с царскими войсками,

создается историко-революционный заповедник. Вскоре откроется здесь музей «Красная Пресня». Он станет филиалом Музея Революции СССР. Часть Большевистской улицы восстанавливается в том виде, в каком она была зимой 1905 и осенью 1917 года. Все здесь напомнит потомкам о подвигах москвичей — борцов за великое дело Ленина.

Еще один мемориал немеркнущей славы пресненцев возникнет около Ваганьковского кладбища. Здесь покоятся те, кто пролил свою кровь, сражаясь за свободу и счастье народа.

Высокая стена белого камня с горельефами протянется почти на километр и будет столь же волнующим памятником, как Стена Коммунаров в Париже.

Мы заглянули и туда, где рождается трудовая слава Красной Пресни,— на ее заводы и фабрики. Что дают они стране?

Тридцать тысяч квартир ежегодно получает столица из цехов домостроительного комбината.

На всех высотных зданиях работают бригады Моспроммонтажа. Его адрес: Красная Пресня.

Все подземные переходы на московских улицах прокладывают люди Главмосинжстроймеханизации. Штаб этой стройки находится на Красной Пресне.

На кораблях, в прокатных цехах металлургических заводов, в вагонах метро, трамвая, в троллейбусах установлены электродвигатели краснопресненского завода «Памяти революции 1905 года».

Литейные машины высокой производительности создает опытный завод «Красная Пресня».

Единственное в стране предприятие освоило машины для всей отделки тканей — Пресненский машиностроительный завод.

Более миллиарда метров тканей выпустила за минувшую пятилетку «Трехгорная мануфактура».

Краснопресненцы, работающие в цехах фабрики имени Капранова, дали сверх пятилетнего плана 789 миллионов пар обуви.

Все машины для уборки мостовых и тротуаров Москва получает из экспериментального завода на улице Сергея Макеева.

Отсюда же, с Пресни, везут в пекарни сотни тысяч тонн муки, смолотой на мельничных комбинатах, и сахар, приготовленный на заводе имени Мантулина.

Будущее этих предприятий, их развитие обеспечено широкими проектами автоматизации и ростом производительности труда. Слишком мало свободной территории в этом районе столицы, чтобы можно было расширять заводские площадки, но ничто не стесняет тех, кому поручено дать Красной Пресне новые больницы, поликлиники, детские сады. Для них выделяют участки, можно сказать, вне очереди.

Рассказывая об этом, заведующая райздравотделом Ольга Михайловна Хромченко назвала одну поразительную цифру: за последние тридцать лет смертность детей на первом году жизни уменьшилась в десять раз!

Запомнилась и эта цифра, в которой так ярко отражена забота о человеке, и то, что будет еще сделано для охраны здоровья жителей Пресни.

На территории больницы имени Дзержинского строится большой хирургический корпус. Расширяется больница № 19. Появятся в районе еще одна женская консультация, три новых поликлиники, два новых детских сада.

Остались в памяти еще такие цифры: из 213 тысяч жителей Пресни 159 тысяч человек состоят в списках читателей восьмидесяти пяти библиотек. За последние два года выдано им почти полтора миллиона книг! Эти цифры значительно увеличатся, потому что краснопресненцы получат в ближайшие годы еще несколько библиотек.

В пятилетке Красной Пресни большое место занимает все, что касается бытового обслуживания населения. И снова хочется назвать несколько цифр. Пятьдесят новых ателье, починочных мастерских, парикмахерских, прачечных и других родственных им предприятий откроются на пресненских улицах. Кроме того, здесь построят большой Дом быта. Такое пополнение получат работники сферы обслуживания, имея уже более двухсот самых различных, необходимых населению предприятий.

Можно добавить еще много новостроек в этот длинный список, но и сказанного достаточно, чтобы увидеть, какой становится Красная Пресня.

Встреча с ее будущим никого не оставила равнодушным, вызывая желание поделиться своими раздумьями о том, что раскрылось перед нами у карты Красной Пресни. Ее жизнь, ее быстро меняющийся облик, говорили писатели, словно капля росы, поймавшая солнце, отражает великие преобразования в нашей стране.

Славное боевое прошлое Пресни, революционные традиции краснопресненцев неотделимы от всего, что составляет ее нынешний день и что обогатит ее в предстоящие годы.

Здесь названия улиц и площадей, монументы и обелиски, посвященные 1905 году, напоминают проникновенные слова Владимира Ильича Ленина: «Декабрьской борьбой пролетариат оставил народу одно из тех наследств, которые способны идейно-политически быть маяком для работы нескольких поколений».

Красная Пресня первой установила на своей кровью политой земле власть трудового народа, и с 9 по 17 декабря 1905 года над ее заводами и фабриками пылало знамя Советов рабочих депутатов.

На всю Россию, на весь мир бросил светлый луч маяк Красной Пресни. То, за что сражались на баррикадах боевые дружины пресненских заводов, стало кровным, святым делом многих поколений.

И сегодня, развивая народное хозяйство, неуклонно повышая жизненный уровень советского человека, Красная Пресня остается маяком в борьбе за коммунизм.

Содержание

Уважаемые читатели!

Ваши отзывы о писательском сборнике «У нас на Пресне», пожелания издательству просим присылать по адресу: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 21, издательство «Московский рабочий».

У НАС НА ПРЕСНЕ

М. «Московский рабочий» 1972
448 с. С62

Редактор В. Вагин

Художник Д. Петров

Художественный редактор
А. Титова

Технический редактор
Т. Павлова

Издательство «Московский рабочий»,

Москва, ул. Куйбышева, 21.

Л82143. Подписано к печати 2/VIII 1972 г. Формат бумаги 60 × 84[1]/16. Бум. л. 14,0. Печ. л. 26,04. Уч.-изд. л. 25,58. Тираж 60 000. Тем. план 1972 г. № 213. Цена 1 р. 16 к. Зак. 1254.

Ордена Ленина типография
«Красный пролетарий»,
Москва, Краснопролетарская, 16.